

Рональд
Добровенский

АЛХИМИК

или
Жизнь композитора
Александра Бородина

Диптих



Рига «Лиезма»

1984

*Рецензент Е. М. Левашев,
кандидат искусствоведения*

Художник Дайнис Лапса

ОТ АВТОРА

Диптих «Алхимик» составляют две книги, принадлежащие к разным жанрам. Первая — повесть, не чуждающаяся вымысла. Вторая — историческая хроника, в которой все построено на подлинных фактах, документах. По времени вторая книга продолжает первую.

Герой обеих повестей — русский композитор и ученый Александр Порфирьевич Бородин. «Алхимик еще не уехал...» — это о нем пишет летом 1882 года Стасов Римскому-Корсакову. Алхимиком называли Бородина близкие люди, соратники по искусству. Есть оттенок шутливости, есть улыбка в этом дружеском прозвище. Но время высветило в нем и другой, вовсе не шуточный смысл. Бородин обладал редким человеческим даром: обращать чуть ли не любую материю, к которой он прикасался... уж конечно не в золото, — но в нечто еще более драгоценное, весомое. Ореол тепла, чистоты, благородства возникал неизменно там, где он являлся. Да и сама по себе переплавка неподатливого материала жизни в музыку, сияющую небывалым светом нежности, упоения, дышащую весельем, силой и страстью, — дело и не одних только знаний, и не одного только таланта; в подоплеке его нельзя не подозревать волшебство (вспомним, что и Пушкин даль своего великого замысла различал, по его, пушкинскому, слову, «сквозь магический кристалл»).

Перед вами книга о крупном человеке и о времени, особо памятном в отечественной культуре; академик Б. Асафьев назвал эту эпоху «великим русским Возрождением».

Глубина и пристальность памяти решают многое. Кто думает о будущем, всматривается и в прошедшее, — там корни.

КЛЮЧ ЮНОСТИ

Повесть



*В степи мирской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробилась три ключа:
Ключ юности, ключ быстрый и мятежный,
Кипит, бежит, сверкая и журча...*

А. С. Пушкин

П

I

оследний звук был отрывистый, звонкий, как будто кто-то — девушка? а может быть ребенок, — рассмеялся и умолк. Кузьма еще сидел молча с полминуты, потом только оторвался от флейты; из футляра достал ситцевую чистую тряпицу, «струмент» (такое он употреблял слово) протер, — с особым тщанием там, где ямка, дырочка, в каковую следует дуть. Не то чтобы боялся, что малец после него побрезгует флейтой, — нет, для порядку. Дитё есть дитё: надобно музыку очистить от взрослого небезгрешного дыхания, от усов и табаку.

— На-ко, попробуй, — сказал Кузьма, теперь протягивая флейту Саше Бородину.

Саша взял ее, почти вырвал от нетерпения: давно ждал. Приложил к губам. И послышалось сперва как бы шипение, а потом неверный и прекрасный звук. И сразу и мальчик, и флейта переменились, оба стали другими, не такими как раньше. Так, бывает, всадник и конь, когда о себе забудут, превращаются в новое какое-то, одно, летящее над землей существо. Саша видел: потом им надо сделать усилие, чтобы разделиться. И так же он с флейтой: слились. И почти сразу сделалось непонятно: она, флейта тянет из Саши его дыхание, она из него извлекает музыку — или он из нее? И где была раньше эта нежная, до-олгая, певучая нота: в Саше? В этой флейте, внутри? Или где-нибудь еще, далеко, за облаками?

Саша не заметил, как в дверях появилась Луиза.

— Зольдат! Бистро, шнеллер — эссен... Кушайт! — сказала она, кажется, робея.

— Эссен так эссен. Это можно. Отчего ж нельзя... — отозвался Кузьма и глянул искоса на Сашину воспитательницу, да так непочтительно, что та отступила, зарделась, пальчиком пригрозила:

— Но-но-но, зольда-ат!

Повернулась, засемила на кухню.

— Ты вот чего, Ляксандр, — сказал, оглянувшись, Кузьма. — Флейта казенная, так ты ее не того... не крути больно-то без меня. А я мигом. Подхарчусь малость, да и фортель тебе новый покажу.

Немилосердно топая, он чуть не бегом кинулся следом за Луизой.

Саша засмеялся неожиданно для самого себя. Услышал свой смех — короткий, звонкий, — и сразу замолк. Смех его был похож и не похож на звук флейты.

Сходство и несходство разных звуков, разных вещей на земле было тайной.

На первом уроке Кузьма спросил его:

— Слыхивал, как птички поют? Ты в деревне-то бывал?

— Я на даче бывал, — сказал Саша.

— А мы — деревенские... — вздохнул Кузьма и флейту, которую уж было поднес к губам, снова опустил, задумался. — Это ж какая красотища: по весне, когда птица домой летит, гнезда вьет, и всякая на свой лад господу хвалит, верещит, тюрлюрюлюкает, насвистывает... Горлышко у пичуги так и ходит, вот-вот разорвется — от песни-то, от вольной воли, от радости...

Он поднес ко рту флейту, губы у него сделались такие, как будто он сейчас будет пить воду прямо из ручья. И раздались трели, переливы, пересвисты...

— Как? На птиц-то на божьих похоже?

— Похоже! — выдохнул Саша.

— Нет, брат, врешь, — не похоже. Ты возьми дрозда, или пеночку махонькую, не говоря уж — соловья... Соловья-то слышал? Ну, ничо, ничо, не горюй, услышишь, какие твои годы.

Кузьма был человек хороший, уса́тый и добрый.

И Луизхен была хороший человек, она тоже была добрая, теплая и мягкая. По-своему, по-немецки, она говорила хорошо, а по-русски — смешно, путала и переворачивала слова, никак не могла привыкнуть.

И Тетушка была самый лучший человек — красивая, любимая Тетушка. Взрослые отчего-то побаивались ее. Правда, она и говорила с ними совсем не таким голосом, как с Сашенькой, и хорошо, что не таким. Никому не нужно было знать, какие у нее делаются глаза, какой появляется нежный, заливающий тебя светом и теплом голос, когда она голубит и нянчит своего Сашу.

От Луизы пахло сдобными пышками, от Кузьмы — крепким табаком и морозом, от Тетушки — чем-то родным, далеким, чем-то, что сливалось с качанием люльки, с полузабытой колыбельной песней, с таинственным началом мира, когда не было памяти, а были вспышки

тепла, холода, боли, счастья, а еще дальше — обрыв и глубокая тьма... Сколько он помнил себя, столько была рядом и Тетушка. И из той же глубины восходило, глядело на него морщинистое, длинное, носатое лицо старого князя. Где-то там, — в самом первом его доме, — стояли темные, поднимавшиеся от полу в рост взрослого человека часы. Князь говорил и говорил. — никто в доме не смел его перебить — потом неожиданно смеялся, закатывался смехом, хриплым и дребезжащим, и не умел остановиться, пока смех не переходил в кашель. Тогда оживали часы: что-то в них начинало шипеть, булькать и хрипеть, точно они собирались передразнивать старого князя, но в последний момент спохватывались, — и раздавались их гулкие, звучные, как у церковного колокола, удары. Князь, бросив смеяться и кашлять, грозил часам кулаком и взглядывал в зеркало.

Саше смутно нехватало иногда того дома, тех часов, того хриплого смеха.

А Кузьма появился недавно, когда они переехали на Глазовую. Луизхен стала водить Сашу гулять на Семеновский плац — до него было рукой подать, — и неизвестно, кто получал от прогулки больше удовольствия: Саша или его круглая чинная воспитательница. Встречался им по пути шарманщик — они останавливались послушать; на добрых близоруких глазах Луизы выступали слезы от чувствительной мелодии; она совала шарманщику монетку и тянула Сашу дальше. Навстречу им шли, щебеча, две барыньки. Луизхен приосанивалась, оглядывала Сашу, смахивала с него невидимые пылинки.

— Какой прелестный мальчуган! Красавчик, ангел! — всплескивала руками одна.

— Да, милочка, на сей раз я с тобой не спорю, — отвечала вторая, бесцеремонно оглядывая их с ног до головы, — но согласишься и ты со мной, что бонна — сущее страшилище!

— Я-то могла бы и согласиться, но боюсь, что она вполне во вкусе твоего Андре...

Теперь, краснея, тянул за собой свою спутницу Саша: барыни лопотали по-французски, а Сашу год назад начали учить французскому; при своей способности к языкам, он многое уже понимал. Обидно было за Луизу, хотелось крикнуть барыням: «На себя бы поглядели!»; глаза у обеих сверкали как-то глупо, как пуговицы.

Но все забывалось, когда на плацу выступал перед строем полковой оркестр, когда первый стройный аккорд вдруг пронизывал воздух. Потом-то, со временем, Саша привык. Но в первый раз было потрясение, чуть не до обморока; Луиза перепугалась. Мальчик болезненный, хрупкий; иные доброхоты из соседей в глаза говаривали Тетушке: глядите, мол, Авдотья Константиновна, похоже, не жилец он на этом свете, ох, не жилец... Так что Луизе было чего пугаться.

Он и тогда, вначале, ждал чуда. Было предчувствие музыки в возбужденном говоре любопытных, в отрывистых командах, в строгом рисунке и в ритмичной поступи колонн. Музыка была — и ждала только знака, чтобы выйти наружу, — в сверкающих трубах, серебряных и золотистых, прямых и причудливо изогнутых, сияющих так, словно они бросали вызов насупленному петербургскому небу. Но когда грянул марш, когда музыка, ждавшая своей минуты, вырвалась на волю, — у Саши что-то случилось с коленями, они подогнулись, а мир изменился. Иначе выстроились и осветились дома, другим стал воздух, вширь и вглубь раздалось небо.

Машенька, Мари Готовцева, двоюродная сестренка, друг неразлучный — и та не могла узнать вернувшегося с прогулки Сашу.

— И вам все равно, что Василиса заболела горячкой и холерой и может быть после обеда умерет? — спрашивала горестно Мари, поднимая кверху белесые бровки.

— Да подождите вы с вашей куклой! — буркнул Саша. Он, правда, как и всегда, называл кузину на «вы», — но в остальном ответ его нельзя было назвать вежливым. Мари думала-думала, как проучить его, высунула и показала Саше длинный розовый язык — но он не смотрел! До самого вечера просидел он в гостиной за фортепьянами.

— Майн готт! — воскликнула Луиза, пришедшая звать его к ужину. — Мой бог, мальтшик играет военный музйк!

...Через месяц в доме стал появляться Кузьма — унтер-офицер, флейтист из военного оркестра Семеновского полка. Тетушка ни в чем не могла отказать Саше. Вскоре у него была уже собственная флейта, настоящая, темного полированного дерева, с бесчисленными вырезами, отверстиями, выпуклостями, — диковинное и искусное изделие нездешних мастеров.

Когда никого не было поблизости, Кузьма играл мальчонке, а больше — самому себе печальные, тягучие мелодии. От них хотелось плакать, но Саша знал уже, что набегают иной раз грусть слаще всякой радости, не знал только, отчего это так бывает. Кузьма был родом из Елецкого уезда, деревня его стояла на реке Быстрая Сосна. «Сосна дерево, — думал Саша, — как же она может быть быстрой?» Но спросить об этом у Кузьмы не решался, хотелось слушать подольше. Хотелось, чтобы и в другой раз Кузьма спросил, оглянувшись по сторонам для чего-то: «Хошь наше, Елецкое?»

В конце урока Тетушка самолично вручала Кузьме большие деньги — полтинник.

— Покорнейше благодаррю! — рявкал Кузьма, вытягиваясь, как перед полковым командиром; Тетушка вздрагивала, но бывала отчего-то довольна.

Кузьма поворачивался ловко, по-военному, но перед тем успевал подмигнуть Саше левым глазом.

Кузьма был хороший человек.

II

Квартира Его превосходительства действительного статского советника, кавалера орденов, академика и ординарного профессора Императорской военно-медицинской академии Александра Порфирьевича Бородин была, по общему суждению, не квартира, а проходной двор.

Располагалась она в новом здании Академии, в которой профессор служил вот уже тридцать лет. В коридор выходили двери и жилых комнат, и химической лаборатории, и аудитории Сушинского, в которой занимались фармацевты. Тут вечно сновал народ, частью вовсе посторонний. Но бывали еще и «свои», то есть бородинские студенты по неотложным делам, и знакомые музыканты, и всякого рода просители, и званые и незваные гости, и родственники близкие и дальние, и прислуга, и гости гостей, и, в довершение всего, — никогда не переводившиеся в квартире надменные коты и визгливые, искательные комнатные собачки.

Семейство Бородина было, собственно, не одно, а два семейства: Лизанька Баланева, воспитанница, девочка ласковая, беленькая и неслышная, в один прекрасный день не только оказалась взрослой девицей, но еще и

вышла замуж за Сашу Дианина, любимого ученика и, можно сказать, названного сына профессора. Это событие поразило и застало врасплох не только Александра Порфирьевича, но и жену его, Екатерину Сергеевну, разволновавшуюся в то время необыкновенно и едва ли не желавшую помешать этому браку; но Бородин решительно вступился за молодых, и все уладилось тогда, все уладилось. Потом Борька родился, — своих детей у Бородиных не было, младенец стал внуком, родным, родней некуда. Но именно со дня появления на свет Борьки, так теперь казалось Бородину, время точно закусило удила. Дни и раньше сыпались, как камешки с горы из-под неосторожной ноги. Но потом — Борька родился — и словно бы где-то высоко стронулось с места большое, тяжелое. Время: дни, недели покатались лавиной, не зная удержу, вниз, вниз, вниз. Одно сминая на пути, другое увлекая с собой: вниз, и все больше скорость, и ветер свищет, и ты захвачен этим движением, как в детстве — разбежался с горки, остановиться не можешь.

Дианины занимали комнаты по правую руку от коридора. Борька, от радости, что научился говорить, очень говорливый, называл эту сторону квартиры «Петербургом». Теперь, когда Екатерина Сергеевна оправлялась в Москве от страшной, едва не уложившей ее в гроб болезни, в ее комнате спали воспитанницы, Лено и Ганя. Кабинет и спальня хозяина в нынешнем, 1887 году, были устроены в Красной комнате. Может быть, благодаря Борьке жизнь в доме стала в последнее время не столь безалаберной. И все же явление нового лица по обычаям, заведенным издавна, было не в диковинку. И Александр Порфирьевич почти не удивился, когда дверь в Красную комнату приотворилась, и вошел мальчик лет десяти, никогда не виденный и все же знакомый так, что захолонуло сердце; мальчик в старомодной бархатной курточке, с ясным, чуть удлиненным лицом, с темным и затуманенным взглядом. Что-то он держал за спиною, и не видя, Бородин угадал в его руке флейту, купленную когда-то Тетушкой.

Бородин, в красной рубаше и синих шароварах, сидя в кресле, натягивал на ноги мужицкие сапоги. Покончив с этим, он встал и притопнул, а потом опустил в кресло, откинулся отдохнуть на минуту, тогда-то и вошел мальчик.

— Ты? — спросил Александр Порфирьевич, глаза его были закрыты.

— Я... — отозвался мальчик; голос его в этом протяжном «я-а-а» серебрился, был похож и не похож на звук флейты. Сходство и несходство разных звуков, разных вещей на земле было тайной.

Глаза Александра Порфирьевича оставались по-прежнему закрыты, и тем ясней видел он своего неожиданного посетителя. Да и что удивительного? Мало ли он видел на своем веку такого и там, где другие ничего не видели?

— Ты — я? — спросил мальчик с сомнением. — Я сделаюсь тобой?

Вопрос ответа не требовал, и Бородин не ответил.

— Ты похож на старого князя. Только ты — лучше, — сказал мальчик, голос его серебрился как клинок; нельзя лгать таким голосом. И флейта все время была у него в правой руке, за спиной.

— Князь твой отец, — промолвил Бородин.

— Я знаю. Разве ты забыл? Разве ты не знаешь все, что я знаю?

— Да-да. Прости. Кое-что и забыл. Забот... очень уж много.

— Больше, чем у Тетушки?

— Тетушки давно уж нет.

— Что, что ты сказал?

— Не будем об этом.

— Сколько тебе лет?

— Пятьдесят два¹.

— Ого!.. Что ты делаешь сегодня? — без всякого перехода спросил мальчик.

— У нас нынче маскарад. Масленица кончается. Будут гости.

— Это — твой маскарадный костюм? — с нескрываемым любопытством спросил гость, глядя на генеральский мундир, перекинутый через кресло.

— Что?! — Бородин открыл глаза и стал смеяться — медленно, сладко, со вкусом, чуть не до слезы. Отсмеявшись, сказал со вздохом: — Я, брат, генерал... А что, к лицу мне портки да рубаха?

¹ Бородин должен был ответить: пятьдесят три. Но он ошибочно считал с некоторого времени, что родился не в 1833, а в 1834 году. (Все примечания в сносках сделаны автором.)

— К лицу, — серьезно, без улыбки ответил мальчик. — Почему ты генерал? Ты воюешь?

— Избави бог. Я штатский генерал. Ученый. Профессор. Да вот еще музыку сочиняю.

— Музыку? — это ему, кажется, понравилось. — А ты полку не помнишь, что я сочинил?

— Как не помнить!

— Скажи... — теперь мальчуган выбирал слова осторожно. — Скажи, вот у тебя морщины, и борода седая... Ты не пожалел?

— О чем?

— Ну... обо всем.

— О том, что для тебя еще будет, — а для меня уже было? Кажется, что не пожалел. Н-не знаю... Не так-то просто ответить.

— Ну да, — сказал, похоже, не слушая его, мальчик. — Все взрослые понемногу становятся старые, а потом умирают. Мне Луизхен говорила.

— Не бойся, — сказал ему Бородин с нежной горечью. — Умирать не тебе придется, а мне.

— А может, еще кому, третьему? Кто старей тебя будет? — сказал мальчик беспечно.

— Ну, востер! — удивился и обрадовался Бородин.

— Роднуша! — раздалось из-за дверей. — Ганя меня так обижает, что я не пойду никуда.

— Вашу Лено обидишь, — тут же откликнулся второй голос.

— Эх! — только и произнес Бородин.

— Теперь ты пойдешь в маскарад? — спросил мальчик.

— Да, пора. Я ведь не знал, что ты придешь. Гости, наверное, собрались уже. И девчонки мои опять ссорятся.

— Ты возьмешь меня с собой?

— Я думал, ты — во мне.

— Я — в тебе...

Бородин медленно открыл глаза. Его полная фигура в красной шерстяной рубахе, в синих шароварах была прямой, высокой, почти разбойной.

— Ну, что вы там опять не поделили! — сказал он с сердцем, отворяя дверь в гостиную.

Он никогда не умел делать разом несколько дел: в каждую отдельно взятую минуту был сосредоточен на чем-то одном. Самые невероятные анекдоты о его рассеянности вдруг оказывались чистейшею правдой. Однажды, давно еще, — в 1863 году, — они с женой уезжали за границу. Время было смутное, в Польше шла настоящая война с повстанцами, и на границе всех проверяли с особым тщанием. И что ж? Бородин вдруг забыл, как зовут его жену! Не мог на соответствующий вопрос ответить, хоть убей — не мог и все! Хорошо, среди служащих нашелся человек, лично знавший и его и Екатерину Сергеевну... Сосредоточась на сиюминутной заботе, он и свое-то собственное имя способен был позабыть.

Подспудно, подводно шевелились, конечно, и другие течения. Бывало, покуда он самозабвенно проделывал опыт за опытом в «черной» лаборатории, — там, в глубине, неведомой и неясной ему самому, выстраивались музыкальные решения, которым он сам удивится однажды. В разгар оживленной и шутливой беседы вспыхивали и гасли цепочки формул, которым он дозволит в свой черед выйти на поверхность... Там шуршали осторожными коготками и ждали своего часа житейские тревожения и заботы. Туда уходили звенья неоконченных дел, связей, там светносные пласты любви, радости, жизни упирались в надежную основу, в то, что если уж выразимо, то не словами, а единственно музыкой. Он догадывался: может быть, это чувство России, ощущение своего рода-племени, на века вглубь, на века ввысь. Но если и так, — слов для этого у него никогда не было.

Музыка с той далекой глубины приходила редко, а приходя, пронизывала его существо насквозь; он ждал и боялся этих мгновений, бывших, казалось, выше счастья и гибели. Себя он как-то стыдился в эти минуты. Присутствие в это время других людей, самых близких, даже Кати, — казалось ему невозможным, едва ль не чудовищным. «Что за охота глядеть на поглупевшее лицо!» — сказал он однажды жене, мягко, как всегда. Она не поняла его: стала объяснять, что лицо его в те минуты, когда он сочиняет, становится, наоборот, красивым и вдохновенным...

После страшной болезни Кати что-то переменялось.

Он не умел, как раньше, сосредоточиться на одном. Сомнения, тревоги, воспоминания, перебивая и перехлестывая друг через друга, мчались несколькими потоками. Он почти не спал ночью и вдруг обнаруживал, что дремлет на важном заседании.

Одно время ему казалось, что он никогда уже не сможет сочинять музыку; точно чья-то холодно-враждебная, злая воля выпотрошила его, опустошила, оставив душу бесплодной и плоской... Но нет, слава богу, он ошибался. Музыка, которую он сочинил на днях, музыка незнакомой, пугающей силы, вовсе теперь не оставляла его, а только притихала и пряталась иногда, но в любой момент могла с кровью опять разнестись по телу, заглушая все внешнее, все, что снаружи.

То был финал Третьей симфонии — никому не нужной, немилой, нежеланной. Друзья не любили, не хотели ее заранее: симфония, они считали, отвлекает его от оперы, от «Князя Игоря», которого уж все заждались. Чуть ли не тайком, наперекор всему и вся, он сочинял ее, импровизируя, как это часто бывало, на рояле, много раз переиначивая, уточняя и углубляя найденное.

Он и сам поразился, впервые сыграв финал симфонии целиком. Павлыч — добрый, угрюмый и в эти дни как-то особенно озабоченный Александр Павлович, Саша Дианин слышал, как он играл. Бородин знал, что Саша в лаборатории, знал, что слышно там рояль из бородинской квартиры прекрасно, — закрыв крышку инструмента, он чуть не бегом бросился к Дианину. Не мог не поделиться своей испуганной радостью: такой вышел финал, такой финалище! Павлыч слышал музыку и понял, что она такое: стоял бледный, потрясенный...

Теперь финал звучал в мозгу постоянно, неотвратимо и неотвязно. А еще так же постоянна и неотвратима была мысль о Кате: как она там. А еще — о письмах, которые он получал до востребования; письма приходили из Бельгии, временами — из Парижа, в роскошных продолговатых конвертах; ах, не по возрасту это все ему, стар он для таких тайн... А еще мучали казенные, расплодившиеся как кролики, безликие дела и хлопоты и бумаги, будь они прокляты. И — воспоминания, вдруг разом выступившие в эти дни, острые, зримые, как явь; а еще — боль и страх и необходимость скрывать их.

Боль и страх были новыми, и умом он по-прежнему никого и ничего не боялся; боялось, видно, сердце, не

умевшее ничего объяснить в своем темном, безотчетном страхе.

В который раз Бородин припомнил странное Катино письмо. Давнишнее, полученное еще в канун прошлого, 1886 года, оно врезалось в память, особенно же Катины слова о том, что она ожидает в наступающем году «чего-то грозного, решительного в своей жизни». Он тогда же обрушился на эти выдумки, разуверял и даже бранил Екатерину Сергеевну, доказывая, что ничего ни грозного, ни нового в ее состоянии нет и быть не должно, — но через каких-то пять месяцев как вспомнились ему эти вещие слова! — когда жена буквально умирала у него на руках и надежды никакой, собственно, не оставалось... Что она выжила — было чудом; но в дни, проведенные у постели больной, что-то сломалось в нем, в Бородине. Он и говорил и писал Кате, что воспоминание об этих днях поднимается в его душе стеною, как грозная туча. Так он и видел и ощущал эту иссиня-черную тучу, и лишь не признавался никому, что она не разошлась, так и стоит с лета, притаясь — то в затылок дышит, то в небе над головой, давя и сгущая воздух, то в нем самом.

Это Катино письмо... теперь Бородин понимал его. Он не был суеверен. Предчувствия, мучившие его сейчас, должно быть, объяснимы, — их не научились только объяснять. Он показался знакомым врачам. Врачи дела настоящего не говорили, но хором настаивали на том, что ему необходим срочный и полный отдых. Где ж его возьмешь, да еще «полный»? Он подумал, самолично растопил камин и стал жечь письма в продолговатых роскошных конвертах...

По всей видимости, он был здоров. Только сердце мгновеньями сжимало томительно и жестко, только время в последние месяцы и недели летело неудержимо, будто поезд под откос. Он никогда не сваливал на других свои горести — и сейчас тоже держался. Разве вот в музыке: в суровых «раскольничьих» вариациях из анданте Третьей симфонии, в ее финале¹ — та самая туча не то чтоб выглядывала: нет, стояла не скрываясь, от земли до неба.

¹ Здесь идет речь о музыке, не записанной композитором; слышали ее лишь два-три человека — близкие друзья Бородина, оставшие об этом свои воспоминания.

После вспышки раздражения, вызванной глупой ссорой воспитанниц, — Бородин раздоров и ссор по пустякам терпеть не мог, страдал от них, как от зубной боли, — Александр Порфирьевич скоро и разом повеселел. Он сердился нечасто и был отходчив.

Тапёза, нанятая накануне, оказалась милой и живой, хотя несколько малокровной барышней. Играла она очень ритмично. Александр Порфирьевич с легким сердцем сделал ей комплимент, девица растрогалась и просияла. Бородин вступил в заговор с Павлычем, и Дианин пригласил музыкантшу танцевать; сам Бородин сменил ее за фортепиано и изобразил мазурку, а потом, от щедрот своих, польку, — вернее, собственного изготовления уморительно-смешную пародию на польку.

Костюмы удались; бал удался. Аудитория Сушинского — владения фармацевтов — переменялась неузнаваемо, освобожденная от обычной мебели, изукрашенная гирляндами и лентами да еще и освещенная по-праздничному. Лишь неистребимый запах иода и камфары примешивался к тонкому аромату духов, к сильному и щекочущему запаху стряпни, долетавшему сюда из подвала, из кухни. Масленица кончалась все-таки хорошо... И лето словно придвинулось. Лето, тепло, деревня! — Бородин зажмурился и почти задохнулся, представив себе все это.

Он оглядел себя и засмеялся. Пришедшая давеча мысль о том, что генеральский его мундир — из маскарада, а мужицкие порты и рубаха и есть его настоящий костюм, забавляла его. В ней было озорство самое ребячье, но была и правда. Ни в одной одежде он не чувствовал себя так нестесненно, свободно (проверено, и не раз!) — как в этой...

Приятная, давно не испытанная легкость явилась в теле. К Бородину то и дело оборачивались смеющиеся лица, музыка временами пропадала за журчащими разговорами, чьими-то нарочито-изумленными ахами, смехом; самые важные гости забывали чопорность, начинали понемногу дурить и куролесить. А то ли еще будет! Вечер устроен был, как всегда, в складчину; что же касается выдумки и веселья, то господа профессора полагались более всего на Бородина и на друга его Доброславина; и они не ошибутся в своих ожиданиях. Целая

чередa сюрпризов была приготовлена к вечеринке. Бородин думал о них, внутренне посмеиваясь. Он даже, вспомнив детство, изготовил своими руками домашние, вполне безопасные в пожарном отношении, но эффектные фейерверки. «То-то Тетушка пришла бы в ужас!» — подумалось вдруг ему.

Здесь, в аудитории Сушинского, все были свои. Он знал, что большинство присутствующих любят его. Ему вообще везло. К нему относились хорошо и добро, лучшие некуда, все, чьего расположения он хотел бы. И так было всегда.

Вот и вальс. Александр Порфирьевич подошел к Гане, чинно поклонился. Девушка в своем малороссийском костюме была чудо как хороша; недавнюю размолвку она, видимо, забыла напрочь.

Почему-то вспомнилось: давным-давно, в Самаре, на паровой пристани одна не старая еще и веселая баба глядела и глядела на него умильно, пока он подходил. Когда же Александр Порфирьевич поравнялся с ней, баба, вдруг щелкнув его по животу, с непередаваемым комизмом попеняла: «Эх, господин, брюшко-то какое себе отпустил!»

Сейчас бы она так не сказала: он заметно исхудал в последний год, и теперь едва ли можно было назвать его толстым. Вальсируя с Ганей, он не чувствовал себя и старым, — как в юности, послушным и легким было тело, и звенело отчего-то в голове, и «консерваторка» Ганя глядела на него снизу вверх, смешно и влюбленно, и непонятно было, чего ради он так раскисал все последнее время, когда жизнь так дружелюбна и хороша!

Чуть запыхавшись, он подошел к Марии Васильевне Доброславиной. «Вот милый человек, — подумал он, вдруг растрогавшись. — Как она умеет ни на кого не взваливать своих невзгод, с каким вкусом живет, и говорит, и дышит». Захотелось посмотреть ей в глаза, сказать что-нибудь — все равно что.

В этот миг, протиснувшись сквозь ряды танцующих, — они, озоруя, не пускали его, — подошел профессор Пашутин, ученый секретарь Академии; он был во фраке. Поздоровались.

— Ай-яй-яй, почему мы такие парадные? — сказал Бородин.

— Я только что с обеда, — сказал Пашутин, разводя руками.

— Фрак вам идет, не оправдывайтесь, Виктор Васильевич, — вступилась за него Доброславина. — Да он и всем к лицу. Для мужчин не знаю лучшей одежды: и строго, и празднично.

— Ага, значит, мой костюм вам не по душе? — сказал Бородин. — Что ж, милая кума, если вы так любите фрак, отныне вы меня иначе и не увидите, как во фраке. Чтобы уж наверняка и всегда вам нрав...

Он еще произносил эти слова, когда мир раскололся и обрушился, страшный удар взорвал его самого, и эту залу, и землю, и звезды над нею. «Кончено. Нет?! Кончено!!» — пронеслось в мозгу. Его коснеющий язык договаривал галантную фразу; Бородин пошатнулся и упал во весь рост. Он не слышал, как хлопотали над его телом, кричали, плакали ряженные в нелепых маскарадных нарядах, он не ощущал теперь ни боли, ни страха. Потом зажгли фейерверк; он и то уж думал, почему медлят, не зажигают, но тут оказалось, что это не фейерверк, а пожар в Давыдове, и Катя опять не хотела бежать в поле, боялась открытого пространства, как это было мучительно, но однако вот и пожара не стало, а где-то в уголку мозга теплилась, как язычок пламени над свечой, тянулась тоненькая песенка флейты. Склонилась над ним Тетушка со свечой, поцеловала и перекрестила, как делала всегда, укладывая маленького Сашу на ночь. А потом все оставшиеся полчаса, пока, беспамятный, он еще сопротивлялся смерти, разрасталась, звучала в нем музыка его финала, все скрипки мира выпевали ее, а кларнеты и гобои, валторны, фаготы, виолончели откликались скрипкам; ничто не было кончено и кончиться не могло, раз оставалась, и жила, и крепла, и ширилась музыка.

Князь Лука Степанович Гедиапов сидел за бюро, перебирал бумаги. Бумаги, многие уже, успели пожелтеть от старости; но еще старее, еще желтей были перебиравшие их пальцы. Попался на глаза черновик письма, что посылал он когда-то Анне Сергеевне Голицыной: «Милостивая государыня княгиня Анна Сергеевна... Давно с вами не видавшись и не говоривши, я обрадован случаю хоть на бумаге несколько слов с вами молвить. Вы поручили мне похлопотать по заемному письму...» Дальше Лука Степанович читать не стал: пустое, какая-то история с банкротством, с неверным векселем. Повертел еще перед глазами листок: к чему ж черновик-то? Писать он был не мастак, да не было у него и этой привычки — перебеливать: как напишется, так и посылал; кому надобно, тот и его каракули разберет. Ага, вон оно в чем дело-то: клякса на обороте листа. Жирная, расплзшаяся клякса, и силуэтом, страшно сказать, на графа Петра Алексеевича Разумовского смахивает. Точный Петр Алексеевич, да еще в сильном подпитии. Каковое и было, впрочем, нередким состоянием графа.

У Петра Алексеевича князь купил было село Перово, но, видно, лучше бы и не покупал. Как пришло имение в чаду дружеской попойки, так и исчезло потом, просыпалось, из рук уплыло, — страм один вспоминать. Но уж кутнули они с графом в те года — где, где они? — точно приснились... Врете, какой там сон! Въяве было то время, шумело, смеялось, ревмя-ревело, гудело во все колокола! Уж и широкой по-русски, по-азийски бешеной и страстной была гульба; нонче так не гуляют: трезвей все стало, суше; умников больно много развелось, да и умных как-то не на русский, на немецкий манер, — глазки востренькие, волосики прилизаны, — и все в них, как поглядишь, себе на уме... Размашисто, грешно пожил ты, князь Лука Степаныч, есть о чем пожалеть, найдется что и перед богом замаливать.

А рядом с кляксой — и не думал читать, сами бросились в глаза строчки: «...что же касается до меня, то я сего дела на себя взять не могу потому, что незаправской житель петербургской и ежедневно думаю о том, как бы мне переселиться к своей семье в Москву...»

Черным по белому, твоими же собственными каракулями... Вишь ты как разливался: «ежедневно думаю... переселиться...» Врал? Али, может, стих такой нашел, и не врал еще... тогда? Год который? Тысяча восемьсот двадцать девятый. Может, и не врал. Дуня когда появилась? До нее еще два не то три года оставалось.

Как всегда, при мысли о ней явилась и мысль о сыне. В той, законной его, давно оставленной семье одна только дочь Саша и была. Вышла замуж за полковника, детей нарожала, а там вдруг померла... Внуки все не его имя — чужую, полковничью фамилию понесут через новые царствования, в неведомое время.

А сына, родного, кровного, от Авдотьи Константиновны, дочери солдатской, юной, жаркой, желанной, — сына не посмел своим назвать. Да и то — легкое ли, мыслимое ли дело затевать такое на старости лет, при живой, венчанной жене! И растет Александр, не Лукич, а Порфирьевич, не Гедианов, а Бородин. А кто таков Бородин? Порфишка, камердинер, верный, да все одно чужой человек, и сословия подлого. А мальчонка, словно назло, растет разумный, быстрый, смекалистый, глазищи так и горят. Квёленький токмо. Выжил бы...

Давно ли он здесь, в этом самом кабинете, родословную княжескую повторял, как Отченаш, наизусть и без ошибки! Старик, сокрушенно поглядывая в зеркало, и сам зашевелил губами: «Родоначальником князей Гедиановых был князь Гедея, что из Орды прииде чесно со свои Татары на Русь и по благодати господней восприем святое крещение на Москве при царе Иоанне Васильевиче Грозном, а при святой купели наречен князем Николаем...»

И грамоту, дарованную одному из Гедиановых царем Михаилом Федоровичем, и ее затвердил сын; да и князь ее не забыл; много чего забывать стал, а та грамота в памяти как врезана и гвоздями вбита. «Князю Ивану Степановичу Гедианову за его к нам и ко всему Московскому государству прямые службы, что с нами, Великим государем, в осаде сидел, и на боях и на приступах бился не щадя головы своея и ни на какие Королевича прелести не прельстился и будучи в осаде во всем оскудении и нужде терпел...»

Каков же он, Саша, Александр... девятое колено от князя Гедеи; восемь раз доливалась та начальная кровь могучей и жаркой кровью русских матерей; да еще раз

Восток, Кавказ, через прабабку, царевну Имеретинскую, в эту русскую кровь добавлен. Так оно крепче и гуще вышло...

Порфирий вошел, Бородин, без зову, но — легок на помине.

— Чего тебе?

— Француз пришел, ваше сиятельство, Денвер.

— Деньер, Порфиша, Деньер. Ну ладно уж, зови. А не то пущай посидит в передней, с него не убудет.

...Деньеру не нравился князь Гедианов, не нравилось выражение деспотизма и варварского упрямства, написанное на лице старика. К тому же, он попросту боялся князя. Деньер исполнял здесь двойной заказ: портреты самого хозяина и его... скажем так: протеже, годившейся старику в дочери, если не во внучки. Признаться, на одном из сеансов он допустил некоторую вольность по отношению к юной подруге князя. В зале никого не было, кроме художника и натуры; Деньер вычислил, что не может же она любить своего морщинистого азиата, эта обворожительная Дунья, от которой так и пышет молодостью и сладкой силой. Портретист обжегся. Бог с ней, с пощечиной, хоть и не по чину оно, никакого резону — княжеской девке пощечины раздавать, точно она княгиня. Но не сказал этого вслух Деньер, не намекнул — нет, рассыпался в извинениях, улыбаясь и кланяясь. Лишь бы не сказала обожателю своему, — страшен должен быть азиат во гневе; с такой темной молнией в глазах, с такою морщиной поперек лба, он, без шуток, убить способен. Ну не ужасна ли доля артиста в этих краях? Не обязанность ли художника войти в доверительные отношения с своей моделью, чтобы постигнуть ее вполне? Да-с... а что из этого выйти могло — помыслить жутко. Хорошо, что красotka не пожаловалась своему деспоту. А вдруг?

Страх унизителен. Не умея избавиться от него, Деньер спешил закончить работу, сократил число сеансов. У него, художника, был, однако, способ отомстить за пережитые страхи, за холодный липкий пот, выступавший под рубахой, когда он встречал немигающий взгляд князя Гедианова. Живописец на портрете удлинил и без того длинное лицо строптивного старика, сузил до неприличия лоб и придал лицу выражение невозможного упрямства, если не сказать самодурства. В пику же заказ-

чику не пожалел он и мадемуазель: на холсте она была и полнее, и некрасивей, и старше, чем в натуре.

Князю неожиданно понравились портреты. То упрямое и варварское, что подчеркнул художник, делало князя на портрете моложе его лет. Что до Авдотьи Константиновны, — в ней прямо-таки явились черты матроны. Тридцать с лишком лет разницы в возрасте, разделявшей их, словно бы стирались, почти переставали существовать. Ай да француз!

Портреты писаны были живописцем Деньером в 1840 году, Саше Бородину шел тогда седьмой год.

Еще через три года Лука Степанович умер, оставив в наследство Авдотье Константиновне большой доходный дом, оба портрета, а для сына — икону Николы Мирликийского, дивной древней работы, передававшуюся в роду из поколения в поколение еще со времен князя Гедее.

Но самое последнее и важное, что сделал перед смертью отставной поручик князь Лука Гедианов для Александра Бородина, было то, что он даровал ему вольную.

Десяти лет от роду сын перестал быть крепостным человеком своего отца.

II

...Молодой, прекрасный юноша с величавой осанкой, огненным и вместе диким взором, умеренным неподражаемой улыбкою при встрече с взорами прекрасной Анастасии, встал на одно колено и, простря руки сперва к Анастасии, потом на небо, с выразительностью и громко сказал...

— Клянусь, ты будешь моею, или сия река будет моею могилою! — закричал Саша Бородин «с выразительностью и громко». — Тетушка! А что значит — «простря»?

— Значит: протянувши, — сказала Тетушка. — Ты вот стоишь на коленях, руки к Маше протянул — вот это самое и есть «простря».

— Какое смешное слово! — обрадовался Саша. — Простря!

— Можно мне слезть с печки? — спросила жалобно Маша Готовцева. — А то жарко.

— Потерпите, — отозвался сурово Саша. — Это вам не печка, а балкон с золочеными перилами. Будете такой торопыгой, я вас «прострём» прозову. Простря!

— Ай-ай! Благородную барышню, свою кузину дразнить! Вишь, Мари чуть не плачет. А еще кавалер! А еще сына Стеньки Разина изображает. Нешто можно девице, которая с пониманием, полюбить этакого невежу?

— Я не буду больше невежа. Мари, не обижайтесь! Слезайте с печки!

— Нет, я потерплю, не так уж и жарко, — запротестовала «Простря», в свою очередь становясь великодушной.

— А то, если желаете, так все наоборот будет: внизу балкон, а на печке — река и лодка, и я из лодки кричу... Что ж я кричу-то? Ага... клянусь, ты будешь моею, или река сия... А дальше-то... Ну-ка, книжку... Так! Юноша играет на гобое и поет вместе с гребцами... Гобоя у меня нет, я на простой флейте сыграю. Тетушка! Луизхен! Вы будете гребцы, нужно петь Прекрасной Астраханке:

Душа милая девица,
Ангел милой красотой.
Взор твой светлая денница
Вдруг пленил меня собой.

Раз, два, начали! Хорошо... Теперь, Тетушка, посмотрите в книге, подскажите Мари, что ей говорить.

— Я сама помню... Боже! Кто сей незнаемый юноша, который влечет к себе мое сердце и душу? — произнесла Маша Готовцева с чувством, и серые, с пестрыми пятнышками глаза ее совсем округлились, а белесые бровки поднялись высоко. — Неужели это мне суженый, коего судьба нарочно...

— Привлекла в места сии... — подсказала Тетушка.

— Привлекла в места сии, чтобы я его увидела и полюбила. Ах, если это не сон...

— Теперь я вхожу в дом. Из лодки уже вылез и к вам в покои вхожу. А вы...

— А я говорю: «Боже, это он!» и падаю в обморок. Ах!

— В обморок вам надо с печки падать. Чтоб видно было, что вы падаете в обморок, — сказал Саша.

— Я боюсь с печки, — сказала Мари. — Высоко.

— Это есть глупо, — нарушила свое долгое молчание Луиза. — Воспитанный барышень, мэдхен, должен падать в обморок аккуратно.

— Чтоб не ушибиться! — подтвердила Тетушка. — Себе и другим тоже лишних хлопот не наделать. В креслах, аль на кушетке. Откинулась, головку набок, — а-а-ах! — вот и обморок. Да и долго не валяться, а через минуту вздохнуть глубоко, глаза открыть, ресницами эдак трогательно похлопать и сказать слабым голосом: «Ах, где я? Что такое со мною приключилось, князь!»

— Все, теперь я похищаю Прекрасную Астраханку, — заявил Саша. Бездействие его начинало томить.

— До похищения-то в книге эвон сколько, погляди — разговоров, ругани, делов...

— То в книге. А то представление. Маша, вы согласны, чтобы не откладывая было похищение?

— Очень даже согласна!

— Ну так прыгайте в лодку. Тетушка, Луизхен, кричите! А-а! О-о! У-у-у! В погоню! Этот негодяй похитил наше единственное сокровище! Луизхен, милая, ну же! Рыдайте! Вот так: ох-хо-хоххо!!

— А мне опять в обморок падать или не надо? — деловито осведомилась Мари.

III

Кузина, Мари, Машенька Готовцева, — что за веселый, свойский, милый человек, друг бесценный и несравненный! Мальчишек-друзей у него не было никогда, так уж вышло: Тетушка ни за что далеко от себя не отпускала. Играй вот с Машенькой... Он и играл. Ох, как засмеяли его однажды на улице! Лукаши — родные внуки его отца, старого князя... так что он, выходит, дядька им, а они ему — племянники. Так вот: Лукаши, а рядом какие-то вовсе чужие парни, и оборванный верзила, красные руки и ноги на полвершка вылезают из рукавов и из штанин, и малыш, два зуба во рту, — как они все потешались над ними: в куклы! С девчонкой! Играет! Умора, потеха, подохнуть со смеху, потроха надорвать! Человек семь... не то восемь уже собралось их, и через все семь не то восемь лиц — одна ухмылка: Гы... Гы... Ггы... Притом никто его пальцем не тронул. Смеялись — и все. Но было так, как если бы его связали по рукам и по ногам, насели со всех сторон. Да нет. В этом «Ггы» было еще больше власти, чем в простой силе. Насмешка пригибала к земле, отнимала волю, грозила уничтожить.

Если не поддашься им, не предашь немедля, сей же час, себя и вот Машу, не подымеешь лапки кверху.

Саша, кажется, никогда не злился, — а тут вышел сущим волчонком: зубы — блестящие, ровные, оскалил, сейчас кинется!

— Мари, где вы там? — кричал он, пятась спиною и настороженно вглядываясь в своих обидчиков. — Мари!

А она рядом стояла, с двумя тряпичными куклами: одной маленькой, Настасьей, а второй — большущей, как полено, — по имени Василиса.

— Дайте руку, — приказал Саша отрывисто. — И Куклу. Василису дайте мне!

Мари повиновалась испуганно и молча.

И держа куклу Василису в одной руке, точно дубинку, а другой рукою таща за собой растерянную и немного упиравшуюся Машу, Александр Бородин пошел прямо на обидчиков — с оскаленными блестящими зубами, с ушами, горевшими по сторонам лица, словно кумач. И неприятели расступились, бог знает почему: может, вспомнили Тетушку Сашину, с которою не каждый взрослый отважился бы вступить в спор? — и разделились, и у всех вдруг свои дела нашлись, а может, и с самого начала их пути лежали в разные стороны.

— Вы теперь со мной знаться не захотите? — промолвила Мари.

— Как так? Почему?

— Вам от меня одни неприятности, — сказала Маша, сделав рассудительное, «взрослое» лицо.

— Вот еще выдумки, — пробурчал Саша. — Мы с вами как вырастем, так возьмем и поженимся, назло этим дурням. В самой большой церкви. Если Тетушка позволит...

— Они тогда еще больше смеяться станут, — сказала Мари.

— Не посмеют. Тетушка говорила: до женатых никому дела нет. Вот я, говорит, вдова, обо мне языки и чешут. А слышите-ка, Мари, айда к Луизе, шарманку крутить?

— Айда, — сказала Мари.

— Ох, горе мое, грабители идут, вымогатели, где ж я на них денег напасусь? — причитала Авдотья Константиновна, а у самой губы так и складываются в улыбку. Больно хороши дети, Саша да Маша, Александр шляп-

ную коробку привесил на грудь, ручку воображаемую крутит — да так старается, что вот и нету ручки, а вроде бы она есть. Стройный, тонкий, розовощекий, — картинка, а не ребенок. И сам поет за шарманку — жалостно, тоненько эдак тянет, слезу не удержать, так на глаза и набегают. И не смеяться нельзя: Маша обезьянку препотешно изображает. То словно блох ищет, то рожицу соорудит, то маленькими розовыми ушами шевелит, — уж Тетушка, грешным делом, и сама пыталась с собою наедине, перед зеркалом, шевелить ушами: ничего не выходит, не в силах человеческих!

Кончилась песенка; обезьяна, с шапкой в зубах, к Тетушке подскакивает, потом — к Луизе, к кухарке Марье Михайловне, к Катерине Егоровне и Александру Егоровичу Тимофеевым, — ко всем домочадцам и гостям, и каждый в шапку хоть полушку да кинет. А у кого нет и полушки, тот еще как-нибудь отдарится: Марья Михайловна, к примеру, пирожком да печеньем свежим, рассыпчатым...

Но и монеток изрядно накопилось в брюхе глиняного медведя. Это уже вторая копилка; первая погибла при таинственных обстоятельствах. То есть Саша охотно признавался, что сам он и разбил ее и деньги до полушки истратил, но дальше начинались сказки какие-то. Будто бы они вместе с Мари забрели на Апраксин двор, на рынок толкучий, где продать и купить можно было все, от лаптя драного до настоящего жемчуга и бриллиантов. Тьма народу толклась там в торговые дни, и ведь все разбойник на разбойнике; беглые мужики, воры и каторжники были для того места народ самый обыкновенный. Не верилось Авдотье Константиновне, чтобы ее добрый и как девочка послушный Сашенька забрел туда, разве что Маша сманила, она побойчей будет; но ведь они уверяли еще, что на все свои деньги, а их в копилке должно было набраться немало, рублей до пяти серебром, да медяков несчитанно... Так вот, уверяли дети, что на все эти деньги будто бы купили они у одного солдата маленькую, однако же совсем настоящую медную пушечку и еле-еле, с великим трудом, дотащили ее до дому. Положим, даже не медную — чугунную, рассуждала Авдотья Константиновна; положим, на толкучке не токмо пушку, а и цельную батарею запросто могут продать. Но что удивительно: ни один человек не видел Сашу и Мари с этой их покупкой.

— Что же вы, ночью темной свою трофею в дом волокли? Или как? Пошто ни одна живая душа вас не видела?

— Не пойму и сам!

— Не знаю! — одинаково разводили руками мальчик и девочка.

Среди бела дня покупали пушечку и везли, народу было много, все глазели и пальцами на них указывали. Обливаясь потом, доволокли, то есть Маша подталкивала пушечку сзади, а больше сочувствовала, но тоже сильно устала. Занесли, наконец, покупку с черного хода, со двора, в дом, спрятали под лестницей, тряпками старыми забросали. Между тем, дома их давно должны были хватиться, — и они побежали наверх, и вертелись и оправдывались, и о покупке своей сразу сказать не решились, и больше их из дому не выпустили, — а на-завтра под лестницей одни только старые тряпки валялись. Пушечка исчезла, точно им обоим по странности приснился один и тот же сон. И никто из соседей, знакомых, никто совершенно не хотел подтвердить, что была пушечка, — но ведь руки и спина Саши помнили до сих пор ее тяжесть.

— Мари, скажи, ты-то помнишь: была пушка?

— Как не быть, была! Когда через порог тащили, я попробовала поднять свой конец и уронила, и она об камень так бухнулась: бум-м!

Точно. Значит, была пушечка. Но была только для двух людей на земле: для него и вот для Мари Готовцевой. Остальные только головами покачивали.

— Ох, выдумщики... Луиза, а ты-то ихнюю эту пушку не видала случаем?

— Найн. Не-ет.

— Куда ж все-таки подевались деньги из копилки...

IV

Екатерина Егоровна Тимофеева, по мужу — Бельцман, не бывала счастлива ни в девичестве, ни замужем. Муж ее, мелкий подрядчик, нанявшись строить небольшую лавку или дом для офицерской вдовы, собирал голь перекатную, сулил за работу сущие гроши, однако ж и на эти гроши норовил надуть своих оборванцев, за что

не раз бывал бит до крови. Время от времени супруг Катерины Егоровны исчезал, никому не сказавшись, неведомо куда, и возвращался только месяца два спустя, заросший, обтрепанный, исхудалый... Однажды эдак пропав, он и вовсе не вернулся, и с тех пор Катерина Егоровна даже и не знала толком, кем ей считать себя: мужней женой или соломенной вдовой? Но это было единственное, чего она не знала; насчет всего остального, что ни есть в мире, сведения Катерины Егоровны были пугающе полны и разнообразны.

— Я и об тебе, Авдотья Константиновна, знаю всю подноготную, — говорила Тетушке Катерина Егоровна. И правда: она именно знала о ней откуда-то всю подноготную, даже то, чего Авдотья Константиновна о себе не знала и предположить не могла. Она ни разу не бывала в доме старого князя, но почему-то знала и помнила повадки Луки Степановича, его любимые словечки и даже манеру оттопыривать упрямо нижнюю губу.

Помнила она и старого немца, отставного военного медика Клейнеке, за которого ревнивый князь Гедианов пристроил свою симпатию. Ведь сумел, отыскал ей жениха лет на десять старше себя, уговорил и свадьбу устроил, зная, что законный-то супруг, по дряхлости своей, вполне и во всех отношениях безопасен будет; мало того, Лука Степанович, к великому своему удовлетворению, пережил Клейнеке года на три... Так вот, — знала откуда-то Катерина Егоровна и Клейнеке; знала и те немецкие обидные слова, которые, забывшись, шептал покойник Авдотье Константиновне, бывало, наедине и без свидетелей... — а откуда знала, уму непостижимо!

— Фаш прошлый! Verflücht und zugenäht, eine bewegte Vergangenheit!¹ — твердо отчеканивая слога, произносил, бывало, Клейнеке, и пальцем помавал наставительно и жестко.

— Я мое прошлое не скрывала от вас, — ответствовала Авдотья Константиновна, выпрямляясь и сверкая глазами, но глядя почему-то мимо водянистых глаз законного супруга, на кисточку его ночного колпака. — Вы очень даже осведомлены об моем прошлом. Мое прошлое в карман не засунешь. Доходный дом четырехэтажный, — он ведь тоже мое прошлое, вы почему ж

¹ Черт возьми, бурное прошлое! (Нем.)

против него голос не возвышаете? И на Сашу моего вы тоже не коситесь, он вам не сделал ничего, Саша мой. Вы и об нем знали, су-дарь, я как есть чиста перед вами, никаких сюрпризов для вас нету и не было!

Да он и не спорил — какие сюрпризы? Безобидный, незлой был немец, царство ему небесное. Авдотья Константиновна родилась и выросла в Нарве, там немцев много, и она с детства исполнилась какого-то боязливого к ним почтения; с того и выйти за Клейнеке согласилась. Но откуда о частных с ним беседах знала Катерина Егоровна?

— Ты ровно под столом у нас сидела! — удивлялась она.

— Под столом! Ишь скажешь! — поджимала губы собеседница. — Мне это ни к чему. Я, коли надо, сквозь стенку увижу! Сквозь крышу услышу! Думаешь, не знаю я, кто тебе второго племянничка подарил?

— Я не скрываю, что Митя мне сын! — вспыхивает Авдотья Константиновна.

— Скрываешь, не скрываешь, а фамилия тебе — Клейнеке, Саше твоему — Бородин, Мите — Александров, а третьему знаешь какая фамилия будет?

— Какому-такому третьему? Бог с тобой, об чем ты?

— Не «об чем», а про жизнь говорю. Не бледней, не пужайся. Родишь ты еще одного сына, и фамилия ему будет Федоров. А что? Федор Александрович — человек мягкий, послушный, а что небогатый, так тебе своего добра хватит. Зато без умысла, без задней мысли человека, тянуть с тебя не будет; не тебя он, а ты его в руках будешь держать. А чтоб высоко не заносился, ты его не хозяином держи — любовником.

— Опять грех!

— Не согрешишь — не покаешься. Не теряйся, бабонька, два раза молода не будешь: кто смел, тот съел.

Любила Катерина Егоровна грубоватые, простецкие поговорки да присловья; похоже было, что иные она сама и выдумывала.

Вошла Луиза, компаньонка Авдотьи Константиновны, добрая и благонравная старая девушка, немка — из петербургских немцев; добровольная нянька — сперва Саши, теперь Саши и маленького Мити. Катерина Егоровна Луизу не любила, — с табурета поднялась, чинно поклонилась:

— Прощайте покуда, голубушка Авдотья Константиновна! — Выйдя из покоя, Катерина Егоровна делала несколько шумных шагов к лестнице, потом, оглядев-шись — не видит ли кто? — возвращалась к двери бесшумно, слушала: не скажут ли про нее гадость?

V

Что подглядит, что услышит, что нюхом учует. Хочешь не хочешь, а надобно ее приблизить и обласкать, и подарком убоготворить. Вот и про Федора Александровича Федорова ей ведомо. А уж как осторожна была на сей раз вдова. И так уже после рождения Митеньки сколько бывших знакомых от нее отвернулись, знать не хотят. Грех, грех... А как без греха? Жизни-то настоящей она, почитай, и в глаза не видела за жизнь свою... Перед отцом Сашиним робела и трепетала, до конца Вашим сиятельством величала. Немец Клейнеке, бескровные губы ниточкой, глаза жидкие от старческой слезы... — тот и вовсе стороной прошел. Фамилию свою ей на память об себе оставил да честное званье: вдова. Если бы не Саша, то все эти годы, с той поры, как из отцовского дома вышла, были бы годами одиночества. И когда зачастил к ней один приятель старого князя, помоложе да поразвязней, и ведь тоже князь, — так запросило сердце тепла и ласки, так взволновалось жадное, изголодавшееся по любви тело, так откликнулась в ней каждая клеточка верою и надеждой на лживые, лениво-любезные признания... Родился братец Саше Бородину; пришлось побросать ассигнаций и направо и налево, и в середку, и пониже, и повыше, — право, точно в печку! — и был младенец крещен Дмитрием, а фамилию он получил в честь покойного императора: Александров.

Снова годы прошли. Теперь вот жильца к себе приблизила, Федорова, Федора Александровича. Отставной учитель немецкого языка, человек приличный, и уроками в благородных домах кое-что прирабатывает. О баловстве, о любви этой уже и мысли нет... Почти нет. Но трудно, невозможно тяжело женщине одинокой жить; дети — и те страдают. Ну, младшенькому-то пока еще немного нужно, но Саше! С утра до ночи вокруг него женские голоса, лица девчоночьи да бабы. До чего дело

дошло: стал он говорить о себе в женском роде. «Я хотела... Я думала...» — говорит, и ведь не шутя, а просто не замечая за собой: как другие вокруг, так и он, бедный! Не-ет, нужен, какой-никакой, мужчина в доме, голос нужен не писклявый, а басовитый, густой; да в самых обыкновенных делах надобен бывает мальчику советчик в штанах, а не в юбке!

И еще: Авдотья Константиновна всему сама училась: как мошка, где придется, там на лету и хватала. А Федор Александрович — человек ученый; он и Сашу на ноги поставит, подскажет, чему, где и как учить. Чем вот немцы хороши? Не тем, что они немцы, не тем, что умны, — а старательны, аккуратны и все как один учены.

А что Катерина Егоровна про третьего сына бает... Случаем не цыганка ли она? Кожа у ней смугловата. Что было — угадывает. Что будет? Посмотрим. А чему быть, того не миновать.

Луиза рядом сидит, громко вздыхает, Саше носки вяжет. Ей Федор Александрович тоже нравится. Он с ней по-немецки разговаривает. А она смеется, заливается. Не скажешь, чтобы он такой уж шутник был, когда по-русски изъясняется. Может, те же самые слова по-немецки смешнее выходят? А по какому-нибудь по-чухонски они, эти же самые слова, в тоску вгоняют? Надо будет Катерину Егоровну спросить, уж она знает.

VI

О них были предупреждены, их ждали. Федор Александрович, должно быть, опрокинул лишнюю рюмку накануне: именно в таких случаях он бывал суетлив, говорлив не в меру, и не только руки-ноги, но кажется и суставы пальцев двигались у него как-то неуправляемо, сами по себе. Авдотья Константиновна этих его состояний не любила, но сегодня от него и не то бы стерпела. Многого ожидала она от сегодняшнего знакомства — не для себя, нет: для Саши, для Александра, для милого сына, смышленного, белозубого, красивого. Вот он — все понимает, все чувствует, волнуется, — весь как струнка натянутая. А ведь ничего и не сказано ему, так, два слова: едем к приятелям Федора Александровича. А он и нескáзанное, как музыку свою, чувствует, прямо слышит

и ласку, и беду, и тревогу, и ожидание. Глаза темные, отцовские, и еще темнеют от волнения. А теперь вот и ноготь кусает — нехорошо, это не надо. Да и я сама руки потираю, одна об другую, точно под рукомойником, — спохватывается Авдотья Константиновна, — ох, волнительно... Каков хозяин? Шутка ли сказать: в Александровском лицее родовитых отроков обучает, наставляет уму-разуму. Первому попавшему такое не доверят. Роман Петрович Шиглев... А от него уж зависит и самое наиглавнейшее знакомство: три сына у Роман Петровича, и один, Михаил, — Сашин погодок. Теперь, значит, ежели все сойдется, все друг дружке понравятся, никто ничего и ничем не испортит, — тогда Мишу Шиглева отпустят жить к Авдотье Константиновне. Он будет к гимназии готовиться вместе с Сашей, в четыре руки они на фортепьянах станут играть... Нужен друг мальчику моему, ох, нужен, — только бы не сорвалось...

...О них были предупреждены, их ждали, Федор Александрович не прихвастнул, не соврал ни даже на самую малость, говоря о своем коротком знакомстве с семейством Шиглевых. Авдотья Константиновна умела при случае не ударить лицом в грязь; и как ей понравились хозяин с хозяйкой, так и им были по душе ее скромность и здравомыслие. Федоров как-то успокоился и окреп: кстати оказалась предложенная мужчинам рюмка коньяку; чувствовал себя Федор Александрович в доме нестесненно.

И кто ж чуть было не испортил всего дела? Саша. Сразу по приезде его познакомили с мальчиками Шиглевыми: Владимиром, Николей и Мишей. Николя с Володи́ей тут же и ушли. Миша и Александр Бородин должны были, по лукавому замыслу взрослых, остаться вдвоем, чтобы наговориться и выяснить себе на первый раз друг друга без помех.

Роман Петрович через полчаса нашел их вцепившимися друг дружке в волосы...

Федор Александрович однажды при Мише Шиглеве рассказывал его родителям, что, находясь изо дня в день среди женщин, товарищем своих игр с малолетства имея девочку, свою кузину, Саша Бородин чуть ли и сам себя не начал принимать за девочку; во всяком случае начал говорить о себе: «Я придумала..., я сказала...» А какой даровитый, удивительно музыкальный, какой развитый мальчуган; ему непременно нужен сверстник, воспитан-

ный и одаренный... Миша Щиглев из всех длинных тирад папиного знакомого запомнил только историю с кузиной. Насмешник он был превеликий едва ль не с пеленок. Как только мальчики остались одни и преодолели неловкость первого знакомства, Миша вдруг широко раскрыл глаза, отступил на два шага, изображая своей маленькой коренастой фигуркой радостное удивление, и сказал нараспев:

— А кто же это такая к нам пожаловала? А кто ж нам сделала такое одолжение? А-а, это же Саша Бородин к нам пришла, это Сашенька нас осчастливила...

Александр оторопел, он даже не сразу сообразил, что над ним издеваются, — а сообразив, бросился ястребом на плотного, низенького Щиглева...

Драться не умели ни он, ни его обидчик. Тем ожесточеннее тузили они друг друга, нелепо и бестолково тыча кулаками куда попало. Вскоре оба оказались на полу, барахтались, неумело пугали один другого:

— Я тебе покажу!

— Видали такого? Покажет он! Пока ты мне покажешь, от тебя... мокрого... места не останется.

— А, так ты за волосы! Ну постой...

— Сам первый за волосы! Щиплется... как девчонка.

— А ты... ты хуже девчонки!

— Кто хуже?

— Да ты, кто же...

— Так-так, гм... Знакомство, я вижу, состоялось.

Ноги в блестящих туфлях, в широких клетчатых брючинах возвышались перед их глазами.

— Пап, не сердитесь. Это мы так, в шутку! — сказал, вскакивая с полу, Миша Щиглев.

Поднялся и Бородин, еще более сконфуженный. Он был заметно выше своего противника, зато и казался рядом с этим крепышом худей, subtilней; кровь прилила к тонкой коже, он в самом деле был похож сейчас на девчонку: глаза темные, сверкающие, румяные нежные щеки горят.

— Я должен вам сказать, папа, это я первый начал...

— Нет, — вмешался Саша Бородин, — будьте добры не верить ему, первый начал не он, а я.

Если и были у Романа Петровича до этого кое-какие сомнения, то сейчас, в миг единый, ничего от них не осталось. Только грустно ему вдруг сделалось, точно сразу и бесповоротно что-то потерял, и именно сейчас пропажи

хватился. «Стареем, — вдруг сказал он себе, — совсем под гору пошло, покатилося».

Вошла Авдотья Константиновна и повеселевший Федоров за нею следом. И в два счета все было улажено: едет Миша с ними, жить будет у Авдотьи Константиновны, рядом с Сашей; учителя все будут приглашены на дом, а расходы по учению — пополам.

За ужином Саша Бородин, не чинясь нисколько, сел за фортепиано. Тут уж глаза у всех Щиглевых округлились. У них в семье Миша был на положении музыкального таланта и вундеркинда: лет с пяти он наигрывал кое-что на фортепианах по слуху, к семи прилично владел нотной грамотой и с тех пор учиться не переставал. Но Сашина игра была и осмысленней и верней, и когда мальчики с листа стали читать Гайдна в четыре руки, две из этих самых четырех рук — ладони Миши Щиглева — взлетели кверху:

— Сдаюсь! Отстал я! Не поспеваю!

Бородин поймал себя на желании наклониться и сказать ему на ухо: ага, мол, «наша Саша» победила! Но тут же он покраснел, будто уличенный в чем-то стыдном. Он не был из тех, кому нравится ножкою играть на груди побежденного. Он был из других.

VII

Кто не знал мальчишеской безоглядной и бескорыстной дружбы, тот не счастливее человека, во всю жизнь не испытывавшего чувства любви. У ней есть слабость, у мальчишеской дружбы: она не навек, она остается чаще всего там, где и родилась, — в детстве; но, может быть, эта слабость и есть ее сила?

Саша Бородин и Миша Щиглев говорили и не могли наговориться, шагали по улицам, дворам и закоулкам Петербурга — и не уставали, смеялись — и вдоволь высмеяться не умели. За фортепиано садясь, они никаких сложностей не боялись: чем трудней, тем лучше! Дружба была и каждодневным соперничеством: любое занятие приобретало интерес игры, азарт чудесный и заразительный. Однажды, в серый пасмурный день они побились об заклад: кто кого перескучает, перетоскует, перегорюет и перехандрит? И едва ли кто-либо, когда-либо и где-либо скучал с большим упоением. А кончилось все взрывом

хохота, — его сдерживали так долго, с трудом, с каким, наверное, ныряльщики, несчастные ловцы жемчуга, сдерживают под водою дыхание...

С этой дружбой и учиться было радостно. Все, что узнавалось, ложилось в душу без видимых усилий, занимало там, в уме и сердце, заранее назначенное и как бы лишь по недоразумению пустовавшее место. И почти каждым новым приобретением они успевали поиграть, перекинуться, как мячиком; в шутке ли, в споре ли, в вечернем мечтательном разговоре предмет успевал показаться и блеснуть то одной, то другой стороной, чтобы тем прочней занять навсегда свое место в памяти.

Немец Порман, учивший их на рояле, был педант. Мишу злили, из себя выводили бесконечные гаммы и арпеджио, нудные, опостылевшие упражнения. Саша принимал спокойно и с беспечностью и Пормана, и его арпеджио, и гаммы, и даже учительские придирки: ему было интересно.

Неинтересного вообще не существовало в доме, в Петербурге, на даче, на земле. Звуки, прежде всего звуки, потом — запахи: зелени, нагретого солнцем камня и дерева, деревенский дух конского навозу, который и зимой и летом пропитывал воздух столицы, запахи моря и Невы, приносимые ветром, — у него раздувались ноздри, — дразнящие ароматы готовившихся в кухне кушаний... Уши его были открыты для всех звонов, стуков, грохота экипажей, крика разносчиков, для благовеста церквей, для мешанины людских голосов, ругани, смеха, плача, и, конечно, для музыки, в каком бы обличье она ни явилась. И так же ненасытны были его глаза. И здесь была та же игра: кто больше увидит, кто раньше услышит, кто лучше поймет, передразнит, запомнит... Миша Щиглев с удивлением, но не испытывая ни малейшей досады, оказывался то и дело «вторым». Обидно не было, потому что с Александром второе место выходило почетным и внушительным, как бы стоящим по-своему первого: да-да, странная штука, а вот так уж выходило: в каждом состязании, и серьезном и шутилом, получалось как бы два победителя! Так казалось; но самое поразительное, что так оно и было.

Дом Авдотьи Константиновны Клейнеке выходил на Глазовую улицу четырьмя этажами, если же со двора посмотреть — этажей было уже пять. Прибавлялся нижний, цокольный, окошки которого были вровень с

землею и даже уходили под землю. От двора к улице почва подымалась, съедая как раз пол-этажа. В полуподвале, так же как и под самой крышей, были дешевые квартиры; в средних этажах жила публика состоятельная, все тут держали прислугу, а у двоих жильцов был даже свой выезд. Редко, но случалось, что семейство со второго или третьего этажа перебиралось вниз или наверх. А чтобы с первого или пятого этажа кто-нибудь переселился в середку, этого не было ни разу.

Жильцы первого, четвертого и пятого этажей первыми здоровались с домовладелицей; с квартирантами второго и третьего раскланивалась первая, наоборот, Авдотья Константиновна. Даже тогда, когда у них случались затруднения с деньгами, Тетушка говорила с ними терпеливо и ласково, почти нежно: «Помилуйте-с! Отчего и не обождать!»

С жильцами попроще разговор был другой.

— И рада бы, сударь мой, помочь, да сама нужду терплю.

Бывали и еще суровой приговоры, но тут дети изгонялись: «Миша, Александр! Ступайте, нечего вам тут слушать!»

Правда и то, что никаких других средств, кроме как доход от дома, у вдовы не было, а расходы росли. Одни учителя сколько вынесли конвертов с хрустящими бумажками внутри!

Сухо поблагодарив, угрюмо и нервно прятал гонорар Филадельфин, — бывший семинарист, дававший уроки чистописания, рисования и черчения. Лобастый высокий Александр Андреевич Скорюхов, отменный математик, деньги небрежно совал за пазуху.

— Толку не быть. Пропьет, все как есть пропьет, — говаривала, наблюдая из окошка за выходившим математиком, Катерина Егоровна.

— Его деньги теперь — не мои; его над ними и воля, — обыкновенно отвечала Тетушка, но настроение у ней портилось. Она не любила, когда деньги уходили впустую, и ассигнации эти, которые только что, минуту назад, принадлежали ей, так вдруг становилось жалко, хоть плачь!

Степанов, учитель русского языка, истории и географии, брать деньги конфузился и выходил каждый раз от Тетушки, озираясь по сторонам, словно в кармане его были не им самим заработанные рубли, а краденые столовые ложки.

В тех же самых случаях Джон Ропер, англичанин, простоватый и добродушный, бывал доволен необычайно и благодарил Авдотью Константиновну горячо, пространно, то и дело прося у ней ручку для поцелуя. Отчего-то по-восточному, пятясь спиной и наклоняя голову, прощался в подобные дни учитель французского, monsieur Béguin, о котором все та же Катерина Егоровна докладывала, что он известный всему Петербургу бильярдный игрок и жулик, а «в бильярд жулить несравненно трудней, нежели в карты».

Вообще Катерина Егоровна с ее невероятной осведомленностью становилась все нужней Тетушке; несколько раз Авдотья Константиновна уже поручала ей взимать недоимки с квартирантов, и не кого-нибудь другого — ее попросила уладить щекотливое и малоприятное дело с жильцом-литератором, которым заинтересовались в Третьем отделении. Братец Катерины Егоровны, Александр Егорович, тоже оказался полезен: он приходил со счетами и помогал владелице дома разобраться с запутанными финансами.

Когда ж у Авдотьи Константиновны родился третий сын — предсказанный и теоретически исчисленный Катериной Егоровной младенец Женя, Евгений Федорович Федоров, — престиж прорицательницы возрос необыкновенно. Вскоре братец ее уже именовался управляющим, а сама она приняла обязанности экономки, оттеснив немку Луизу, старого друга дома. И лишь в одном Авдотья Константиновна оказалась непоколебима: вовсе расстаться со своей компаньонкой, странноватой, доброй и некрасивой петербургской немкой, она не пожелала. И хотя Луиза и Катерина Егоровна инстинктивно с первой же встречи невзлюбили друг друга, устранить эту преграду новая экономка так до конца и не смогла. Тетушку ей и удалось бы, может быть, настроить против Луизы, но дети любили свою подругу и няньку. И она в них души не чаяла, особенно в старшем, — точно он был ее первенцем. Нелюбовь, как и любовь, передается, подобно заразе: Саша набычившись глядел на недруга своей Луизы; Катерина Егоровна не знала, как к нему подойти, и это ее сердило.

В припадке ли дурного настроения или просто из всегдашнего желания поделиться своими многообразными сведениями, но однажды она сказала поселившемуся в доме Мише Щиглеву:

— Смотрю я на вас, батюшка мой барич, да все думаю, думаю. Как ваш родитель решился вас отдать на сторону-то, в чужой дом? Приятель ваш закадычный, Сашенька, — он и есть приятель: приятный такой. Уж я ли его не люблю... И матушку его... Ой, что это я, оговори-лась: тетушку! Саша-то, он из дворовых, года два как на волю отпущен... — проникательно наблюдая за коренастым лобастым мальчуганом, Катерина Егоровна вдруг с совершенной ясностью сообразила, что промахнулась, затеяв этот разговор. Больше того: она уж и понять не могла своей глупости и легкомыслия: для чего ей это все? Что за игра с мальчишкой несмысленным? Да еще который разиня рот, с обожанием смотрит на хозяйского сынка. Да ведь и ей Саша по душе. Поклясться можно, что в иные минуты она б его хотела иметь сыном. А вдове Клейнеке глаза повыцарапать за то, что у вдовы Клейнеке, а не у нее, Катерины Егоровны, такой сын...

— Сказать чтой-то хотела, — задумчиво сообщила она Мише Щиглеву, — и на тебе: забыла. Ум за разум зашел. Ты вот что... Ты с Бородиным с Сашей дружи. Ты ему, смотри, ножку не подставляй, я таких издаля вижу! Люби его как он тебя, и вечно будете друзья! — последняя фраза сама собой сочинилась у нее и соскочила с губ, — и такую показалась складной, удачной, разумной!

Когда Миша со смехом пересказал Бородину этот разговор, Саша не удивился. Ему и раньше приходилось слышать недобрые шепотки за спиной, оборванные фразы, сказанные, быть может, не для него, но о нем, о тайне его рождения. Чудаки, они не могли его обидеть, да и тайна для него не была тайной. Он помнил и даже умел изобразить старого князя: зачесет волосы на лоб, раздует щеки, выпятит губы. Он — незаконный сын? Не правда, просто у него был незаконный отец. Старый, властный, горячий как порох. И незлой. Саша помнит его рассказы о битвах, о великих и богатырских забавах былых времен. Похожие на сказку, то были первые уроки русской истории: спасибо князю, Александр Бородин их не забудет.

— Не будешь смеяться?

— Н-не знаю...

— Воля твоя, смейся. А я тебе хочу признаться, что я таким бываю старым стариком... как будто мне тридцать или там восемьдесят лет...

— Или сто восемьдесят...

— А что? Какая разница? Много. И кажется тогда, что со мной уже было все. Все — понимаешь ли ты? И ничего нового уже никогда не случится. А чего не было, то я в мыслях передумал, и когда оно наступит в самом деле, то и оно меня не удивит. Я даже влюблялся два раза.

Тут глаза Миши Щиглева загорелись сильнее, и он сказал нарочито небрежно:

— Подумаешь! А кто не влюблялся?

— Или вот, можешь себе вообразить, мы с кузиной моей, Мари, за ручки взявшись, однажды пришли к Тетушке: можно, мол, нам пожениться?

— Это когда-а было! — сказал Миша; блеск, появившийся в его взгляде, уже не исчезал.

— Давно было. Право, кажется: лет сто назад, еще до французов. Глянешь назад и не веришь: неужели ты, ты сам был таким смешным, таким глупым. Но почему-то стыдно не бывает.

— А чего стыдиться? Ты не один. Я тоже такой был, может, и еще глупее. Ну и что? Теперь-то мы другие.

— Да. А потом станем взрослые, лысые, с мутными глазами. Запутаемся во вранье, будем, палец посплюнув, денежку считать.

— Так вот никогда не быть этому! — воскликнул звенящим голосом Щиглев.

— Я знаю, что не быть, — сказал Саша. — Я часто думаю, какие мы станем. А иногда кажется опять, что все уже было, только до конца вспомнить не удастся. Вот знаешь, далеко-далеко... когда тебя почти что и не было, язык не умел разговаривать, и ничего даже и сегодня не можешь назвать словами. А вот сидит в тебе что-то от этого времени, и оно есть самое главное. И главнее уже не будет. Ты с каких пор себя помнишь? Не то, что рассказывали тебе про тебя, а с а м помнишь?

— Я помню, как отец меня пятилетнего в баню повел. И была грязь, осень или весна, не знаю, и на обратном пути я упал, и вернулся из бани как поросенок грязный, и все страшно смеялись.

— А я... не в этом доме, в другом, — однажды на балконе об железные перила с размаху головой ударился. Все думают, что я не помню. Они боялись, что я живой не останусь. Вот шрам, потрогай. Как подковка. На счастье. А я до сих пор слышу свой тогдашний рев. Я как стадо слонов ревел! Это я, наверно, в первый раз самого себя услышал, мне было удивительно, что я могу так кричать. Это было для меня такое чудо, что уже давно и замолчать можно было, а я все кричал, кричал. А потом я помню, как для князя люди пели, играли, как один играл на дудочке, а мой старик выхватил у него дудочку и сам дунул в нее так, что она просто криком закричала! — а тот человек опять как-то не так заиграл, и князь тогда опять выхватил у него дудку и сломал надвое, и кричал, и кашлял! он бешеный бывал иной раз, а так — ничего, добрый. Потом к нему приходили гости, нерусские, черноволосые, — и они вот так, на кончиках пальцев, на мысочках, быстро-быстро и красиво плясали, и два или три человека на бубне играли и еще на чем-то, не знаю, — помню только, музыка была такая, что каждая жилочка в тебе отдельно играет и взбрыкивает, и что-то гонит тебя двигаться, и песня — горлом, горлом, и бубен этот подстегивает, и в тебе от него словно бы лихорадка. Ужас как я разговорился. Это оттого, что ты в гимназию собираешься. Тогда тебе не до разговоров будет. Да и друзей себе... новых... найдешь...

— Ты... ты сам не веришь... Ну что ты такое говоришь! Ты мой единственный друг! Это решено навеки! — почти заикаясь, выпалил Миша. Он был счастлив: Бородин из-за него волновался, Бородин ревновал его к будущим гимназическим товарищам.

...А Саша не все ему рассказал, хотел сказать еще многое, но — нельзя было, язык не поворачивался. Однажды жилец, с четвертого этажа, тот, у которого лицо как моченое яблоко, кричал им с Мишей из окошка сверху: «Молокососы!» А Саша и вправду помнил, как молоко пил, матери молоко. И вкус помнил. Оно как-то сразу и сладкое было и солоноватое, и входило в тебя неровно, толчками как-то. И это не была еда, и не питье тоже, а прямо как свет и тепло, много тепла и много света... как

печка в мороз. Только что не было ничего — и вдруг ты живешь. И с каждым глотком живее становишься, и все сразу появляется... нет, это не укладывалось в слова. Как будто все, что вперед с тобой в жизни случится, все уже было в этих глотках.

Еще он помнил колыбельную. Сейчас Тетушка любит петь романсы под гитару, такие чувствительные, что слезу из слушателя выжимают. Саша в таких случаях убегает, — его почему-то душит смех. Князь, его отец, романсов не любил. А может, Тетушка их тогда не знала? Она все напевала сыну колыбельную, без слов: «А-а-а... а-а, а-а, а!» И в колыбельной этой — теперь казалось ему — было не меньше музыки, чем в Беетговене, и в Мейерберовых трех операх, и во всех сочинениях Гуммеля в придачу. Она ее не помнит, забыла, наверное: Мите и Ене ни разу ничего такого не пела...

Эта колыбельная, та пляска необыкновенная, ни на что не похожая, не то чтобы вспоминались, а всегда присутствовали в нем: так знание азбуки «сидит» в человеке, умеющем читать.

Иногда он казался себе совсем старым. А то — напротив вовсе. Закроет глаза — и снова маленький; взрослые люди, взрослые вещи возвышаются, уходят чуть не под облака, и в этой великанской стране так хочется, чтобы кто-то тебя пожалел, пригрел, на руках покачал, и слезы отчего-то теплые такие, щекотные копятся.

II

— Woher kommt hier der Brandgeruch? Ak, Feuer! Пожар!! Ich kann nicht mehr, больше невозможно жить в дизес квартиер!¹ О мой бок!

— И мой бок, и мой! — вскричал Саша, с страдающей миной хватаясь за правый бок.

— Этот кинд ист нефозможен! Я покидайт вас! — сказала Луизхен.

— Не покидайт! Пока я жив, я этого не допущу! — сказал Саша, но увидев, что Луизхен не на шутку рассердилась, подошел, обнял ее, закружил.

¹ Откуда здесь пахнет паленым? Ах, пожар... Я не могу больше... в этой квартире. (Нем.)

Луиза, готовая было заплакать, против своей воли заулыбалась. Разумнее, логичнее было бы заплакать. Но Александр смешил ее, и любовь к нему не давала ей быть рассудительной. Все же неподдельные слезы появились на смеющихся, добрых, близоруких глазах Луизхен, — слезы были от едкого дыма.

Саша Бородин подкрался к одному из дьявольских сосудов, что-то бросил в него; дым из серого стал желто-зеленым. Бежать, бежать нужно отсюда, добром забавы ребенка не кончатся, — а ведь какой был славный, послушный, примерный мальчик еще года два назад. Правда, Луиза некоторым образом и сама была повинна в происшедшей с ним перемене. Как-то она нашла в своих вещах маленькую и довольно старую, начала века, книжку с заманчивым названием: «Der magische Jugendfreund oder faßliche und unterhaltende Darstellung der natürlichen Zauberkünste und Taschenspielerenen von D-r J. H. M. Poppe, Rath und Professor in Frankfurt am Main», — что означало: «Волшебный друг юношей, или удобопонятное и занимательное изложение подлинного искусства чародеев и фокусников, исполненное доктором И. Х. М. Поппе, советником и профессором в Франкфурте на Майне». Во всяком случае, так перевел Саша Бородин своему другу Щиглеву название сей книжицы, донельзя истрепанной еще предыдущими поколениями любителей волшебной магии и чародейства. Миша понимал по-немецки не так хорошо, как Бородин, которого учила своему языку буквально с пеленок добрая Луизхен.

Франкфуртский советник и профессор д-р И. Х. М. Поппе хитрил: никакого чародейства в его книге не было, а были занимательные фокусы, все как один подробно объясненные разными физическими и химическими причинами; «волшебный друг юношей» и должен был приохотить отроков к серьезной науке. Что касается Саши Бородина, то с ним затея лукавого немца удалась, да еще и слишком. Потому что, перебив великое множество бутылей и склянок, с которыми он по таблицам доктора Поппе устраивал фокусы и опыты, измучив домашних призывами к вниманию и звоном битого стекла, Саша ничуть не остыл, а стал требовать все новых немецких книжек по химии, физике, все более странных и громоздких покупок. Другого мальчишку, пожалуй, и силой невозможно было заставить заниматься всем тем, что состав-

ляло теперь для него жгучий интерес и развлечение. Миша Щиглев тем временем поступил в Первую гимназию. Бородину туда доступа не было: требовалась бумага о дворянском происхождении... Как ни уверял Михаил, что ему нестерпимо скучно в гимназии, а видно было, что новая жизнь все больше поглощает его. Да и дел у него теперь набиралось столько, что они не давали даже музыкой заниматься по-прежнему. Саша остался бы в одиночестве, — но химия, его новое и из ряда вон выходящее увлечение, заняла все его досуги. Щиглева опыты Бородина мало интересовали; они теперь по-настоящему встречались за фортепиано, да еще перед сном...

«Динь-динь-динь...» — сама собой зазвенела какая-то стеклянная кастрюля; через трубку в нее из другой, опрокинутой и горбатой посуды что-то закапало, — значит, сейчас еще что-нибудь зашипит или взорвется. Вот наказание-то!

Луизхен схватилась за голову и выскочила из комнаты. И тут же влетела в дверь Тетушка, с тем же выражением лица, так же схватившись руками за голову, — точно там, за дверью, Луиза во мгновение ока превратилась в Тетушку под воздействием всей этой алхимии, чертовщины и колдовства.

— Вот я задам ему! Вот я ему... Кх-кх-кхка! Да тут — кх! — дышать нечем! Маленький мой, золотой, яхонтовый, котик мой сторублевый, ты себя задушишь! Кхекха! Пойдем, пойдем отсюда, я сейчас велю окна открыть. Что ж ты с собой делаешь! И с нами тоже. Ну, Саша, пораскинь умом, подумай сам. Я уж не говорю, что жильцы на вонь жалются, — но далеко ли в самом деле до пожара?

— Можно? Ого-го, дыму — как на Бородинском поле!

— Именно что на бородинском! Миша, голубчик, скажи хоть ты своему дружку, ведь вот живешь ты без этой... химии, — а почему? Потому что здоровью своему не враг.

— Он не потому... — сказал Александр.

— Я — не потому, — подтвердил Щиглев серьезно. — Я в ней как-то вкусу не найду. Вот музыка. Гайдн. Или — Мендельсон: и для ума, и для сердца. А в химии...

— Именно, — подхватила Тетушка, — именно что так: что ты в ней нашел? Хоть бы братьев своих младших по-

жалел. Еня, крошечка такусенькая, какво ему ароматы эти нюхать? Дитя, а и то понимает: чихнет и расплачется.

— Вот, Миша, учись, — сказал Бородин. — Дитя понимает в химии, а ты не бельмеса.

— Сашенька, это уж и некрасиво, в конце концов: все молчишь да отшучиваешься, отшучиваешься да молчишь.

— Я, Тетушка, не молчу, я вас перебить не решаюсь. А что я вам показать хотел... Вы такого сроду не видели. Это вам сюрприз. Миш, а ты куда?

— Уволь от твоих сюрпризов.

— Ну что ты, ничего громкого не будет.

— Что за сюрприз? — переводя подозрительный взгляд с одного на другого, сказала Тетушка.

— Не бойтесь, подойдите... Осторожно, не заденьте... гут тесновато... Ну? Как вам это понравится?

— На хрусталь смахивает... Иголочки... кубики... да блестят-то, блестят! Как же ты сделал это? А полировка до чего хорошая...

— Это кристаллы, Авдотья Константиновна.

— Ваша правда, Михаил Романович, кристаллы. А говорил, не понимаешь. Это, Тетушка, нерукотворные камушки. Сама природа сотворила... ну и я помог.

— Природа? От бога нешто? Не пойму я тебя, Саша, где мне. Ты уж того... играйся, ежели от бога. Да не спали ты нас, об одном прошу, смирюсь уж как-нибудь с вонью...

— В химии, Тетушка, и вонь — от бога! — сказал с важностью Александр.

III

— Я бы на твоём месте, Авдотья Константиновна, приглядела за Александром да поостерегла... кой от чего. Пятнадцатый год парню, голос петуха дает: самое опасное для ихнего брата время. Того гляди — влюбится, убежит, подерется; а не то на улице мальчишки обучат такому, от чего ноги сохнут. Ты не обманывайся, что он тихий: в тихом омуте, знаешь...

— Ишь чего придумала, — сказала вдова, раздосадованная и даже оскорбленная за своего любимца. — Может, у кого другого все и так, как ты расписала, а моему Саше время нету — дурить! Не твоего полета птица, не каркай!

— Вишь... хочешь как лучше, а тебя же и обвиноватят.

— То-то! Лучше... или не видишь: вздохнуть ему некогда, живет бегом, и ест, и только что не спит на бегу!

И правда: ему не хватало времени; он не знал еще, что эта нехватка написана ему на роду, суждена до последнего дыхания, до самой смерти.

С Мишей Щиглевым бежали они на Царскосельский вокзал. Поезд уже стоял и ждал их. Черный паровоз с длинной, раструбом, черной трубой пыхтел, отдувался, потом с жутким шумом выпускал огромное облако пара. Когда плотная пелена рассеивалась, из окошка паровоза выглядывало чумазое и смешливое лицо машиниста. Казалось, он забавлялся, заставляя огромную машину пыхтеть и отдуваться и тоненько свистеть — и теперь выглядывал, чтобы проверить впечатление от своей шутки. И острая зависть на мгновение переполняла мальчиков: так хотелось немедленно, сейчас же оказаться на месте этого веселого, чумазого, сильного, как бог, человека, шутя передвигающего по рельсам дома-вагоны!

Да, остро завидовать машинисту, чтобы через какой-то час-полтора, в Павловске, напрочь забыть чумазое божество для нового, блестящего и подлинно всемогущего. Иоганн Гунгль, маэстро. По мановению его смычка рождается, живет, вырастает до размеров грома или замирает музыка. Оркестр повинуется ему так, точно живот и смерть всех вместе и каждого музыканта в отдельности зависят от воли господина Гунгля. Куда до него Саше с Мишей! Дорости бы, дотянуться когда-нибудь до того флейтиста, смешно надувающего красные щеки. До виолончелиста, у которого колышутся в такт музыке важные седые бакенбарды. (И как сладко знать втайне, что ты вырастешь и заткнешь их всех за пояс, потому что ты будешь всегда такой же упругий, крепкий и юный, как сейчас, но только станешь в сто раз выше, сильнее и умнее!)

...Забыть обо всех. Услышать музыку, неделимую, сплавленную из многого в одно. «Буря в степи», отрывок из оды-симфонии Фелисьена Сезара Давида «Пустыня»... Не слушать, не слышать отдельно ни трубы, ни альта, ни скрипки; не помнить, что существуют фагот, валторна, флейта, тромбон. Забыть, где ты, впитывать в себя музыку, животворящую, ничем на свете не заменимую — как материнское молоко. «Давид использовал восточные, арабские подлинные мелодии», — веско роняет кто-то за

спиной с гордостью хорошо осведомленного человека; ах вот оно что, вот почему так непривычно уху, так раздражает и цепляет память: восточные... арабские... подлинные... На всю жизнь запомнить: восточные... подлинные...

Теребить и выпрашивать, замучивать вопросами учителей («А какая музыка у арабов?»), выпытывать у них все, что они знают, все, что собирались уже забыть. Просить, выклянчивать, требовать новых книг. Погружаться в них с головою.

— Саша! Сашенька! Александр!! Да не оглох ты часом? — нет, не дозваться Сашеньку, он здесь — и не здесь вовсе; бог весть где бродят сейчас его мысли.

...Возиться с гальваническими пластинками; составлять и пробовать акварельные краски; превращать жидкость в кристаллы, видимое — в невидимое; сотворять из холода — пламень, из теплого — лед. Делать то, чего не было. Создавать. Как творится музыка: из ничего, из воздуха и света, из печали и сладкой, самому еще неясной мечты.

Потом с Мишей играть в четыре руки Моцарта, ахать, изумляться, словно играешь и слышишь его впервые; потом бежать по улице — не потому, что куда-то опаздываешь, а потому что идти шагом — слишком медленно, слишком скучно. Бежать, как будто кто-то подгоняет, — и, кажется, не поспевать за самим собой.

Да, времени не хватало, как в сгущении грозы не хватает воздуха.

IV

Никакого не нужно особенного слуха, чтобы узнать их, не открывая глаз. Это даже легче, чем в оркестровом аккорде отделить разные инструменты, определить на слух взятую каждым ноту. Вот ровное, басовитое гудение. Шмель. Звук бархатистый, под стать роскошному его платью. Жужжанье пчелы гораздо тоньше, его хорошо, отдельно слышно, когда одна-две пчелы совсем рядом, перед носом, перелетают с цветка на цветок. Особенно в тот момент, когда она все взяла и срывается с места. Если недалеко от тебя — дорога от улья к тем местам, где пчелы кормятся, тогда мимо непрерывно проносятся два потока, один туда, другой обратно. Облачко набежит, запахнет дождем — гул меняется, все

спешат домой. Станет снова светло и ясно — и тут же опять загудел встречный поток. Саша уже знает, что переходить пчелам дорогу не стоит. Когда они разгневаны, характер музыки опять резко меняется, но тут уж слушателю надо уносить ноги, пока не поздно... Прекрасный, хотя и назойливый музыкант — комар, если слушать его без раздражения и опаски. А кузнечики разнообразней и лучше всех, Александр даже научился по стрекотанию различать несколько видов. Большие кузнечики и крохотные, ярко-зеленые и буроватые, под цвет выгоревшей травы, — они и выглядят как настоящие артисты, никто в поле и на лугу не может поспорить с ними изяществом, а поспорит, так проиграет. «Дз-з-з-з...» — вот эту крикунью он терпеть не может. Муха, толстая как купчиха, и не жужжит, а зудит, противно, надоедливо, прямо точно в ухе засела. А ведь красавица тоже, коли взглянуть без предубеждения: всеми цветами радуги сверкает... Уйди ты, уйди, проклятая! Нет. Не хочет. Придется все-таки встать, да и пора, сколько можно лежать лицом вверх, раскинув руки и трогая пальцами колючие травинки. Нужно искупаться, вот что. Купанье будет, конечно, не то, что утром. Но и до утра доживем. А пока...

— Саша! Не вздумай один ийти купаться! Подожди Александра Егоровича! — крикнула, заметив его, Тетушка.

Александр Егорович — это Тимофеев, управляющий Домом. Странно: только сейчас Саша сообразил, что давно уж произносит это слово, даже про себя, в уме, как бы с прописной буквы. Да и все вокруг него много лет подряд говорили о Доме особым, значительным тоном, как другие произносят, например: священная особа Государя императора. От Тетушки, от Луизы то и дело приходилось слышать: «Если Дом не подведет, поедем летом в деревню». «Что соберем с Дома — а не то половину учителей придется отпустить». «Вот тебе, Катерина, кацавейка к именинам. Старая, не взыщи: Дом ремонту требует...» Дом кормил, поил, обувал, Дом развлекал и учил, Дом платил за реторты и колбы, порошки и краски, и за музыку тоже он расплачивался: и за старое фортепиано, и за новую виолончель, и за ноты с музыкою Моцарта, Гуммеля, Мендельсона.

Дом определял, быть Матушке веселой или же сумрачной; но и настроение многих других мужчин и жен-

щин, начиная с Катерины Егоровны и кончая квартальным надзирателем, зависело от него же, от Дома. Да что — настроение! Жизнь, планы, мечты. Уж как хотелось Саше летом в деревню — а до последних дней только и слышалось обычное «Если бог даст...», подразумевавшее: если Дом даст.

Дом — уже не новый, пообтрепавшийся дом на Глазовой, четыре этажа глядят на улицу, пять во двор, — Дом на этот раз не обманул. Какое нынче раздолье в деревне! Какое солнце! Какое купание!

Купаться лучше всего рано-рано, утром, одному. Еще никто не вставал; за околицей видно облако пыли, — это пастух гонит стадо. Через огород, через длинные тени от плетня, через овраг, росистый и темный: утренняя, почти горизонтальная лучам в него не попасть, а вот в полдень отвесный солнечный луч попадает прямо на дно оврага, — как цепь с ведром уходит в колодец. С разбегу — вверх, из овражной сырости — на душистый луг; скорей, скорей, чтобы приречные кусты замелькали по сторонам тропы, словно ты на тройке разлетелся... На бегу уже сорвать с себя рубашу, теперь приостановиться на секунду — нет никого? Нет, кому тут быть в этот час! — и скинуть все, и нагишом: бултых! Вода ошпаривает кипятком, но через минуту уже кажется несколько не холодной, обнимает, охватывает ласково, — руки вылетают из воды, усеянные крохотными серебристыми пузырьками. И вода с двух сторон спадает с запястий и в какой-то миг напоминает широкий рукав халата. Какое тут сходство? Да почти никакого, а если и есть, то самое мимолетное... Но с этим рукавом халата, мелькнувшим в уме, сразу вспомнилось: все остановившееся, всегдашнее, зимнее. Нет, нет, решено: Александр Бородин — человек летний, он создан для лета, а лето — как нарочно для него. Только по недоразумению он не родился в Африке. Он, как нильский крокодил, вылезал бы из воды лишь затем, чтобы позавтракать.

...Кстати, о завтраке. Марш из воды! Саша! Кому говорят! Так он, бывало, командовал себе, но при этом продолжал плескаться. Вот если бы Тетушка или даже добрейшая Луиза так прикрикнули, он бы живо послушался. А самого себя слушаться неохота. ...Если бы они проведали о его утренних ваннах, ого, какой поднялся бы шум! Тетушка убеждена, что он дитя, что пусти его

одного — и он попадет под колеса, расшибется, утонет. Купаться днем его пускают только с сопровождающим. Например, с Александром Егоровичем. А тот готов Сашу на веревочке водить: «Тебе-то ничего, а мне, слышишь что с хозяйским дитем, знаешь что будет? Плещись-ка здесь, у бережка...» Деревенские парни смотрят на его купание, потешаются. Он — в неуклюжем, облипающем купальном костюме, топчется на мелководье, где речка курице по колено. Они — загорелые, вольные, прыгают с обрыва — вниз головой, а кто и брюхом об воду, а кто — «солдатином», составив ноги вместе, держась прямо, как солдат в карауле, — узкое смуглое тело входит в воду, как нож в масло. Но и у деревенских свои неприятности: матери, разыскав их, на всю округу ругают бездельниками, награждают подзатыльником на глазах у всех; тут и кончилась их воля...

Но — облака! Небо! Грибы и ягоды в лесу! Воздух! Свет и тепло! Деревенские псы, что виляют, все до одного, хвостом при встрече с Сашей! А вечерние гулянки парней и девушек! А хороводы, какие хороводы, какие песни удивительные подглядел и подслушал он тайком от всех: и от Тетушки, и от Луизы, и от деревенских, чтобы не прогнали.

На закате и в сумерках, когда уже одна-две звезды посвечивали среди зеленеющего неба, на поляне разжигали костер; и те же парни и девки, что днем кричали и говорили грубо, бранились нехорошо, — те же самые люди двигались в хороводе точно по воздуху, а не по земле; пели резко и громко, но складно на удивление. Грустные, тягучие песни пелись совсем по-другому, чем веселые и залихватские; в веселых почему-то чудилась тоска, а в печальных самые разнаигрустные места выводились с каким-то вызовом и тайным наслаждением, с необъяснимой радостью, которую Саша понимал и разделял. И все это — без никаких фортепиан; даже гармошки, даже балалайки нет — и не нужно. Ни разу Бородину не послышалось в этих песнях ни малейшей ненатуральности, фальши. Все было под стать здешнему широкому небу, широкой земле, шуму и шороху лесных веток, бульканью вечно кипящего ручья.

Саше только теперь вспомнилось, точно осветилось в темноте: он и раньше видел этот хоровод, слышал эти песни. Давным-давно, как будто года четыре ему было... может, пять... старый князь возил их в Тверскую гу-

бернию, в какое-то свое селцо, и там игрались для Луки Степановича песни, водились хороводы. И теперь невыразимой сладкой печалью отзывались эти звуки: точно в них лежала родина всех вещей, позабытое начало всему.

Но и, правду говоря, ясно было Саше, отчего он прячется и почему никто из взрослых его бы никогда к поляне не подпустил. Многое здесь не было рассчитано на ребячьи глаза и уши. Песни попадались такие, что хоть стой хоть падай; они-то лучше всего и запоминались; да и вся прелесть гулянья, вся лихость и тоска, вся нежность, вся удаль была — он видел — для того, чтобы сверкнули девичьи глаза, чтобы дрогнули губы, чтобы сердце ёкнуло. И сколько раз хоровод, чинный и плавный, переходил в неразбериху, в праздник убегания и погони, в задыхание то ли смеха, то ли плача? Однажды, сидя в своей «засаде», в кустах у поляны, совсем близко от себя, он увидел... стал невольным свидетелем и вовсе невозможного, стыдного, от чего убежал бы без оглядки — но как во сне, был потерян голос и способность к движению утратилась. Во рту пересохло. И он и она казались ему бессовестными без предела, а парень, здоровенный детина, еще и жестоким, точно он мстил своей подруге за что-то, хотел обидеть, унижить ее до конца. Что это не так, он понял, когда они уже уходили. Девушка запела высоким голосом. Лучше всех запела, кто певал на этой поляне. Потом было молчание, а потом Саша слышал, как парень тихим, виновато-счастливым голосом произнес: «Вот уж как я тебя люблю — у-ух! — разорвал и съел бы по кусочкам».

Почему им не стыдно? И — догадка, которой хватило на целую жизнь, догадка спасительная, обещавшая радость и чистоту всем, кому он будет дорог — через десять, двадцать, тридцать лет... «Не здесь стыд — стыд когда не любят. Я ждал, я думал, я смотрел — стыдно; я один тут и был бессовестный...» Но сделанное открытие было так велико и громадно, что бранить себя не хотелось. Обратной дороги от поляны он в тот раз не помнил.

...Странный и почти столько же запретный разговор двух дачников пришлось ему услышать, на этот раз на реке, — причем два немолодых господина остановились

рядом с его одеждой, и он замерз ожидать, когда они уйдут.

— Идея неперменного страдания надуманна и нелепа, — говорил один. — Почему я рожден для страданий? Из чего это следует? Я для радости рожден. Все христианство исходит из неверной посылки: именно из патологической идеи страдания, из болезней и бедности, возведенных в доблесть и добродетель. А православие наше — самая выродившаяся и бесплодная ветвь христианства. Оно и поладилось-то, чтобы не стеснять ничем власть князя, то бишь кесаря.

— Совершенно верно, — сказал другой, прихрамывающий и с палочкой в руке собеседник. — Православие наше связано корнями с самодержавием, никто этого и не скрывает. А то и другое, — извините мне самую неловкую банальность, — то и другое соединило племена России в народ и государство.

— Не клеветайте на русский народ. По-вашему, его основы — самый гнусный деспотизм да суеверие? Глупости.

— Я знаю, в вашем кругу быть патриотом предосудительно, а уж хорошо говорить о государе — преступление... Но потому народ русский никогда и не поймет таких, как вы.

— Да какую, бога ради, связь видите вы между русским народом и наследником ничтожных немецких князьков и герцогов? Вы, человек культурный, не можете не знать, что дом Романовых уже сто лет как нерусский, да и прежде-то русским был разве на четверть.

— Я имею в виду самую идею единовластия, бесконечно близкую крестьянству.

— Вас в этом ваши ярославские мужики убедили?

— Вы, кажется, наслаждаетесь тем, что самые ужасные вещи можете говорить мне совершенно безнаказанно.

— Да уж: с доносчиками не знаюсь, не беседую и руки им не подаю!

— Фу, стыд какой... Берите последнюю вашу фразу обратно: я ее не слышал! Спасибо хоть покраснели... Что касается болезней и страданий, то, разумеется, людей здоровых, молодых и красивых любить гораздо удобнее...

Они ушли наконец-то, продолжая разговаривать, вцепившись друг в друга мертвой хваткой; Саша дрожал, с ног до головы покрывшись гусиной кожей. Он не все понял в разговоре, но непонятное ложилось в память еще лучше, чем понятное, и ложилось навеки.

V

В этот раз в деревне он понял, что любит Петербург, Питер, любит свой город и ни на что не променяет. Город открылся ему не как случайное скопище людей, улиц, домов, а как что-то целое. Смотреть на одну улицу, а помнить, что за спиной и по сторонам — другие. Видеть больше, чем вмещает взгляд — видеть все то, что помнишь памятью прежних шагов и взглядов. Будто бы сразу и снизу смотришь, как все, и — с высокой колокольни. Или как птица, какая-нибудь городская ворона или галка, видит Петербург, пролетая. Так много одновременно, зараз видишь еще, бывает, во сне и не удивляешься. У города был свой воздух, — куда хуже лугового, лесного, сырой и мглистый. А свой, ни с каким другим не спутаешь. И родной, если ты дышал им с рождения. И среди городских балконов есть балкон, на котором ты упал и едва до смерти не расшибся, когда тебе было года два от роду. И ты помнишь свой крик. И есть улица, по которой ты вместе с Мари тащил настоящую, хотя и маленькую пушку. Которую никто больше не видел, в которую кроме тебя и Мари никто не верит. Но улица видела и знает, что пушечка-то была... Даже нищие и калеки на церковной паперти были знакомы ему по несколько лет — хорошо, что они все живы и остались такими же, как были; надо бы разбить копилку и раздать все, что там набралось.

Он не любил и не умел раздавать милостыню. Нищие — и бабы с младенцами, и жуткие калеки, и слепцы, и старухи — сразу угадывали, какие у тебя деньги, хватит им или нет. И если чувствовали, что ты пришел не с пустыми руками, то сразу окружали. И отталкивали друг друга, и говорили все сразу, и руки протягивали, у кого были руки, а потом начинали хвалить тебя и желать: «Дай тебе бог здоровья...», «Толстой невесты...», «Счастья-талана...», «Красавицы с приданым...», «Здоровья...», «Умница-мальчик, сохрани тебя

господь...» В другой раз денег у тебя не было, и они на тебя не глядели, верней, глядели, но не видели. Но это было лучше и легче, чем их униженная благодарность. Они унижались до края, ползали на коленях, кланялись до земли, руки пытались целовать, Саша не знал, зачем они так. Ужасно совестно было, что ты, такой молодой, здоровый, румяный, отдал им медяки, да и то не свои, а дареные, — полученные от Тетушки, от Луизы... Считай, что ничего не отдал, ничего своего, такого, чтоб тебе жалко было, что самому нужно. А они тебя хвалят, как будто ты лучший человек на свете. Стыдно до невозможности. Хоть сквозь землю провались.

Однажды он попробовал высказать все это Луизе.

— А ты не о себе, ты о них думай, — сказала она. Помолчала. И повторила — почти без акцента: — О себе не думай, а о них.

Он и то старался. Но вовсе не думать о себе не умел. Ему казалось, что все на него смотрят.

Он долго собирался выполнить свое решение: разбить копилку и раздать убогим мелочь. Все медлил, все собирался. А потом стало поздно. Улицы опустели, нищих с паперти как ветром сдуло. В Санкт-Петербург пришла холера.

Холеры боялись все. Безглазая, она косила направо и налево, не разбирая возраста, пола, вероисповедания. Холера рассекала все человеческие связи. Даже паровозам, могучим и огнедышащим, она заткнула глотки, поставила их на прикол. Вместо извозчиков и лихачей, вместо нарядных господских экипажей тянулись теперь по улицам фуры с мертвецами; конные жандармы посматривали с высоты на редких, все более редких прохожих. Больных выволакивали, как преступников, с полицией, везли в бараки. Замирала торговля, разлаживалась городская жизнь. Тем, кто вчера ел вполсыта, сегодня было вовсе нечего есть.

Тетушка в надлежащий момент умела быть энергичной и властной. Правда, что и квартальный надзиратель не забыл похрустывающих конвертов, полученных от домовладелицы, о чем следует, предупредил. Авдотья Константиновна успела запастись провизией и водой, да и жильцам многим подсказала; затем же распорядилась парадные двери запереть, черным ходом пускать только своих и здоровых. «Ты, Луиза, воду прокипяти лишней

раз, оно не помешает, — командовала она, — да за детьми пригляди, чтоб руки мыли щеткой, и упаси бог с кем чужим заговаривать, никого они и видеть не должны, меня да тебя, пока мы живы-здоровы, не сгладить бы...»

Насколько Катерина Егоровна суетлива — кажется, что и дышит она как-то вприпрыжку, — настолько ее брат, Александр Егорович, всегда нетороплив. Самая отчаянная неотложность не ускоряла его движений: он так же размеренно доставал тяжелую старую табакерку, нагружал нос понюшкою табаку, потом озабоченно и поморщиваясь прислушивался к чему-то в самом себе, собирал нос гармошкой, разворачивал громадный носовой платок и подносил его к лицу, чихал радостно и оглушительно, вытирал заслезившиеся глаза и затем уж провозглашал: «Слушаю вас, госпожа хорошая!» или: «Слушаю вас, господин хороший!» Возможно, эта серьезность, неторопливость манер и подкупили Тетушку... Управляющему доходным домом необходима солидность и неспешность. В отличие от сестрицы своей, любившей приложиться к рюмочке, Александр Егорович и не пил, разве только по большим праздникам. Воровать он, кажется, поворовывал, но нельзя ж от одного человека требовать разом всех совершенств! Да никто его и не ловил пока что за руку.

...Руки Александра Егоровича мало сказать дрожали: тряслись, ходили ходуном. Катерина Егоровна, вошедшая в гостиную вслед за братом, прикрикнула на него:

— Сядь! Экий ты... Экая из тебя баба вышла бы!

— Что с тобой, Александр Егорович? На тебе лица нет. Уж не... Уж не захворал ли ты часом? — спросила Тетушка, машинально отодвигаясь.

— Не выдумывай, хозяйка, мы не чумные. А ты, братец, ну-тко! Подайте ему рюмочку, укрепиться. И мне заодно. Вот, мальчик милый, спасибо, Саша, золотко мое.

— И гореть мне в геенне огненной! — произнес Александр Егорович и всхлипнул.

— Катерина! Ты-то хоть скажешь, что там у него стряслось? Может, с домом чего? А я и не знаю?

— Дом в порядке. Тут вот какая история... Народ волнуется, сама знаешь — холера... виноватых ищут. Отравители, бают, всему виной, воду травят в Неве и в колодцах, в муку чего-то там подсыпают...

— Ну?

— Ну и поймали, как водится, одного. Стекла на глазах, мундирчик — в нивирситете учится. Известное дело, поймали — стали поколачивать, щипать, друг дружку подзадоривать, а и без подзадорки злые все, злее некуда. Глядим — сей час растерзают малого.

— А я ж его знаю... — простонал Александр Егорович. — Он у моего старшенького репетитор был. Безобидное существо. Э-эх! Катерина...

— Что Катерина? Что Катерина? Если б не Катерина, ты бы знаешь где был? Авдотья Константиновна, голу-бушка, слушай: вот этот остолоп, значит, вылезит, будто его кто о чем спрашивает, и бормочет: я, мол, этого студента знаю.

— Я его знаю! Я знаю его! — повторил быстро опьяневший Тимофеев и стукнул по столу кулаком.

— А народ — зверь, чистый зверь, прям варнаки, душегубы, людоеды какие-то. И слышу я, гуторют вокруг: «Он его зна-ат... Еще один нашелся... Соопчник. Держи его, хватай, пока не убег! Откудова он отравителя зна-ат?» Ну, я кричу этому... Шепотом кричу: «Молчи, дурак, я твоих четверых растить не хочу! Молчи!» А сама, спасибо догадалась, пальцем в толпу, в самую середку указываю и людям подвываю: «Хватай его, вон он, который соопчник! Держи, не упускай!» Ну, соседи туда и кинулись, голосок-то мой знаешь, а больше и рассказывать нечего.

— А тот? Студент? — спросил Саша.

— Бедняга тот? — Катерина Егоровна протянула вперед, под свет масляного светильника, и разжала кулак. Все это время она сжимала мокрую, наверное, вспотевшую ладонь, а теперь вот разжала и протянула ближе к свету. — Вот. Пуговичка... откатилась...

Все смотрели на ладонь Катерины Егоровны как зачарованные. И вдруг заплакала, тоненько и некрасиво заголосила Луиза. Тогда зарыдал и Тимофеев; с ненавистью какой-то провел он несколько раз плачущим лицом по столу, словно стереть хотел, убрать все выступы, все черты свои, сделаться безликим.

В наступившей тишине пуговичка громко покатилась по полу.

...Если когда-то звук его голоса был сродни флейте, то теперь нужно бы говорить скорей о виолончели. Еще с год назад, когда в Петербурге объявилась холера, когда не то что были отменены концерты в университете и в Павловском воксале, но и вся жизнь точно замерла: без крайней нужды никто носу не высовывал на улицу; учителя — и те перестали ходить в дом... — тогда-то у Саши стал меняться голос. Он и раньше еще, бывало, «пускал петуха», но тут ему с месяц пришлось молчать и объясняться знаками, чтобы людей не смешить: до того голос был ломок и непослушен. А потом однажды утром, сразу и вдруг, Александр заговорил мягким ровным баритоном, словно и не было у него никогда никакого другого голоса. Над верхней губой у него пробивались усики; плечи раздалились; темные с поволокой глаза глядели смело и словно были освещены изнутри.

Однажды, когда вдвоем с Тетушкой они вышли прогуляться, Авдотья Константиновна вздумала по старой привычке перевести его за руку через улицу. Извозчицья пролетка остановилась перед ними, пережидая. С другой стороны навстречу им спешили прохожие. Александр вдруг увидел близко, рядом, девичье округлое и нежное лицо. Широко расставленные глаза, большие, серые, глянули на него, заискрились смехом, зажмурились. Барышня, глядя на него, смеялась! О, как резко выдернул Саша свою ладонь из Тетушкиной руки, как вспыхнули его щеки! Перейдя улицу, он обернулся, — оглянулось и девичье лицо, смеющееся и нежное.

— Не водите меня за ручку, я вам не маленький! — крикнул Саша Тетушке с внезапной враждебностью.

— Да что ты, Сашенька... разве я спорю? Не хочешь — ну и буду за ручку, бог с тобой, когда ж ты этак сердился?

Много ночей потом снилось ему это девичье лицо; вот оно оборачивается, глаза, серые, огромные, вспыхивают искрами, смеются — и жаром, жаром и стыдом, как волною, окатывает его с головы до ног...

Неясные радости, неясные тревоги томили Александра. Весною в Петербурге выдались небывалые, синие,

прозрачные дни; лед прошел на Неве празднично и гулко. Казалось, если разбежаться и подпрыгнуть как следует, то заденешь пальцами голубовато-серый, прохладный небосвод, и раздастся звон. Ощущение силы и свободы бродило в нем, он чувствовал, знал, что может своротить горы. Он грезил наяву славой, грядущими подвигами; кровь бежала в его жилах со звоном, как весенний ручей.

Миша Щиглев на вид был спокойней, но и в нем гуляла безвозбранно весна, и его молодой басок взвизывался, когда говорили они и мечтали о славе, о музыке и — если уж точно никто их не слышал — о любви.

Взрослые всё считали их маленькими, а может, притворялись, что считают. Как будто уговор был: вы, дети, вот за этой чертой ни-че-го не понимаете, не видите, не слышите, — ладно? Ну, ладно. Делали вид, что не понимают, не видят, не слышат. Но все понимали, все видели, все слышали. Луиза, разумеется, не догадывалась, что книжка, которую она тайком почитывала (хотя и помнила наизусть чуть не каждую страницу) известна и мальчикам. Книжка была немецкая, старая, старомодно-шутливая и слегка непристойная. Называлась она: «Über das Unglück allein zu sein und besonders allein zu schlaffen...» — «О несчастьи жить и в особенности спать в одиночестве...» Но и без нее, и без этой книжки они бы кое-что сообразили. Да что там — надо недоумком каким-нибудь быть, ненормальным, чтобы к пятнадцати годам не знать, зачем мальчики и девочки по-разному устроены. Они с Мишей важно рассуждали как-то: вот скучища-то была бы, если б мир сотворен был иначе! Если бы и вправду под капустой какой-нибудь людей находили бы, и были бы человеки ни то ни сё, не женщины и не мужчины. Вся прелесть вселенной пропала бы, не будь великой тайны, их ожидающей; все краски поблекли бы, все дороги лишились бы интересу!

Другое дело — они знали много такого, что поневоле узнаешь, живя в Петербурге. Видели на улицах «таких» женщин, знали про «такие» дома, слыхивали хвастливые и бесстыдные рассказы, после которых хотелось оттирать щеткой уши. Но вот что происходило: грязное к ним не приставало. Мало ли что видели, мало ли что слышали. «У нас все будет не так», «я не такой», — это была их вера непреложная, с этим они засыпали, с

этим поднимались утром. Так реки и живые озера сами собой очищаются от сора, от всего, что хозяйки в них льют и сыплют, и одаривают снова водой чистой, как божья слеза.

В это время окончательно покорила Бородина виолончель. Ее глубокий голос проникал в тебя, минуя преграды; не оставалось ни малейшего зазора между тобой и музыкой. Дерево излучало тепло. Там, в гулкой глубине, под благородной декой, не могло быть пустоты; музыка жила, томилась там плененной царевной: приди, вызволи из неволи!

А не то садился Александр за фортепиано. Играл поначалу знакомую, заученную, чужую пиесу. Но вот он чуть переиначивал мелодию. Дальше — больше. Он уходил в сторону от заученного, влетал в готовую канву новое, свое, — и, смотришь, не узнать немецкой музыки, с которой все началось! Отзвуки того, что с ним происходит, отсветы непонятной, будоражащей весны вошли в музыку и повернули ее по-своему.

Спасибо Федору Александровичу... кто он Саше? Отчим? Дядька? С сыном Федора Александровича все ясно: он, Женя, или, как все вокруг зовут его, Еня Федоров — брат Александра по матери... или — «брат по Тетушке»? если такие бывают... Так же как Митя Александров. Впрочем, с семейными отношениями в Доме натошак не разберешься. Во всяком случае, спасибо Федору Александровичу, что он всех восторженней слушает музыку Саши Бородина, и не только слушает. Это он нашел нотопечатню, сговорился с хозяином, взял цензурное разрешение и — вышло из печати первое сочинение «даровитого пятнадцатилетнего композитора», как вскоре же известила заметка в «Ведомостях Санкт-Петербургской полиции», у Федорова были знакомые и в этом листке. За издание платила Тетушка, но сколько же было радости, когда Федор Александрович, как мальчишка запыхавшийся, прибежал с готовыми и пахнувшими еще краской нотами! Надпись на обложке, сделанная по-французски и в обрамлении строгом и прелестном, какое и самому Мендельсону впору бы, сообщала, что композитор посвящает свое сочинение — «Адажио патетико» — Тетушке. Да за такое никаких денег не жалко. И музыка — считала Авдотья Константиновна — хорошая, ученая, но трогательная, за душу берет... Потому были выданы Федору Александровичу

средства на выпуск еще двух творений... как бы сказать: пасынка? Племянника? Ну, да как ни назови — славного, даровитого и доброго отрока, Саши Бородина. Для такого и похлопотать приятно.

VII

«Справка из Тверской казенной палаты.

Отделением Тверской казенной палаты 3 ноября 1849 года записан в Новоторжское 3-ей гильдии купечество вольноотпущенный поручика князя Луки Степановича Гедианова дворовый человек Саратовской губернии Балашевского уезда сельца Новоселок Александр Порфириев Бородин. Записка эта состоялась вследствие просьбы Бородина и представленных при оной отпускного акта и метрического свидетельства, по которым означенный Александр Порфириев Бородин...» — ну и того довольно, — сказала, переводя дух после долгого чтения, Авдотья Константиновна. — Чуть язык не поломала: Но и бумага того стоит. Ах, бумага ты бумага, казенная, гербовая, сурьезная, всем бумагам бумага. Да ты погляди на нее, Саша, возьми, пощупай, — ай не рад?

— Рад. Спасибо, Тетушка.

— То-то что рад. Сколько ездила, ходила, пороги обивала, а уж денег-то, денег на одни взятки пошло, страшно подумать, не то что сказать! Катерина Егоровна, возьми-ка красненькую да за шампанским пошли, не простой сегодня день, праздник! Хотела к рождению приноровить, маленько не поспела, ну да и так хорошо!

— Поздравляю, ваше степенство! — сказала экономка и дурашливо поклонилась Бородину. — Теперича есть и купе-ец у нас!

— А ты не смейся! — сказала Тетушка, сдвинув брови. — Был он дворовый человек, был вольноотпущенный, а теперь его голыми руками не возьмешь! Дай поцелую тебя, Сашенька. Да ты, я вижу никак в толк не возьмешь, какое тебе счастье привалило! Готовься теперь экзамен сдавать, за весь курс гимназии, вместе с Мишей Щиглевым кончишь, если постарайся. А там и дальше пойдешь учиться, куда только душа пожелает, — и все она, бумажка вот эта самая! А что купцом

дура дразнит — не бойсь, торговать тебя не заставит никто. Какой из тебя торговец — однажды, помнишь, уговаривал меня, чтобы с жильцов денег не брать? Купец ты мой липовый, душа нездешняя. Ну, пировать по такому случаю, зови Мишу за стол!

...Ночью Бородину не спалось. Стучал за окошком дождь, гремел, как сердитый мастеровой, жестью водосточных труб. Неожиданные, непрошенные, подступили к глазам слезы, он глотал их молча: не услышал бы кто, не подошел бы. Появись тут Тетушка — ведь испугалась бы до смерти. Саша всегда ровен, ясен; давным-давно никто не видел его плачущим...

«Отчего столько неправды скопилось вокруг меня, вокруг нас? — думал Александр. — Бумага, казенная бумага... и как только на одном-единственном листке уместилось столько вранья! «Родился в сельце Новоселки...» — а я не видал его ни разу. Не то что не видал — и не слышал о таком прежде. «Отец Порфирий Бородин...» Был такой, помню, но смутно, да и он меня знать не знает. «Мать — Татьяна Бородина...» Не встречал я ее в жизни моей. Дворовый человек... Купец третьей гильдии... Тверская палата... Саратовская губерния... Господи, одно на другое нанизано. Как цепь какая. А я — вот он я, не крепостной и не купец, а человек... молодой человек — с головой, с ногами и руками, с силой в руках, с мыслями в голове, с музыкой, которая внутри, во мне...» Отчего-то пискнуло в животе, и Саша, даром что лицо в слезах, засмеялся, вздохнул спокойнее. «Ты уж не пищи, пожалуйста, — сказал он своему животу. — Когда я о музыке думал, я вовсе не тебя имел в виду. И вообще — прилично ли перебивать печальные размышления своего хозяина?»

«Я еще такое сделаю, что они все ахнут, — думал он, почти насильно приводя себя в прежнее состояние. Нужно было догрустить до конца: так бывает необходимо довспомнить неоконченный сон. Что-то самое заветное, сладко-тоскливое не было досказано. — Все, все они ахнут... И забудется, и сгинет все это вранье, эти бумаги паршивые, это «ваше степенство». И — вот оно, главное-то! Если бы никто вокруг не врал, — Тетушка, ты знаешь... вы знаете? Тетушка, я бы подошел к вам при всех и сказал бы... я бы десять раз, и сто, и тысячу, между прочим, смеясь, небрежно эдак сказал бы... я всегда говорил бы вам: м а м а.

Он никогда еще не произносил вслух это слово, а сейчас прошептал: «Мама!» — громче: «Мама!» — еще громче... И слезы снова сами собой отворились, лицу стало горячо.

Скрипя, открылась дверь. С свечою в руке, в чем-то длинном и белом остановилась на пороге, не решилась дальше пройти Луиза.

— Что слутшилось, Саша?

Ах, ничего не случилось, Луизхен, ровным счетом ничего не случилось...

VIII

Эта вывеска: «Роберт Гедрим. Ноты и музыкальные инструменты» — манила Александра Бородина неотступно, он бродил вокруг да около, как сластена возле кондитерской. Вывеска была новая, имя владельца, выведенное золотом, сверкало. Новой, блестящей была и витрина за чистым, неправдоподобно прозрачным стеклом. На бледно-зеленом шелке в кажущемся беспорядке лежали солидные фолианты — оперные клавиры с готическими надписями на обложках, с золотым тиснением на корешках; ноты потоньше стояли раскрытыми на изящных новых пюпитрах. Вверху, на чем-то невидимом подвешенные, едва заметно покачивались две трубы и валторна. В углу на острой ножке-подставке стояла виолончель. Эта ножка поразила Бородина: ведь так просто, приделать к виолончели такую палочку, и можно ставить ее на пол, когда играешь, а не держать инструмент между колен! Если Роберт Гедрим сам до такого додумался, — молодец, ничего не скажешь!

Наконец, глубоко вдохнув воздух, — точно нырять собрался, — Саша решился войти. Звякнул колокольчик, дверь сама мягко затворилась за ним. К счастью, в магазине было немало народу, на него не обратили внимания.

— Ах, господин Гедрим, — говорила, слегка подвивая на каждом слове, дама, которая могла бы и не говорить так громко: она и без того бросалась в глаза, очень уж была толста. — Ах, дорогой мистер Гедрим, это магазин не для Гороховой, а для Невского! Помните мое слово, вы будете со временем поставщик двора его...

Дама принадлежала к людям, коим до смерти хочется привлекать к себе внимание, где бы они не находились. Притом ей хотелось, чтобы ее принимали за кого-то другого. В воображении она себя видела, наверное, в эту минуту столичной гранд-дамой, притом — только что из Парижа, без-зумно богатой, очаровательной и преисполненной доброты... По всему этому видно было, что тетенька из провинции, в Петербурге впервые, не ведающая, что творит, и нынче же, ежели не попридержит ее кто-нибудь сердобольный, быть ей осмеянной, одураченной, а быть может и ограбленной, причем она с готовностью сама же себя и грабить поможет... В другое время Бородин позабавился бы и произношением, и манерами дамы, и ее невероятной толщиной; он бы и рассказ придумал, в котором «сосватал» бы незнакомку Мише Шиглеву... Шиглев как раз все готов был простить девице, кроме излишней полноты. Да, это был бы славный, хотя и жестокий рассказ: женщина-баобаб, в пять обхватов, сгорает страстью к Михаилу Романовичу Шиглеву, увиденному из окна кареты: любовь с первого взгляда. Зная их с Бородиным дружбу, то есть проведая о ней, прекрасная избирает Александра вестником сердца... Все это и еще с три короба Александр придумал бы, да и придумал почти... но тут взгляд его уперся в то, что искал. «Александр Бородин» — его собственное имя глянуло с нотной обложки в глаза так, точно было написано огнем. Густо покраснев, он стал разглядывать для приличия другие ноты, то и дело, почти против воли, поворачивая голову, чтобы взглянуть туда.

Дама только-только выговорила, подвывая, последнее слово фразы. Что она без глаз, что ли? Неужели не видно, что перед ней не хозяин — обыкновенный приказчик? Усатенький, в манишке с бабочкой, склоненный человек с пробором точно посередине головы поднял на покупательницу выпяченные глаза и сказал:

— Просим прощенья-с! Мистер Гедрим отсутствуют-с! Все будет передано в лучшем виде-с! Еще что-нибудь угодно?

Ну да, конечно. Она была из людей, умеющих усугублять свои ошибки.

— Как? — воскликнула она. — Невежа, что ж ты молчишь? Я тут распинаюсь, как... А он... а он вовсе и не Роберт Гедрим!

В публике захихикали. Приказчик, разведя руками, отвернулся, он не мог позволить себе даже вежливой улыбки. Взгляд его упал на Бородин.

— Что-нибудь выбрал, мальчик? — небрежно и все еще внутренне усмехаясь, осведомился усатенький. В эту секунду Бородин был уже на стороне осмеянной. Приказчики и еще лакеи обожают, когда кто-нибудь из тех, перед кем они лебезят, опростоволосится. Пускай бы себе торжествовали, когда удастся. Но противно, когда на твоих глазах торжествуют исподтишка. «Я-то тебе не подам повода для веселья. Нет: я-то вам не подам повода для веселья, — быстро думал Бородин. — Подай-ка мне... Да нет же: подайте мне вон те ноты. И еще те, соседние... Гм... Это же моя собственная музыка. Не разглядел издали». «Это его собственная музыка, — зашущукаются покупатели. — Сам композитор между нами... Не может быть! Такой молодой! Надо запомнить... навсегда запомнить его имя: Александр Бородин». «Господин Бородин, господин композитор, — скажет, слегка подвывая, полная дама, изобразив восторг всей своей необъятной фигурой... — господин композитор, теперь мне не нужен даже сам Роберт Гедрим: я видела вас, с меня довольно...»

— С меня довольно! — строго сказал усатенький. — Пять минут я добиваюсь от тебя ответа, мальчик. Столбняк на тебя нашел, что ли?

— Столбняк. А как вы угадали? — сказал Бородин. — Это со мной бывает, как раз по пятницам. Скажите, а ваш... Роберт Гедрим тоже обращается к покупателям на «ты»?

Было слышно, как за спиной его еще раз звякнул колокольчик.

Федор Александрович сиял. Сияло его лицо, круглое, красное, слегка тронутое там и сям тоненькими морщинами. Все еще густая, по обыкновению нечесаная шеволюра, казалось, вот-вот рассеет ворох электрических искр. Нос, и без того курносый, был вздернут презабавно.

— Вот, понимаете ли, — размахивая газетным листом, возглашал он. — Вся Россия прочтет! Вся культурная, мыслящая часть общества... Единственная в империи серьезная частная газета. «Северная пчела».

А в ней — музыкальные новости. А в новостях. Нет ли чего интересного? Любопытненького? Посмотрим, прочитаем.

— А у нас умные люди эту газету называли... извините, не могу повторить... при дамах, — дерзко заметил Михаил Щиглев. — И про издателей ее нехорошо говорили.

— Клевета. Наветы, происки пасквилянтов. Я лично знаком с Фаддеем Венедиктовичем. Человек большого ума и таланту.

— Да про него и Пушкин писал...

— Вы! Что вы можете знать о Пушкине? Пушкин — мой ровесник, и скажем откровенно: погубило его непросити-тель-ное легкомыслие, слабость к женскому полу — да, да! — и дурные друзья. А ведь был бы талант первоклассный, под стать Карамзину! Но о чем бишь я... Миша! Миша! Голубчик, Миша, ты мне всю обедню испортил. Нет, не могу я так, в этом доме меня не ценят, мне и слова не дают сказать...

— Да бога ради... не буду я больше. Говорите!

— Говорите, — сказал огорченному Федорову и Саша Бородин. — Право, мы все просим.

— Ну, Федор Александрович, не ломайся, что уж! — добавила Тетушка веско.

— Что ж... если все просят... — промолвил Федоров и, кашлянув, поднес близко к глазам газету. — Единственная! Какая бы ни была, а единственная в своем роде частная газета. Просто не понимаю, как можно этого не видеть! На чем я остановился?

— Музыкальные новости, а в них...

— Именно вся Россия читает «Северную пчелу». Хоть и плюется, ежели кто чересчур разборчивый, а читает! Вся Россия, и прошу не спорить. Другого-то нынче и вовсе читать нечего...

— Да что с тобой сегодня, друг любезный! — сказала Тетушка, явно начиная выходить из терпения. — Нешто мы «Пчелку» не видели? Что ты нам преподнести хотел?

— А вот что... — начал было с прежней торжественностью Федоров, но губы у него вдруг запрыгали, как у обиженного мальчишки. — Нет, не могу. Настроение пропало. Возьмите сами, кто хочет. Нет-нет, Александр, только не ты. Лучше уж тогда вы, Авдотья Константиновна.

— Чудишь, Федор, право, чудишь, — сказала Тетушка. — Ну почему Саше-то газеты не дал? Да не обижайся ты сызнова... прочту. Где? Здесь? Ага. «На днях во вновь открытом магазине Роберта Гедрима поступило в продажу несколько весьма замечательных пьес для фортепиано. Особенного внимания, по нашему мнению, заслуживают сочинения даровитого шестнадцатилетнего композитора Александра Бородина...» Что, что?! Саша! Федор Александрович, душа моя! Ты... Да я этого тебе вовек не забуду... Да мне чтой-то и глаза застлало.

— Ну так давайте я прочту, — сказал Федоров, совершенно удовлетворенный произведенным эффектом и враз забывший недавнюю обиду. — Хм... даровитого шестнадцатилетнего... Особенного внимания, по нашему мнению, заслуживают сочинения даровитого шестнадцатилетнего композитора Александра Бородина: «*Fantasia per il piano sopra un motivo da Johan Hummel*» и этюд «*Le courant*», — то есть «Поток»: очень, очень удачное название, Саша, и фантазия по Гуммелю звучит именно с итальянским заглавием, это все для избранной, для самой что ни на есть высокой публики приманка! Потому как Италия — родина музыки...

— Федор, родненький, не томи — чита-ай! — воскликнула Тетушка.

— «Оба произведения проникнуты музыкальностью идей, изяществом отделки и прекрасным чувством юношеского сердца...»

— Слышишь, Саша, трогательно как? И все — правда, святая правда!

Саша отвернул голову от похвал, покраснел мучительно. Ему ужас как хотелось услышать, что там дальше.

— «Судя по первым опытам, можно надеяться, что имя нового композитора станет наряду с теми немногими именами, которые составляют украшение нашего музыкального репертуара». Это вам не полицейский листок! — вдруг с энтузиазмом произнес Федоров, оторвавшись от чтения, и поглядел с опаской на Шиглева.

— Да я... не спорю я, Федор Александрович, — смутился Миша. — «Пчелку» действительно везде читают... Я даже завидую, самую малость... И рад! Правда! Ах

ты, новый композитор! — он потрепал другу волосы и от избытка чувств дал ему легкого подзатыльника. Саша засмеялся, ему стало легче.

— «Мы тем охотнее приветствуем это юное национальное дарование, — продолжал Федоров, подчеркивая голосом каждое слово, — что поприще композитора начинается не польками и мазурками, а трудом положительным, обличающим в сочинении тонкий эстетический вкус и поэтическую душу. Дай бог успеха, а поприще великое, благородное... Есть где разгуляться юному, свежему дарованию!» Все. Недурственно, а? Только слово «поприще» вышло два раза подряд.

— Да хоть десять, раз оно к месту, — сказала Тетушка решительно. — Зря они только на польки напустились да на мазурки: тоже ведь музыка не хуже другой. Ну, да им там виднее... Эк тебя нахваливают, Саша, другой всю жизнь проживет, а слов таких про себя не услышит.

«Поприще великое, благородное...» Он раз десять перечитал и помнил наизусть сказанное о нем. Под «музыкальной новостью» стояла подпись прозрачно-тайнственная: «Ф-в». Хороший человек Федор Александрович. Путаник, любитель обсудить после рюмки вина высокие и высочайшие материи, не сказав (и не подумав!) при этом ничего предосудительного... а в сущности человек просто неприкаянный и добрый. Как посмотришь, для Бородин он сделал так много! Это через него, через Федорова, состоялось знакомство с Шиглевыми, с его легкой руки началась дружба с Мишей, ученье, учителя... Он отдавал Сашины сочинения в нотопечатню... Бородин спал уже. Ему снилось музыкальное поприще, великое и благородное. Оно смахивало на Семеновский плац, памятный с детства: такое же широкое, просторное, с высоким — может быть, от музыки, — небом. Луизхен, молодая и веселая, с жадностью слушала «военный музик». Множество оркестров шагали во всех направлениях, и в каждом играл на флейте, заводя от старания глаза под лоб, унтер-офицер Кузьма. И везде стояла знакомая медная пушечка, а они-то с Мари думали, что она потерялась. Вот же она, и в другом месте она же, и везде и всюду, куда ни посмотришь, была она. И палила, приседая от усердия, стреляла в такт музыке, вместо барабана. Сам же Бородин летел сверху, над поприщем великим и благородным, и дул в золотую

трубу — точь-в-точь как намалеванный на потолке в большой зале ангел. И где-то рядом летела, смеясь и подрагивая легкими стрекозиными крыльями, кузина Мари Готовцева.

И всю ночь он спал улыбаясь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Извольте знать, что доктор Чарный
Живет на улице Бочарной...

Стишок сочинился как-то сам собой, а теперь вот, при всей своей незначительности, не шел из головы; давно замечено: чем глупее, тем привязчивей. Так рассуждал про себя Саша... Впрочем: какой Саша? Александр Порфирьевич Бородин, студент Императорской Медико-хирургической академии. В доме доктора Чарного, действительно стоящем на Бочарной улице, тетка будущего медицинского светила занимает одну из самых просторных квартир. Да и то тесно: Авдотья Константиновна перебралась в этот дом на Выборгской стороне, поближе к месту занятий своего любимца, вместе с чадами и домочадцами. Садятся обедать — стола не хватает.

Во главе стола — место самой Авдотьи Константиновны. По правую руку от нее садится Федор Александрович; по левую руку, «ближе к сердцу», — первенец, студент, сокровище ненаглядное, кумир всего семейства, Александр. Сейчас его место свободно. А дальше, чинно, соблюдая старшинство и порядок, теснятся дети и взрослые, свои и гости. Сидит здесь грустная и милая, гладко причесанная Мари Готовцева, с которой Саша Бородин в незапамятные времена играл в куклы, давал домашние представления, с которой ссорился и мирился, сочинял путанные сказочные истории... Совсем невестой стала Мари, похорошела и погрустнела отчего-то... и очень даже кстати: в Петербурге как раз мода пошла на интересную бледность, томность и грусть. У Мари и кавалер сыскался, без пяти минут жених, Иван Максимович Сорокин. Он тоже на доктора учится. Молодой

человек, который вечно шутки шутит с видом столь серьезным, что поневоле за правду сочтешь. Но приятный, донельзя приятный человек, и главное — Саше добрый товарищ. И Михаил Романович Шиглев, молодой и способный музыкант, по-прежнему считает Бородину первым своим другом, а дом его — чуть ли не родным. Постаревшая Луиза, на круглом лице которой кроме привычного выражения доброты и достоинства появилось еще и испуганное что-то, словно она прислушивается к чему-то жуткому и еще не услышанному остальными... постаревшая Луиза приводит и усаживает на высоком полуигрушечном креслице самого младшего из сыновей Авдотьи Константиновны — Еню. До последней минуты шалит и путается под ногами средний из братьев, Митя Александров.

Громкое «апчхи», доносящееся из прихожей, возвещает о прибытии Александра Егоровича Тимофеева. Придя с улицы, он первым делом заряжает нос понюшкой табаку, чихает оглушительно и с видимым наслаждением, а затем уж говорит хозяйке: «Дозвольте ручку-с!» и здоровается с остальными. Он осунулся и как бы съезжился за последние годы, — точно некий тайный недуг не дает ему покою. А может быть, так только кажется, — оттого, что дети в доме все растут и растут? Тимофеев по-прежнему управляющий домом. Слово «дом» в квартире на Выборгской произносится все чаще не с прописной, а как бы с обыкновенной, строчной буквы. И в упоминаниях о нем сквозит не почтение, как раньше, а тревога и ожидание неприятностей. В употреблении нынче больше слова «жильцы», «квартиранты», — и все в окружении эпитетов нелестных и безрадостных. «Замучили должники проклятые, ох, замучили!» — жалуется Александр Егорович. Замечено: чем дольше управляет, чем больше суетится управляющий, тем больше почему-то беспорядку в собственном вдовы Клейнеке доме и тем меньше с него, с этого дома, доходу. Катерина Егоровна говорит со значением: «Приходится вертеться, коли некуда деться». Похоже, она только что и выдумала сама это присловье. Что-что, а вертеться Катерина Егоровна умеет. Но и она постарела и не так стала бойка и всеведуща, как прежде. Много времени и ухищрений требует от нее известный, устоявшийся плотно грешок. Вот и теперь она не удержалась, еще до обеда заглянула в рюмку,

да и заглянула-то основательно, со вниманием. Глазки ее поблескивают, — однако, встретив взгляд Авдотьи Константиновны, изображают совершеннейшую преданность и внимание.

Никто, в общем-то, и не сомневается в ее преданности. Лучшее доказательство неусыпных попечений экономки о благополучии семейства — вот оно, сидит на краешке табурета в самом конце стола, глазки в тарелку потупило. Звать его, доказательство, Аннушкой, лет ему, доказательству, — двадцать два, глаза у него серые с зеленцой, коса русая, тяжелая по-деревенски... Разве только дети по малолетству да сам Бородин — по неистребимой и наивной своей прямоте — не догадываются, зачем вдове Клейнеке так срочно понадобилась новая горничная. Уж если обступают юношу со всех сторон соблазны, от которых живому человеку не уйти, так пусть уж они, того... поближе будут, не без материнского присмотра и влияния. А кто советовал и торопил? Кто справки наводил? Кто подыскивал? Кто ж, как не Катерина Егоровна!

...Аннушка, по-видимому, обеспокоена долгим отсутствием Бородина, и ревнивый взгляд Авдотьи Константиновны тотчас это отмечает, причем удовольствие от успеха тонкого и далеко идущего замысла и глухое чувство вражды вспыхивают в ней одновременно. Никому и ни на йоту не хотелось бы уступать первенца, а уступать придется, приходится: не Аннушке, так другой...

— Что ж это они? Где ж это они запропали? — ни к кому не обращаясь, говорит Аннушка и густо краснеет: «они» — это Бородин, все другие давно на месте. Но и остальные домочадцы проявляют признаки нетерпения: обед давно ждет, однако ж по обычаю без Александра не начинают. И разговор не клеится; то один, то другой взглядывает на дверь.

Бородин вихрем врывается в столовую, проносится через нее в другие двери, оборачивается:

— Ко мне не приближаться, со мной целый букет: холера, оспа, чума, не желаете ли?

— Что это от тебя, в самом деле, дух какой-то не такой... — робко вопрошает Авдотья Константиновна.

— Не обращайтесь внимания, сейчас умоюсь. Это я мертвецов резал.

— Ахти господи, при детях, такие страсти!

— Какие страсти? Я из анатомического театра — учился, дело делал, — не воровал, не грабил, не возжелал жены ближнего моего, не...

— Не умывался... — подсказал Щиглев.

— Не остепенился ничуть... — в тон досказал Со-рокин.

— Миша, пожаловал, наконец, и Макся! Ты где про-падал? Мари не обижает ли тебя, дружище? Я ведь с ней по старой памяти и подраться могу! Аннушка! Виноват, Анна Тимофеевна, а вы чем так расстроены?

— Обед стынет... — произносит Аннушка, потупясь, и деревенский румянец на ее щеках выступает еще за-метней.

— Бегу, бегу, бегу. Чистый, на коленях приползу про-щения просить у всей честной компании. Как здоровье, Луизхен?

Растормошив и задев таким образом чуть не каждого, студент исчезает, долго моется, причем в столовую до-носится издали его безбожное фыркание вперемишку с обрывками итальянских арий. Наконец, он является умытый и в домашнем халате.

— Все еще не начинали? Да что ж это такое, в конце концов? Превращаете честного труженика в злодея и кровопийцу. Хотите, чтобы угрызения совести изгрызли и сожрали его целиком, в халате и с косточками...

Аннушка смотрит на него и не смотрит, вспыхивает и бледнеет.

Луиза сгоняет со своего лица выражение испуга, ста-рается забыть и забывает о боли, царапающей с неко-торых пор изнутри. Как будто маленький и деловитый зверек поселился в теле и возится, расширяет ходы своей норки... Она забыла, почти забыла об этом бес-престанном ужасном царапаньи: Саша пришел. Хорошо, что он учится на доктора. Ему будут верить больные, и уж он их веру не обманет... Но что это с ним? Что с тобой, Саша?

Ему хорошо сидеть рядом с этими людьми, в этом огромном семействе. Огромном и пестром. Здесь двое только не совсем по нѐм, хотя он против них ничего не имеет. Александр Егорович и Катерина Егоровна. Ос-тальных он любит, всех по-разному, но всех. И перво-

наперво: Тетушку... Луизхен... Мари... Митю... Еню смешного... Максю... Мишу... Аннушку... И они все любят его. И Аннушка? И она. Да, и она тоже.

«То-о-оже... о-о-оже... она-а-а... а-а-а-а...» — чудно, разве бывает у мыслей эхо? И какое протяжное эхо. Странное, своевольное. Рассыпает слова и перемешивает, как детские кубики. А Катерина Егоровна — ведьма. С клюкой, и нос врос в подбородок. Позвольте, но как же мы все не видели этого прежде? Ха-ха! Вы утверждаете, милостивая государыня, что вы — Аннушка? Но ведь вы только что были ведьмой Катериной Егоровной. Или я что-то путаю? У Гоголя, помните? Думали, что панночка, а она ведьма. Думали, Аннушка... а она... Екатерина Егорович... Что за чушь! За столом было столько народу, и все слилось в одно большое розовое лицо. Совершенно бессмысленное. Безликое. Голое, как плешь. Только что весело было, даже веселее обычного, точно лафиту выпил на праздник. И жарко было. А сейчас зябко, как на улице. И тут же пот прошибает. Что же это с ними со всеми! И с воздухом! И с этими стенами...

— Саша, ты почему не ешь? — спрашивает Авдотья Константиновна. И тут же выскакивает из-за стола, — тяжелый дубовый стул отлетает в сторону...

Но еще раньше Тетушки успевает к нему горничная Анна Тимофеевна, и в ее склоненное навстречу, свежее, перепуганное личико выдыхает Саше раскаленные слова:

— Ничего... Сейчас пройдет... Пу-стяки-и... — каждый звук, каждый слог нужно завоевывать отдельно. Он произносит уже не слова и не звуки, а огромные заглавные буквы, и каждая царапает и жжет ему горло. А нужно не только вытолкнуть эти буквы со всеми хвостами, завитушками, перекладами. Нужно из них составить депешу и успеть передать, срочно, Сорокину. Сорокин... В анатомке. Позвонок... гнилой... косточка, длинная-предлинная, попала сюда... под ноготь... Сорокин получит депешу, Сорокин поймет. Прощайте, господа, Аннушка, как я тебя не узнал, перепутал, ты ведь Аннушка, а не Катерина Егоровна... господи, как мне плохо...

Суетились, кричали, ахали, к еде никто так и не притронулся (кроме Ени и Мити); щупали пульс, отво-

ряли кровь; «чай, молоко, хорошо бы виноградного вина», это он слышал, потом кто-то произнес властно и резко: «трупный яд» — он эти слова очень хорошо расслышал из глубины той зыбкой трясины, в которую быстро погружался; и там уже, в самой середине беспамятства, он сказал беззвучно: «Так я и думал Аннушка будьте мне мамой или женой или сестрой или сам не знаю чем тем чего у меня никогда не было»; ему показалось, что он умирает, умирать было обидно; «Что ж ты, Сорокин!» — крикнул он с укоризной и заплакал.

И когда он очнулся через много дней, над ним опять было лицо Аннушки, наклоненное к нему, совсем близко, и дыхание ее было чисто, так дышит, наверное, снег весной, не в Петербурге, а в лесу; и хотя он был врач, он не решился сказать ей, что ему нужно, а она и сама поняла, и засмеялась, и сказала, что это вы, Александр Порфирьевич, глупые какие, я же за вами все время ходила, я вас всего знаю; и он заплакал опять от стыда и от бессилия, и Аннушка испугалась и позвала кого-то, а он стал после этого спать и просыпаться, и есть, и разговаривать с людьми, выскакивающими из небытия: с Тетушкой, с Луизой, Сорокиным, Щиглевым... и здоровье возвращалось, как сок просыпается в весеннем дереве; и она тоже приходила и уходила, и однажды она пришла и не ушла; и он все помнил ее слова, что она всего его знает, и он тоже узнал ее всю; и когда Тетушка однажды самолично собрала его в баню, — он не хотел этой щекочущей, бегущей по нему воды, потому что, казалось, вода смоев чудо ее прикосновений и ласк, и все, что помнили его ладони и пальцы, и живой трепет, который его кожа хранила каждой порой и клеточкой. Гордость и радость и здоровье вместе струились по его жилам, и находили отклик в Аннушке, и возвращались опять к нему новой нежностью и силой. Иногда они смеялись одновременно без всякой внешней причины; в эти первые дни они были как пьяные у всех на глазах и наивно думали, что тайна их никому не ведома; и Тетушка сказала Катерине Егоровне, что это уж слишком и как бы девица не забылась, а Катерина Егоровна успокоила, что-де, нет, не забудется, а забудется, так напомним...

К университетскому концерту готовились загодя. Щиглев разведывал у знакомых музыкантов, какова окончательно утвержденная программа. Доставались где-нибудь хоть самые простые переложения и проигрывались дома в четыре руки, да не раз, не два — а порою до бесчувствия, так что все наиболее любопытное, небывалое они успевали заучить на память, «обкричать» — по неправильному, но меткому словечку Щиглева или даже «замусолить»... Последнее выражение принадлежало Бородину, неподражаемому в искусстве самоподтрунивания. Ноты, разумеется, захватывались и с собою: в оркестре все звучало иначе, порой прямо-таки незнакомо, и следить за этими переменами было наслаждением. Гвоздем всякого университетского концерта считалась симфония; кроме нее, в программу включался обыкновенно и сольный номер для скрипки, фортепиано или виолончели; увертюра или вообще нечто умеренно-крупное давалось в завершение.

Время, когда начинались концерты, определено было раз и навсегда: час пополудни. Но по воскресениям уже часов с десяти-одиннадцати в актовом зале собирались музыканты, просачивались и самые нетерпеливые из публики.

Оркестранты проигрывали сложные куски своих партий, не слушая друг друга. Они вообще, словно токующие глухари, ничего и никого вроде бы не слышали, кроме самих себя. Из общей разноголосицы выскакивал вдруг длинный, путаный и страстный пассаж кларнета; или выделялись зычные возгласы тромбонов. Контрабасы сумрачно и безнадежно вздыхали в своем углу. Восточная томность проскальзывала в голосе гобоя, и тихой вкрадчивой фразой за спиною у скрипачей отвечала ему флейта. Что касается самих скрипачей, — смычки их то взлетали, то ныряли вниз, словно утлые лодчонки на морской волне. Фагот похрюкивал разнеженно и удовлетворенно. Крохотная флейта-пикколо свистала на немыслимой высоте, перекрывая все и вся резким звуком. Но вот чистый, звонкий клич трубы приковывал общее внимание. Звук сиял и не гнулся, прямой, как луч, бестрепетный, как клинок.

Этот разноречивый сам по себе казался Бородину прекрасным. Даже на гребне самой патетической музыки

оркестранты выглядели не более увлеченными, чем сейчас: тут пахло самозабвением. Так могли работать, забыв себя и все на свете, гордые строители Вавилонской башни... Подходил слугитель, обрывая мысли Бородина, разговоры Шиглева, разводил руками:

— Не велено, господа. Не положено, нельзя посторонним!

— Посторонним... — ворчал Шиглев. — Явись сюда Бетховен, и ему сказали бы: не велено!

— Ну, ты еще не совсем Бетховен.

— А ты?

— Я? Мне Бетховеном быть ни к чему, я — Бородин!

— Ну, знаешь ли...

— Что ты, что ты... Щегленок, дурной ты мой, я шутки шучу! Да нисколько не ставлю себя выше...

Тоска какая. Шиглев злился и ревновал. Когда-то он уходил в гимназию, а Саша оставался скучать дома. Сейчас, наоборот, уходил Бородин: Академия, химия, медицина, а теперь еще этот сверхбанальный роман, — любезный барин и румяная пастушка... Бородин больно ущипнул его за плечо:

— Перестань дуться. Посмотри-ка лучше: вон как раз входит Бетховен... и его пускают. Лохматый, это да. Но рябой или нет — отсюда не вижу.

— Это не Бетховен, — пробурчал, не торопясь оттаивать, Шиглев. — Это же Антон Рубинштейн, неужели ты его не узнал?

— Как бы я его узнал, ежели не видал ни разу?

— Ох знаешь ли, поотстал ты, пока этим своим трупным ядом заражался, в этих своих академиях торчал, с этими своими Аннушками развле... Ну чего ты вызверился? Бородин! Саша! Ну, вызови меня на дуэль, только не гляди этак... Пойдем, видишь, мы людям мешаем...

И правда: становилось тесно. Со всех сторон прибывала молодежь; многие пешком торопились через замерзшую Неву; настроение у всех праздничное; начинаются вопросы, восклицания, завязываются знакомства, обсуждается предстоящее.

— Господа, а много ли платят жалованья музыкантам?

— Ничего им не платят. Это для наших студентов считается за «музыкальные упражнения»; спасибо, что залу дают.

— А посторонние любители как же?

— Да так же и они. Довольно с них чести играть такую музыку. Третья симфония — даже для Бетго-вена вещь небывалая...

Время: начинают. Зал набит битком. Однако тишина такая, что приведи сюда человека с завязанными глазами — он решит, что вокруг нет никого.

И Бородин и Щиглев знают Третью бетховенскую симфонию наизусть. Десятки раз они ее проигрывали в четыре руки. Но как? По дешевенькому, облегченному переложению; оркестровой-то партитуры они, говоря откровенно, в глаза не видели. Темпы? Темпы тоже бра-лись не наверняка, и что-то они сейчас услышат?

В начале должны прозвучать два мощных аккорда. Ми-бемоль мажорная тоника. Один аккорд — на пер-вой, сильной доле трехдольного такта. И второй такой же. И ты уже предупрежден, нет: ты введен внутрь, в тональность, в ритм. Двумя ударами. Ну? Сколько ж можно тянуть? Когда же? И вот Карл Шуберт, виолон-челист и дирижер, подал знак. Раз! Еще: Раз! — и ни-каких больше подступов и подготовок: мелодия, та, жи-вая, упругая, столько раз звучавшая в мозгу, пошла себе тихонечко в первый раз — чтобы почти мгновенно набрать, удвоить и утроить свои силы, зазвенеть фор-тиссимо... Ч-черт, как это сделано!

После болезни каждое чувство его и ощущение обо-стрилось. Музыка, знакомая настолько, будто он сам ее сочинил когда-то, а теперь вот вспоминает, — бет-ховенская музыка сразу нащупала в нем оголенный нерв; мускулы сжимались непроизвольно, слезы высту-пали на глазах. Когда в середине скорбного, трагиче-ски-напряженного марша кто-то кашлянул, Бородин обернулся с гримасой такой ярости на лице, какой и сам в себе не подозревал. Разве только давным-давно, когда он впервые в жизни слышал оркестр — там, на Семеновском плацу, — музыка так же перевернула ему душу, так же раздвинула мир вширь и в глубину.

Как он аплодировал! И Щиглев потом жаловался: всю кожу на ладонях содрал. Другие не уступали им в горячности: глаза сияли, овации длились и длились. Чье-то мятое, значительное лицо оглядывалось из пер-вого ряда с неудовольствием. С таким пылом и вос-торгом в России следовало бы выражать лишь верно-

подданнические чувства. Не совсем по адресу и без прямой пользы расходуется воодушевление незрелой, несдержанной молодежи.

— Так ты разглядел того виолончелиста? — спрашивал Шиглев, когда они возвращались домой по оснеженным улицам.

— Что?

— Я говорю, ты разглядел Серова, Александра Николаевича, о котором я тебе три дня толкую, с которым я познакомился и тебя познакомлю, если хочешь...

— Что ты сказал?

— Саша, прости, но с тобой ангельское терпение лопнет. Где ты витаешь, в каких эмпиреях?

— Да ни в каких не в эмпиреях, — ответил Бородин с невольной досадой, — хочу, пока не забылось, еще раз Бетховена послушать.

Так и было: он шел и снова слушал Третью, Героическую симфонию с начала, восстанавливал в воображении все, стараясь не упустить ни малейшего оттенка, не выбросить случаем какую-нибудь реплику валторны или фагота. Еще... он никогда не признался бы в этом Шиглеву и никому другому... — он теперь знал, что музыка способна дать полноту жизни, испытанную тогда, с Аннушкой; догадайся кто-нибудь об этой его мысли, его обвинили бы, наверное, в кощунстве и бог знает в чем еще... а для него было бы кощунством сравнить испытанное тогда с другой, не столь могучей музыкой. То — и музыка, то и другое, и ничто больше, могло слить душу и тело и превратить их в один сгусток огня.

Они подходили к дому.

— Знаешь ли, Миша, — сказал Бородин Шиглеву, как бы очнувшись, — а ведь мы первые. Не было еще никогда в России таких оркестров, таких концертов.

— Как сказать... Бетховен в Питере весь, и не раз уже, сыгран.

— Да нет, не о том я... Оркестры прежние — или иностранцы, наемные музыканты, или крепостные. Согласись: не то же самое. А может и неправ я — но уж публики такой точно не бывало. Я давеча на лица в зале посмотрел. Другие люди. Не такие как раньше. И ведь нельзя ж, Миша, после того, что сегодня в университете было, просто разойтись по домам и жить дальше как ни в чем не бывало. Нельзя же?

— Нельзя! — подтвердил Михаил. — Как люблю я тебя, негодник, Бородин, алхимик ты чертов, сказать невозможно!

III

Никакого видимого отношения к Бетховену Зинин не имел. Людвиг ван Бетховен был немецкий композитор, умерший в Вене в 1827 году, когда Зинину исполнилось пятнадцать лет. Николай Николаевич Зинин к описываемому времени был русский ученый, ординарный профессор Медико-хирургической академии в Петербурге. Бетховена он, разумеется, знал, и не только по имени... но трудно было бы, собственно, назвать что-то, чего в свои сорок лет не знал бы профессор Зинин.

Через день после концерта в актовом зале университета, где исполнялась Третья симфония Бетховена, студент Александр Бородин подходил к кабинету профессора Зинина.

В юности, как только оказались смягчены детские правила и запреты, Бородин приучился спать немного: ему хватало пяти-шести часов, чтобы встать свежим и отдохнувшим. Но в последние две ночи он почти не смыкал глаз. Мысль, пришедшая после концерта: что нельзя жить дальше как прежде, — теребила, трепала его, не отпуская. С раскаянием думал Бородин, что до сих пор все больше подчинялся обстоятельствам и чужой воле. В самом деле, разве он пошел бы учиться на медика, если бы у Федорова и Тетушки не нашелся знакомый, служивший письмоводителем Медико-хирургической академии? Ну, скажем, нет худа без добра: здесь он слышал лекции Зинина, безусловно, лучшего химика в России. Вот он — случай отыскать призвание, от детских увлечений перекинуть мост к настоящему делу, какое могло бы всю жизнь оправдать и наполнить смыслом! Правда, он не пропускал давно уже лекций Зинина, правда и то, что в квартире на Выборгской он отвоевал чуланчик, где устроил себе нечто вроде лабораторийки. Но все это — вполсилы, лениво и вяло, рядом с другими занятиями. А надо бы давно уже сделать решительный выбор.

Бетховен... Та музыка, ослепительно-новая, разом шагнувшая далеко от всего, что было прежде ее, что

стояло рядом с ней, — та музыка не знала колебаний. Ступай хоть в огонь, но — к цели, вот что говорил Бетховен, или, во всяком случае, вот как его услышал и понял Бородин. Нужно было начинать новую жизнь, и Бетховен подталкивал Бородина к Зинину...

— Чем могу служить? — высоким своим тенорком сказал профессор. Так сказал, как будто пышноусый, в генеральском звании ученый сейчас и впрямь встанет и бросится «служить» юному, неоперившемуся студенту, своему посетителю. Смеется он, что ли?

Зинин смотрел на стоящего перед ним юношу, на чистое, чуть удлиненное, пожалуй что южного склада лицо, сильно порозовевшее от смущения. Глаза, черные и влажные, студенту явно удались. В них не было ни малейшего подобострастия и приниженности, — было волнение живое, не замутненное посторонними, побочными соображениями; отсюда, наверное, и ровное пламя, освещавшее взгляд изнутри. Под полными губами чернели усики, скромные. У профессора усы были большие и пушистые.

— Я имею просьбу к вам, ваше превосходительство, — вдруг четко и ясно выговорил Бородин.

— Отчего-то я так и подозревал, — откликнулся профессор дружелюбно. — Присаживайтесь. Выкладывайте вашу просьбу. Не робейте, ладно?

— Ладно, — сказал Бородин растерянно. И выпалил давно заготовленную фразу: — Я прошу позволения заниматься химией под вашим началом, в лаборатории!

— Та-ак... — протянул Зинин. И помрачнел. Молодой человек мог бы попросить чего полегче. Любимая наука была наиболее интимной, заветной частью жизни Николая Николаевича; все в нем автоматически срабатывало, ошестинивалось, чтобы защитить эту святыню от вторжения чужаков, от любопытства дилетантов и невежд, от легкомыслия непосвященных, от дурного глаза, от сквозняка. У Зинина были великолепные ученики, на них его ревность не распространялась, наоборот, они входили в магический круг. Но шуток и панибратства с любимым делом Зинин не простил бы и родному сыну. — М-да... Это, знаете ли, неожиданность. Ведь вы медик? Я не ошибаюсь? То есть врачевание избрали, так сказать, делом жизни?

— Я химию избрал делом... так сказать, жизни. Поэтому и к вам пришел, ваше превосходительство.

Недурно ответил. Хорошо, что осмелился передразнить профессорское «так сказать».

— Вы на каком же курсе?

— На третьем.

— Ну, любезный друг... — Зинин даже руками развел. — Третий курс! На полдороге профессию менять. Или — того хуже — совмещать два труднейших занятия... Несерьезно, не так ли?

— Вы мне отказать хотите, — не спросил, констатировал посетитель. И вдруг попросил с обезоруживающей искренностью: — Не надо, не отказывайте, пожалуйста. Я самую черную работу буду делать, все-все. Я вам не буду помехой, вот увидите.

Студент просил — но просителем не выглядел; казалось, что и речь-то он не о себе ведет, а о чем-то более серьезном и важном. Хотя, конечно, о чем бы ни говорили люди в этом возрасте, они все равно говорят о себе. Зинин улыбнулся, поймав себя на ворчливой, «старческой» мысли.

— Самую черную работу, говорите? — рассеянно повторил за посетителем профессор. — Никакой другой в химии пока что не водится! М-да... А вы хоть отдаете себе отчет в том, что в смысле... житейских благ наука сия ничего не сулит? Я не шучу. Самому скромному лекарю гарантированы такие доходы, какие и не снились первоклассному химику. Хотя это вам ясно?

— Мое решение вполне обдуманно.

— Ишь ты... решение. Но почему именно химия?

— Я с детства занимаюсь различными опытами... разумеется, пустяковыми: фокусы, фейерверки. Сейчас у меня дома устроена небольшая лаборатория.

— Посуду в Париже изволили покупать?

— Извините. Конечно, я выразился слишком громко. Не лаборатория, а так, закуток... в чулане.

— И чем же вы в этой... в этом чулане занимаетесь, что у вас получилось и получалось ли что-либо?

Несколько точных вопросов, и картина проясняется. Кустарщина, разумеется, и наивность. Но и смелость подкупающая. И потом, то, о чем он порассказал, работы требует: мальчик, похоже, не шутки шутит. Только теперь глухое волнение, нараставшее в течение разговора, «раскачалось» Николая Николаевича; это знакомое

каждому серьезному ученому необъяснимое, но сладостное и томительное предвкушение удачи, притом удачи верной; у Зинина, кажется, сердце начинает колотиться, точно у жениха на смотринах. Он прикрыл веки. Неразборчиво, словно для самого себя, забормотал: — Дилетантизм — любовь к науке, сопряженная с совершенным отсутствием понимания ее, он расплывается в своей любви по морю ведения и не может сосредоточиться; он доволен тем, что любит, и не достигает ничего, не печется ни о чем, ни даже о взаимной любви; это платоническая, романтическая страсть к науке, такая любовь к ней, от которой детей не бывает...

Последовало молчание. Напряженное молчание, грозившее через мгновение стать молчанием неприятным. Что он — не понял? Не знает, не читал? Или — испуган? Или — осуждает? Но тут Бородин заговорил.

— Каста ученых — *die Fachgelehrten*¹ — ученых по званию, по диплому, по чувству собственного достоинства, составляет совершенную противоположность дилетантов. Главнейший недостаток этой касты состоит в том, что она каста; второй недостаток — специализм, в котором затеряны ученые.

«Отбрил, и как отбрил! — весело изумлялся Зинин. — Это бы надо рассказывать по всему Петербургу. Нет, не посмею. Кто из нас спятил? Я-то — наверное. Читать наперегонки с почти незнакомым студентом запрещенного Герцена... Право, безумие...»

— Не все ученые принадлежат к цеховым ученым, — продолжал торопливо, наверное, боясь, что его перебьют, студент. — Без надежные цеховые — это решительные и отчаянные специалисты и схоластики — те, на которых намекал Жан-Поль, говоря: «Скоро поваренное искусство разовьется до того, что жарящий форели не будет уметь жарить карпа». Вот эти-то повара карпов и форелей составляют массу ученой касты, в которой творится все то, что требует долготерпения и душу мертву. Их в людей развить трудно, они — крайность одностороннего направления учености. Мало того, что они умрут в своей односторонности: они бревнами лежат на дороге всякого великого усовершенствования...

Пришлось прервать фразу: Зинин смеялся. Вздрагивали его усы, и плечам передавалась дрожь, смеялись

¹ Ученые специалисты (нем.)

глаза и губы. Ничего несмеющегося в профессоре не осталось. Саша не выдержал, приснул тоже.

Зинин вытер глаза платком. И заодно разгладил усы.

— Все-таки он и сам дилетант, хотя дилетант, что и говорить, гениальный, — сказал он. — Что, не согласны? Вижу, что не согласны. Ну, да будет время поговорить и об этом. Бревном на вашей дороге я лежать, пожалуй, не буду. А скажите-ка, друг мой, откуда именно теперь, не раньше и не позже, рраз — и решение: иду к Зинину? Что стряслось? Неудачи на медицинском поприще? Не стесняйтесь, говорите как на духу.

— На медицинском поприще никаких неудач, даю слово, — сказал Бородин. — А почему именно теперь? Сам не знаю.

Не скажешь ведь Зинину, что к химии его привела музыка?

IV

— Не пушу! — сказала Авдотья Константиновна, и для убедительности встала перед ними, широко расставив руки. — Метет. Хороший хозяин собаку не выпустит... Сашенька, Луиза который день не встает... лучше бы с ней посидел.

— Луиза меня прогнала. Не хочет, чтобы я на нее такую глядел. Чудак-человек. Хотя — и правда, глядеть больно. И помочь... ну то есть совершенно нечем.

— Что ж тут поделаешь? Воля божья. Шарф-то возьми теплый. И ты, Миша, гляди, не простынь.

— Мы привычные, не беспокойтесь, — отозвался Щиглев,

— Как не беспокоиться, — беспомощно сказала Авдотья Константиновна. — И охота на себе такую тяжесть таскать!

— Своя ноша не тянет, — ответил Бородин, взваливая на спину виолончель, укутанную в байковый мешок. Циглеву легче: у него скрипочка в удобном футляре.

— Не ждите нас, мы будем поздно, Тетушка, — уже в дверях предупредил Бородин.

— Только не утром, я тут с ума сойду...

На дворе, точно, мело. Ветер выносил из сумерек и цвырял в лицо охапками снег. Выскочила из снежной

пелены заиндевелая лошадиная морда, и только после этого слышен стал скрип и шорох саней. «Куды прешь, глаза пропил?» — выкрикнул из тьмы напряженный голос. Сани занесло на повороте, Бородин едва успел отскочить.

Пристала и, ожесточенно лая, пробежала шагов двадцать с ними рядом дворняга, но тут они вышли на лед Невы, и ветер так ударил, что, кажется, сдул собачонку. Шли боком и спиною вперед, отворачивая ихлестанные красные лица; перейдя Неву, остановились в затишке: отдышаться. Идти было недалеко — сравнительно: пересечь Шпалерную, Сергиевскую, по Кирочной налево свернуть, потом тут же направо — к Преображенскому собору. Рядом с собором, на том же Артиллерийском плацу, стоял деревянный дом Лисицына, он-то и был им нужен.

— Ну и мерзость, ну и дрянь погода, — сказал Щиглев.

— Не скажи. Я снег люблю. Лето, конечно, лучше всего, но уж коли зима, так по мне пускай будет снег, метель, мороз... Лишь бы не слякоть. Что сегодня у Гаврушкевича? Ты ходил в прошлый раз?

— То же, что и всегда. В прошлый раз было, разумею. Двойной квартет Спора, — народу много собралось... Гебель... Да, вот еще что: он сам аранжировал для октета «Арагонскую хоту» Глинки, но что-то там не ладилось, немцы роптали, Серов за хозяина вступался.

— Послушаем, — сказал Бородин.

— А может и поиграть доведется, — добавил Щиглев.

Втайне они надеялись, что не каждый в такую-то погоду отважится выйти из дому; в музыкантах обнаружится недостаток, и найдется для них место за пюпитром... Когда ж собиралось изрядное количество музыкантов первоклассных, им приходилось довольствоваться ролью слушателей.

Иван Иванович Гаврушкевич, чиновник Второго отделения собственной Его Величества канцелярии, был старый холостяк. На службе ему приходилось нелегко: в канцелярии недурно платили, не забывали денежными наградами и орденами, однако ж именно поэтому взаимное подсиживание достигло размеров бедствия. «Сморкнешься как-нибудь не так — жди доноса!» — шепотом признался однажды Иван Иванович и — смор-

щился, как лимон скушал. Впрочем, в домашних стенах он редко вспоминал службу: музыка, музыка была его богиня. Ничего не пожалел бы Гаврушкевич для своей страсти. Да и не жалел: держал для гостей лишнего альта и виолончель; заходивших на огонек музыкантов-любителей обхаживал и потчевал, словно членов царской фамилии. Сам он был музыкант невеликий, игрывал партию второй виолончели, пыхтя и потея от волнения. Вечера его сделались популярны, и в домике на Артиллерийском плацу¹ можно было встретить артистов первостатейных. Здесь бывал запросто виолончелист и музыкальный писатель Модест Дмитриевич Резвой («Мудрец! Член-корреспондент Академии Наук!» — шепотом говаривал на ухо новичкам хозяин дома). Афанасьев Николай Яковлевич — «Первая скрипка России!» — говорилось уже принародно, горделиво и вслух, и «первая скрипка» подтверждала тут же свою репутацию. Или Дробиш, виолончелист и альтист отменный, сын знаменитого крепостного капельмейстера, или скрипач Пиккель, или критик Серов, или Осип Карлович Гунке, товарищ самого Глинки, музыкальный педагог и писатель, указывались недавнему посетителю вечеров с тем же придыханием, с теми же превосходными эпитетами, — и нужно признать, все они стоили и придыхания, и громких эпитетов, и того тихого благоговения, каковое охватывало Ивана Ивановича в их присутствии.

— Батюшки, прикатились! — всплеснул руками Гаврушкевич, увидев две белые, заснеженные фигуры. — Экая горячность, экая любовь к искусству: люблю! Фекла, возьми-ка просуши ихние одежки, да утюгом прогладь, через тряпицу, сами не высохнут. Сегодня нет никого, юные друзья мои... Нет и, скорей всего, не будет. Музыкантам здоровье следует беречь — руки, носы, горлы... Хм... Или — горла? Ну, да не суть важно. А может, и еще какой сумасброд, вроде вас, отыщется. Тогда, с божьей помощью, квартет изобразим... Мендельсона, скажем. Я уж и забыл, когда в последний раз квартет играли. Меньше, чем квинтет, не выходит: сами наете, скрипачей, альтистов преизбыток, и никому не-

¹ По странному совпадению, в этом же самом «доме Лисицына Спаса Преображения» через десятилетие — осенью 1863 — ородин на музыкальном вечере у С. П. Боткина впервые встретился с Балакиревым, главой грядущей «Могучей кучки».

охота сложа руки сидеть. Слушать — оно неплохо, однако же играть и слушать лучше. Не так ли-с? А пельмешков Фекла налепила; придут, не придут, а пельмешки-то наготове. И бишоф ждет в графинчике. Решайте сами, господа: ежели есть надежда и желание сыграть, сами знаете — горячительного невозможно принимать... ни капли: стрóя уж того не будет, непременно вылезет фальшь и ритм собьется... это уж проверено. Так что решаем?

— Подождем, — сказал Бородин.

— А я непрочь погреться, — сказал Щиглев. — Замерз как собака. А болеть некогда.

— И то дело, — произнес Гаврушкевич с облегчением. Играть в компании с любителями хотя и пылкими, но еще не слишком преуспевшими в музыкальном искусстве, ему не улыбалось. Странное дело: когда он играл вторую виолончель рядом с великим артистом, он чувствовал, что и сам возвышается до божественного искусства; рядом же с любителями, нетвердо владеющими техникой, и он вдруг осознавал себя бедным дилетантом, которого участь в жизни — задрав голову, дивиться на сияющие вершины... С ним и в разговоре так было: с умным неведь откуда и в тебе являются мысли хоть куда, с дурнем говоря — сам на глазах глупеешь.

— Ага, обрадовались! — заметил Бородин. — Не оправдывайтесь, милейший Иван Иванович. Знаете вы историю про короля-дилетанта? Король учился играть на скрипке. Однажды он спрашивает своего учителя: к какому разряду скрипачей вы меня относите? Учитель отвечает: ко второму. Король заинтересовался: кого же вы еще причисляете к этому разряду? Артист отвечает ему: многих. Я, говорит, вообще делю род человеческий относительно скрипичной игры на три разряда: первый, самый большой — люди, не умеющие играть на скрипке; второй, довольно многочисленный — люди, не то чтоб умеющие играть, но любящие беспрестанно играть на скрипке; третий разряд очень беден, к нему относятся всего несколько человек, знающих музыку и изредка прекрасно играющих на скрипке. Вы, Ваше величество, конечно же, перешли из первого разряда во второй!

— Боже, как хорошо! Боже, как это верно! — обрадовался Гаврушкевич. — Ну да ведь я тоже отношусь ко второму разряду... — хозяин подождал возражений,

но их не последовало, и, внутренне разочарованный, Иван Иванович не удержался от упрека. — Я-то стар уже, а вы, Бородин, могли, могли бы претендовать и на третий.

Бородин почувствовал некоторое угрызение совести. Не то чтоб его достиг упрек Гаврушкевича. Он недоволен был тем, что рассказал хозяину дома анекдот, заимствованный из статьи Герцена «Дилетантизм в науке»; а ну как Иван Иванович станет кому-нибудь в своей канцелярии пересказывать его да и нападет на человека знающего... страшно подумать, что ему тогда могут приписать. Правда, статья — вернее, целый цикл из четырех статей — печатался лет десять назад в «Отечественных записках», Герцен жил еще тогда в России, и работа его была пропущена цензурой. Но Бородин-то читал и заучивал статью уже в списках; не рассказать, как обрадовало и распотешило его, когда они с Зининым обменивались — на память! — целыми кусками Искандерова сочинения.

— «Бишоф» в переводе на русский будет «епископ», — разглагольствовал между тем Гаврушкевич, — хотя и «епископ», по моему разумению, слово не совсем русское... Ну, да был бы напиток хорош. Тяпнем, господа! За настоящую камерную музыку, которая есть школа и даже университет для всякого серьезного музыканта!

Горячие пельмешки поспели кстати; хозяин, все еще уязвленный открывшейся ему и, увы, несомненной истиной о принадлежности своей «ко второму разряду», пил непривычно много и гостям подливал, не скупясь; «епископ» оказался крепче, чем можно было ожидать, и вскоре в столовой стоял такой гомон, будто здесь восседало не скромное, несостоявшееся к тому же, трио, а по крайней мере двойной квинтет.

— И вас я, Миша, тоже люблю и уважаю, но к Бородину у меня, извините, слабость, а он... А вы, — говорил хозяин, обращаясь к Бородину, — никак не бросьте свои шатания с флейтой, песенки пустейшие...

— Чем вам, добрейший Иван Иванович, флейта не угодила?

— Не флейта! Не флейта! Шатания ваши мне не годны! Знаю я эти вечера, знаю тамошнюю публику, знаю самолюбивца тамошние непомерные, любительские жлоки, зависть, шепотки... Знаю, что они поют из ве-

чера в вечер, — и Иван Иванович вдруг запел во всю глотку, явно кого-то передразнивая:

Нинелюди-мо наше мо-ре,
День и но-о-очь шумит оно-о-о,
В рrrра-ко-вом его прра-асто-rrре
Много бед па-агрребено!

Александр и Миша не сдержались — грохнули: больно похоже вышло, точь-в-точь манера знакомого певца-любителя; и странным образом в воздухе как будто даже пахнуло атмосферой другого дома, где владычествовали романсы Гурилева, где вечер за вечером звучали «Пловцы» Варламова и «Моряки» Вильбоа.

— Я и сам через все это прошел... — сказал Гаврушкевич не без грусти. Он обмяк, стал по-всегдашнему добродушен и слушал уже с благосклонностью рассказы Щиглева о том, как Бородин однажды провалился в какой-то погреб, в каменную яму, и он, Щиглев, совершенно потерявший товарища из виду, вдруг услышал звук флейты откуда-то из-под земли: это Саша, оправившись от падения, первым делом проверял, не случилось ли чего с его флейтой.

Александр в смущении хотел перевести разговор на другое, но Щиглева не так-то легко было сбить с однажды взятого направленья; «уличающим» тоном ябедника — или даже, скорей, старой сплетницы — он докладывал и о прочих «провинностях» друга; о том, как в одной компании Бородин непрерывно музицировал однажды на протяжении целых суток, причем другие-то участники ансамбля менялись, а он оставался; о том, что Бородин, влюбившись лет в девять в толстую и высокую особу, сочинил свой первый опус — польку «Элен», что в пятнадцать лет он уже напечатал небольшое свое сочинение; что в Академии у него нашлись «поклонники» и даже «оруженосцы», вроде Коли Егорова¹, который следует за ним от одного «музыкального дома» к другому, таская на спине бородинскую виолончель в байковом мешке...

Тут взоры обратились на эту самую виолончель; решено было все же употребить ее в дело, чтобы не оказалось, что она в такую погоду путешествовала через Неву зря; квартета не выйдет: во-первых, Фекла

¹ Егоров Н. Г. — будущий профессор физики, видный ученый.

ни на каком инструменте играть не научена, во-вторых, после возлияний и трио из них не составится; но пусть Бородин поиграет свои так называемые сочинения... Почему «так называемые» — обижается не Бородин, а Щиглев: у Саши закончено замечательное струнное трио в духе Глинки: «Чем тебя я огорчила», а еще романсы: «Красавица-рыбачка», «Слушайте, подруженьки, песенку мою», «Разлюбила красна девица»... В сопровождении — фортепиано и виолончель; Бородин садится и тут же пишет на клочке нотной бумаги партию виолончели для Гаврушкевича, сам садится за рояль; поет Щиглев; Гаврушкевича хвалят за то, как он прочитал с листа незнакомую музыку; Гаврушкевич, несколько принужденно, хвалит мелодию, а также и манеру исполнения Щиглева; Бородин наигрывает тему из своего недавно сочиненного фортепианного скерцо. «Это уже лучше», — говорит Гаврушкевич, «помешательство» которого носит вполне определенный, узкий характер: его страсть музыка инструментальная, камерная... И Фекла приносит новый графинчик и новую порцию дымящихся пельменей, как вдруг что-то невидимое толкает Бородина в грудь: он встает и говорит, что должен идти. Гаврушкевич не хочет его отпускать: вечер только-только начинается, у них такое тесное, такое дружелюбное общество, когда-то еще удастся без помехи поговорить и послушать друг друга. Бородин не может ничего объяснить: какая-то сила гонит его: домой, домой, скорее.

.. — А я уж думала, не успеешь... — шепотом, жарким и боязливым, встречает его Тетушка. — Иди, застанешь еще... Она так ждала тебя, так ждала...

В комнате Луизы фитиль, догорая, плавал в масляной плошке. Он подсел на край ее постели. Луиза выпростала из-под одеял горячую руку, погладила его. Ему показалось — он слышит ее лихорадочный пульс. Быстро-быстро, горячею быстро, заговорила она по-немецки. Мальчик не должен увлекаться вещами второстепенными, пусть он обещает, что построит свою жизнь разумно и логично, он может стать знаменитым доктором, богатым и всеми почитаемым человеком. Он не должен слишком влюбляться в первое попавшееся существо, нужно разумно и своевременно сделать достойную его партию. Луиза была торжественна: «Слушай твою Тетушку.., Грунд... основа жизни есть порья-

док вещей...» Бородину было до слез жаль Луизу и до слез же, до какого-то дикого отчаяния обидно, что последние мгновенья человеческой бедной, невеселой, самоотверженной жизни уходят на плоские, бессмысленные сентенции; если б мог, он бы заградил, защитил бы Луизхен от нее самой, не позволил бы ей тратить так безбожно эти драгоценные, уходящие секунды... Но что он знает? Может ли он здесь что-то решать за нее? Луиза словно бы услышала, разобрала его мысли. И внезапно сквозь заботу о порядке и благоразумии, о его будущей карьере и положении в обществе пробились, пробрезжили слова, в которых он узнал душу своей Луизхен. «Мой мальтшик, я так любила тебя маленького... Затшем ты вырос? Затшем я жила? Их бин тот, «я мертвая», — внятно сказала по-немецки Луизхен, повернула голову вправо и — умерла.

V

— «Салопы, мантильи, жилетки дамские, кофты, платья — ничто не может теперь обойтись без стекляруса. Даже самые дорогие кружева и блонды вышиваются ими...» — видишь, Авдотья Константиновна, не обманула я тебя, нужно бы взять еще больше стекляруса, — проговорила, отрываясь от чтения, Катерина Егоровна. — Да ты слушаешь ли меня?

— Слушаю, слушаю, — отвечала вдова рассеянно, — читай дальше.

— «Бальные туалеты. Белое платье из белого муар-антик, убранное воланами из белых блонд, которые вышиты белым стеклярусом. Лиф и рукава убраны блондами, также отяг... отягченными стеклярусом. Куафюра из белых блонд с длинными кистями стекляруса». Слышь, хозяйка, как тебе жених Машин? Макся этот? Иван Максимович Сорокин?

— Жених как жених. Не мне ж за него выходить.

— Зубоскал. С твоим-то он опять секретничал,

— Какие такие секреты?

— Да кто их знает, молодых? Неблагонадежный он, вот что я тебе скажу. Надёжи нет, что он жить будет как все. Знаешь, как он императора Павла Петровича назвал? «Удавленный».

— Так ты ж мне сама рассказывала, что его снурком удавили.

— Я с почтением рассказывала. С трепетом! А он надсмеается. Он и про нынешнего государя... Ой, идет кто-то. «Бархатное гранатного цвета платье, вышитое все стеклярусом гранатного цвета. На голове бархатная маленькая шляпка (ток), гранатного же цвета, вышитая стеклярусом и с перьями марабу. Платье черное из муар-антик...»

— Нет никого.

— «...расшитое цветами, спереди убрано черными кружевами со стеклярусом...» И впрямь. Видно, почудилось. Николай Павлович — веришь ли? — так прямо и говорит, душитель свободы, палач и сын палача, удушенного палачами. «На голове черные бархатные ленты, перемешанные с золотой тесьмой». Тебе чего, Аннушка?

— Убрать было велено.

— Опося уберешь. Не видишь — мы с хозяйкой заняты? Ступай пока.

— Да-да, ступай, — сказала и Авдотья Константиновна.

— «Визитный туалет. Черное муар-антик без всякого украшения; к нему черная маленькая бархатная мантилья, в виде пелеринки, только со швами на плечах, вся шитая стеклярусом, обшитая кругом широкими кружевами, на которых также нашит стеклярус. Шляпка синяя бархатная, вышитая стеклярусом...» Саша-то... красавицу свою зовет: маменька Анна Тимофеевна. Маменька, а?

— Ты про Сорокина говорила. Да про стеклярус читала. Вот и читай. Слух у тебя вострый, Катерина Егоровна. Даже чересчур.

— Да што-Сорокин? Болтает себе. А Саша больше молчит да шутки шутит. Я, говорит, тебе, Макся, завидую, а у меня, говорит, на эти дела время нет.

— На какие-такие дела? — грозно спросила Авдотья Константиновна.

— Да откуда ж мне знать? — сказала Катерина Егоровна, оробев. — Они промеж себя говорят, я у них в кармане не сидела. Я тебе почитаю лучше. «Темно-зеленое паплиновое платье, вышитое спереди шолком и стеклярусом; белый шолковый закрытый жилет, вышитый белым стеклярусом и застегнутый маленькими малахитовыми пуговками. Жабо и воротничок из алан-

сонских кружев. Бархатная зеленая курточка, вышитая вся зеленым стеклярусом. Шляпка из белого, гладкого, неразрезанного бархата, убранная широкой лентой с зубцами...» Я и то Луизе-покойнице наказала: Саша, говорю, к тебе прощаться придет, ты его и образумь.

— Об чем это ты? — Авдотья Константиновна и рукоделье бросила, уставилась на экономку.

— Скажи ему, говорю, чтоб не дурил, чтоб Анну близко не приближал, она ему не пара; чтобы по музыкам своим меньше бегал, а чтоб Тетушку слушал и начальству в глаза глядел. Ей-то все одно помирать, а выуноша последнюю волю послушает.

— Катерина! Креста на тебе нет! В такую минуту...

— Да что ж — минуту.. Из всякой минуты пользу можно достать. Я ж не для себя... Для себя я, что ли, старалась? «Соболь, как самый нарядный мех, имеет почет перед другими. Горностай в опале...» Гм... гм... А все ж-таки скажи, Авдотья Константиновна, Маше Готовцевой. Пускай жених ейный поостережется. Хорошо — я услышала, а ну другой кто? Времена-то строгие. Вишь, даже горностай в опале. Гм... так, значит... «горностай в опале. Кто желает иметь простой туалет для прогулки, то вместо шолку и бархату употребляет казимир и сукно, вместо соболей и кружев — бахрому и вышивку...»

— Довольно, Катерина Егоровна, устала я что-то. Там, поди, в буфете, в синем штофе... Побалуйся.

— За твое здоровье, милая ты моя, и за Александра, и Митеньки, и Ени, дай вам бог счастья...

— Да иди, иди уж, хватит тебе коверкаться, — сказала Авдотья Константиновна беззлобно. Все, кажется, могло выдержать ее сердце, кроме лести да похвалы: таяло.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Нам хоть какую переправу,
Перейдем ее на славу —

Марш!

— закрыть глаза, подумаешь, что горланит дюжий гвардеец, лихой рубака; но Бородин не закрывает глаз. Положив рядом с собой шапку, поет это обрубленный

человек, ноги отхвачены у него по самый пах; он привязан, прикручен к тележке с колесиками и смотрит снизу вверх, как ребенок, на проходящих, — лица мастеровых и барышень, чиновников и торговцев белеют высоко над ним, хмурые, сумеречные лица. Укоротила человека война чуть не вдвое, а голос весь остался. Кто-то, видно, сжалился и поднес ему шкалик: хмельные слезы катятся по его щекам; не допев, бросил он песню и завел другую, такую же зычную, такую же невозможно ему неподходящую:

Прощай де-е-евки-та, да прощай бабы,
Нам тепер-рича-то а-ах не до ва-ас,
Во солда-а-атушки-та, а-ах везут нас...

— Что ж ты, Аннушка, реवेशь? Пора бы и привыкнуть, — шепотом выговаривает Тетушка, бросив в шапку пятак.

— Не могу привыкнуть, — вздрогнув, тоже шепотом, отвечает сквозь слезы Аннушка.

И Бородин не может привыкнуть.

Близкий приятель его, Михаил Ледерле, ушел с четвертого курса Академии — попросился лекарем на фронт. Бородин рвался уйти вместе с ним, но что тут поднялось! Все надежды Тетушки рушились; в ней проснулись какие-то буйные, жестокие силы, каких она и сама в себе, должно быть, не знала; зубами, руками голыми она готова была защищать своего первенца от безличной и страшной власти государства, от военных вихрей, тащивших мужчин и юношей прямо в мясорубку... Если бы можно, Авдотья Константиновна не дала бы Александру в это время думать, говорить, не позволила б шагу ступить, обезволила бы, отняла у него все накопленные годы, вернула бы сына в предсуществование, укрыла бы в единственно надежном, единственно верном убежище, в себе самой, в чреве, в котором его носила, в котором омывала его и питала своей живою, алой, юной кровью. Времена в ее памяти как-то мешались минутами; боязнь потерять Сашу была такой острой, как тогда, сын казался так же беззащитен, так же неотделим от нее, и все остальное, все на свете, делалось так же неважно в сравнении с тревогой и беспокойством за свое дитя, за свою кровиночку родную... Но здравый смысл не изменял Авдотье Константиновне:

она искала и находила союзников где только могла; она велела Аннушке вьюном оплести, обвить и не пускать от себя Александра; не стыдилась учить, объяснять, как удержать полюбовника, как крепче привязать, смирить и подчинить бабьей сладкой власти... не до стыда ей было: спасти бы только, не уступить силе чужой, безглазой, прожорливой... Она набралась храбрости и пошла к Зинину; он-то и помог больше всех.

— Не отпущу! Кому-то и дело делать надо! — кричал он на Бородина высоким своим тенорком. — Лекарь из вас, смею думать, выйдет никудышный. Недоучка — и в Севастополе недоучка!

Профессор лукавил. Войне что ни дай, возьмет и перемелет, спасибо не скажет. Но Бородин, которого не могла теперь удержать от мужских трудных решений ни Тетушка, терявшая его естественно и необратимо, ни Аннушка со всей ее чудесной властью, Зинина послушался.

Шла вторая уже военная зима. Английские и французские корабли совсем недавно крейсировали верстах в тридцати от столицы. Если бы не минные заграждения — новинка, примененная русскими, — пришлось бы отбиваться Кронштадту и Свеаборгу, а там и до Петропавловской крепости недалеко... В Петербурге страшно вздорожали продукты, да и купить их становилось все трудней. Катерина Егоровна жаловалась Тетушке: Саша приводит и приводит в дом голодных товарищей, студентов Академии, понаехавших в столицу из своих углов. Где ж тут на всех напасешься?

— Уж больно простоват он, Саша-то. Улицу печкой не натопишь!

В журналах сравнивали защитников Севастополя с героями Илиады; в гостиных о них тоже говорили с подъемом, с чувством. Дамы из общества на благотворительных вечерах продавали безделушки; в сопровождении дорогостоящей улыбки цена всякой вещи удешевлялась; выручка предназначалась раненым воинам. Девушки из лучших семейств щипали корпию... куда только она девалась, нащипанная? Рассказывали, генерал Ковалев прислал из Крыма фортепиано, целиком, да еще в несколько слоев, обернутое в корпию: чтоб не побилось. А на передовой умирали легкораненые: кровь остановить, перевязать было нечем. Бывшие слушатели Медико-хирургической академии, теперь обретающиеся

на театре военных действий, присылали с оказией письма, от которых волосы вставали дыбом. Не смерть, не увечья пугали — без этого войны не бывает, да ведь и в Петербурге любой медик встречался со смертью повседневно. Мучали рассказы о перазберихе, подлости, казнокрадстве.

— Вот оно, когда внутренний турок раскрылся. Слышал выражение: «внутренний турок»? Точное, научное вполне, — говорил на ходу, как всегда, Сорокин, Макся, теперь уже законный, венчанный муж Машеньки Готовцевой. Он вечно куда-то спешил, Макся, жизнью жил таинственной, имел сведения самые верные, из первых рук. — Ах, с каким я умницей познакомился, если бы ты знал. Насчет внутреннего турка — его словцо... В Главном педагогическом учится, семинарист бывший. Какая голова, какое сердце!

— Давай уж перечисляй и дальше.

— Извини, Саша, насчет этого человека шутить таким образом непозволительно... даже тебе. Поэт ли он будет, мыслитель, практический деятель, — не знаю, но от него нужно ждать многого. Только б выжил...

— Ты имя обещал!

— Ничего я тебе не обещал; имя, впрочем, самое обыкновенное — Николай Александрович, фамилия тоже — обычная семинарская фамилия, таких сотни... Добролюбов. Да это все подождет: я о другом говорил: о внутреннем турке...

Макся больше говорил о политике, Бородин — меньше; но, в общем-то, в России никто уж не мог уйти от нее, как бы ни пытался. Война взбаламутила и перемешала все; точно суковатой палкой разворошили без жалости муравейник. Все, что немотствовало десятилетиями, теперь кричало в голос. Юродивые, вшивые и одичавшие правдоискатели на улицах были слышней разносчиков. Мужик, воюя и умирая каждодневно в схватке с тремя державами, стал не прежний, другой мужик. Проститутка улюлюкала, завидев светскую даму! Чиновники, грабя и обирая, завязанные крепостники, измываясь над своей челядью, измывались и крали с каким-то надломом, надрывом, точно напоследок душу отводили. Каждый знал — или чуял! — что жизнь, какой она была доселе, дальше оставаться не может, подошел последний предел — а что там, за ним?

Николай Николаевич Зинин не снимая носил теперь генеральский мундир, шпагу; ему часто приходилось бывать в военных ведомствах.

— Бестолочь! Бестолочь, свинство, головотяпство! — тоненько и свирепо кричал он, воротясь. — Когда ж всей этой свистопляске конец придет, а?

Он глядел на Бородин сердито, как будто именно его ученик был повинен во всей этой свистопляске, в свинстве и головотяпстве. Бородин знал, что Николай Николаевич работает с нитроглицерином, добывается его применения в деле — на фронте; однако ж лица, от которых это зависело, считали профессорские «причуды» и «фантазии» несвоевременными; их девственное невежество, издевательская вежливость, высокомерие и скука, каковую они даже не находили нужным скрывать, буквально отравили Зинину кровь.

— Господа военные одного лишь профессора — Пирогова — всерьез принимают, — взрывался он. — И то лишь потому, что втайне боятся оказаться его пациентами. Он ведь за строптивость может при случае и ручку, и ножку-с благородную оттяпать. Бог видит, я не кроважден. Но иным из наших военачальников голову можно было бы ампутировать без всякого вреда для умственных отправлений, — да-с, и нечего на меня так смотреть! Они кого хочешь доведут... до белого каления!

— Вы и вправду думаете, что Пирогов... что Николай Иванович конечности удаляет офицерам за непослушание?

Зинин фыркнул.

— Не совсем так... — сказал он ворчливо. — Не совсем. Должно быть, я ревную. О Пирогове вашем... Да — в вашем, в вашем, я не медик; был физиком, баловался механикой, ботаникой занимался, теперь химик... о чем бишь я? О Пирогове. Со всех сторон слышу о нем легенды, саги, сказания. И все потому, что человек в нужное время оказался на своем месте. Я согласен, чтобы обо мне никто не проронил ни слова. Но в трудный для России час могу и хочу быть полезен.

— Вот. А сами меня на флот не пустили, — напомнил Бородин.

— Из тех же соображений! Из тех же! Вам не терпится таким молодым петушком в похлебку попасть или — скажем торжественней, принести себя на алтарь... А может, у отечества на вас другие виды? И вы нужней ему окажетесь в другом качестве?

Вместо ответа Бородин замурлыкал песню. Без слов. Слова и так были известны Зинину. Песня, как-никак, звучала повсюду:

Жизни тот один достоин,
Кто на смерть всегда готов.
Православный русский воин
Не считая бьет врагов.

— Бородин, я не могу вас отпустить... Боюсь за вас и многого от вас ожидаю, — сказал упавшим голосом Зинин. — Вот, накричал на вас зачем-то... с разбегу. Идемте, покажете, что нового в лаборатории, «православный русский воин»...

Теперь он стал похож снова на прежнего Зинина, того, с которым бок о бок провел Бородин не так уж давно полтора летних месяца. Тогда война по всей видимости не приняла еще столь скверный оборот; в газетах пророчили русскому оружию скорую победу. Никто в ней поначалу и не сомневался. Со времен взятия Парижа Российская империя казалась всем и каждому могучей, непоколебимой; государство, похоже, играючи справлялось с любым проявлением непокорства, откуда бы ни шел вызов — извне или изнутри. Открывшиеся слабости и немощи управления, неразбериха, устарелость оружия и, как следствие, первые военные неудачи были словно гром с ясного неба: никто ничего подобного не ожидал!

Но прежде чем открылась предательская шаткость, ненадежность всего, что раньше признавалось нерушимо устойчивым, — во времена уже не мирные, но сравнительно беззаботные, — они сняли полдома у деревенского богатея и впервые имели досуг взглядеться друг в друга пристально, учитель и ученик. Тут стало ясно, что их вела друг к другу встречная и неутоленная потребность. В Бородине с младенческих лет душа ждала и требовала отцовского присутствия, отеческого внимания, строгости, ласки, доверия и возможности довериться без оглядки. А Зинину нужно было сына, такого, как

этот, чтобы тянулся навстречу, чтобы понимал почти без посредства слов, чтобы впитывал как губка; чтобы в этом сыне проглядывал и ученик, и равноправный товарищ, и — если повезет — удачливый соперник в науке.

Бородин никогда не допускал ни малейшей фамильярности по отношению к Зинину, но нередко спорил с ним, бывало что и слегка грубил — он по-мальчишески еще стеснялся своей любви к этому человеку, доходившей до обожания. Бородин оказался скоро вхож в дом Зинина, он как свой среди своих присутствовал на «посиделках» — так любовно-иронически именовались собрания русских ученых-химиков, их веселые, яростные, горячей кипятка, споры, происходившие у Зинина на дому.

Летом они вместе составляли гербарии, «ботанизировали», как говорил Зинин; деревенские разговоры и песни, закаты, бывало что и восходы, мелкие происшествия и философские откровения, запахи цветов и навозу, высыхающих трав навек соединялись с этим гербарием, вплетались в память. Оба были добры и смешливы, оба верили в себя и в Россию, оба не умели жить ничего не делая, в обоих нежность сочеталась с трезвостью понятий, и даже в старшем скепсис не поборол надежду.

Сколько он знал, старший! Нет, «знал» — не то слово. У него не было ни одного застывшего, отколотого от мира и сложенного в котомку знания; до чего ни коснись, Зинин был в середине узнавания и, казалось, не подозревал, чем дело кончится — да так оно и было: Зинин состоял не из ответов, а из вопросов, никогда не кончавшихся, из детского любопытства и... И — из того главного, что было в нем: сознания цели. Ни до, ни после встречи с-Зининым Бородин не сталкивался ни разу с человеком, в котором эта черта была бы развита столь отчетливо. Сознание, ощущение, чувство цели, большей, чем он сам, большей, чем вообще может вместить отдельная человеческая жизнь или жизнь одного поколения, высоко поднимало Зинина над мелочами, над неурядицами и неустройствами минуты, над личными неприятностями и потерями, надо всем, что так больно царапает и когтит, что способно расшатать, пустить под откос частную человеческую судьбу. Счастье и удача этой жизни состояли в том, что Зинину

некогда было заниматься собой. Назвать это самоотречением было бы, пожалуй, неверно: ведь Зинин находил в своем деле наслаждение и радость, доступные немногим.

Бородин хотел во всем походить на этого человека и ловил себя на том, что даже повторяет порой его любимые словечки и жесты. День, когда он не видел Зинина, не взглядывал украдкой на его крутой высоченный лоб, тускнел для Александра.

Только однажды меж ними пробежала черная кошка.

Бородин несколько раз захватывал с собой, идя в лабораторию, нотную бумагу. На четвертом курсе он сочинял во множестве фуги. Непостижимо, но в пору всеобщей смуты, в разгар военных бедствий его хватало и на это: музыку и музыкальные занятия он не бросал; не получалось, не мог бросить. Изобретение фуги оказалось делом азартным, захватывающим, как игра. Четыре голоса — у каждого своя собственная жизнь, но эти четыре жизни и самостоятельны, и зависимы друг от друга и от общего замысла; они идут каждый своей дорогой, но дороги эти переплетены... Голоса вели себя в руках Бородина как живые: они спрашивали с него изобретательности и остроумия, они то подчинялись, как воск, то упрямились, не давались, не пускали в одну сторону, а толкали в другую... Работа требовала соединить строгий расчет с мелодическим творчеством, науку с искусством, умение уступить неизбежному — с железной волей; fuga задавала увлекательнейшие головоломки!

И надо же было случиться, чтоб Николай Николаевич вернулся от военного начальства неожиданно как раз в то время, когда Бородин «отключился» от всего, заинтригованный поворотом событий в очередной, весьма неподатливой фуге.

Зинин был, как всегда после подобных визитов, не в духе. Все замерло в лаборатории, но Бородин так увлекся, что не слышал грозной наступившей тишины.

— Эт-то что такое? — раздался за его спиной знакомый тенористый голос, ставший от напряжения визгливым. — Что это такое, я вас спрашиваю?!

— Нотная бумага, — сказал Бородин. Он не испугался, но только ему было совестно, и вместе со смущением поднялась в нем жалость к учителю, смотревшему с болью.

— Господин Бородин, — выкрикнул Зинин все так же визгливо, — господин Бородин! Я и раньше слыхивал о ваших... увлечениях. Кто за двумя зайцами погонится, поймают... дохлую курицу! А я-то его в заместители себе готовлю!

Бородин не нашелся что ответить. Зинин повернулся и вышел. Спустя полчаса вернулся, сказал другим тоном, голосом мира — не войны:

— В конце концов не в том дело, что я вас ревную к вашим музыкальным занятиям. Не во мне дело — в вас! Будь вы хоть семи пядей во лбу, а начнете разбрасываться и получится пшик! Химия ревнует вас, юноша, да-с, она дама строгая, и ни с кем своих служителей делить не собирается. Нужно выбрать: или она или эти ваши... музы. Или то или это.

И снова Бородин промолчал.

III

Восемнадцатого февраля 1855 года умер царь, Николай Первый. Всю жизнь он отличался отменным здоровьем; известие внезапною своей поразило и вызвало множество кривотолков. В свистящем доверительном шепоте за тысячу верст можно было расслышать слово: «Отравился!» — но верить ли ему, нет ли, никто не знал. Николай Павлович немного не дожил до шестидесяти. Страх и ненависть, испытанные им в декабре 1825-го, при столь неудачном его восшествии на престол, без малого тридцать лет довели над страной, невидимо правили самим царем.

Второго марта Совет профессоров Императорской медико-хирургической академии решал судьбу выпускников. Зинин настаивал на том, что Александр Порфирьев Бородин достоин медали. Однако ж тремя годами раньше его ученик оказался нетверд в знании закона божьего, и теперь поправить это было невозможно; с медалью, следовательно, ничего не выходило. Но все-таки была принята лестная для зининского подопечного формулировка: «Совет профессоров отмечает, что Александр Бородин на протяжении всего курса обращал на себя особенное внимание как по отличным способностям своим, так и по любви к наукам». Профессор Здекауэр ходатайствовал от имени кафедры о прикреплении

Бородин к кафедральной клинике. Предполагалось, что он будет заведовать упражнениями студентов по диагностике.

Начиналась самостоятельная жизнь, Бородин стоял на пороге. Единичная человеческая судьба совпадала тут с судьбою 80-миллионного народа: он тоже стоял на пороге неведомого будущего; никому не нужная война продолжалась еще, убивала и калечила, однако ж новый царь мог заговорить о мире. Ждали, что война кончится, ждали, что мужику будет воля; ждали полной перемены жизни, зашедшей в тупик, и эти ожидания тешили даже и тех, кто давно отчаялся верить во что-либо; было предчувствие перемен, оно охватило целый народ и заставляло глухо волноваться и раскачиваться вчера еще неподвижную стихию.

...Откуда, какими путями приходит к поколению, которому суждено многое свершить, сознание его высокого назначения? Почему, когда еще ничто не предвещает перемен, эти юноши полны сил и веселого любопытства, почему смелей и дальше глядят они, почему глаза их так ясны и бесстрашны? В их годы отцы жили по старинке, обзаводились семьями, заботились о карьере, исполняли беспрекословно и без малейшего движения совести что прикажут; ввечеру говаривали с облегчением: «День да ночь — сутки прочь!»... Сверстникам Александра Бородина теперь не хватало суток. Казалось, даже солнце в небесах подменили: новое светило ярче. Вслух и громко произносилось то, о чем вчера боялись шепнуть на ухо. Мир с союзниками был наконец заключен. Новый русский император произнес совершенно невероятные слова: нужно освободить народ сверху, чтобы он не освободил себя снизу. Скажи это петербургский или казанский студент, его бы мигом в каталажку...

— Тетушка, поздравьте меня! Сегодня принял в госпитале холерное отделение под свое начало.

— Ты шутишь! Быть того не может. Посмотри мне в глаза... Правда! Саша, что же с тобой будет? Зачем я тебя только отдала в Академию эту проклятую!

— И это — вместо поздравлений! Не бойтесь, Тетушка, хороший врач никогда не заразится.

— Так то хороший вра-ач...

— Благодарю покорно. Такое услышать — и где? В родном доме! Да полно вам, Тетушка, клянусь, сейчас это не опасно. Да у меня и еще две палаты... И еще в трех по утрам надо присутствовать на перевязке. Я так буду занят, что со мной попросту не успеет ничего случиться! Меня ведь и в клинике оставляют при Академии, это уж точно известно.

— А химия как же? Николай Николаевич что скажет?

— Для химии выкрою как-нибудь время. А с музыкой потерпеть придется. Хотя... в театр-цирк пойду — извините великодушно — на Глинку. Нет-нет, денег просить не буду. За свой счет пойду! Хватит! Михаил Иванович — это Глинку так зовут... Михаил Иванович и без того вам, Тетушка, стоил целого состояния. Теперь конечно. Сами с усами: жалованье получаем; будем любить гения отечественного за свои кровные. И вас пригласим, в ложу-с!

— Еще и получить ничего не успел, а уже транжирить...

— А что поделать? Музыка... извините... простите... ничего не попишешь...

Как ни рано просыпался Бородин — Аннушка уже была на ногах. В печи трещали поленья, отсветы пламени ходили по стене, печная дверца звякала, колеблемая силой огня. Рывком откинув одеяло, Александр спрыгивал с кровати, — огненный язычок на свечном огарке испуганно пригибался. В последнее время Катерина Егоровна усиленно экономила на свечах; Бородин сердился:

— Не нужны мне эти огрызки! Ими и мыши побрезгуют.

— Сказано не нами: копейка рубль бережет.

— Мне, любезная Катерина Егоровна, рубля этого не надо. Я вам лучше свой дам, но чтобы свечи были как свечи. Только не поджимайте этак-то губы, не сердитесь... я ведь знаю: на меня осерчаете, а Анне Тимофеевне достанется.

— Анну Тимофеевну не больно тронешь. Гордая стала,

— Вот и хорошо. Ей гордость идет. Но мы с вами отвлеклись, мы о чем говорили-то? О свечах. И обо всем договорились. Так? А я возле госпиталя такую настоечку в лавке видел... Вечером с собой прихвачу. Так вы уж не откажитесь отведать.

— Ох, моя слабость... — вздыхает Катерина Егоровна, потупя глазки. — Вы, Александр Порфирьевич, вы моя слабость, ни в чем не могу вам перечить...

Сплошная темь на улицах, когда Бородин выходит из дому; только первые желтые пятна появляются в окнах, дрожат и мерцают. В просвете облаков выглядывает звезда; пошарив тонким своим, ломким лучом, нащупает меж двух булыжин целую, нерастоптанную снежинку и ее одну осветит... А впрочем, это из окошка упал свет, — там чья-то лохматая тень движется по занавеске. Спohватившись, Бородин осмотрел, а так как света не хватало, то и ощупал свою одежду: все ли в порядке? Домашние до сих пор дразнили его историей, происшедшей в самом начале лета. Он только что был назначен врачом-ординатором Второго военно-сухопутного госпиталя и однажды, совершенно погруженный в свои мысли, вышел рано утром и зашагал на службу, спеша и придерживая рукой шпагу.. Как вдруг он услышал за спиной крики, до того громкие и настойчивые, что невольно обернулся. Высунувшись из окна, его звала, кричала, махала руками Тетушка. Саша бегом вернулся, по правде говоря, сердясь и негодую: что еще там? Не может он с первых дней опаздывать на службу! Домашние встретили его хохотом... Оказывается, надев мундир, шпагу, фуражку, он забыл о штанах и вышел из дому в одних кальсонах!

Бородину так сладко дышится в этот ранний час, такая свежесть наполняет душу, что словами не выразить, но есть для таких случаев музыка, и вот он уж напевает, сам не зная что; ранний прохожий метнулся в сторону, ошарашенный, — Бородин рассмеялся...

...Темно на улицах. Он возвращается домой после длинного дня. Идет вяло, медленно, и торопливые прохожие то и дело обгоняют его. Тяжело подымается по лестнице; лениво, точно нехотя, снимает шинель.

Еще не было сказано ни слова, а Тетушка почуяла неладное.

— Что с тобой? На тебе лица нет. Да не пугай ты меня, Саша, стряслось что-то, скажи?

Ничего не отвечая, Бородин прошел к себе в комнату, лег лицом вниз... Есть наотрез отказался.

Только поздно ночью не выдержал — рассказал, что его мучило. Не рассказал бы — кажется, задушило бы его испытанное; уже сотню, может быть, тысячу раз прошло по кругу, по замкнутому, безвыходному кругу все, что он видел и слышал; он ударился с размаху о происшествия этого дня, как в младенчестве об железную решетку на балконе; и от сегодняшней раны так же должен был остаться шрам навсегда.

В общем-то, для военного госпиталя происшедшее было рутиной, обычнейшим из обычных дел. Привезли и сдали под расписку дежурному врачу шестерых крестьян, прогнанных сквозь строй. Мужики были крепостные, принадлежали они полковнику В.; полковник известен был крутым и, более того, жестоким нравом. Жаловались на него подчиненные ему офицеры (нижние чины не жаловались, терпели: им не дозволялось жаловаться). Ну а уж со своими крепостными он вовсе не стеснялся, и жизнь их проходила в тесном пространстве от кнута до зуботычины. Особенно озверел полковник именно в последние год-два, когда все громче и решительней пошли повсюду разговоры об отмене крепостного права: Как ни страшились люди полковника своего мучителя, а не могло не вырваться то у одного, то у другого задавленное, робкое слово надежды. Может, не такой уж и беззубой была она, эта надежда; может, кто и вслух проворчал когда-нибудь, что отольются, мол, волку овечьи слезы... Сам ли слышал полковник нечто подобное, донес ли ему наушник, — а может быть, страх, в котором он и сам себе не признавался, вконец ожесточил его сердце, развращенное безнаказанностью, — как бы то ни было, он принялся истязать своих дворовых уже сверх всякой меры, так что жить при нем сделалось вовсе невозможно. И тут что-то не выдержало, сломалось в заведенном, казалось бы, навсегда механизме мужицкого терпения. Барина обманом заманили в конюшню, там был он взят под белые руки; одни держали его, другие наказывали — вожами, не так чтобы слишком больно, однако чувствительно; притом бьющие чуть ли не со слезой объясняли полковнику, что ни в жисть не решились бы на

такое дело, да мочи больше нету терпеть: сечены они пересечены, биты-перебиты... высказав же это и отстегав полковника ниже спины, ему помогли надеть брюки и отпустили.

«Нельзя отпускать было...» — вырвалось у Аннушки, слушавшей тоже рассказ Бородина. С каким испугом, с какой опаской глянула на свою горничную Авдотью Константиновна: «Что ты такое мелешь!» — Аннушка и язык прикусила.

Бородин был дежурным врачом, когда принесли в госпиталь этих шестерых, беспамятных. Доставившие их солдаты и рассказали их историю во всех подробностях; добавили, что триста человек солдат, все до единого, были предупреждены: бить следует в полную силу, кто вздумает слабодушествовать, того ждет участь преступников. Солдатам известно, что начальство в таких случаях шутить не любит; итак, били на совесть. В этом убедился и Бородин: ему пришлось вытаскивать занозы из тела наказанных. Спины их представляли собой кровавое месиво с болтающимися лоскутами кожи; у двоих мясо было пробито до кости. Бородин, правда, выполнил все, что от него требовалось, но за время своей работы трижды терял сознание. Слабость его была ему противна; ему казалось, теперь она известна всем и служит предметом осуждения и насмешек. И точно. Два-три врача, встреченных им после мучительной операции, глядели с усмешкой превосходства; впрочем, в голосе их, когда они заговаривали, слышалась и жалость. Главный врач госпиталя, Попов, не скрывал некоторого своего разочарования: вообще-то Бородин ему нравился, а тут вот оплошал. «Что ж вы будете делать, если вам клеймо придется накладывать по долгу службы? Каторжников клеймить?» — спросил он мягко, но не без упрека.

— Саша... Скажи ты мне, может, я чего недопонимаю. Ты же мертвецов сколько резал — и не боялся, и в обморок никогда не падал, — сказала Тетушка.

— То мертвецы, мертвецам все равно, — сказал Бородин. — Эти шестеро живые, живые люди... а их растерзали, точно куклы они... или зайцы, что ли. Понимаешь ли?

— Понимаю, — сказала Тетушка, но Александр видел: нет, не понимает.

— Нехорошо, что ж тут говорить... Только ведь сами виноваты, — не удержалась, сказала Авдотья Константиновна прямо, что было на уме. — Чего ж они еще ждали: полковника, своего господина, вожжами. Что они хотели за это, медаль получить?

Тут Авдотья Константиновна увидела глаза своего Саши и осеклась.

Нет, она не понимает. И объяснить ничего невозможно. Разве он не знал, что есть такая казнь: людей бьют палками или прутьями, прогоняя сквозь строй? Знал. Что встречаются помещики — звери и самодуры? Знал. Но знание это было отделено от его жизни, от его интересов, оно не имело к нему лично ни малейшего отношения, оно оставалось где-то снаружи. Вот так же он знает, что где-то и сейчас, наверное, грабят, а может, и убивают, — не в этом городе, так в другом, не в городе — так в лесу или на большой дороге. Страшно, конечно, но что же он из своего далека может поделать? Вокруг него всегда был микромир, которому он, со своей стороны, старался сообщить как можно более теплоты, радости. В таком городе, как Петербург, нельзя не увидеть грубых и реальных сцен; он их видел, он знал о жестокости мира не понаслышке. Но опять это все не проникало за линию круга, очерченного его привязанностями и желаниями, его ученьем, его дружбой, нежностью близких, взаимным сочувствием, неисчерпаемым юмором, кипением честолюбивых надежд... всем, всем, без чего он не был бы самим собой.

А спины, из которых он вынимал занозы, — вошли в круг; а шестеро страдальцев — вошли; их кровь пробила броню молодого успеха, молодой устремленности к желанной цели, молодого, столь естественного и оправданного эгоизма личности, жаждущей самоутверждения, инстинктивно обороняющейся от всего, что могло бы ее приостановить и отвлечь. Впервые Бородин всем своим существом почувствовал, как неимоверно жестоки могут быть люди по отношению к людям; этот опыт вошел в него и засел, как заноза. Его натура, склонная скорее примирять, чем обострять противоречия, не находила тут, что смягчить и что оправдать. Так и осталось в нем это знание, не совместимое ни с чем из того, что составляло его суть; осталось как вечный противовес всему, что его возносило.

Во Втором военно-сухопутном госпитале, как и во всяком подобном учреждении, есть комната для дежурного. Верней, для дежурных, потому что их двое: дежурный врач, дежурный офицер. На каждого из них возложены разнообразные и ответственные обязанности, перед каждым на столе — целый свод инструкций на всякий день и указания, что делать в экстренных случаях. Однако ничего экстраординарного сегодня не происходит, да и вообще не происходит ничего. Скучно Бородину. Нет-нет да и взглянет он в сторону дежурного офицера, — сегодня это новичок, свежее испеченный прапорщик в форме Преображенского полка, совсем еще мальчик. Мундир на нем новый, с иголочки, и сидит, как литой. Юноша припомажен, причесан с великим тщанием; руки небольшие белые, ногти ухожены. Бородин невольно посмотрел на свои руки, на пальцы, обожженные кислотами, а сейчас еще и пахнувшие иодом и карболкой. М-да...

Прапорщик уже представился: Модест Петрович Мусоргский. На латыни, помнится, «модестус» — скромный. Может быть... Хотя первое впечатление — некоторая фатоватость скорее. Может быть, и безобидная, возрастная. «Какой он Петрович? — думает, улыбаясь про себя, Бородин. — Как там матушка его кличет в нежную минуту? Модинька, небось? Модинька он и есть».

Не сидится юноше. Он успел уже поважничать, позабавлять вид деловой и строгий, но быстро соскучился.

— Покурить не желаете ли? — вдруг спрашивает он, сделав несколько шагов к Бородину.

— Благодарствуйте: не курю.

— Ну и я воздержусь, — говорит прапорщик и розовеет от смущения. Голова у него крупная, красотой он не блещет, но лицо сметливое, переменчивое, живое, руки за неимением занятия теребят одна другую.

— Что-то день наш событиями небогат, — говорит Мусоргский.

Бородин на это не жалуется. Его все еще не отпускает воспоминание о тех шестерых; сейчас он загоняет его внутрь, — не хватало еще, чтобы мальчик этот проведаль о его конфузе. Но ведь можно вспомнить и другой какой эпизод.

— Здесь, знаете ли, события, когда они случаются, все невеселого свойства, — откликается он вслух. — Недавно привезли сюда кучера... кучер как кучер, но чей? Э, нет, я лучше скажу вам на ухо... — Бородин наклоняется и шепчет. Фамилия прошелестела столь громкая, столь общеизвестная, что прапорщик скашивает глаза... — Представьте себе, вы не ослышались! И этот, так сказать, лейб-кучер подавился костью. Я беру щипцы, начинаю извлекать из горла посторонний предмет... А, надобно вам доложить, инструмент у нас препоганный, все старое, ржавое, все держится на честном слове. Короче: щипцы сломались, прямо в глотке пациента. И кусок их остался там же. Кучер сидит, ни жив, ни мертв. Я взмок. Но делаю вид, что все как следует, «минуточку... терпение... ничего страшного...» А сам тем временем извлекаю из него уже два посторонних предмета...

Все перипетии рассказа отражаются в подвижном, впечатлительном мальчишеском лице.

— И? И что же дальше? Обошлось?

— Обошлось. Вторые щипцы не сломались, хотя, в общем, было еще несколько неудачных попыток, и мне дорого стоило сохранить присутствие духа. Потом, знаете ли, кучер бухнулся мне в ноги, а я с трудом удержался, чтобы не ответить ему тем же самым. Представляете, если б я завязил обломок щипцов в горле такого пациента! Тут дело для меня Сибирью пахло... Вы недавно произведены? — без перехода спрашивает Бородин.

— Да, только-только. Я школу подпрапорщиков окончил. А вы — коренной петербуржец?

— Да, я здесь родился.

— Заметно. А меня привезли... то есть, я приехал в Питер семь лет назад, а то все в именьях жил; Торопецкий уезд Псковской губернии — не слышали?

— Губернию как не знать, да и про Торопец слышал, — сказал Бородин. Упоминание о псковском поместье — как его прикажете понимать? Как выяснение кастовой принадлежности собеседника? Но тут же Бородин устыдился своего подозрения. Прапорщик явно не имел задней мысли, по глазам видно. Не выдержав, Бородин спросил:

— А сколько ж вам лет?

— Осьмнадцатый, — вспыхнул Мусоргский. — А какое это может иметь значение?

— Ровным счетом никакого, я из простого любопытства спросил, «Боже, семнадцать лет! — подумал Бородин. — В его возрасте я только еще поступал в Академию. Какой я, в сущности, старый уже!»

— Петербург хорош, но, признаться, и в деревню тянет. У меня там няня осталась... — Мусоргский мучительно покраснел и поднял глаза на своего визави — не смеется ли он? Нет, не смеется.

— Я у нее научился многому... хоть сама-то она никогда ничему не училась. До сих пор, как сяду музицировать, песни нашего простонародья сами выходят из-под пальцев; они, знаете ли, привязчивы.

— Так вы музицируете?

— Да.

— Часто?

— Очень часто.

— И помногу?

— И помногу.

— Тогда скажите-ка мне откровенно: музыка вам служить не мешает?

— Никто не спросит: а не мешает ли служба музыке?

— Ого!

Прапорщик вдруг вытянулся, щелкнул каблуками лихо, щеголевато, с удовольствием; поднялся и Бородин: вошел Попов, главный врач госпиталя.

— А, молодежь, — сказал он, сделав знак рукою, что можно и не тянуться. — Уже познакомились? Нашли общий язык? Кстати: вы, господин Бородин, надеюсь не в обиде на меня за давешний инцидент и мои замечания? Я и сам человек далеко не бесчувственный, но служба, знаете ли, своего требует. Зато в неслужебное время, как говорится, ничто человеческое...

«Сейчас в гости пригласит, — решил про себя Бородин. — Начальство, имеющее взрослую дочь, — снисходительное начальство».

— А вот что мне в голову пришло, — сказал Попов, приятно улыбаясь. — Сегодня в доме у меня небольшой вечер, так вы, вот что, заходите на огонек, молодые люди. После трудов праведных сам бог велел повеселиться, в ваши-то годы. Если, конечно, не нарушаются другие ваши планы...

Главный врач жил прямо при госпитале; квартира у него была, судя по всему, вместительная — всех комнат Александр ни разу не видел. В зале, уютной, с лепниной на потолке и с шелковыми складчатыми шторами на высоких окнах, было темновато, когда гости вошли, но слуга тут же зажег свечи в замысловатых канделябрах. Дамы, встречавшие Бородину как старого знакомого, приятно удивились появлению нового лица.

Молоденький прапорщик здесь оказался куда ловчей и находчивей, чем ранее в «дежурке». Легкие поклоны его были изящны, движения округлы и точны, французские комплименты удачны. Не удивительно, что и позднее, когда подоспели еще гости, он оставался в центре внимания.

— Александр Порфирьевич! — «Ага, и обо мне вспомнили», — подумалось Бородину. — Фортепиано ждет вас!

— Нет, нет... уступаю эту честь более достойному...

— Ну уж так сразу и «более», — запротестовал Мурсоргский, но чиниться не стал: с видимым удовольствием сел за инструмент, вскинул красивые белые руки...

Похоже, ему было известно все грациозное, нежное и... («И сладкое», — подумал Бородин не без легкой ревности) из того, чем итальянцы тешили и просвещали русскую публику. Он играл на память Беллини и Чимарозу, Доницетти, да и недавно вошедший в моду Джузеппе Верди был ему досконально знаком. Арии из «Трубадура» и «Травиаты» следовали одна за другой, а вокруг шелестело:

— *Delicieux!*

— *Charmant!*¹

Бородин вообще-то не мог пожаловаться на невнимание к нему представительниц прекрасного пола: смешливый Щиглев говаривал, что там, где всякому другому приходится в поте лица завоевывать, Саша «едва успевает отбиваться». На этот раз, однако, было иначе. Весь остаток вечера дамы откровенно ухаживали за новым музыкантом, таким обворожительным, таким юным. Бородин тоже взглядывал на него с удовольствием, но и не без доли иронии. «Ай да офицерик, — думал он, — картинка и только. А уж аристократ, аристократ до мозга костей и — себе удиви-

¹ Восхитительно, очаровательно! (Франц.)

тельно нравится. Эге, Бородин, уж не завидуешь ли ты? Играет он половчей тебя, держится в гостиной уверенней. Однако, что у него, собственно, есть за душой — не считая крайней молодости, итальянцев да школы подпрапорщиков?» И тут же сам себе возразил: «Нечего! Что у него за душой, тебе неизвестно. Нравится мальчик себе? А ты? А ты себе вовсе не нравишься, что ли? Гм... похоже, нравлюсь. Как-то не было времени задуматься».

— Что ж простонародные свои песенки не вспомнили? — спросил он вслух у Мусоргского.

— Случай не вполне подходящий, — ответил тот, поведя чуть заметно глазами в сторону дам.

В лице его остро мелькнула и пропала улыбка, но Бородин успел и заметить, и оценить ее.

V

Нет больше Мари, Марии, Машеньки Готовцевой, была — и нету. словно десятку-другому людей приснился в одни и те же годы один и тот же сон.

Это второй раз в жизни Бородина смерть отбирала близкого ему человека. Три года назад умерла Луиза, — пора бы, казалось, совершенно успокоиться и забыть, но нет, пустота, образовавшаяся в душе с той поры, так и зияла, не заполненная ничем. И вот теперь — Мари. Бородин помнил с непостижимой ясностью целые — напролет — от утра и до вечера — дни раннего детства, помнил имена и облик тех кукол, что были некоторое время их общими игрушками; помнил смешные выдумки кузины, сказочные дворцы, которые они вместе выстраивали. Он не умел и не желал смеяться над лепетом, над фантазиями, играми детских лет, в них заключалось во много раз больше, чем дано кому-либо разглядеть снаружи. Станным образом все его взрослые мысли, поступки, повадки связаны были с тем наивным временем, и эти две смерти, сперва Луизы, а теперь — Мари — словно задались целью выбить почву у него из-под ног.

Она умерла при родах. На Ивана Сорокина — мужа Машеньки, теперь молодого вдовца, страшно было смотреть, до того он отошал, почернел, измучился. Александр и Тетушка уговаривали его пожить пока вме-

сте с ними. Бородин старался занять его интересами продолжающейся жизни, но удавалось это плохо.

Однажды Бородину приснилась маленькая пушка, та самая, которую он когда-то купил вместе с Мари на Апраксином дворе, на толкучке, у отставного солдата. Пушечка будто бы стояла у парадного, похожая на злую собачонку, и стреляла — точно лаяла, приседая на задние лапы. Мари — во сне ей было лет девять, но и ему было столько же, и он, девятилетний, стоял рядом, зачем-то с флейтой в правой, спрятанной за спиною руке... Мари наклонилась к пушечке, стала ее ласково гладить.

— Что ты, глупая? Разве ж так можно? — спрашивала, приподымая кверху белесые бровки, Мари; и пушечка, медная, но при том живая и теплая, притихла, по-собачьи стала ластиться к кухне, и Саша, присутствуя там, во сне, рядом с Машей, ничего не делал, а просто был счастлив. Проснувшись, Бородин все еще видел эту маленькую пушечку, о которой не вспоминал много лет, о которой он сам забыть успел, а другие-то и не видели ее никогда, и не верили даже, что была такая... Мари — она-то знала правду, но Мари умерла — и с ней умерло ее знание; и кусочек жизни и мира, быть может, никому не нужный, но для него драгоценный и вовеки неповторимый, кусочек детства оставался теперь только в его душе и памяти; и некому уже подтвердить на целой земле, что солдат жевал и сплевывал на землю табак, что у Мари накануне выпал зуб, молочный, что на лестнице в день, когда была куплена пушечка, пахло угаром... Смерть во второй раз отнимала у него человека, который был частью его самого: точно примеривалась к нему...

Ночью приходили мысли о смерти.

Ночью он испытывал зависть к немногим истинно благочестивым людям, к тем, кто верит и в страшный суд, и в загробную жизнь... Верят, не требуя и не желая никаких доказательств, не подпуская рассудок и близко к этой своей вере: верят — и все тут. Такой нерассуждающей верой обзавелся брат Катерины Егоровны, Александр Егорович Тимофеев. После известной истории в холерный год, когда толпа на глазах у него растерзала знакомого кроткого студента, а он не посмел вступить, — после той истории у Тимофеева умерли один за другим двое младших детей, а жена время от вре-

мении стала заговариваться, хотя в обычные дни оставалась молчалива, покорна, добра. Александр Егорович быстро поседел; начал было пить, да бросил: водка не облегчала, а умножала неурядицы его жизни. Тогда-то он припал к молитве, видя в постигших его бедствиях наказание и перст божий. Но — по-прежнему нюхал табак и поворывал, как-то у него одно с другим сочеталось...

Бородин не считал себя атеистом: атеизм — убеждение, которое нужно исповедовать, углублять, отстаивать. А он времени и желания не имел посвятить себя этому; и так, и без того поспеть всюду было невозможно, хоть разорвись. Он ходил в церковь, как все ходят, молился изредка, рассеянно — как большинство молится. Любил он святые праздники на Руси — а кто ж их не любит? Но верить, хотя бы так пассивно и лениво, как Тетушка, он не верил, не ждал от бога ни наказания, ни спасенья; что касается загробной жизни, то тут он, как и большинство его товарищей и сверстников, склонен был подозревать дикое суеверие. В цепи поколений их, выходящее в жизнь, поколение, было, может быть, первым в России, напрочь лишенным этой надежды, этой опоры, этого утешения. Было во всеобщем отречении грамотной русской молодежи от бога, в жадном и повсеместном приобщении ее к материализму что-то от массовой эпидемии, от морового поветрия. Из безоглядной веры — в такое же безоглядное, почти нерассуждающее неверие. Бывало, Бородин корил себя за рационализм; дорого бы он дал, чтобы искренне предаться всей душой ангельской, райской мечте... но, как ни крути, а за гробом для него было пусто: там совсем ничего не было.

Да, отцам, дедам пришлось легче; они жили, может быть, проще, безалаберней, но счастливей. А тут приходилось заново думать едва ли не обо всем на свете, и загадка жизни и смерти стояла — темная, грозная, будто никто и ни разу к ней еще и не подступался.

«Смерть обрывает все, — думал Бородин, — но как не признаться, что я рассчитываю на толику бессмертия. Как Ломоносов. Как Зинин, в конце-то концов...»

«Положим, что так. Ты великий ученый, твое имя не звук пустой для потомков... А Мари? Как быть с ней?»

«Но ведь она вошла в нас. Добротой, чистотой, грустью, — вошла в Сорокина, в меня, в других, быть

может. В нас-то она жива, пока мы живы? Это не так мало».

«Не лукавь. Это не так много. Отчего ты хочешь все успокоить и примирить? Жизнь и смерть... с этим, знаешь ли, только дуракам сходу все ясно».

«Я и не утверждал, что мне все ясно, и буду доискиваться ответа. Впереди целая жизнь».

«И смерть?» — спросила в нем, кажется, сама смерть ехидно.

«И жизнь», — отвечал упрямо Бородин, желавший оставить за собой во что бы-то ни стало последнее слово.

VI

Картинками волшебного фонаря промелькнула перед глазами первая в его жизни заграница: Берлин, Франкфурт-на-Майне, Париж, Брюссель... Бородин сопровождал на международный конгресс лейб-окулиста Ивана Ивановича Кабата; поездку исхлопотал для него Зинин, и попутно он выполнял некоторые поручения учителя; заглянул в Париже в лабораторию молодого, но уже европейски знаменитого химика Пьера Бертело, в Германии и Франции купил и заказал кой-какие приборы для лаборатории... На визитных карточках, заказанных в Париже, значилось: «мсье Бородин, доктор медицины, атташе его превосходительства лейб-окулиста Е. И. В. императора России»; но доктором медицины он, правду говоря, в то время еще не был, сданы были только докторские экзамены, защита диссертации предстояла.

В России дни бежали еще быстрее. Не для него одного. Страну лихорадило, но то была лихорадка ожидания, эйфория надежд... Десятки новых журналов и газет возникали повсюду; все спорило и проповедывало, все жаждало высказаться, всем хотелось быть выслушанными, — но и слушать охотники находились. Менялись на глазах манеры, язык толпы, одежда; разночинец выходил вперед, оттесняя плечом растерянного и возмущенного дворянина; когда это было, чтобы студенты пользовались у девушек успехом не меньшим, чем офицеры? — а вот ведь стало так; образованность вдруг понадобилась всем, и даже кучихи стали находить в

ней что-то такое... этакое... Деревня пригихла в ожидании: что будет? — жизнь стала пестрей, разнообразней, чем прежде; время увлекало, несло, сбивая всех в один стремительный поток, втягивая точно в глубокую воронку... так река тащит все и вся, убыстряя и убыстряя движение и свивая в мощный пучок все течения — перед водопадом, перед большим порогом.

Ваня Сорокин горевать-то горевал, но и в горе своем не мог не поддаться могучей влекущей силе; он близко был знаком с Добролюбовым, с Чернышевским и при коротких встречах успевал порассказать вещей немислимых, небывалых; но, живя в одной комнате, они почти не видели друг друга. Бородин не знал, где взять минуту, чтобы остановиться, оглянуться вокруг, обдумать свою и всеобщую небывалую спешку, свое и всеобщее нетерпение, гнавшее и гнавшее куда-то вперед...

Безбожно много времени брали обязанности врача-ординатора; правда, оплачивались они довольно щедро, но Бородину сейчас даже деньги требовались не так неотложно, как время. Пятого марта 1858 года на заседании Физико-математического разряда Российской академии наук Александр Бородин доложил свою первую химическую работу: «Исследование химического строения гидробензамина и амарина». Через два месяца, 3 мая, защитил диссертацию на степень доктора медицины «Об аналогии мышьяковой кислоты с фосфорной в их действии на человеческий организм». Работа была признана блестящей, но ни для кого не было секретом, что химия в этой якобы медицинской диссертации чувствовала себя полной хозяйкой. Лекарем Александру Порфирьевичу Бородину пришлось быть недолго, и нельзя сказать, чтобы он об этом сожалел.

Но в дни и месяцы, когда служба в госпитале и напряженнейшая работа над диссертацией в лаборатории у Зинина не оставляли, кажется, времени вздохнуть, когда для сна оставался обрывок ночи, когда опять начались разговоры о хрупкости его здоровья (Зинин добивался для него трехлетней заграничной командировки, с тем, чтобы по возвращении Бородин занял место адъюнкт-профессора по кафедре химии; с ним склонны были согласиться, но здоровье исхудавшего, измотанного спешкой Бородина внушало некоторые сомнения...) — даже в эти дни и месяцы Бородин умудрялся музыку окончательно не бросать. Он не хотел при-

знаться — но для побочного, необязательного увлечения, каким он желал изобразить свои музыкальные занятия, это было, пожалуй что, и слишком. Концы не сходились с концами. Может быть, он утешал себя тем, что такова его натура: раз взявшись за что-то, он уже не умел бросить начатое.

Жизнь сложилась так, что он никогда не знал принуждения в учебе; он не отсиживал «положенных» уроков, не зарабатывал себе оценок. Природа его требовала знаний: она научила его брать их. Он не хватал на лету — справа, слева, что придется (хотя и: хватал на лету, справа, слева, где и что придется) — он наращивал день за днем знания и постигал; интуиция подсказывала, где и что можно взять, в какой книге, у какого учителя. Шел и брал, благодарный, и всегда, кажется, получал больше, чем ему отдавали, извлекал из урока все, что содержалось в нем — и что-то такое вдобавок... Он был жаден на опыт, на новое знание, как Иван Калита — на земли, на города и княжества; он прибавлял впечатление к впечатлению, правило к правилу, пустяк к пустяку, чудо к чуду. Веселый, озорной юнец, удачливый, красивый, остроумный молодой человек, он, точно осмотнительный старец, не перескакивал через препятствия, а одолевал их, не оставляя в своем движении пробелов, пустот, которые так многим опасно глядят в спину из уже пройденных, прожитых, но легкомысленно недоосвоенных пространств. Знаем мы их, эти пустоты, — они как вражеские гарнизоны, засевшие и окопавшиеся у тебя в тылу... Русский до мозга костей, он в учении был педантичен едва ль не по-немецки, и не было в том измены натуре, а было обогащение натуры, ненасильственное, ненатужное ее воспитание. Вот эта радостная свобода избранного своею волей, не вымученного, а легко, почти играючи решенного шага и определяла все-таки русскую природу его ровной поступи, его умственных и душевных движений.

Музыка давно уже стала частью его самого, независимо от того, что он думал об этом и думал ли вообще. Придя к Зинину, он убедился: опыты, над которыми он мучился месяцами, освещались как при вспышке молнии, одною строчкой давно открытого закона, еще неизвестной ему, но уже давно ожидавшей его формулой. Это как в жмурки играешь: снимаешь с глаз повязку, и как возвращается к тебе и становится на место окру-

жающее пространство, как ясны и смешны становятся тебе твои слепые промахи!

Сочинительские попытки привели его к учебникам гармонии, к немецким руководствам по полифонии, по контрапункту, к искусству фуги. Стаж, срок его музыкального искусства, ученичества, начиная с первых уроков флейты и фортепиано, перевалил уже за двадцать лет. Он не мог перестать учиться, остановиться на середине. Музыка, должно быть, все это время страшно мешала ему. И бранить себя за нее Бородину, наверное, случилось. Но что же делать; у него не было двух характеров: одного для науки, другого — для музыки. Характер был один. К счастью.

VII

Тишина. Невообразимая тишина. Суeta и спешка, коловeрть лиц, встреч, событий, шум некоего всеобщего движения, стоявший в ушах днем и ночью, как немолчный грохот дальнего, но приближающегося водопада, — все вдруг оборвалось. Тишина.

Ох, Бородин! Ох и хитрюга! Сбежал! Плюнул, оставил «век девятнадцатый, железный», как сказано по-этом... забрался в глушь несусветную, повернул стрелку часов назад, не на час, не на год — на столетия! Махнул в... нет, вам этого и вообразить невозможно: в четырнадцатый век, в Соль Галицкую, в тишину почти допотопную, а лучше сказать — в вечную, но не в мертвую, живую, солнцем пронизанную, русским духом пропахшую тишину.

Шмель. Ровное, басовитое гудение. Звук бархатистый, под стать роскошному его платью. Жужжанье пчелы гораздо тоньше, его хорошо, отдельно слышно, когда одна-две пчелы совсем рядом перед носом, перелетают с цветка на цветок... Придется все-таки встать, да и пора, сколько можно лежать лицом вверх, раскинув руки и трогая пальцами колючие травинки. Нужно искупаться, вот что...

Бородин встает; река, Кострома плещется рядом... Все это было уже когда-то, была тишина, был шмель, была бездонность этого неба и долгого, долгого, долгого дня... Только Тетушка больше не запретит купаться в оди-

ночку, да и далеко она отсюда, Тетушка; только не решится уже Саша, прячась в кустах, ожидать у поляны чудес деревенской гулянки; вырос, не мальчик.

И эту глушь, и эту тишину выхлопотал ему Николай Николаевич. На все лето забрался Александр Бородин в древний городок Солигалич. Местный богач, Кокорев, решил выяснить в точности, каковы свойства здешних минеральных вод; вся округа верит с незапамятных времен в их целебную силу, но человек деловой веру в расчет не примет, ему заключения нужны, анализы. Он обратился за помощью к самому знаменитому химику, Зинину, а тот ему порекомендовал молодого талантливого ученого... В настоящий момент талантливый молодой ученый крутится в воде и молотит по ней руками, изображая мельницу; доволен он, довольна река Кострома...

Доволен и богач Кокорев. Юноша-то оказался дельным, добросовестным работником; сколько колесил по всему уезду, не смущаясь жуткими проселочными дорогами, сколько этих проб взял, сколько возился в лаборатории, им же самим и устроенной! Главное же, целебные свойства в здешних водах он отыскал и описал их такими учеными словами, такими длинными, такими устрашающе сложными формулами, какие не могут не убедить и последнего маловера. Статью, которую Бородин написал о результатах своего исследования для газеты, Кокорев решил отпечатать отдельной брошюрой.

Довольно и уездное общество. Солигалич хоть, по словам одной ядовитой особы, и застрял в позапрошлом столетии, однако же образованные люди и здесь имеются; есть и здесь общество, и стремления, и запросы. Заезжий гость произвел впечатление неизгладимое. К Кокореву заявила даже делегация уездных дам; было сказано, что если бы и не изыскания Бородина, долженствующие принести городу пользу и славу, — одно его пребывание в Солигаличе уже приобретение...

Был, был у Бородина этим летом и один, как бы это выразиться... конфуз. Его похитили! Госпожа Н., местная помещица, звала-звала столичного гостя в гости, да наконец, потеряв терпение, догнала его однажды на ухабистом лесном проселке и... уговорила пересесть в свою коляску. Так и объявила: я вас похищаю...

Похитительница была молода и хороша собою, умна и тонко воспитана; покой, в коих поместили ученого

Гости, оказались великолепны; ужин превосходил все ожидания; ночью дверь отворилась... к Бородину пришли справиться, хорошо ли он себя чувствует в незнакомом доме. Но он спал, неблагодарный, и до чего же крепко спал!

Наутро хозяйка была холодна, гость смущен. Он и сам не знал, почему не может быть отдано молодой, тонкой (без иронии!) и прелестной (без всякой иронии!) барыне то, что спелым яблоком, само собою скатилось в руки простоватой, неграмотной, румяной и застенчивой Аннушки? Не в первый раз — и далеко не в последний — ему приходилось выступать в роли Прекрасного Иосифа; он всегда чувствовал себя виноватым, но выбора, понимал он, у него не было: душа знала, где ему надо остановиться, и не пускала ни на дюйм дальше.

...А между прочим, русский старинный, древний город он видел впервые. Полтыщи лет назад здесь уже соль добывали, и городок стоял. Он обошел Воскресенский монастырь, заходил в церковь Николы на Наволоке. Эти колокольни, стены, купола стояли здесь задолго до основания Петербурга.

Он повидал во время заграничной поездки вещи поразительные, величайшие, готические соборы, сооружения потрясающей красоты и мощи. Но нигде на западе ему не встретилось старины такой домашней, живой и обжитой, как здесь, в Солигаличе; нигде камни так не срослись с землей, не вросли так в самую душу тех мест, где они поставлены. Кирпичи там и сям оббиты, краска на куполах облупилась. Бородин ни в коем случае не сказал бы, что здешние храмы лучше того, что довелось ему видеть в чужих краях. Но уж не хуже. Эти камни, не потрясая величием, заговорили с ним на языке теплом, родном, хотя и полузабытом. Он их знал, он их помнил какой-то подспудной памятью, и снаружи и изнутри, они задевали его лично. И не только они пробуждали в нем что-то уже бывшее, происходившее когда-то — но, кажется, и что-то, что с ним еще будет, еще произойдет.

Бородин — Авдотье Константиновне Клейнеке.
Гейдельберг, 5 ноября 1859 года¹.

По примеру всех путешественников мне бы следовало сделать приличное вступление и потом уж начать рассказ о том, как я сел в почтовую карету и что потом произошло. Но так как я пишу письмо, а не «описание путешествия», да притом же я и не турист, а человек, посланный с Высочайшего разрешения для усовершенствования в науках, то я по возможности коротко опишу Вам все, что происходило со мною со дня отъезда из Петербурга. Мой рассказ будет походить на рапорт или на отчет (который я через 6 месяцев имею прислать в конференцию). Начну с описания взятого мною наружного места: оно оказалось удобнее, нежели я воображал; главные преимущества наружного места перед внутренним состоят в том, что, во-первых, можно отлично видеть всю местность, по которой проезжаешь, во-вторых, можно протянуть ногу во всю длину — обстоятельство чрезвычайной важности для человека, которому нужно провести в карете трое или четверо суток. Одно неудобство наружного места: сидеть тесно; если бы мой сосед был немного потолще, то не знаю, как бы мы уместились на такой узенькой скамеечке. Другое неудобство заключается в том, что возле, за тоненькой перегородкой, сидит кондуктор, который немилосердно трубит над самым ухом, и вдобавок трубит крайне фальшиво. Ночь была лунная, и я смотрел с удовольствием, как мы проезжали мимо триумфальных ворот по Петергофской дороге; проехали Стрельну, Петергоф. Кондуктор в скором времени уgomонился и не трубил больше. Мы ехали очень скоро и в 11 часов вечера в Кипени остановились для чаепития. Так как мне не хотелось чаю, то я вышел только чтобы походить немного — размять ноги. Когда мы сели снова, сосед мой предложил закрыться кожаной занавескою и заснуть. Отчего ж не заснуть, — подумал я и расположился в наивозможно удобном положении ко сну. Однако же мне не спалось, я глядел чрез маленькое оваль-

¹ Здесь и дальше в отрывках из подлинных писем А. П. Бородина сохранены некоторые особенности орфографии и пунктуации.

ное окошечко, сделанное в кожаной занавеске, на пустые поля, мелкие сосны и березняк, слушал гиканье ямщика, топот лошадей и мелодическое сопение моего соседа, спавшего крепким сном. К 8 часам утрам мы были в Ямбурге, грязном и весьма непрезентабельном городишке. Здесь вместо шести лошадей, на которых мы до сих пор ехали, нам впрягли восемь. Переправившись на пароме чрез Лугу, мы поехали по скверной песчаной дороге в Нарву. В 12½ часов мы были в Нарве, местоположение которой чрезвычайно живописно; кривые узкие улицы, башни, крепость, дома, — все это напоминало что-то средневековое; в этом отношении Нарва производит совершенно то же впечатление, что и некоторые старые германские города. Проголодавшись порядком, я начал уписывать взятую мною провизию. Мой сосед, гамбургский купец, почти постоянно спал и только изредка, при сильных толчках просыпался и начинал жаловаться на бессонницу и на некомфортабельность почтовых экипажей. К вечеру пошел снег и начало порядочно морозить. В восемь часов мы приехали в Йеву, на станцию для чаепития; я тоже соблазнился примером моих спутников и велел подать себе чашку чая. Тут я мог получше познакомиться с моими спутниками. Кроме сухопарого гамбургского купца, дремавшего даже за чаем и сидевшего рядом со мною «вне кареты», было еще два господина, сидевших внутри кареты. Один из них, высокий, красивый мужчина, с черными бакенбардами и усами, ехал за границу. Это был, как я после узнал, мюнхенский купец Эбнер, очень милый господин. Другой — белобрысый чиновник, очень плюгавенький, говоривший без умолку, — ехал в Ревель. Он в какие-нибудь четверть часа, т. е. покуда мы пили чай, успел рассказать всю подноготную о себе, своих родственниках и знакомых; мы узнали, когда он кончил курс в училище правоведения, когда и куда поступил на службу, когда утвержден в чине, как влюбился в особу, на которой должен жениться через неделю, какие средства намерен употребить для того, чтобы жена осталась ему верна, что он будет делать, если ему наставят рога и т. д. и т. д.

На станции Йева он вылез, и нас осталось только трое.

К ночи мороз сделался довольно силен, и тут я вполне оценил всю важность моих огромных сапогов;

без них и без теплых перчаток я бы просто замерз. Особенно было холодно, когда мы ехали по берегу Чудского озера. Читать в дороге не было никакой возможности, и я от скуки жевал крендельки, данные мне в дорогу моею маменькою (Анною Тимофеевною) и сосал пеперменты¹. Ром, взятый мною, оказался чрезвычайно полезным, особенно к ночи. Ночью я немного заснул. Утром меня разбудило солнце, ударявшее прямо в маленькое окошечко. Погода была великолепная; мне казалось, что я еду весною: озимь представлялась прекрасною зеленою травою, на лугах паслись стада баранов, сосны и ели образовали кайму ландшафта, на небе не было ни одного облачка. Сосед мой окончательно проснулся и повеселел. Он оказался очень милым малым.

В 1¹/₂ мы были в Дерпте. Мне надоело уж питаться всухомятку, да и притом же язык (не мой, а коровий) замерз и хлеб зачерствел. Я спросил себе обед, очень порядочный и стоящий всего 35 к.; и дешево и сердито. В Дерпте к нам присоединился еще один молодой человек, которого я было принял за дерптского Studiosus², но который впоследствии оказался русским. Это был некто Борщов, бывший товарищ Коли Щиглева по лицу; он ехал за границу с целью серьезно заниматься естественными науками. Борщов, с которым я познакомился короче, оказался очень симпатичным юношей, умным, толковым и многосторонне образованным. Он уже специально занимался ботаникою (напечатал несколько работ) и геогнозиею, провел два года в Киргизских степях с Северцовым², около Аральского моря и т. д. Кроме того, он оказался очень хорошим музыкантом: с «нашим» направлением в музыке. Я очень обрадовался этой встрече. Вообще моими спутниками я был доволен как нельзя более. Зато, несмотря на мою терпимость, я никак не мог быть довольным Лифляндскою почтою. Трудно вообразить себе что-нибудь хуже. Начиная с того, что дороги в Лифляндии так отвратительны, что Солигалические проселочные дороги могут показаться отличнейшими шоссе в сравнении с Лифляндским почтовым трактом. Десять кляч, подкованных

¹ Мятные лепешки; — от английского peppermint.

² Северцов Н. А. (1827—1885) — русский зоолог, путешественник.

самым отвратительным образом, еле-еле плелись тихим шагом, вперед. Возница, флегматический латыш, мальчишка лет 15, бил лошадей беспрерывно. Вооруженный двумя кнутами, одним маленьким и другим большим, возница наш систематически стегал сначала большим кнутом передних лошадей, потом, положив под себя большой кнут, брал маленький кнут и стегал немилосердно задних лошадей. Кондуктор бранился, говорил, что будет жаловаться, спутники мои выходили из себя. Мы делали по 4 и 5 верст в час. Наконец, продрогшие донельзя, притащились мы к девяти часам утра (в пятницу) в Вольмар, маленький, но чистенький городок. Кондуктор жаловался, и, чтобы помочь горю, нам прибавили вместо лошадей еще второго кучера. Ну, дело плохо! — сказал кондуктор, когда увидел, что на козлы лезет еще другой возница. Действительно, дело было плохое: оба возницы, вооруженные один маленьким, а другой большим кнутом, походили на дядю Митяя и дядю Миняя в «Мертвых душах». Это было окончательно невыносимо. В Ригу мы приехали к половине второго ночи; пришли в станционный дом и стали просить чаю и чего-нибудь поесть. Нам ничего не дали, хотя по закону на этой станции должно быть все. Иностранцы, ехавшие со мною, пошли жаловаться почтовому чиновнику. Почтовый чиновник, лифляндский барон, потомок одного из ливонских рыцарей, перебил речь иностранцев и начал высокопарным тоном доказывать им, что они очень ошибаются, воображая, что пассажиры имеют право жаловаться на неисправность почты, что это право русскими законами предоставляется только кондуктору и самим почтовым чиновникам, что пассажиры заплатили деньги за место и должны быть довольны тем, что их везут и пр. и в заключение показал иностранцам почтовый устав, напечатанный на русском языке. Я заглянул в книгу: там нет и речи о таких «особенных правах». Статья устава гласила совершенно другое. Нахальство лифляндского барона-чиновника меня взорвало; я тотчас же перевел иностранцам смысл статьи на немецкий язык. Они пришли в ярость и говорили, что будут писать чрез посольство и т. д. Борщов говорил, что напишет к Адлербергу¹.

¹ Адлерберг В. Ф. — в то время главный управляющий почт, позднее — министр императорского двора.

Вчетвером мы подняли такой крик и содом, что барон наш струсил, притих и начал говорить, что мы отнюдь не должны принимать серьезно и в буквальном смысле все, что он говорил, что это только так... Отделав порядком ливонского рыцаря, который тотчас обратился вспять, мы принялись есть что у нас было: сыр, маменькины крендельки, колбасы (которыми запасася мой гамбургский купец), хлеб, мерзлый язык, яблоки, перменты и пр. В субботу утром мы были в Митаве¹ — очень хорошеньком городке...

IX

...Вот он едет за спиной у кондуктора, наверху, «вне кареты»; дробно, невпопад стучат подковы лошадей; без устали, медленно и плавно, вращается по сторонам огромный, нескончаемый мир. Оглядывается ли он назад? Понимает ли, какую окончательную черту под его детством, отрочеством, юностью, под всею первой половиной его жизни проводит эта дорога?

Он лучше нас знает то, что у него за спиною: мы только ощупью, как в полутьме, прошли в навсегда исчезнувших пространствах, изо всех сил напрягая зрение, пытаясь рассмотреть и понять как можно больше...

Оглядывается ли он назад? Ах, эта юность, безбедная, окруженная любовью и пониманием близких, почти безмятежная... Если не считать того, что по крайней мере дважды он был на волосок от гибели; если забыть, что он родился крепостным родного отца и вырос «племянником» родной матери; если не принимать во внимание болезненную, как ожог, встречу с чужим страданием; если отмахнуться от того, что могилы отца, Луизы и Машеньки Готовцевой остались корнями его в болотистой петербургской почве.

Оглядывается ли он назад? Вспоминает ли откровенье первой телесной близости; вольную русскую песню в вечернем густеющем воздухе отрочества; недавнее: скромные, теплые целомудренные святые Соли Галицкой?

¹ Упомянутые в письме прибалтийские города ныне носят другие имена: Тарту, Валмиера, Елгава.

Нет, он не оглядывается. Он всю грудью подался вперед, чтоб хотя бы на расстояние своего вытянутого тела быть ближе к вожденной и неведомой цели.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Alt-Heidelberg, du — Feine,
Du Stadt an Ehren reich, —

пели с натугой, хотя довольно верно, мужские голоса за окном. «Старый Гейдельберг, ты прекрасен, ты город, богатый честью...» — нечто в этом роде, но поскладнее, услышал Бородин. Нет, он не переводил в уме на русский; он слышал не слова, а сразу то, что они выражали; большего бы нельзя было ожидать, если бы он и родился немцем. Бр-р-р... Родиться немцем — вот уж чего не хотел Бородин, — при всем уважении к почтенным обитателям честного города Гейдельберга. Зато в который раз с благодарностью вспомнил он свою добрую Луизхен: он наблюдал в Германии «безъязычных» своих соотечественников — вот кому тоска смертная! Да и не в тоске или веселье дело, в конце концов. И во все годы ученья, и теперь языки оказались необходимы как воздух. Его беглый немецкий, его французский, вполне пристойный, сослужили ему службу выше всяких похвал.

«Вот ты и окончательно на чужбине, Александр Порфирьич. Что ждет тебя, какими выйдут эти годы?»

Оставленная им — там, далеко, за пограничным шлагбаумом, — Россия бурлила. Кто ждал перемен, кто их страшился, сопротивлялся и цеплялся судорожно за что попало, — но ненадежны были все прежние предметы и понятия, не за что было уцепиться, беднягу несло в пугающее завтра, как щепку в водоворот...

Слева и справа выслушивал Бородин горячие, почти бредовые и противоположные по смыслу речи. Среди его знакомых и приятелей были и крайние радикалы и ярые охранители самодержавия, академики и семинаристы. Музыкальные увлечения приводили его на вечера к тайному советнику Пахитонову — а дома ожидал его временный сожитель по квартире и младший товарищ по Академии Николай Васильевич Успенский, литератор, человек, в котором жестокое и горькое знание.

народной жизни сочеталось с надеждой, надежда — с тихим отчаянием... В один и тот же день Александр выслушивал строго конфиденциальный рассказ о пикантных сторонах дворцовой жизни от личного врача государя, да-да, от Ивана Васильевича Енохина, лейб-медика, — и через час читал «возмутительный» листок с антигосударственными призывами, доставленный Сорокиным откуда-то «оттуда», из другого лагеря...

Бородин вдруг припомнил давний случай в этом роде. В крохотную квартирку, которую они, на паях с Успенским, снимали (недолго, потому что Николай Васильевич вскоре перевелся в университет, а там и вовсе бросил ученье, превратясь в литератора-профессионала), ворвался Макся, но в каком виде! На нем нитки не было сухой; с ног на крашенные половицы в один миг натекла лужа; капало с его рукавов, с бороды, с носу. Бородин приказал ему немедленно снять с себя все; Иван, сам врач, должен был с ним согласиться: день даже для тогдашнего июня был на редкость холодный, а Макся и без того подозрительно покашливал. Но прежде чем выполнить приказание, Сорокин достал откуда-то из-под мокрой одежды свернутый в трубку манускрипт; похоже было, что он принес его под рубашкой, у голого тела, как мальчишки таскают ворованные яблоки. Развернув и положив рукопись, как ни странно, почти не замочившуюся, на стол, он только тогда стал с поспешностью разоблачаться, скидывая прямо на пол сочившуюся влагой одежду. Александрова сожителя не было дома; Макся говорил громко и быстро:

— Прочти, все брось, прочти, я сегодня же должен отдать; это копия записки, которую Константин Аксаков царю подал... Бумага местами верноподданическая, но местами... Э, да ты, я вижу, нескоро соберешься; дай-ка я сам тебе прочитаю!

Бородин не успел возмутиться явной несправедливостью: ведь это для него же, для Макси, он искал что-нибудь сухое в комоде! Между тем, Сорокин, рассеянно вытираясь брошенным ему полотенцем, без штанов, тощий и мокрый, уже держал в руках принесенную рукопись и громко, отчетливо читал: «Не подлежит спору, что правительство существует для народа, а не народ для правительства. Поняв это добросовестно, правительство никогда не посягнет на самостоятельность народной жизни и народного духа... Самостоятельное

отношение безвластного народа к полновластному государству есть только одно: общественное мнение... В общественном мнении (разумеется, выражающем себя гласно), видит государство, чего желает страна, как понимает она свое значение, какие ее нравственные требования и чем, следовательно, должно руководствоваться государство, ибо цель его — способствовать стране исполнить свое призвание. Охранение свободы общественного мнения, как нравственной деятельности страны, есть, таким образом, одна из обязанностей государства».

— Он вовсе не прост; он, по-моему, прав! — сказал Бородин. На что Макся, ухмыльнувшись как-то особенно китро, ответил:

— Как сказать! На два верных слова — три неверных... — и взгляд его опять лихорадочно забежал по строчкам. — Дальше про земские соборы, про то, что прежние цари якобы жили с народом в отношениях, полных доверенности и дружественных... У него, видишь ли, Петр виноват во всем...

— Все это распрекрасно, однако, изволь одеваться: во-первых, у нас не жарко, во-вторых, гостю нагишом ходить неприлично, — сказал Бородин.

— Да, да... — отвечал Макся рассеянно, все так же уткнувшись в бумагу и машинально застегивая на себе байковый халат. — Вот! «На Западе идет эта постоянная вражда и тяжба между государством и народом, не понимающими своих отношений. В России этой вражды и тяжбы не было... Русский народ так и остался верен своему взгляду и не посягнул на государство; но государство в лице Петра посягнуло на народ, вторгнулось в его жизнь, в его быт, насильственно изменяло его нравы, его обычаи, самую его одежду; сгоняло, через полицию, на ассамблеи, ссылало в Сибирь даже портных, шивших русское платье...»

— Ну не бред ли? — весело спрашивал Макся. — Не было бы ассамблей, ходили бы в кафтанах да с бородой, и все бы уладилось. Я ничуть не преувеличиваю. Он сам говорит... А, постой, здесь забавное место. Аксаков императору Александру Николаевичу рассказывает про его предков. Слушай: «Престол российский стал незаконным игралищем партий. Незаконно вошла на престол Екатерина Первая, незаконно призвана была

Анна, причем аристократия задумала было и конституцию, но конституция, к счастью, не состоялась».

— К счастью, а? — словно радовался Сорокин. «С помощью солдат вошла на престол Елизавета. Нужно ли говорить о низложении Петра Третьего? Наконец, как плод нерусских начал, внесенных Петром, явилось восстание 14 декабря, — восстание верхнего, оторванного от народа класса, ибо солдаты, как известно, были обмануты».

— А что ж тут неверно? — спросил Бородин.

— Ты меня изумляешь, — отвечал Сорокин. — При чем тут «нерусские начала»? Читаю дальше: «Так действовало верхнее сословие, отказавшееся от русских начал... Народ все это время, как следовало ожидать, был спокоен. Это спокойствие не лучшее ли доказательство, как противна всякая революция русскому духу? Восставали дворяне, но когда восставал крестьянин против государя? Восставала бритая борода и немецкий костюм, но когда же восставала русская борода и кафтан?»

— Он про Разина никогда не слышал, — говорил возбужденно Сорокин. — Про Пугачева. Он не знает, что сейчас творится по всей России... Но я все обличаю Аксакова, — все-таки спохватился он, — а ведь это человек честный, он и заблуждается искренне.

Дверь отворилась; хозяйская прислуга, женщина рябая и удивительно добрая, внесла самовар. Бородин придумал устройство, с помощью которого можно было подавать условный знак, сигнал на кухню. Феодора — так звали прислугу — была столь поражена этим изобретением, что часами сидела и смотрела как зачарованная на безмолвную железку, на протянутые к ней веревки — ждала бородинского вызова.

Самовар был увенчан большим фаянсовым чайником. Чай Бородин покупал сам, но заваривать доверял Феодоре, — она справлялась.

Макся чаю обрадовался как ребенок.

— А я-то, понимаешь, думаю — чего не хватает, чего так ужасно хочется, и не пойму никак... На, вот... Десятый пункт. Сам прочти. А я поблаженствую... Читай, читай... такого в другой раз на бумаге не увидишь.

«Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый ложью, — послушно на-

чал читать Бородин, когда Феодора вышла, осторожно притворив за собой дверь. — Правительство, а с ним и верхние классы, отделилось от народа и стало ему чужим. И народ и правительство стоят теперь на разных путях, на разных началах. Не только не спрашивается мнения народа, но всякий честный человек опасается говорить свое мнение. Народ не имеет доверенности к правительству, правительство не имеет доверенности к народу... И на этом-то внутреннем разладе, как дурная трава, выросла непомерная, бессовестная лесть, уверяющая во всеобщем благоденствии, обращающая почтение к царю в идолопоклонство, воздающая ему, как идолу, божескую честь...»

— На что же все-таки мог рассчитывать человек, подающий такую записку? — спросил Александр.

— Не забывай, что он монархист, — ответил, пожав плечами, Сорокин.

Постучались. Появилось боязливое доброе лицо Феодоры:

— Я приберу? — сказала она просительно. — Не буду, не буду мешать... Занимайтесь. Я тихохонько...

Покуда она подтирала пол, покуда Сорокин пил по меньшей мере седьмой стакан чаю, Бородин молча читал дальше: «Гнет всякого мнения, всякого проявления мысли дошел до того, что иные представители власти, государственной запрещают изъяслять мнение даже благоприятное правительству, ибо запрещают всякое мнение... К чему же ведет такая система? К полному безучастию, к полному уничтожению всякого человеческого чувства в человеке; от человека не требуется даже того, чтобы он имел хорошие мысли, а чтобы он не имел никаких мыслей...»

— Я, энто... заберу, мокрое-то... выжму, значит, и — утюжком, утюжком... — пробормотала Феодора, — побаивалась она Сорокина, что ли? При Бородине она никогда не робела.

— Он мне нравится, — сказал Бородин.

— Чем-то — и мне, — сказал Сорокин; взяв бумаги в руки, он опять начал вслух: — «Давая свободу жизни и свободу духа стране, правительство дает свободу общественному мнению. Как же может выразиться общественная мысль? Словом устным и письменным. Следовательно, необходимо снять гнет с устного и письмен-

ного слова. Пусть государство возвратит земле ей принадлежащее: мысль и слово, и тогда земля возвратит правительству то, что ему принадлежит, свою доверенность и силу. Человек создан от бога существом разумным и говорящим. Деятельность разумной мысли, духовная свобода есть призвание человека. Свобода духа более всего и достойнее всего выражается в свободе слова. Поэтому свобода слова, вот неотъемлемое право человека... Разумеется ли под этим уничтожение цензуры? Нет».

Тут Бородин вытаращил от изумления глаза, — и наверное, это было забавно; во всяком случае, Сорокин рассмеялся.

— Не волнуйся. Тут он как раз распорядился неглупо. «Цензура должна остаться, чтобы охранять личность человека. Но цензура должна быть как можно более свободна относительно мысли и всякого мнения, как скоро оно не касается личности».

— Послушай, Бородин, а не можешь ты сосудить меня чем-нибудь из своего гардероба... До вечера? Я ведь спешу, знаешь ли... опаздываю... что там: опоздал уже. И все равно спешу. Поищи, Саша, все сойдет, не волнуйся... Ты ищи, а я тебе почитаю, тут уж пустяки, остатки... Кончает он, знаешь ли, за упокой: «Со временем должна быть полная свобода слова и устного и письменного, когда будет понято, что свобода слова — слушай, слушай! — неразрывно соединена с неограниченною монархией, есть ее верная опора, ручательство за порядок и тишину и необходимая принадлежность нравственного улучшения людей и человеческого достоинства...» Еще тут скороговорочкой, через запятую: «Есть в России отдельные внутренние язвы, требующие особых усилий для исцеления. Таковы раскол, крепостное состояние, взяточничество. Да, восстановится древний союз правительства с народом, государства с землею, на прочном основании истинных коренных русских начал...»

...Теперь, по прошествии нескольких лет, за тысячи верст от Петербурга, Бородин вдруг обнаружил, что не только хорошо помнит тогдашний Максин приход, но и что некоторые фразы из аксаковской записки целиком застряли у него в памяти, да и общий смысл, и крутые повороты аксаковской логики не забылись. Правда, —

подумал Бородин, — теперь-то она, эта записка, пожалуй, и не выглядит такой безумно смелой, как тогда; больно много воды утекло. Нынче на родине могло случиться все, вплоть до смертельного междоусобия... Да, уезжал он — там, в России, все кипело. Но зато и какой же верой горели молодые глаза, какой страстью дышали слова и поступки, на какую головокружительную высоту общих, национальных, всечеловеческих интересов вознесло время людей — над болотами вчерашнего мертвого спокойствия, умственного прозябания!

И вдруг: Гейдельберг. Чистенькая, теплая, довольная собой провинция. По утрам немки моют прилегающий к дому кусок улицы — и тротуар, и даже мостовую, тряпчочкой — старательно, как свою кухню. Запряженная в маленькую, почти игрушечную повозку с хворостом, семенит по середине улице коза; рядом такими же мелкими шажками передвигается старушенция, довольная своей находчивостью: ничто в хозяйстве не пропадает зря. Ах, ах, какой конфуз: на дорогу посыпались аккуратные катышки... Но все предусмотрено; из тележки достается совочек, метелочка, и порядок восстановлен...

Бородину в точности известно, что десять-одиннадцать лет назад в этих местах бушевали восстания; но одно дело — знать, другое — поверить. Трудно представить, что здесь когда-либо что-то случалось или может случиться. Безмятежностью и довольством дышат лица почтенных бюргеров. Даже псы, восседающие и возлежащие там и сям, довольны собой, довольны хозяевами, довольны славным городом Гейдельбергом. Университет, старейший в Германии, не исключение. Студенты весьма довольны собой, своими профессорами, своими вольностями. По воскресеньям они веселятся, бражничают. В невероятных количествах потребляются пиво и пунш, поедаются сосиски; при этом непременно кто-то кого-то назовет «глупым мальчишкой», и тогда состоится дуэль, в которой будут поцарапаны щека и лоб; если на щеке или на лбу останется шрам — дуэлянт счастлив и станет хвастаться им до конца дней: вот какая бурная у него была молодость! Ритуал пьянства, обжорства, умеренного битья фонарей (двух-трех, чтобы хватило заплатить штраф) установлен раз и навсегда. Порядок всегда одинакового оскорбления и вызова на дуэль тоже, кажется, никогда не менялся. Удручающе

правильным казался этот студенческий разгул; озорничали и пьянствовали с такой железной организованностью, что Бородину становилось отчего-то жутковато. «Неужели и мы так же странно выглядим со стороны, в глазах человека, приезжего, свежего?» — думал он.

Пожалуй что и так. Пожалуй, безалаберная и нищая, лихорадочная, путаная жизнь русских студюзовцев привела бы любого гейдельбергца в ужас, — и если Александр Бородин не желал бы родиться немцем, то уж от веселенькой перспективы родиться русским в России любой из здешних немцев стал бы отпихиваться руками и ногами... Все так. Но, уважая право других жить по-другому, Бородин не мог внутренне принять только самодовольства и какой-то машинной предопределенности поступков; буйствовать по воскресеньям, озорничать по расписанию — в этом виделась ему какая-то степень падения. Даже убийство, совершенное в ослеплении страсти, можно если не оправдать, то понять, — но страсть, в которую внесли бы распорядок и методу, была бы опошлена непоправимо. А может быть, он придавал много значения пустякам или склонен был чересчур поспешно обобщать случайные наблюдения? Слишком недавно приехал он сюда и душой оставался более чем наполовину в России... Вспомнив о доме, Бородин обыкновенно дул на свечу; свеча гасла. И первой выступала из темноты статуэтка эскулапа: она находилась напротив окна и выдвинута была от стены на кронштейне. Прославленный Аполлонов сын, бог врачевания смотрел на Бородина с укоризной. Мистика какая-то: ведь нужно же, чтобы именно ему, доктору медицины, который изменил искусству врачевания и отдался душой и телом органической химии, — именно ему попалась квартира с эскулапом! Асклепий, курчавый и бородатый, был запахнут в тогу, но грудь, мускулистая и мощная, оставалась открытой. Левая рука спрятана в складках тоги, правая опирается на посох, по коему скользит священная змея. Асклепий имел все основания науськать ее на Бородина: «Куси, куси!» Готовился Бородин к защите диссертации по «законной» своей медицинской специальности, а между тем, за два месяца до защиты доложил в Академии наук первую свою ученую работу... а в ней медициной и не пахнет: химия, сплошная химия! Да и в самой-то диссертации из-за каждого слова, из-за каждой буковки, казалось,

выглядывает, победно улыбаясь, Зинин... Химии и в ней было опять-таки больше, чем медицины. Степень доктора медицины Бородину присудили единогласно, куда ж деваться: дельно, умно, талантливо! — но было ясно, что медики молодого человека проморгали, так что в Германию он приехал уже как экс-лекарь... «Ату его, змейка, возьми его, возьми!» Но змея преданно прильнула к пальцам Асклепия. А сам божок, как выяснилось при свете утра, глядел белыми пустыми круглыми глазами неведомо куда: измена А. П. Бородина нисколько его не волновала.

Совсем развиднелось за окном. Вторых рам в здешних домах Бородин не встречал ни разу: тепло в Гейдельберге. Подошел, растворил окно настежь. Вон, ивы стоят зеленые, как летом. Отсюда не видно, но и розы цветут у подножия горы Канцель (что означает, как известно, по-немецки «кафедра»: в старом университетском городе это звучит!). Конец ноября, а люди ходят в легоньких пальто или еще — в плед завернувшись, как Асклепий в свою тогу.

Три вещи в Гейдельберге вовсе не провинциальны: река Неккар, горы и развалины замка. Река — горная, хрустально-чистая, бегущая откуда-то со склонов Шварцвальда в Рейн; река, на берегах которой в старину могли водиться гномы, тролли, феи, великаны... Великаны — это уж точно: странно, если горы первоначально предназначались не для них. Или вот замок, руины которого вознесены высоко над черепицей городских крыш. Полное впечатление, что строили его и в нем жили люди другой, нездешней, не нынешней породы, могучее и вымершее племя. Так путешественник видит на краю света циклопические постройки и тщетно расспрашивает живущих у их подножия туземцев об этих сооружениях: бедняги ничего не знают...

«Ну и ну! Эк занесло тебя, Бородин! Туземцы! Гейдельбергские дамы, гейдельбергские ученые мужи, услышь они твои мысли, такого бы не спустили. Скорей всего, они заподозрили бы тебя в невежестве, решили бы, что ты ничего не знаешь о Гейдельбергских романиках, о книге народных стихов, сказок и баллад «Волшебный рог мальчика», которую здесь издали Людвиг фон Арним и Брентано, о том, что Гегель в этом городе сочинял свою «Энциклопедию философских наук», что прямо сейчас в здешнем университете читают лекции

Гельмгольц и Бунзен¹. Бородин невеждой не был, с десятков вещей из «Des Knaben Wunderhorn»² знал с детства на память, Гегеля читывал, Бунзена лично знал, Гельмгольцу кланялся. И все-таки обвитые плющом древние стены, прекрасная восьмиугольная башня, Стекланный зал, флигели Оттона Генриха и Фридриха и сильно пострадавший от времени дворец Рупрехта никак не связывались в сознании со спокойными обитателями нынешнего Гейдельберга. Лет двести назад замок курфюрстов разрушили французы. Когда же он был елико возможно восстановлен и подновлен, в него ударила молния. С той поры, с 1764 года, разрушенное уже не пытались восстановить...

Зато знаменитая гейдельбергская бочка вполне во вкусе нынешнего поколения: нелепое и громадное сооружение, бочка с короною наверху, с длинной лестницей, ведущей на бочку, туда, где оборудовано нечто вроде смотровой площадки, огороженной перилами. Образчик предметного, материализовавшегося юмора, добродушного, но тяжеловатого... Если бы позволили своды подвала, бочка была бы еще крупнее и вызывала бы еще более громкое юмористическое «О-о-о!» у посетителей. И статуя карлика, Перкео, с тяжелым бокалом в руке, статуя вечно жаждущего, как его именовали, порождала всегда одни и те же возгласы и шутки, и одни и те же стихи звучали возле карлика бог знает сколько дней, месяцев, лет подряд:

Am Wuchse klein un winzig —
Am Durste riesengroß:

«ростом малютка, зато насчет жажды — великан». Не весть какая смешная шутка, но под сводами этого подвала она вызвала столько хохота, столько чисто немецкого веселья...

Однако эту же самую бочку поминает в прославленном своем стихотворении молодой Гейне:

Die alten, böser Lieder,
Die Träume schlimm und arg,
Die laßt uns jetzt begraben,
Holt einen großen Sarg.

¹ Гельмгольц Г. — крупнейший физик, физиолог; Бунзен Р. — знаменитый химик.

² «Волшебный рог мальчика» (нем.)

Hinein leg ich gar manches,
Doch sag ich noch nicht was;
Der Sarg muß sein noch größer,
Wie's Heidelberger Faß.¹

Так или иначе, замок хорош. Как и река, почуявшая уже, что ей недалеко до цели, до Рейна. Как и горы. Как и отель «Баденский двор»: первый островок России в Германии, обрадовавший Бородину несказанно.

III

Да, поначалу «Баденский двор» показался Бородину землей обетованной. Целую неделю пробыть в дороге, чувствовать, как все более чужой и незнакомою становится страна, в которую ты углубляешься и в которой тебе предстоит пробыть целую вечность: два или три года; слышать, как вокруг все, от ребенка до старика, изъясняются на языке, который хоть и знаком тебе, но, как-никак, был всегда языком иностранным... А теперь вот ты забрался в места, где оказался иностранным твой собственный, русский язык. Приехать, войти в рекомендованный тебе Зининым отель — и, едва успев затворить за собой дверь, услышать радостное:

— Эге! Да это же Бородин! Александр Порфирьевич, какими судьбами? Сюда, сюда, просим... Знакомьтесь, господа!..

Человека, встретившего его с такой радостью, звали Дмитрий Иванович; он был доцент Петербургского университета и читал там органическую химию. Бородин понятия не имел, что он теперь тоже в Германии. Они встречались прежде несколько раз то в Академии, то у Зинина, но коротко знакомы не были. Однако здесь, в Гейдельберге, увидеть свежего человека, только что из

¹ Дурные, злые песни,
Печали прежних лет!
Я вас похоронил бы,
Да только гроба нет.

Не спрашивайте, люди,
Что сгннуть в нем могло б,
Но гейдельбергской бочки
Обширней нужен гроб...

(Перевод В. Левика.)

России, конечно же, радость: темно-синие, почти васильковые глаза доцента распахнуты, и никакого притворства, никакой аффектации явно нету, — да и Бородин рад коллеге и ровеснику, точно брата родного встретил.

— Здравствуйте, Менделеев.

— Присаживайтесь к нам, не стесняйтесь. Да вот лишнее кресло приставим, и лады. Сеченов, Иван Михайлович, подпоручик в отставке, ныне лекарь.

— Окончил Московский университет, — добавил Менделеев, — на свои кровные объездил всю Европу, у Гельмгольца учится...

— Не учится, а — занимается, — поправил сухо Сеченов.

— Занимается, а не учится. Чего там, у Гельмгольца еще учиться... Сеченов сам кого хошь научит, — послушно «поправился» Менделеев. Он «окал» довольно заметно, и откуда бы он ни привез это свое оканье, здесь оно было к месту.

— Позвольте, господа, а до меня дойдет ли черед? Тем более, что я вас знаю, Бородин.

— ?!

— Житинский моя фамилия, я в Первой гимназии учился в одном классе с Михаилом Щиглевым.

— Представьте себе — от Нарвы попутчиком моим был лицеист, товарищ Коли Щиглева...

Вот такое было начало; потом Менделеев показывал с гордостью лабораторийку, которую успел здесь себе устроить; было чем похвалиться Дмитрию Ивановичу, он и хвастался благодушно и с удовольствием, и расцветал от похвал, от «ахов» новичка: в России провести в дом газ, купить посуду, оборудование, приборы — да еще сравнительно дешево, как удалось Менделееву... нет, дома об этом и мечтать нельзя. Хорошие руки были у Менделеева: подвижные, нервные и — надежные в то же время, «не шатучие» (так, бывало, Аннушка о его собственных руках говорила).

IV

Авдотья Константиновна за границу представляла себе смутно. Правда, о Германии кой-что ей рассказывала Луиза, а когда Саша ездил с лейб-окулистом Кабатом

на какой-то мудреный конгресс, то и Сашу она по возвращении подробнейшим образом выпрашивала о чужих землях и обычаях. Но всему, чего не видела собственными глазами, она привыкла не давать веры, а потому больше, чем чужим рассказам, склонна была доверять своим предчувствиям и многочисленным снам.

Правда, в последнее время и сна-то настоящего не было: так, полудрема, в которой вдруг вспыхивают картинки фантастические и яркие до невозможности. Германия и вообще-то в памяти Авдотьи Константиновны смешивалась со всеми другими странами, о которых она когда-либо и хоть краем уха слыхала. Но теперь ночами, не поймешь — во сне, не во сне, все колебалось, будто отраженья в беспокойной воде, странно искажалось и путалось, — Авдотье Константиновне представлялась заграница, и все с каким-то басурманским уклоном. Черные и краснокожие полуголые люди плавали там на изукрашенных венецианских гондолах прямо по улицам; с высоких минаретов вопили истощенными голосами муэдзины; люди ехали кто на ослах, кто на слонах, кто почему-то на собачках, запряженных в сани, через толпу, сплошь одетую в черные фраки; где-то сбоку сознания выплясывал чечетку лезгин с кинжалом в зубах. Очнувшись, Авдотья Константиновна осеняла себя крестом; сердце ее колотилось, как в первое, почти забытое свидание с покойным князем Гедиановым.

Не было вдове покоя с того самого дня, как Александр уехал в Неметчину. Недоверчиво читала она его письма, недоверчиво выслушивала вернувшихся из-за границы Сашиных знакомых. По их словам выходило, что там такая же точно жизнь, только спокойней, потому как нет крепостных и воруют меньше. Приехал из Гейдельберга Иван Максимович Сорокин и окончательно растревожил. Он доложил, что Саша живет неплохо, ни в чем не нуждается. И все бы ладно, — но в последнее время его часто видели с известной девицей Окладнюхой. Девица эта хоть по-своему недурна, но несколько кривобока, слегка косит левым глазом, а коли хорошенько присмотреться, увидишь, что она чуть заметно прихрамывает. В остальном же мила, смешлива, хотя и копейки за душой не имеет. Ну да ведь всем известно, что она нарочно для того явилась в Германию, чтобы подцепить богатого жениха,

— Да Саша и не богат вовсе! — в ужасе прервала Сорокина Авдотья Константиновна.

— Это вы ей скажите, — резонно возразил тот. — Сколько я слышал, Александр Порфирьевич ей очень даже пришелся по вкусу, и скоро, глядишь, дело у них дойдет до серьезного объяснения...

Глаза у Сорокина, говорившего все это, подозрительно поблескивали, а потом он вдруг фыркнул носом и, вынув носовой платок, долго в него кашлял.

— Да ты не врешь ли, государь мой? — спросила Авдотья Константиновна, вперяясь в него проницательным взором.

— Хотите верьте, хотите нет, — сказал Макся и, повернувшись, ушел в другую комнату, должно быть, поздороваться с детьми, к которым его всегда тянуло.

Авдотья Константиновна не знала, что и думать. С одной стороны, Сорокин до смерти Маши был известный выдумщик и теперь, по прошествии времени, мог снова взяться за свое. С другой — не бывает дыма без огня, что-то такое чуяло ее сердце...

Ночью приснилась ей девица Окладнюха почему-то в турецких шароварах и с трубкой в зубах; она пускала дым колечками и подмигивала Авдотье Константиновне левым, косящим глазом. Проснувшись вдова в холодном поту. Засветила свечу и, как была в рубашке, прошла в комнату мальчиков, нашла там чернильницу и перо и села в гостиной писать слезное письмо Саше.

Она писала, что грех ему думать о женитьбе без ее благословения, что о девице Окладнюхе известно ей от верных людей такое, что ему и не снилось. Что при Сашиной доверчивости и простоте ничего не стоит окрутить его вокруг пальца. Что и так уж сколько она билась, чтобы здесь, в Петербурге, Аннушка знала свое место и не воображала себя ему равней, а вот теперь, слава богу, есть на примете хороший человек, работающий и не так чтобы уж очень пьющий, который может составить ее, Аннушки, счастье...

С лихорадочным нетерпением ожидала теперь Авдотья Константиновна ответа. Но почта работала медленно и бестолково, — приходили письма, из которых становилось ясно, что Александр и не подозревает о тетушкиных тревогах и опасениях. А может, не то: нарочно отмалчивается? А пишет все о какой-то добрейшей замужней барыне, Анне Павловне Бруггер.

Дети уложены спать; от самовара тянет дымком. Катерина Егоровна наливает себе уже третью чашку. Чай она потом переливает в блюдце, дует на него, так что облачко пара возникает перед ее хитреньким лицом. Авдотья Константиновна поглядывает не без опаски; блюдце вот-вот опрокинется, пальцы у экономки что-то подрагивают. Но зато мизинец отставлен в сторону, все чин по чину, благородно, — и сахар вприкуску.

Грубоватое, привядшее лицо Катерины Егоровны разглаживается. Здесь не только от чаю удовольствие — доверие хозяйки льстит, доверительный разговор слаще сахару. Неприметно, один за другим отошли в сторону все, кто заслонял Катерину Егоровну от хозяйкиного взгляда. Луизы нет, Мари нету... грех радоваться, конечно, царствие им небесное, — а все как-то свободней стало. Другие домочадцы и знакомые разошлись, разъехались. Сын любимый вовсе на чужой стороне, и с кем поговорить о нем, душу отвести? Только с Катериной Егоровной, ни с кем больше, даром что сынок-то ее не очень жаловал.

— Голубушка моя, с лица исхудавши вся... Виданное ли дело, так маяться? И чаю совсем не пила.

— Не до чаю мне. Извелась, мысли не дают покоя.

— То-то и оно, весь вред от мыслей. Молиться надо, — назидательно говорит экономка, но тут же спохватывается: не переборщила ли? И она меняет тон: — Что пишет Сашенька-то наш? Как он там?

— Все барыню эту, Анну Павловну, нахваливает.

— А эта не окрутит?

— Господь с тобой, Катерина. Дама в возрасте, с детьми, мужняя жена... Правда, уехала она от мужа, нехорош он у нее. Нет, и думать не хочу! Эх, куда тебя завело. Глупости какие.

— Да я что ж? Я так только. Тоже ведь и мне неспокойно. А барыня-то богатая?

— Богатая будто до чрезвычайности, да нам-то что за толк от чужого богатства? Саша пишет: добрая и милая, вот что главное. Ну и пускай добрая, пускай милая, не забудет же он меня из-за нее? Нет, Катерина, ты меня еще и барыней-то этой не пугай!

— Да кого ж я пужаю, благодетельница? Я сама не об ней, а об этой... Окладные думаю. Что за имечко, сроду таких не слыхивала, в святцах чай не найдешь!

— Вот и я соображаю... Не имя это — прозвище; имя-то мне не говорят! Молчит об ней Саша, как воды в рот набрал. А ведь никогда ничего не скрывал от меня.

— Может, она из англичанок или из немок?

— Какое! Русская. Сорокин сказывал, нарочно приехала, за учеными женихами гоняться. Нешто к Николаю Николаевичу сходить? К Зинину? Саша его как отца слушается.

— Сходи, сходи, хуже не будет!..

V

Из писем Бородина.

«Гейдельберг, 1860 г. (числа и месяца не помню: не то 31 марта, не то 1 апреля).

Ну, душенька тетушка, — мне везет, просто везет в Гейдельберге. Я писал как-то Сорокину, что у меня была тоска некоторое время. Примерно просто так, что хоть вон беги. «Тоска, — говорю, — одолевает!» Что ж, говорят мне приятели, познакомься с кем-нибудь. «Извольте», — говорю я приятелям. Ну и познакомился. Барыня образованная, но простая и добрая до крайности. В 2 визита я сделался там домашним человеком, так же как Менделеев и некий Житинский, которые уже знакомы давно. Я опять начинаю баловаться, даже галстук иногда завязывает барыня, кормит нас кулебяками, щами. Мы ездим с нею в театр и пр. По вечерам собираемся у нее к чаю, читаем русские журналы и книги, — я играю им на фортепьяно — словом, живем как в семействе; жаль только, что бедняжка, кажется, в чакотке. Она за мужем очень несчастна, муж ее невероятная свинья, но так как развестись нельзя, то она отдала ему половину своего состояния с тем, чтобы он отдал ей только детей и оставил ее в покое. Она очень богата, но главное — необыкновенно добра и симпатична... Познакомился я еще с одною, милою-премилою барышнею — Маркович (Марко Вовчок) и М-те Пассек, сестрою Герцена. Бываю даже в одном немецком доме, оч. музыкальном. Даже аристократический круг вздумал ни с того ни с сего тащить меня к себе, — ну, разумеется, я туда-то уж не пошел — уж больно глупы.

Знаком также с одним английским семейством Swine-burne и пр. и пр. Прослыл здесь окончательно за музыканта. Все знакомые мои достали себе фортепьяно... даже некоторые из них виолончель; участвовал я в живых картинах у некой М-ме Кунц — отличной певицы. Играл партию флейты на одном музыкальном вечере, буду скоро играть квинтеты. Учусь ездить верхом, и языкам английскому и итальянскому. Даже 2 раза имел медицинскую практику. Переехал на новую квартиру: Karpfengasse № 2 (так прямо и пишите туда). Плачу я здесь тоже 65 гульденов в семестр, но выгода та, что у меня две комнаты, не на солнечной стороне (потому что я проживу здесь до августа). Перед окнами тополи, сад, с другой стороны Неккар и горы. Просто чудо! Главная же выгода та, что живу рядом с лабораториею, — вот для чего я и переехал...»

«...Будьте спокойны, душенька, я не женат и не намерен жениться за границею не только на M-lle Окладныхе, а ни на ком. И охота Вам «жалкие-то слова» писать. А Ваньке не верьте ничего. Он ведь известный враль. Простите, душенька, за то, что письмо это пролежало неделю до отправки, как вы видите из числа и месяца. Два письма моих, должно быть, не дошли к Вам: пропали».

Ивану Максимовичу Сорокину.

«8 апреля. Немецкая Святая неделя.

...весна: пора
Свезения навоза
С господского двора.

У нас, брат, совершенная весна: вишни все в цвету, фиалок и других вонючих цветов множество; погода такая, что нет никаких средств сидеть дома. Ergo¹, я рыскаю с утра до вечера. В лаборатории работать нельзя — каникулы; все чистят и убирают. Пользуясь этим временем, я рыскаю по окрестностям, и обычно-

¹ Следовательно (лат.)

венно не один, а с семейством или компанией. Познакомился я здесь с одною милейшею и добрейшею русскою барынею (М-те Бруггер, Анною Павловною), которая живет здесь целою семьею. Я с Менделеевым (который тебе кланяется) и неким Житинским (бывшим товарищем Мишки Щиглева по гимназии) у нее совершенно свои люди: ходим к ней во всякое время, она нас кормит напропалую, ездит с нами повсюду, играет со мною в четыре руки и с виолончелью. Она зашивает мои перчатки, если разорвутся, завязывает галстук, выбирает нам, если приходится что-нибудь купить, причесывает и помадит голову etc. etc. Словом, барыня преобязательная... Я, братец, познакомился с одним немецким семейством... Вот, братец ты мой, и приглашают к ним на *Soirée*¹. Описывать, что ли, *Soirée*? аль нет? — ну, уж опишу. Начиная с того, что живые картины, очень милые, впрочем (из этого ты можешь догадаться уже, что я в них участвовал). Но курьезнее всего было следующее приключение: одна довольно-дородная барышня танцевала вальс и вдруг шлепнулась на пол, вследствие толчка. Падение было довольно сильное; барышня села да и не встала более. Услужливые кавалеры бросились поднимать ее, но — *Nonnendium!*² — под барышнею образовалось — не лужа — а просто целое озеро прозрачной влаги; однако барышня дошла до стула — оставляя, разумеется, по пути след. В этом, конечно, еще нет ничего особенного, может случиться со всяким, но курьезно то, что по распоряжению хозяйки тотчас явилась горничная со шваброю и прехладнокровно начала размазывать по полу... Барышня осталась по-прежнему в комнате и продолжала выплясывать. Вот наш брат и смеется иногда над Германией, а как вспомнишь свое гнездо да сравнишь, и грустно делается. Сколько еще нам нужно времени — чтоб дойти хоть до этой степени развития...

Ходил, брат, я пешком по деревням; куда наши-то деревни против здешних, — кабаки, брат, здесь чище и привлекательнее на взгляд многих наших купеческих домов, не говоря о мужицких. Чистота, порядок, опрятность. У мужика на штанах семьдесят семь заплат, а ни одной дырки; пиво и сыр везде порядочные, повсюду

¹ Вечеринка (франц.)

² О ужас! (латин.)

есть лапки, школы, гостиницы, даже иногда аптеки; дороги везде великолепные; во многих местах есть экипаж, который постоянно ходит к ближайшей станции железной дороги. Далеко нам, брат, еще до всего этого. При всем том в маленьких городах скука непомерная... Ну что, с тебя довольно, что ли? — положим, что довольно... Да погоди еще, — что ты наделал своим враньем; зачем ты переполошил Тетушку, ты знаешь, что она верит всему и беспокоится. Пожалуста, не делай этого вперед...

А. Бородин.

Передай письмо Анне Тимофеевне».

Авдотье Константиновне Клейнеке.

«Хоть я и не получил еще ответа на последнее письмо мое, однако же я еще раз пишу, — для доказательства, что я еще не женился на девице Окладныхе или не погиб во цвете лет каким-либо другим образом. Я живу хорошо, необыкновенно спокойно, здоров и совершенно доволен своим состоянием, а наипаче новою квартирою. Вообразите, что я невольно нанял квартиру с соловьями, право: против моих окон, как я уже писал, — сад; в саду днем поет один соловей, а ночью другой. Ко мне даже по вечерам приходят знакомые слушать соловья. Работаю много и со вкусом, — наслаждаюсь...»

«...Что Вы как будто и в самом деле думаете, что я хочу жениться?... это все. Ванька накуролесил. Утешьтесь, душенька, я, лопни глаза мои, не думаю сочетаться браком. А если уж очень приспичит — сиречь если майский воздух и хорошая природа напомнит о том, что «всякое дыхание»...» и пр. — так у нас под боком Франкфурт — 4 гульдена — и дешево и сердито. Не верите — спросите Николая Николаевича. Он это хорошо знает. — Гейдельберг, с тех пор, как горы оделись зеленью, просто чудо что за место, смотреть не насмотришься, гулять не нагуляешься. Я нынче встаю рано, в 5 или 6 часов, и хожу гулять: просто нельзя в комнате сидеть; в лаборатории работаю тоже на дворе, на воздухе...»

«...Скоро вышлю Вам портрет. Вы, голубушка, не скажите очень, мне право, хорошо; — и что Вам за охота уверять меня, что Вы меня любите, как будто я сомневался в этом. Я, душечка, знаю, что наверное никто меня не любит так, как Вы. А если иногда случится, что Вы долго не получаете писем, не беспокойтесь, — почта очень неаккуратна и письма не только запаздывают, но даже и вовсе иногда не доходят... Поздравляю Еню с переходом в следующий класс...»

«Весть о приезде Николая Николаевича меня сильно обрадовала... Мне это время как-то опять захандрилось было: впечатления житейские нехорошие; барыня моя по приезде из Милана слегла и по крайнему моему разумению не встанет. У нее изнурительная лихорадка, слабость невероятная: головы поднять не может и теперь стала окончательно тем, что называется «кожа да кости». Консилиумы составляются, — от чего больной, разумеется, нисколько не легче... Сегодня иду сниматься. Кроме сольного портрета, мы, т. е. Менделеев, Олевинский, Житинский и я, снимемся группю. Один такой портрет я отправлю Сеченову, ибо он всех нас знает, а Вам вышлю сольный портрет...»

«Гейдельберг, 12 августа 1860 года.

Ну, душенька, извините, что долго не писал Вам, все штуки разные мешали: то оказии ждал, т. е. портретов, с которыми меня водил за нос фотограф; то уезжал, то лень etc. etc. Моя добрая барыня умерла 26 июня, похоронили мы бедняжку в Висбадене и осиротели совсем, тоска на нас напала такая, что ужас. Наконец, мне захотелось проветриться, и я взялся проводить одну барыню, некую М-те Китарры (жену профессора Китарры, ученика Николая Николаевича) до Бонна. Из Бонна я дернул дальше да и очутился в Роттердаме — в Голландии. Путешествием своим доволен донельзя. Голландия представляет много очень интересных особенностей. По возвращении моем в Гейдельберг я к неописанной радости нашел Николая Николаевича. Он вернулся из Парижа прямо сюда. Мы теперь неразлучны с ним и дожидаемся только хорошей погоды, чтобы отправиться в Швейцарию и в Италию...

Портреты я или вышлю по почте или пришлю с кем-нибудь. Работу мою о бензидине я уже напечатал отчасти, ибо Н. Н. узнал, что Гофман в Лондоне работает на том же поле. Кланяйтесь всем, кому нужно, и прощайте, А. Бородин».

VI

Не всякая встреча отца с сыном бывает столь сердечной, какой была встреча Зинина и Бородина. Не успев ступить с подножки вагона на гейдельбергскую землю, Николай Николаевич попал в объятия ученика. Они расцеловались, на глазах у обоих выступили слезы. Тут подошли и другие встречающие. Высокий тенорок Зинина звучал теперь вперемешку с восклицаниями, приветствиями, шутками; не скоро выдалось время поговорить с глазу на глаз.

Если бы кто-нибудь подслушал этот разговор двух людей, безмерно соскучившихся вдаль друг от друга, он понял бы мало. Правда, мелькали в их речи изредка и обычные слова — русские, французские, латинские, немецкие. Но ни русский, ни француз, ни немец, ни даже древний римлянин не смогли бы уловить суть дела: через два слова на третье тут звучали ученые термины, в том числе — и совсем недавно введенные в обиход, сугубо специальные слова и обороты. «Цинк-этил», «углеводородный радикал» («Радикал? Опять про политику», — подумала бы Катерина Егоровна), «каломель»... — для посторонних ушей не слишком понятно.

Только под конец Николай Николаевич перешел на чистейший русский.

— Что это за Окладнюха мифическая, что не дает вашей заботливой тетушке ни отдыха ни сна?

— Ох! — вздохнул Бородин. — Приятель мой, бездельник, вздумал пошутить с ней на этот счет, а я расклебывай. Уж как я ни оправдывался, как только ни клялся: лопни мои глаза, если я вздумаю за границей сочетаться браком... Не могу ее успокоить.

— А глазки-то вы бы поберегли, Александр Порфирьевич, — сказал Зинин с ехидцей. — Они и вам и нам еще пригодятся. Мало ли что случается с людьми ва-

шего возраста! Сегодня и не думаете сочетаться, а завтра, глядишь, и под венец...

— И вы туда же, Николай Николаевич! Сами же говаривали: «Химия — дама ревнивая...»

— Ну-ну, не до такой же степени, — сказал Зинин. — Мне лично приходилось встречать и женатых химиков. Я говорил с вами о другой ревности. С музами, извините за любопытство, грешить не изволите?

— Случается. Но в меру, в меру! — сказал Бородин.

— Хм... разве что в меру... — недоверчиво произнес Зинин.

VII

В меру ли? И где она, какова она, эта «мера»? Вновь и вновь вспоминалась Бородину одна встреча, происшедшая дома, в России, примерно за месяц до его отъезда. На вечере у Ивановского, адъюнкт-профессора Академии, он увидел и сразу признал знакомое лицо... То был молоденький офицер-преображенец, с которым он впервые познакомился на дежурстве в госпитале. В тот раз он был совсем мальчиком, наивно-щеголеватым; за три прошедших года он повзрослел и определился, «светскость» свою нисколько не демонстрировал, что не мешало ему теперь выглядеть истинно изящно и светски; он был в штатском и, в свою очередь, сразу узнав Бородина, в первые же минуты разговора сообщил ему, что вышел в отставку, чтобы полностью отдаться музыкальным занятиям. Нечто вроде ревности ворохнулось где-то глубоко в душе Бородина; пожалуй, ему не хотелось принимать сообщение молодого человека — Модеста Петровича Мусоргского, и редкостная фамилия, и имя-отчество прекрасно сохранились, оказывается, в его памяти, — всерьез...

Хозяин дома, да и хозяйка следом стали уговаривать Бородина и Мусоргского поиграть. У Ивановских нашлось четырехручное переложение ля-минорной симфонии Мендельсона. Мусоргский слегка поморщился, взглянув на ноты, и сказал, что, пожалуй, готов играть, но чтоб его уволили от анданте, которое смахивает на одну из мендельсоновских песен без слов. Потом он играл один, восхищенно говорил о Шумане, почти

неизвестном Бородину, смело играл наизусть; потом признался, что сам пишет музыку... и тут же сыграл кое-что свое, настолько новое по звучанию и непривычное, что Бородин как-то сразу не нашелся — как к этой новизне отнестись? Он не раз замечал, что полная новизна в музыке всегда не столько восхищает, сколько озадачивает слушателя; душа невольно ищет каких-то знакомых ориентиров, чего-то привычного, на что можно было бы опереться, откуда вести отсчет. «Ну, это восточное», — обронил Мусоргский, дойдя до трио той своей вещи, которую он играл. «Восточное» как раз глубже всего и запало в память, и бередило ее. Какой-то охранительный инстинкт заставлял Бородина скептически думать о решении Мусоргского посвятить себя музыке. В то же время некие знакомые флюиды исходили от этого девятнадцатилетнего юноши. В нем было то, что отличало Зинина, Пирогова, Сеченова, Менделеева, Борщова, Боткина... Поглощенность своим делом, устремленность всех сил в одну точку. Мусоргский говорил о музыке ревниво, как Зинин о химии. И ощущение своей тайной и опасной раздвоенности укололо Бородина... хотя потом Бородин забыл про этот укол или сделал вид, что забыл. Ни в какой такой раздвоенности он себе не собирался признаваться. Он ученый — и все тут, что не мешает ему предаваться той или иной забаве, — хоть верхом ездить, хоть путешествовать, хоть музицировать...

С утра он работал в лаборатории. Время проходило так, словно какой-то шутник одним движением переводил стрелки часов сразу на полциферблата вперед. Но стрелки стрелками, а и солнце успевало каким-то чудом перемахнуть с востока на запад...

Бородин шел домой. Он говорил всем, что снял квартиру с соловьями — и правда: в саду, куда выходили окна, звучали страстные до самозабвения рулады, трели, цоканье, шелканье, посвистывание. Случалось, соловей умолкал. «Умаялся, — говорил кто-нибудь из гостей, — и пора. Так трудиться — сил никаких не хватит!» Но тут как раз птичья песня возобновлялась с новой силой. Александр Порфирьевич не раз вспомнил флейтиста из Семеновского полка, Кузьму, слова его: «Соловья-то слышал? Ну, ничо, не горюй, услышишь, какие твои годы!» Теперь-то годы были порядочные. Двадцать семь скоро стукнет, а что сделано? Впрочем,

и сделано кое-что. Первые опубликованные им работы встречены с вниманием: Зинин, кажется, им доволен.

Говоря приятелям о соловьях, Бородин умалчивал о другой особенности своего жилища. Честная хозяйка, правда, предупредила его заблаговременно: «Немногие уживаются с вашим соседом!» Бородин соседа не видел еще ни разу, зато слышал его. Сосед играл на скрипке. От пяти до семи вечера сосед разучивал Первую скрипичную сонату Баха. Через неделю Бородин знал каждый пассаж наизусть. А сосед все разучивал сонату, начиная и заканчивая свой урок с точностью хронометра. Хозяйка поражалась выдержке нового жильца. Конечно, он заплатил за месяц вперед... Она приготовила приличные случаю слова, чтобы проститься с симпатичным и жизнерадостным молодым человеком. Но Бородин еще раз приятно поразил ее. Он не съехал с квартиры. Каждый, кто бывал у Бородина в гостях, мог напеть фразу из скрипичной сонаты Баха. Александр Порфирьевич уверял, что кошка хозяйская — и та промякивает довольно верно все основные темы баховского сочинения. А сосед все разучивал сонату...

Однажды Бородин сел за фортепиано (пианино и виолончель он брал напрокат) и... хозяйка, хозяйкина кошка и сосед-скрипач слышали звуки всей той же сонаты. Да-да, знакомая до последней нотки fuga из соль-минорной сонаты Баха, но, позвольте... Что-то не так! Русский все перепутал. Он играет в другой тональности... А следующих тактов у Баха и вовсе нет! Совсем новая музыка!

Пианино за стеной смолкло, зато зазвучала виолончель. И снова баховская тема менялась, переливалась в нечто новое, не слышанное раньше... Так сочинялась виолончельная соната Бородина. Не в первый раз он обращался к теме большого мастера, брал ее, чтобы осмыслить и развить по-своему. В конце концов, Бах, Гайдн, Бетховен так же реальные, вещественны, как Неккар, как руины замка, как здешние горы. Войти в их мир, прожить часы и дни там, внутри, проложить рядом с чужой дорогой свою... Беря заведомо «подсказанную» тему и ничуть не скрывая, из какого она источника, Бородин учился. Была в этом занятии какая-то гибельная услада. Его тянуло к фортепиано, виолончели, флейте, к нотной бумаге, как пьяницу к водке. От друзей и знакомцев, от русской ученой колонии в Гей-

дельберге Бородин скрывал размеры своего увлечения (как от себя скрывал его серьезность и необратимость). Народ это все весьма проницательный. Если бы они заметили, какую власть забрала над ним музыка, пожалуй, могли бы возникнуть некоторые сомнения насчет его пригодности к науке. Полнейшая, до самозабвения, преданность своему делу как бы молча подразумевалась в их кругу.

VIII

А в кругу этом его любили. Иногда он задумывался: за что, почему? Ему казалось тогда, что секрет прост, как все великие секреты жизни. Нужно любить других, чтобы тебя любили. Любить не жадничая, не отмеривая, не экономя, — во весь размах души. Так он и делал, причем это не требовало от него никаких специальных усилий. То была, можно сказать, «жадность навыорот», неутолимая потребность отдавать, дарить дружбу, — вообще все, чем богат. Правда и то, что многие другие русские, окружавшие Бородина в Гейдельберге, и сами в полной мере заслуживали любви и удивления. Явившись из крепостной страны, где низшие отличались от высших только степенью несвободы, люди эти на какое-то время вздохнули вольной грудью. Они были непривычно свободны в чужой стране, не связаны никаким надзором. Они использовали свою свободу для яростной работы, которая многим показалась бы каторгой. Для дружбы. Для споров. Не было дела, с которым они не решились бы обратиться друг к другу, не было трудности, в какой один другому не помог бы. А шутки и дурачества, а музыка, а сидения у Татьяны Петровны Пассек, «Корчаковской кузины» Герцена, у которой запретный, опасный в России «Колокол» лежал на столике — протяни руку и возьми; а прогулки в горах, а ученые беседы, в которых все понималось с полуслова, в которых важные термины переиначивались на фамильярный и дружеский манер, в которых была та редкая короткость и та тонкость, что возникает только при общении мастеров и энтузиастов своего дела и резкой чертою отделяет их от посредственностей и профанов!

Бородин знал цену всему этому, он уж и тогда думал, что вряд ли второй раз в жизни выпадет такая удача, составитсЯ такое товарищество; он был прав и неправ. Ему еще не раз повезет с друзьями; его единомышленниками и товарищами будут люди поразительно талантливые и самобытные. А все-таки прав он был более, чем неправ: что будет, то будет, а такое — не повторяется.

IX

Ясно, что это за птицы: один саквояж на двоих, всей одежды — штаны да блуза; едут во втором классе.. То, что называется богема, бродячие художники, — вот только какой нации? Сразу не определишь. Говорят то по-немецки, то по-французски, с грехом пополам изъясняются и на итальянском. Один повыше, другой пониже. У одного прежде всего бросается в глаза широкий и выпуклый, самому Сократу впору, лоб, а под ним — синева открытого взгляда; другой по складу лица южанин, темноглазый и темпераментный. Впрочем, оба одинаково непоседливы, смешливы, общительны.

О них могли бы рассказать генуэзские мальчишки, которых эти двое трепали по курчавым головам, угощали дешевыми конфетами и смешили своим итальянским произношением; беззубый венецианский гондольер, получивший от них на чай... две рубашки, совершенно новых, но явно нуждавшихся в стирке: молодые иноземцы тут же, в гондоле, переоделись в новые, только что из магазина, сорочки, а старые с шутливым поклоном вручили ему; хранители старых церквей, уличные торговцы, зрители и артисты маленьких народных театриков могли бы рассказать об этих двух бродягах.

Но в тесном вагоне поезда, вышедшего из Вероны, их никто не знает, и они, разумеется, не знают никого. Поезд тормозит внезапно, так что людей швыряет друг на друга. Откуда-то сверху сваливается корзина, и по всему вагону рассыпаются спелые оранжевые апельсины, закатываются под лавки, под ноги и узлы. Их владелец, дочерна загорелый, горбоносый крестьянин, бранясь и причитая, бросается собирать их, и все, даже бессловесный одышливый монах, принимаются помогать ему. В это время в вагоне появляются австрийские жан-

дармы. На лицах их написаны традиционные жандармские добродетели: готовность повиноваться без рассуждений, повелевать — без рассуждений, догонять, хватать, пинать, вытряхивать душу — и все это без рассуждений. Странно: где Вена, а где Петербург... но какое роковое сходство в лицах, усах, фигурах, поведенческих австрийских и российских жандармов, словно их штамповали в одной и той же мастерской!..

Таковыми приблизительно наблюдениями обменивались шепотом Бородин и Менделеев, когда австрийцы остановились перед ними.

— Следуйте за мной, — сказал старший из них, разумеется, по-немецки.

Менделеев и Бородин на четырех языках тщетно доказывали свою ни-в-чем-не-виновность; пришлось повиноваться.

В станционном здании их привели в грязную голую комнату, пахнущую чернилами и бедой. Арестованные прекрасно говорили на языке арестовывавших, — но их не слышали, им не отвечали. У Менделеева взяли саквояж, быстро и умело ощупали одежду сверху донизу и — оставили его в покое. Бородину же приказано было раздеться. Он снял блузу, сорочку... Мало. Все следовало с себя снять, все! Бородин повиновался. Стоять в чем мать родила перед австрийскими жандармами было скучно, холодно и унижительно. Бородин приподнялся на цыпочки, сцепил руки над головой и — выполнил изящное танцевальное па. Менделеев, не выдержав, прыснул.

— Не вижу ничего смешного, — сказал старший из жандармов. Правое веко у него дважды дернулось. Выгнув руки по швам, он обратился к сидевшему за столом офицеру. Действительно, русские ученые. Командированы с высочайшего дозволения для усовершенствования в науках в Германию. Но были все основания предполагать...

— Что вы стоите? — взорвался офицер, но тут же зял себя в руки. — Одевайтесь, черт побери, поезд кдет, мы приносим извинения..

— Черт побери, мы их принимаем, — откликнулся Бородин, стоя на одной ноге и вдевая в штанину другую. — Но все-таки... Чем обязаны...

— Бежал из тюрьмы крупный политический преступник. От ошибок никто не гарантирован, не так ли?

Итак, их приняли за гарибальдийцев! Пожалуй, ни Бородин, ни Менделеев ни до, ни после этого никогда не бывали более «левыми» и свободомыслящими, чем здесь, в веронском поезде... Но самое неожиданное случилось, когда они пересекли границу Сардинии. Тут власть Австрии кончалась. В вагоне поднялся невообразимый шум, люди пели, кричали «Виват!», подбрасывали вверх шляпы; в суতোлке кто-то перевернул все ту же злополучную корзину с апельсинами.

— Ешьте! Берите! Да возьмите же! — бешено жестикулируя, уговаривал всех владелец корзины. Рядом откупоривали большую плетеную бутылку с вином.

Бородин и Менделеев, ошеломленные, не сразу поняли, что добрая половина всех восторгов относится прямо к ним. Но тут налетели люди — с поцелуями, с стаканами вина, пахнущего кисло и терпко: сомневаться не приходилось — они виновники торжества. Наконец, все разъяснилось: русские, хотя и невольно, отвлекли на себя внимание жандармов; обманул австрийцев Бородин теми чертами своего лица, происхождением коих он был обязан князю Луке Степановичу Гедианову... Человек, за которым охотились жандармы, был, оказывается, все это время в вагоне! Менделеев и Бородин всматривались в лица, в каждом из которых сейчас проглянуло что-то детское, неистребимо-доверчивое и радостное: кто из них? Но где ж тут догадаешься...

Только ночью, на границе сна, Бородина вдруг обожгла мысль о человеке, за которого его приняли. Их с Менделеевым приключение было или казалось днем почти карнавальным, опереточным, но ведь для того человека в вагоне все было всерьез — риск, может быть, страх, опасность реальная, почти неминуемая... Что ему грозило: только ли тюрьма? Побои? пытки? Смерть? Подумать только: а они с Менделеевым смеялись, им было смешно...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Пророчество Зинина — как и опасения и предчувствия Тетушки — начали сбываться в мае 1861 года. Большую часть зимы Бородин прожил в Париже, рабо-

тал в лаборатории Вюрца, — тот, как и Зинин, и Воскресенский, учился в свое время у великого, прославленного сверх всякой меры (и в то же время — по заслугам) немецкого химика Юстуса Либиха; и ежели питомцы одного учителя приходится в науке друг другу в какой-то степени братьями, то Бородин с Вюрцем связывало не столь уж отдаленное родство. В апреле Александр Порфирьевич был в Италии, причем несчастливо — в Неаполе он заболел желтухой, «которую и привез», как сообщал он в одном из писем, через Швейцарию в Гейдельберг. В довершение бед он отдал последние деньги, чтобы выручить в Неаполе одного нуждавшегося соотечественника, и был теперь без копейки. Даже снять комнату было не на что, пришлось остановиться покуда у знакомого, Якубовича. Но стеснять его надолго опять же не хотелось, и Бородин отправился в пансион профессора Гофмана, чтоб договориться о комнате и питании, на первый случай — в кредит. Жена профессора, Софья Петровна, решавшая подобные вопросы «мужа не спросясь», сказала, что для кого-кого, а уж для Бородина у них место всегда найдется и он может перебираться хоть сейчас.

— Кстати, — добавила она, — вы знаете, что у нас остановилась музыкантша из Москвы, Протопопова?

— Нет, слышу впервые.

— Говорят, талантливая пианистка. Притом молоденькая и собой недурна. Да вот наши постояльцы собирали депутацию, просить ее играть. Присоединяйтесь, если не боитесь.

— Помилуйте, чего же мне бояться?

— Женских чар, милый Бородин, — ничем другим вас, конечно же, не испугаешь!

— О, Софья Петровна, вы еще не знаете размеров моей храбрости, — сказал Бородин. — Кто же депутаты?

Через десять минут Бородин стоял перед будущей своей женой.

— Екатерина Сергеевна? Извините великодушно наше вторжение...

— Отчего же, входите, господа... я рада.

— Майнов.

— Лисенко...

— Бородин, — представились гости.

Странно: при последнем имени московская музыкантша глянула исподлобья, особенно внимательно и — недоверчиво, что ли? «Пожалуй, я становлюсь мнительным», — подумал Бородин. Тем не менее, он смутился, и теперь Майнов объяснял милой москвичке, что все очень хотят послушать ее игру, слухом о коей, мол, земля полнится и прочее.

А мила она была — вне всяких сомнений. Волосы, гладко зачесанные на пробор, открывали лоб высокий и чистый, глаза были спокойны, чуть грустны, губы... «Что за реестр достоинств я составляю, — одернул себя Бородин, — вот еще новости-то!»

Между тем, Екатерина Сергеевна спокойно, без малейшего жеманства согласилась играть:

— Извольте! Однако, что вам по сердцу будет? Я не знаю, каковы ваши вкусы...

Она накинула на плечи шаль:

— Идемте, господа, я, кажется, придумала...

Бородин, как любой живущий в Гейдельберге русский, не раз бывал в пансионе Гофмана. Профессор когда-то преподавал древние языки в Московском университете и, считая эти годы своей жизни счастливейшими, любил все, что напоминало ему о России; что же касается Софьи Петровны, то она была коренная москвичка. Бородину приходилось и играть здесь; он знал здешний инструмент, кончики пальцев помнили наизусть щербинки, ямки каждой клавиши. Сейчас ему показалось, что у Гофманов другой, новый рояль. Звук изменился: был блестящий, чуть крикливый, стал приглушенным и матовым; клавиши пели, разом отучившись греметь. В звучании инструмента явились глубина, недосказанность, тайна. Бородин замер, сжался: не шелохнуться, не спугнуть, не пропустить ни звука. Пиано у Екатерины Сергеевны было тише, форте — мощнее, чем можно было ожидать. Расширились границы, открылись незнакомые оттенки, намекая на еще какие-то, скрытые и бесчисленные возможности. Так в ночном небе видишь сначала самые яркие звезды, потом проступают и те, что послабей, а после уж обнаруживаешь, что вся глубина небес заполнена ими, близкими и дальними, что звезды роятся там, бессчетные, как пылинки в луче солнца, и чем дольше вглядываться, тем больше их увидишь...

Бородин едва сдерживал слезы. Может, виновата была недавняя болезнь? Но и пианистка, и сама незнакомая музыка повинны в его слабости. Здесь не было непреклонной и могучей логики Баха, Бетховенской бунтующей и трагической страсти... Моцарт с его изяществом, богоданным вдохновением, прозрачностью кажется всегда, в любом отрывке внутренне завершенным, безупречным, — здесь не было ни безупречности, ни завершенности. Мендельсоновская нежная чувствительность тоже оказывалась ни при чем. В этой музыке, — Екатерина Сергеевна играла Шумана, — целое создавалось из блуждания ночных светляков: мозаика, составленная из лунных бликов, пятен света и цвета, из шороха листвы, из весенней капли и торопливого стука сердца; притом грусть была грустью, недосказанной, как в самой жизни, чувство было чувством, не набором сантиментов, вздох происходил от дыхания, любви, боли, а не от душещипательной выдумки. Да, в том-то и дело: тайна и чистота этой музыки были непридуманны, как вкус родника, найденного ночью по звуку.

Но и отделить музыку — Шумана, Шопена и вновь Шумана — от рук, извлекавших ее на свет, Бородин на сей раз не умел. Серьезные и грустные глаза музыкантши, трогательная полоска пробора на голове, склоненной чуть набок, полные губы, вздрагивающие так, словно она порывалась голосом помочь музыке и оставалась в последний момент, — все это слилось с услышанным, не оторвешь.

Мы нередко мерим человеческую жизнь не по самим событиям, а по их видимым последствиям. Так моряки наносили на карту крохотный каменистый островок в океане, не подозревая, что перед ними высочайшая вершина протянувшегося под водою горного хребта.

Внешне главными событиями жизни Бородина за границей был конгресс химиков в Карлсруэ, где он участвовал наравне с самыми прославленными учеными своего времени в выработке новых и знаменательных для науки решений; работа в лаборатории и сделанные там открытия; дружба с Менделеевым и немецким химиком Эрленмейером... Все это, без спору, важно необычайно.

Но был еще и день в Швейцарских Альпах. Он увидел мощные черные утесы, сверканье ледников на вершинах, ручьи, бегущие с гор; увидел, как под ногами пенится и разбивается в прах о камни быстрый Рейсс...

Ничего там не было от аккуратных немецких пейзажей. Какая уж аккуратность, когда здесь пахло вселенской катастрофой, столкновением планет! Величие природы впервые так потрясло и ужаснуло его. Но с неким странным трепетом он понял, что нет этого величия без его взгляда и осознания, что в душе человеческой, в его собственной душе умещаются и эти бездны, и эти вершины, и, пожалуй, остается место для пропастей еще более глубоких, для еще высших высот. Он стоял, потерявшийся от того, что на него нахлынуло; он был бедней и богаче этих гор, меньше — и больше их.

И вот теперь: Гейдельберг, ночь с 27 на 28 мая 1861 года, на квартире у Якубовича... Ночь Бородин не спал да и не пытался ложиться. Постель не разобрана; тишина такая, что слышать тиканье часов через комнату.

Бородин говорил себе: вот она, разница-то между делом и забавой, между любительским музицированием и искусством серьезного артиста. Прав был тот молодой человек, Мусоргский... Хотя — что ж... ему легче. Армию и Бородин, небось, бросил бы не задумываясь. Но химия, наука — это вам не карьера гвардейского прапорщика...

Все не о том.

Какие у нее были губы: словно сейчас запоет. А потом... как беззащитно, знобко куталась она в шаль. Нездорова, должно быть. Ах да, — говорила ведь Софья Петровна: она и приехала сюда остановить начавшуюся чахотку. Концерт дала в Москве и на вырученные средства приехала. А ведь и здесь чахотка, бывает, свирепствует; вон с Анной Павловной Бруггер расправилась в неделю... Страшно.

«Нет, я опять не о том». Есть вещи, о которых лучше не думать.

А вот как можно было отстать от серьезной музыки?.. Делать вид, что к ней непричастен... и преуспеть в этом так, что самому тошно... заниматься пустяками, слушать пустяки, играть пустяки, а есть на свете Шуман, есть музыкантша Протопопова.

Отец, или, может, дед, из духовного сословия.

Опять не о том? Нет — о том. Играла немца, поляка, а напомнила Россию, да так, что сердце защемило. Поэтому что сама она, вся и во всем, русская, объяснить невозможно, слов для этого нет, однако — так,

Очутиться бы сейчас, в мгновение ока, в России. В таких местах, где хочется быть одному. Или — с нею... Там есть такие места. Лес, овраг, река, луг, проселок. Можно вообразить себе, что такими они были тысячу лет назад. Таковыми и были. Земля, как музыка, вмещает прошлое. И завтрашний день тоже. Смотришь, слушаешь сейчас, сегодня, а время выглядит, как свет из-за облака.

...Никогда он не напишет, не скажет, словом не обмолвится об этой ночи.

Но она существовала, была, шумела молодыми листьями, пролилась под утро коротким, бойким дождем.

Только на седьмой день Бородин скажет приезжей пианистке слова, которые окажутся записанными в ее воспоминаниях, а потому и известны нам.

— Знаете, матушка Катерина Сергеевна, — скажет он ей шутливо, — ведь вы мне с вашим Шуманом спать не даете. И у вас он какой-то хороший выходит...

Но это будет через шесть дней, а пока светает... Бородин отворил окно, вдыхает прохладный, душистый, влажный воздух.

Постель так и не разобрана.

II

Оправдывались худшие опасения московской музыкантки. Перед отъездом приятельница, жена профессора Китарры, всё уши прожужжала об «удивительном красавце, умнице, острослове» Бородине, который сопровождал ее однажды в путешествие по Рейну. Эти непомерные похвалы вызвали в Екатерине Сергеевне обратную реакцию: скепсис и недоверие. Она представляла себе заранее самоуверенного обольстителя, с целым набором психологических отмычек, позволяющих воровски влезть в неопытную душу. «Нет уж, со мной у него ничего не выйдет, — говорила Екатерина Сергеевна себе, отчего-то волнуясь и прикладывая ладони к горящим щекам, — я это я, а не мадам Китарры!»

Мало ли она повидала на своем веку блестящих людей! Шульгоф, у которого совершенствовалась она в пианистическом искусстве, при первом прослушивании новой ученицы воскликнул: «Она поет!» — в устах Шульгофа, пианиста, по всей Европе знаменитого

именно необычайной певучестью звука, это дорогого стоило. Если вспомнить, что чех Шульгоф был учеником Шопена, а еще один наставник Екатерины Сергеевны — Тимофей Шпаковский — учился у Мендельсона и Листа, то школу, ею пройденную, следовало признать блистательной.

Людей, среди которых прошла ее молодость (ибо в двадцать девять лет не нужно скрывать от себя: молодость прошла. Или почти прошла?), не только она одна считала замечательными. Поэт и критик Аполлон Григорьев сделал ее наперсницей несчастливой своей, трагической любви, она хранит его письма, доказывающие крайнюю, небывалую степень доверия и дружбы. Великий артист Пров Садовский, драматург Островский, его друг Третий Филиппов — ученый богослов, безупречно владеющий латынью и древнегреческим, знаток русской народной песни, которую и собирал и певал столько раз небольшим, замечательно теплым и задушевным голосом... Поэт Афанасий Фет, в отношении которого к ней проглядывала рядом с дружелюбием и почти нескрываемая нежность... А через него и новое знакомство: быстро завоевывающий известность писатель, граф Лев Николаевич Толстой... Все эти люди знали ее коротко, любили слушать ее игру, считались с ее мнениями... Нет, судьба не обидела ее необыкновенными встречами и дружбами, хотя происхождение и положение ее многого не обещали: она была дочерью скромного смотрителя Голицынской больницы и выросла в тесной больничной квартирке. Если Бородин, этот, по всему судя, записной сердцеед, вознамерится вскружить и ей голову — о, как он промахнется!

Но оболъститель оказался коварней и опасней, чем ей представлялось. Начать с внешности: москвичка думала встретить чуть ли не лубочного красавца с томными глазами, непременно фатоватого вследствие легкого успеха у женщин. Между тем, красота Бородина была красотой неправильной и непривычной, не укладывавшейся в рамки. Глаза его сверкали умом и чувством, темнели сами собой от печали, искрились юмором. Вот еще их блеск казался особенно живым и трогательным оттого, что они всегда были как бы увлажнены слезой. Южное — или восточное что-то? — в его лице переплелось с хорошо знакомым, российским, и создало необычайный, ни с чем не схожий физиогномический склад.

Движения его были легки, точны, изящны, — но не светским, иным каким-то изяществом. Потом, побывав с ним в химической лаборатории Эрленмейера, Екатерина Сергеевна поняла, откуда шла эта точность, выверенность движений.

Всего же опасней была его видимая любовь к музыке, — к музыке, которую Екатерина Сергеевна боготворила. Словно он выведал от кого-то слабость ее, тот путь, каким можно было проникнуть к ней в душу почти беспрепятственно. И, однако, никакой нарочитости и аффектации в этом его пристрастии никак нельзя было обнаружить.

Было от чего прийти в отчаяние: обольститель обольщал, а Екатерина Сергеевна ничем не умела защититься! Она уже знала, что, высидев свои двенадцать часов в лаборатории, он непременно явится звать ее на прогулку в горы; раз десять на дню она клялась, что откажется, что не пойдет, отговорится нездоровьем, ипохондрией, простым нежеланием, — и шла по первому зову зачарованно, покорно, как, говорят, кролик идет к удаву. Единственно, что ей еще удавалось — избегать во время прогулок его помощи. О, она непременно отказывалась от протянутой ей крепкой, обожженной химикалиями руки, храбро карабкалась вверх сама, цепляясь то и дело за ветки, камни, оступаясь, но не отступая от принятого решения.

По правде говоря, она быстро устала пугать себя. За этой естественностью его поведения, сколько ни копай ее, открывалась та же естественность. Екатерина Сергеевна поймала себя на том, что днем, когда он занят, невольно кружит по «бородинским» местам — тем, которые он успел показать ей в Гейдельберге и которые были как-то связаны с ним. Другие же улицы и дома казались ей пустыми и посторонними, подлинно иностранными. Ее так и подмывало свернуть на Карпфенгассе, но уж это было бы слишком: на этой улице он жил, а через дом от квартиры была его лаборатория; что бы он подумал, что бы он возомнил о себе, если б из окна или из глубины двора вдруг заметил ее!

Своей сдержанностью, своим недоверием Екатерина Сергеевна завоевывала Бородину, ничуть о том не догадываясь. Так уж получилось, что ему чаще приходилось мягко обороняться от женского внимания, чем на него претендовать, а здесь все встало на свои места.

Он был из первого поколения матерьялистов, рационалистов, просветителей. Мозг был возведен ими на пьедестал, прогресс вытеснил бога и занял принадлежавшее тому в течение тысячелетий место. Все, что сегодня неподвластно человеческой мысли, или будет ей подвластно завтра или же... или же просто не существует! Но нежность, переполнявшая его, непослушно жила в нем сама по себе. Рассудок пытался подсмеиваться над ней — она не боялась острословия, фанаберии ума, она копилась и множилась. Невольно память его обращалась к Аннушке... Полтора года разлуки, хлопоты Авдотьи Константиновны о женихе для горничной, — безрезультатные: что-то там наклеывалось как будто... — ничто не могло их разъединить по-настоящему; но встреча с Екатериной Сергеевной отрезала прошедшее напрочь, и он стоял теперь, виноватый разом перед тем, что было, и перед тем, что наступало на него. Жертву, давным-давно и заведомо принесенную маменькой Анной Тимофеевной, он теперь принял, не мог не принять. Тут судьба его.

Впервые он не боялся показаться сентиментальным, смешным. Всю жизнь о нем заботились, ему покровительствовали, его оберегали. А в нем самом жила потребность заботиться, покровительствовать, оберегать. Глупо, но когда он робкой рукою обнимал свою Катю, рука — так он ощущал, не глядя, — обращалась в теплое, непроницаемое для ветра крыло. Оставшись один, он с изумлением смотрел на свою руку. Бредил он, что ли? Рука как рука. Не слишком слабая, не чрезмерно сильная, обожженная кое-где кислотой. Способность полета оставалась, тем не менее, и чувствовалось, что она была в нем, внутри.

Изменилось освещение.

Возьмите поляну, березовую рощу, уступ горы. И наблюдайте: в косых и бесплотных лучах восхода, в солнечном тяжелом ливне полдня, в закатном пламени; в пасмурный день, когда небо забито ватой, а свет сочится слабо отовсюду и ниоткуда; ночью, когда тропка становится втрое длинней, и все понятное, разведенное вновь зашифровывается, возвращается в загадку и тьму.

Возьмите обыкновенную, мою, вашу комнату, попробуйте сказать, что она одна и та же утром, днем, в сумерках, при свече, при свете луны в полнолуние.

Все движения луны и солнца, все перемены света Бородин ощущал теперь острее и ярче, не только глазами — кожей. Но прибавлялся и еще источник света — взгляд Кати. И тогда, когда ее не было рядом, острота вновь приобретенного зрения не пропадала.

Он ходил с Екатериной Сергеевной дорогами, которые и раньше знал прекрасно. Теперь, в новом освещении, это были другие дороги. Не просто другие, — каждый раз, каждое утро — не те, что вчера, другие и новые. За ночь кто-то уносил вчерашний Гейдельберг с окрестностями, а к утру выстраивал город заново, воздвигал горы, высаживал сады и рощи, протапывал тропинки. Этот «кто-то» старался замести следы, расставить все по прежним местам, словно бы ничего не случилось. Может, ему и удавалось провести кого-нибудь, но только не Бородина.

Разве чугунные цветы этой ограды не впервые открываются взгляду? А этот флюгер-всадник, если бы он и раньше гарцевал над замшелой черепицей, как можно было бы его не заметить? А что вы скажете о горбатом каменном гномике, притаившемся в полутемной арке? Вы скажете, что он стоит здесь три сотни лет, и я просто-напросто никогда прежде не удосуживался заглянуть в эту подворотню? Не знаю, не знаю... А этот лев, глядящий весело и нагло прямо на главную улицу, — мог ли я целый год ходить мимо, не замечая его? А эта осинка, выросшая на средневековом карнизе, прямо из камня? А дверная ручка с телом полудракона, полужмеи? А вот этот камень в мостовой, слоистый, с серебряными блестками? — можно полчаса стоять над ним и находить все новые краски, оттенки, прожилки; вот он, весь на виду, как можно было не разглядеть его?!

В горах, в лесу, на реке открытий было не меньше, и конца им не предвиделось.

Что же говорить о погодах, менявших цвет ее глаз, вкус губ?

Выпить с ее губ дождевки, все до единой.

И — с ресниц.

И с прохладных щек — тоже.

На мочках ушей две капли, их можно оставить. Серьги. Уже за десяток перевалило число смешных словечек, прозвищ, забавных имен, которыми он ее называет. Назвать, дать имя — не значит ли обрести тайную власть над тем, что названо? Переименовать пальцы, подарить диковинные и ласковые имена тем морщинам, что отделяют одну фалангу мизинца от второй, вторую от третьей...

IV

Волчий источник, Вольфсбруннен.

Четыре волчьих пасти разинуты довольно добродушно, четыре струи бьют из потемневших волчьих глоток, падают в бассейн. Там, в бассейне, плавают форели, такие упитанные, что, видно, быть им скоро на сковороде... В четыре струи падает вода фонтана — сколько она лилась так? сколько будет литься?

Сюда нужно добираться узенькой горной дорогой; посетителей не слишком много; они прилежно рассматривают пейзаж, прилежно потягивают пиво, растроганно вздыхают, глядя на влюбленную парочку, — «Ах, молодость, молодость!»

Если и молодость — то не первая, не зеленая молодость. Ему почти двадцать восемь, ей — двадцать девять. Но, как мальчика и девочку, их подавляет огромность ожидаемого вопроса, огромность ожидаемого ответа.

— Я прошу вас, Катерина Сергеевна, быть моей невестой.

— Да, Александр Порфирьевич, я согласна. Вы же знаете, я согласна, Сашенька.

— Мы поженимся в России, как только вернемся.

— Мы поженимся в России.

— Как только вернемся!

— Как только вернемся.

Обратный путь — над дорогой, по воздуху. Мимо Неккара — над рекой, над Неккаром... Опустился, бережно, осторожно. Остановиться. Присесть на камне. Поцеловать нареченную невесту.

Древние Карловы ворота. Какие они громадные, когда смотришь снизу, задрав голову. Какие крохотные — сверху, с высоты полета.

Кучевые облака — тугие; их раскачивает ветер, как звонкие свадебные колокола.

Гейдельберг. 10 августа 1861 года.

V

Не нужно ему было уезжать в Шпейер, на этот химический конгресс. «Нет, — понимает Екатерина Сергеевна, — нужно было. Там товарищ его, Бутлеров, тоже зининский ученик, делает сверхважное сообщение. Как же было не поехать. Но...» Она не удержалась — заплакала, провожая его. Он сморщился, как от боли.

Она выросла в больничной квартирке, во многом определявшей круг событий и впечатлений. За стенкой, перед глазами, в саду всегда — болящие, страждущие, не так уж редко — умирающие... И отец так рано умер. Жизнь семейства, сколько она помнила, состояла из страхов, опасений, в семье не спешили радоваться: любая радость могла оказаться преждевременной.

С Бородиным все изменилось, мир был — под его крылом — надежен и верен. Он шутя, играючи, подхватил и отбросил куда-то в сторону все мрачное, слепое, грозящее неминуемой бедой.

Он уехал — все вернулось.

И сразу настали холода; лето мертвело на глазах.

И возвратилась болезнь.

Кашель — трудный, долгий, надрывающий грудь.

Екатерина Сергеевна закашлялась. Поднесла платочек ко рту. Потом глянула, увидела то, чего боялась, на платочке была кровь. Расплакалась — и слезы, как прежде кашель, были трудными, надрывающими грудь, безысходными.

— Что это с вами, голубушка? — всплеснула руками Софья Петровна. — Как это говорится... Краше в гроб кладут!

Да. Так оно и есть. В гроб кладут — краше.

«Мы поженимся в России, как только вернемся...»

А вернется ли она в Россию? Не угадала ли любезная Софья Петровна — насчет гроба? Нельзя так думать. Нельзя предавать Бородина. Скорей бы он приехал. Он что-нибудь придумает. Испугается. Ни разу еще при ней ничего не пугался — а тут придет в ужас. Зачем

она ему такая? Нет-нет, в Саше она не может сомневаться. В чем угодно, в ком угодно, — не в Саше...

Появлялись, мелькали, участливо расспрашивали знакомые. И Макся, Иван Максимович Сорокин, прибыл. Когда же Бородин вернется? Вернись, Бородин!

...Он и вправду испугался. Таким она его еще не видела. Говорил как с маленькой. Утешал. А глаза боязливые, смотреть жалко.

Вместе с Сорокиным они повезли Екатерину Сергеевну к гейдельбергскому светилу, профессору Фридриху. Ждали, пока профессор — глаза острыми буравчиками сверлят из-под нависшего лба — осматривал ее, простукивал спину костяшками пальцев, слушал.

Профессор вышел в приемную, где ожидали Бородин и Сорокин, вслед за Екатериной Сергеевной. Не смущаясь ее присутствием, словно и не было ее тут, грубо и громко сказал как отрезал:

— И месяца не проживет, если сейчас же не уедет в теплый климат. Пусть отправляется в Италию, в Пизу, там тепло теперь.

Выехали вдвоем.

Бородин предупредил Эрленмейера, что вернется через несколько дней. Екатерина Сергеевна верила, что не оставит, не разлюбит. Но то, что произошло, было и для нее неожиданностью. Он стал сиделкой. Он предупреждал невысказанное желание, понимал смысл едва начатого движения. Лавина забот — родная мать не могла бы лучше заботиться о своем дитяти. «Родная мать» — так и подумалось Екатерине Сергеевне, и она засмеялась, закашлялась: больно уж не вязалось это словосочетание с крупным, мужественным молодым мужчиной, ее женихом.

Октябрь встретил их в Пизе жарою и комарами.

— Видишь? Здесь ты живо поправишься. Если пове-ришь, что все будет хорошо. Веришь? Ну?!

— Дышать легче стало... — сказала Екатерина Сергеевна.

Бородину пора было уезжать. Он и так уж тянул с отъездом сколько мог, но ведь он жил на деньги Академии и не вправе был распоряжаться собой.

Вместе сложили вещи, боясь взглянуть друг на друга.

— Нужно еще отдать визит здешним химикам, — сказал он. — Хоть как-то оправдать поездку.

Дверь закрылась за ним — и Екатерина Сергеевна дала волю слезам. Все ужасы небытия, все опасности придвинулись вплотную, дышали в лицо тлетворно и жарко. Она умрет здесь одна, умрет сейчас, когда так хочется жить, такая жадность к любви и жизни; она умрет среди чужих людей, не понимающих даже ее языка; все кончено, все потеряно, все, все, все.

Когда он ворвался в комнату, она испугалась; когда увидела сияющее, ошалелое лицо его — поняла; поняв — не решилась поверить. Ни слова не говоря, он бросился к чемодану, — щелкнули, как выстрелили, замки, — и стал вынимать, швырять, подбрасывать в воздух вещи: сорочки, брюки, жилет, блуза, опускаясь на пол, занимали невероятно много места.

— Что ты делаешь, сумасшедший?

— Катя, я остаюсь! Я остаюсь! Я остаюсь! Вообрази: здешние химики Лукка и Тассинари — милейшие люди, Тассинари особенно... приняли меня самым любезным образом... — он не выдержал, схватил ее в охапку, закружил по комнате. Выпустил. Сел. И говорил, говорил, не успев отдышаться толком: — Лаборатория у них чудо: светлая, удобная. И они предоставляют ее в мое полное распоряжение! И главное, мне как раз нужно заниматься фтором, а у них есть платиновая посуда, — просто на ловца зверь! И на воздухе можно работать, то есть в Гейдельберге было бы не то, холодно, — а там, ты увидишь, терраса выходит в сад, перед террасой дерево апельсиновое и во-от такие апельсины на нем, — ну то есть все, все, что душе угодно!

VI

Здоровье Екатерины Сергеевны крепло с каждым днем. Бородин, прежде бывавший в Италии, несколько быстрее, а она позже, но оба вскоре бегло говорили по-итальянски. Александр Порфирьевич работал с упоением, и все давалось ему, чуть ли не само шло в руки. В Пизе он первым из химиков получил органическое соединение, содержащее фтор. В итальянском химическом журнале появились три его оригинальные работы.

Без музыки не проходило и дня, да и могло ли быть иначе в Италии! Русская пара участвовала в любительских камерных ансамблях. Бородин выступал иногда в качестве виолончелиста в оркестре оперного театра; полученным гонораром он не шутя гордился.

...Они без стеснения присоединялись к народной песне, возникавшей вдруг, без подготовки, прямо на улице. Они не пропускали ни одного стоящего спектакля, драматического или оперного. Бродили по окрестностям Пизы, слушали оборванных сказителей и уличных музыкантов; съездили во Флоренцию...

Директор Пизанской музыкальной школы души не чаял в новых знакомых. Маэстро Меноччи во всеуслышание объявил Екатерину Сергеевну «необычайно искусной пианисткой». А когда Бородин за какой-нибудь час-полтора на его глазах сочинил четырехголосную фугу, старый музыкант был сражен окончательно.

У Меноччи игрались квартеты, квинтеты с участием Бородина и его невесты; здесь исполнялись бетховенские трио, Крейцера соната. Играли и старого знакомого — Гуммеля, которого так ценили петербургские любители, собиравшиеся когда-то у Ивана Ивановича Гаврушкевича, в домике на Артиллерийском плацу...

Меноччи добился для русского и его подруги неслыханной привилегии: им разрешено было играть на великолепном органе Пизанского собора. Десять человек приводили в движение мехи органа! Русские играли Бетховена, Баха. Однажды Екатерина Сергеевна привела публику в восторг, исполнив красивую и стройную вещь никому в Италии не известного Бортнянского.

Казалось, все и повсюду сошлось, чтобы сделать их праздник полным. В России произошли и ожидалось неслыханные перемены. Дни великих надежд переживала и Италия.

Был вечер: в Пизе играли в трех местах оркестры, город снял гирляндами праздничных огней. Толпы людей, охваченных единым порывом, скандировали: «Да здравствует Гарибальди! Да здравствует король, верный своему слову, объединение, Венеция и Рим!» Чудесное, огненное переживание: тысячи людей, соединенных мыслью о свободе и отчизне, общей, бескорыстной надеждой. Бородин отворачивал лицо: нехорошо, чтобы видели — слезы катятся у него из глаз...

22 мая в Италии, в Пизе, Бородин начал сочинять

фортепианный квинтет. «Работаю много и со вкусом, наслаждаюсь», — так он однажды писал Тетушке из Гейдельберга. И теперь наслаждение работой было прямо-таки написано у него на лице, когда он импровизировал за фортепиано, когда бежал к конторке — занести сочиненное на бумагу. И стремглав возвращался обратно: мелькнула любопытнейшая мысль!

Он проклинал нерациональность нотного письма: чертовы закорючки задерживали, рука не поспевала за душою. В иные дни он с утра до поздней ночи, никуда не выходя, не отрываясь, сидел над квинтетом. Потом его, квинтет до-минор, назовут «самым бородинским» из ранних сочинений Бородина, из всего того, что, вроде бы и незаметно, накопилось за годы, начиная с первой его польки, сочиненной лет в девять. Здесь, в этом квинтете — прощание его с долгим и усердным ученичеством, здесь — прозрения в будущее, куски, словно бы чудом занесенные из зрелости в молодость.

...Море, месяц над головой, итальянская песня — чистое, стройное четырехголосие. Поют Бородин, Екатерина Сергеевна, их соседи и приятели — Ченчи, девочка-подросток Ида.

Уже тогда Бородин знал цену этим дням, Италии, удивительному совпадению молодости, любви, музыки, дружбы, удачи. И думал порой, что навряд ли второй раз в жизни выпадет такая полнота счастья. И опять, как тогда, в Гейдельберге, он был прав и не прав. Годы одарят его и успехами, и встречами, и музыкой, о какой он мог сейчас лишь смутно догадываться.

И все-таки... Местечко Виареджио в окрестностях Пизы; невеста — Екатерина Сергеевна Протопопова — рядом с Бородиным, его дыхание шевелит ей волосы; море спокойно, месяц светит над головой; итальянская песня стройно и чисто звучит в воздухе, и вон какие-то люди стоят замерев, боясь пошевелиться, разрушить хрупкое мгновенье.

Все-таки прав он был более, чем не прав: такое не повторяется.



ПО ЖИВОМУ СЛЕДУ

Историческая хроника



*Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь..*

Б. Пастернак

Бумага была тонкой выделки, приятная на ощупь.

«Берлин, $\frac{24}{12}$ сентября 1862 года

Послезавтра еду!
В четверг вечером буду
Дома!!!

А. Бородин

Р. S. Если в четверг еще не буду, то не заключайте из этого, что я умер или что меня повесили, а просто знайте, что я замешкался или меня что-либо задержало».

Такое вот письмо прислал однажды своей матери, — называл он ее по-прежнему Тетушкой и обращался к ней на «вы», — Александр Порфирьевич Бородин. Шутка насчет «повешения» была обычным в его устах, безобидным комическим оборотом.

Не то, не так было с Пушкиным; после 1826 года он тоже шутил не раз:

Вы вздохнете ль обо мне,
Если буду я повешен?

Или:

Когда помилует нас бог,
Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног...

но острота¹ выходила мрачна. Поэт словно примеривал на себя судьбу пятерых казненных заговорщиков, своих знакомцев, и при живости этого кипящего воображения каждая из пяти петель не раз, наверное, стяги-

¹ Здесь и далее в тексте разрядка моя. — Р. Д.

вала ему смуглое горло; потом на листе рукописи оставались чернеть неизвестно когда, неосознанным, машинным движением пера начертанные виселицы. Не скоро: в конце семидесятых годов, в восьмидесятых, — петля, накинутая Николаем Павловичем на декабристов, проявила свойства бумеранга. Ужасом захлестнуло императорскую фамилию, да и не только ее. Террор юных цареубийц, неотвратимо приближавшихся к своей цели, казни на площадях, бомбы, подкопы, охота на государственных сановников, охота на охотников... Все это произойдет чуть ли не на глазах Бородина и рядом с ним, в его родном городе, — холодом, тревогой и мраком обдав его последние годы и поставив под сомнение его и его сверстников либеральные надежды, бодрые просветительские идеалы.

В четверг 20 сентября (по старому стилю) 1862 года Бородин воротился в Петербург из трехгодичной научной командировки, проведенной им в Германии, Франции и Италии. В тот же день он представил матери свою невесту, Екатерину Сергеевну Протопопову, приехавшую из-за границы с ним вместе. Бородину было неполных двадцать девять лет. Двадцать четыре года, четыре месяца и двадцать пять дней жизни ему предстояли.

Бородин уезжал в чужие края удачливым юношей — возвращался зрелым мужем, уезжал способным учеником — возвращался учителем, человеком, небезызвестным в европейских ученых кругах, коллегой и единомышленником Менделеева, Сеченова, Бутлерова.

Да, уезжал один человек — приехал другой, но и вот что замечательно: уезжал из одной России — приехал в другую, не в ту, что прежде.

Он был далеко отсюда, в Европе, когда 28 января 1861 года в Государственном совете началось обсуждение проекта крестьянской реформы. Император Александр II, открывая заседание, говорил: «...Я уверен, что вы все, господа, столько же убеждены, как и я, в пользе и необходимости этой меры. У меня есть еще и другое убеждение, а именно, что откладывать этого дела нельзя, почему я требую от Государственного совета, чтобы оно им было покончено в первую половину февраля и могло быть объявлено к началу полевых работ. [...] Повторяю, и это моя неперемнная воля, чтобы дело

это теперь же было кончено. Вот уже четыре года, как оно длится и возбуждает различные опасения и ожидания как в помещиках, так и в крестьянах. Всякое дальнейшее промедление может быть пагубно для государства».

Крепостное право пало под натиском обстоятельств, под напором мужика; сие было настолько очевидно, что даже и не скрывалось. Никогда еще, наверное, вчерашний день не погружался в небытие с такой быстротой. Крепостное состояние 22 миллионов крестьян стало казаться глубокой стариной, чуть ли не мифом; уже через два-три десятилетия рассказы бывших крепостных казались даже их детям почти неправдоподобными.

Но то, что представлялось раньше апофеозом и завершением долгой борьбы, решением всех проблем, — то оказалось лишь преддверием самых мятежных, буйных и грозных десятилетий русской истории. Позднее они-то и заслонили собою начало шестидесятых годов, и, пожалуй, ни одно из последующих поколений не умело себе представить с ясностью этот перелом, это разделение времени на «до» и — «после»; слишком многое наслонилось позднее на эти события. Те самые перемены, которые порождены были падением крепостного права, лепясь одна к другой, нарастая по законам снежной лавины, заняли собою внимание потомков и заполнили до отказа их судьбы. Иные тревоги и столкновения, новые несвободы, небывалые веяния, молодые напористые лица вытесняли, казалось, самую память о былом...

Однако же к моменту возвращения Бородина из-за границы, в сентябре 1861 года, дореформенная Россия еще не только не отошла в предание, но и выглядывала из-за каждого угла. Все в стране было стронут с места, но ничто еще не установилось, не утряслось. Многие надежды канули безвозвратно, многое не сбылось, и, кажется, сверху донизу нигде и никого невозможно было сыскать, кто был бы полностью удовлетворен происшедшим.

Крестьяне чувствовали себя ограбленными. Слишком многим из них предстояло окончательное разорение, голодная смерть: иные же должны были вскоре составить армию баснословно дешевой рабочей силы, на их мускулах и костях взойдут тысячи мастерских, фабричек, фабрик, заводов. Уже шагали и скакали войска на по-

давление первых после реформы крестьянских восстаний. Кое-кто из помещиков старался поскорей получить выкуп за земли и отбыть, пока не поздно, в безопасную Европу. Брели ходоки в Петербург, чтобы доподлинно разузнать и доложить «миру» про истинную волю, будто бы дарованную царем-батюшкой, но сокрытую от народа несправедливыми вельможами. Влачили по пыльным проселкам с протянутой рукой погорельцы; юродивые, бесноватые бормотали, пророчествовали, вгоняя в страх православных. Инвалиды, искалеченные кто на Кавказе, кто в Севастополе, грозили самому небу, беспомощными своими костылями. В лесах и по дорогам шалили разбойники, этих развелось не в пример больше прежнего. Ах, не походил русский тать на благородных шиллеровских Räuber¹, а был, напротив, варнак и душегуб. Отчаявшийся и изверившийся во всем мужик, он мстил за свое отчаяние, за безысходность погубленной своей жизни направо и налево, не разбирая правых и виноватых, не щадя ни богатого, ни бедного.

Едва ли возможно ныне, из нашего далека, вообразить себе происходившее тогда во всем многообразии и пестроте лиц, голосов, событий. Богомольцы, офени, конокрады, слепцы с маленькими босыми поводырями... — впрочем, кто не бос был тогда на русских дорогах, тот пешком не ходил. Не то что сапоги, а и лапти следовало беречь; ноги ж — свои, даровые, не купленные, что с ними станется? — бей, не жалко. — Там старик, состарившийся в бродяжничестве, сидел на обочине, там беглый монах отбивался от голодных, тощих собак клюкою. Подворовывающий где можно, — ребра торчат из-под тряпок, — привычно бежал от кого-то, по-заячьи путая след, мальчик-сирота. Шагал, словно пританцовывая, бродячий раешник со своим разрисованным ящиком. Скакали по казенной надобности фельдъегери, волочили за собой тучу пыли почтовые побитые кареты, а также и помещичьи экипажи, состоянием и видом повествующие о делах своих владельцев правдивее, чем их лица и речи...

К зиме дороги стихали: все бездомное искало угла, где схорониться бы и как-нибудь протянуть до весны. И рано или поздно «всякой твари по паре» оказывалось в северной столице. Толпы самого разномастного

¹ Разбойников (нем.)

народу должна была она вбирать в ту пору — вбирать и обкатывать, как море обкатывает голыши, и, меня новоприбывших, сама меняться на глазах. Главную же, все увеличивавшуюся массу кочевого, стронувшегося с места населения составляли крестьяне и дворовые люди, опьяненные уж одним тем, что впервые они могли распорядиться собою без постороннего соизволения; надо думать, что, намаявшись у своих хозяев, многие из них покидали родные места с мыслью: хуже не будет. И с какой же горькой и страшной трезвостью сознавали они потом, что и за пределами самого наихудшего худа всегда находится место для еще худшего, и в самом низу пропасти вместо твердого дна обнаруживается трясина... Однако же в водоворотах и столкновениях людских потоков выявлялись силы, не находившие прежде выхода.

Правы были те, кто сравнивал падение крепостного права с освобождением Руси из-под татаро-монгольского ига. И не было между этими двумя веками события того же размаха, со столь же громадными и неисчислимыми следствиями. Правда, остатки, пережитки крепостного права давали себя знать еще долго, вплоть до первых десятилетий двадцатого века. Но одно то, что закон не признавал больше личной зависимости крестьян от помещика, давал мужику право передвигаться, распоряжаться своим имуществом, — одно это затронуло в России все и вся. Если и были на Руси богом и людьми забытые углы, куда не достигали никакие сквозняки, места, не затронутые ни войнами, ни сменой правителей, то реформа 1861 года задела, от мала до велика, всех, всюду, без малейших исключений. И, пожалуй, именно с той поры история наглядно и осязаемо поселилась едва ли не в каждом человеческом жилище на просторах России, и мало кому — разве что в могиле? — удавалось оборониться или спрятаться от ее всепроникающей, жесткой, неумолимой власти.

Можно лишь отдаленно представить себе тот крик, тот стон, тот вопль народный, что стоямя стоял в русском небе в переломную пору. В этой музыке потрясенной стихии сливалось, ею переплавлялось все: иступленная молитва и пьяная брань, и доносящаяся через открытые окна Аничкова дворца мазурка, и причитания плакальщиц, и надсадный дых бурлаков, и горячие речи студентов. Но кроме того, с пугающей, непостижимой

силой как бы вырывалась песня откуда-то из самого нутра народного, из недр России, из таких темных и непроглядных глубин, о живом существовании которых никто, кажется, и не догадывается, покуда общий и гигантский сдвиг всех пластов народной жизни не обнажит и не выбросит наружу эти подземные источники.

Чего только не слышали в начале шестидесятых годов в селах, городах, в самом Санкт-Петербурге. Песни, былины, сказания, сложившиеся еще в домонгольской Руси; и уж конечно, тягучие, тоскливые, словно бы только что из сердца вырвавшиеся песни про татарский полон. Разбойничьи, с посвистом и улюлюканьем; поет их во все горло какой-нибудь мастеровой, и знать не знает, что каждому звуку мелодии, каждому пропетому слову — полтысячелетия... Песни про «вор-собаку» Гришку Отрепьева. Припевки соромные и бесстыжие (и притом — чудом каким-то — чистые: не желая знать никаких запретов, все называя своими именами, русская песня веселится и лукавит, охальничает, однако ж не любит скользкого, не смакует темного; она желает, а не вожделеет исподтишка). Чистые как слеза, печальные и горькие бабьи песни. Песни про Стеньку Разина:

Да Стенька Разин да он был премудрый, да
из песка лодку
собрал,

Стенька Разин был премудрый да из песка лодку собрал,
Да из песка лодку да он собрал да са...
сам по воздуху летал, —

и песни пугачевской вольницы. Мрачно-тягучие раскольничьи песнопения; ямщицкие долгие песни; песни игровые. Песни, под которые предки воевали, работали, любили, с которыми шли на смерть; песни, полные такой обжигающей, вселенской тоски, какой, может быть, не найдешь больше ни в каких землях, ни под каким небом...

А вместе с песнями — древние языческие заклинания, смутные поверья, сбивчивые, грозные пророчества пошли гулять по тысячеверстным пространствам: «Аще прииде конец миру, и не будет меж вами смеха и словес богохульных, ни игрищ бесовских, не будет ни коней борзых, ни риз светлых, а падете умирая, друг с другом и брат с братом охватившись, и помрет дитя на коленях матери своей, а мать охватившись со своей дочерью,

и изыдет из вас горькое стенание, и от крика вашего потрясется земля, солнце померкнет, луна переложится в кровь, и тогда антихрист начнет ходить явно со своими бесы, прельщая и умерщвляя людей...»

II

Как ни малочисленны воспоминания о Бородине, а и они позволяют проследить первые его шаги по возвращении на родину.

«На время я остановилась в Петербурге, чтобы познакомиться с матерью Александра Порфирьевича. Его же тогда почти не видала. Он весь погрузился тогда в отдавание отчетов о своей ученой поездке, — рассказывала много позднее Е. С. Бородина. — Ему было и не до меня, и не до музыки... Я вернулась в Москву, куда с моей матерью знакомиться приехал Александр Порфирьевич в декабре того же года».

Алексей Петрович Доброславин, в ту пору студент, а позднее — профессор Медико-хирургической академии, основоположник военной и экспериментальной гигиены в России, близкий друг Бородина, — писал: «Как теперь, я помню минуту, когда мы впервые увидели его в аудитории. Тогда еще существовало старое среднее здание театров Академии — анатомического и химического. В последнем, сидя и ожидая лекцию химии, мы увидели... нескорую и несколько валкую походкой, в светлом статском пальто пробиравшегося в кабинет к Зинину молодого красивого человека. Вскоре разнеслось по аудитории, что это Бородин, только что вернувшийся из-за границы. Бывшие тогда на втором курсе студенты, стоявшие близко к читавшему в это время химию профессору Зинину, часто слышали от него о скором возвращении его любимого ученика».

О красоте Бородина говорят почти все, кто его знал. Это необычно: ведь когда речь идет о взрослом да еще прославившемся в той или иной сфере человеке, упоминания о его наружности обычно опускаются, как несущественные. Разве что припомнят черту, бросающуюся в глаза, резко отличающую человека от других. Приходится предположить, что в нашем случае такой чертой была красота Бородина, вовсе непривычная, особого и неповторимого склада, «...мы увидели... молодого кра-

сивого человека», — сказано у Доброславина. «К. показывала мне его карточку, — вспоминала Екатерина Сергеевна предысторию знакомства с будущим мужем. — Я должна была согласиться, что Бородин красив...» Но вот встреча состоялась. «...Красив он был действительно, и лучше еще мне в этом смысле показался, чем на карточке у К. ...» Брат по матери А. П. Бородин, Дмитрий Сергеевич Александров: «...Благодаря своей тонкой фигуре, яркому румянцу и вообще красивой наружности он очень нравился женщинам». «Тонкая фигура» — это о временах ранней молодости. Музыковед и критик Николай Дмитриевич Кашкин узнал Бородин, когда последнему было 36—37 лет. «Что касается Бородина, то он был молодым, красивым профессором, державшимся очень непринужденно...» — вспоминал Кашкин. Варвара Дмитриевна Комарова впервые увидела Бородин, когда ему было уже за сорок, сама же она была девочка-подросток. «Всегда помню его красивым, — писала она позже, — молодым, румяным, полным, черноусым и черноглазым...»

Итак, молодой, красивый ученый-химик отчитывается о своей трехлетней заграничной командировке, приступает к лекциям в Медико-хирургической академии, адъюнкт-профессором которой он стал в декабре того же 1862 года. Вместе со своим учителем и другом Николаем Николаевичем Зининым хлопочет на строительстве нового здания академии, заказывает для лаборатории оборудование (его покупали за границей), выгадывая при этом каждый рубль, чтобы вышло дешевле и больше... Свадьба с Екатериной Сергеевной отложена до весны следующего года; среди причин такого решения, как видно, не последней было стесненное материальное положение: жалование Бородину положили 700 рублей в год. Это вышло на 200 рублей меньше, чем он получал до отъезда в Гейдельберг, когда считался врачом-ординатором Второго военно-сухопутного госпиталя. Можно предположить, что уже в то время Авдотья Константиновна была далеко не так состоятельна, как прежде. Во всяком случае, Бородин явно не рассчитывает на ее помощь и почти сразу же по приезде отыскивает источники дополнительного заработка. Он принимается за перевод научных книг для издательства Вольфа; кроме того, читает, — как сказали бы нынче, — «по совместительству» лекции в Лесной академии,

благо располагалась она неподалеку, тут же на Выборгской. Новая лаборатория, фактическим директором которой он стал с самого начала, манит его неотступно. «В ожидании тебя я начал одну химическую работишку — что выйдет, еще не знаю...» — напишет он Екатерине Сергеевне «в воскресенье которого-то числа марта 1864». Так — с места в карьер — началась для Александра Порфирьевича донельзя напряженная, заполненная бесчисленными трудами жизнь, как будто не оставлявшая места ни для чего постороннего.

Николай Николаевич Зинин сказал как-то: «Россия — страна, в которой можно сделать все». Таково было и настроение Бородин.

Россия, хорошо помнившая Ломоносова, долгое время немилостиво относилась, однако, к «собственным Платонам и быстрым разумом Невтонам». Пробриться в науку человеку русскому было трудно, если не невозможно. Диссертации писались на латыни (Бородин был первым в Академии диссертантом, представившим свой труд на русском языке!); учебники и вся специальная литература не переводились на русский, требовалось знание европейских языков, в особенности немецкого. Все это не было бы препятствием для наиболее образованной части русского дворянства. Однако же дворяне в науку шли редко, их делом была военная и государственная служба. В науке господствовали иностранцы. Оттого-то учителя Бородина — Николая Николаевича Зинина — еще при жизни стали звать «дедушкой», «Нестором» русской химии, а Бутлерова, бывшего лишь на пять лет старше Бородина, — ее «отцом». Все как будто заново начиналось в шестидесятых годах XIX столетия, и у самых истоков бурного, уже неостановимого движения стояли Бородин и его товарищи по науке.

Казалось бы, столь молодые, столь неискушенные люди должны были долго усваивать азы европейской учености, наверстывать упущенное. Вышло не так. Где чутьем, где «быстрым разумом» российские неопиты отыскивали и впитывали все самое свежее, только-только свершившееся, еще не освященное традициями и даже не признанное; их путь начинался в той точке, куда за день до этого пришли их европейские предшественники; вершина, достигнутая мэтром в итоге целой жизни, становилась трамплином для понятливых учеников. Оттого молодая русская химия с первых шагов вырвалась впе-

ред стремительно, дерзко. Еще вчера сами себя горько упрекавшие в полужнастве и дилетанстве, русские через десятилетие выходили на передовые рубежи мировой науки. Острота не притупленного привычкой взгляда, варварская непочтительность к авторитетам давали им увидеть зазоры в общепризнанных системах, ставили их в оппозицию ко всему состоявшемуся и застылому. Сегодня мы знаем, что дала эта непредвзятость взгляда, что явилось следствием этой дерзости и непочтительности: Бутлеровская теория строения вещества, периодическая система элементов Менделеева.

В пору, когда все жило ожиданием и предчувствием великих открытий, Бородин был один из самых видных деятелей русской химии; вовсе не побочное, не второстепенное значение имели его опыты по созданию новых соединений и веществ. Это сегодня перед нами готовые итоги процесса, — а в те дни, когда он развивался, научная и преподавательская деятельность Зинина и Бородина стояли в центре, в самом средоточии событий, и невозможно сосчитать, сколько нитей тянется от настоящего к этому, не слишком-то часто вспоминаемому нами, прошлому.

III

При всей исключительности бородинских талантов, бородинского обаяния, бородинского остроумия, он был фигурой типичнейшей, и если нужно одеть в плоть и кровь понятие «шестидесятник», то следует вспомнить Бородина. Сами странности его судьбы были странно-стями тогдашними и несли на себе клеймо эпохи. «По привычкам тогдашнего времени, — пишет о начале этой жизни Стасов, — незаконнорожденного Сашу записали законнорожденным сыном крепостного слуги князя Геддианова». (Здесь уместно вспомнить, что отец Мусоргского был незаконнорожденным отпрыском торопецкого помещика Алексея Григорьевича Мусоргского и его крепостной Ирины Георгиевны Ивановой, что двоюродная сестра Мусоргского Леокадия вышла замуж за крепостного и имела от него двоих детей... Вообще же на память приходит целая вереница имен — российские бастарды, среди которых Жуковский, Герцен, Ал. Гри-

горьев, Фет...) Противоестествен, незаконен был закон, возводивший глухую стену между сословиями: природа не желала знать этой стены, живое человеческое чувство перемахивало через барьеры, и вплоть до падения крепостного права волну не признаваемых, «незаконных» союзов нельзя было остановить.

Как будто бы внешнее, но весьма любопытное обстоятельство: Бородин в разное время официально «принадлежал» едва ли не ко всем сословиям тогдашней России. По рождению он — крепостной («дворовый человек князя Гедиганова», как сказано было в бумагах). И — внебрачный сын этого князя, то есть при ином повороте событий (вспомним Пьера Безухова) он мог бы принадлежать к верхушке общества, к аристократии, пусть и не самой старой и родовой. Авдотья Константиновна была «солдатская дочь», а впоследствии, став владелицей большого доходного дома, относилась к «настоящим городским обывателям». Александр Бородин поступал в Медико-хирургическую академию в 1850 году как «купец 3-ей гильдии». Наконец, довольно высокое в служебной иерархии положение, которое давала профессорская должность в императорской Медико-хирургической академии, было связано для Бородина с титулом «его превосходительства» и правом потомственного дворянства.

Положим, купцом Бородин и не был и не считал себя никогда; но едва ли он мог забыть о своем, хоть бы и только на бумаге, «крепостном состоянии» до 9-ти лет; точно так же не был он совершенно безразличен ни к «сиятельности» своего отца, ни, позднее, к своему генеральскому званию. Но что-то хранило его всю жизнь от соблазнов и грехов, свойственных и как будто простибельных представителю того или иного сословия. Он никогда не был робок и принижен, не заискивал, не льстил тем, от кого как будто зависел в молодости. А в зрелых годах не напускал на себя важность, никогда и ни перед кем не подчеркивал свое превосходство. В молодости обладал чувством собственного достоинства — таким, что, пожалуй, под стать генералу; дослужившись до чина действительного статского советника, сохранил естественный демократизм, такой, что, наверное, и вчерашнему выходцу из крепостных пришелся бы впору. Короче говоря, он вел себя так, как если бы сословные различия для него не существовали. Такое давалось

немногим. Кастовые перегородки сложились и окостенели не только снаружи, а и внутри, в самих людях, преодолеть их было одинаково трудно и «снизу» и «сверху».

Рядом с Бородиным можно видеть людей, в лице которых время как бы проигрывало, пробовало другие варианты бородинской судьбы, другие ее повороты, другие воплощения.

Друг детства, Михаил Романович Щиглев. К моменту возвращения Бородина в Россию Щиглев целиком отдался музыке, стал своим человеком в кружке музыкантов, группировавшемся возле Даргомыжского. Поздней Михаил Романович становится известным музыкальным педагогом, служит в придворной певческой капелле. Он оставил несколько музыкальных сочинений. Считать ли эту жизнь малоудавшейся только оттого, что Щиглев не был одарен столь редкостным талантом, как товарищ его детских лет? Ну нет, слишком мало знаем мы об этой жизни, чтобы судить о ней сплеча, поверхностно и грубо; не станем этого делать, а примем к сведению, что испробован и этот путь при схожести исходных данных: одни и те же музыкальные пьесы в четыре руки, одни и те же учителя, те же люди вокруг, поездки, разговоры, впечатления в решающие годы отрочества и первой юности...

Апполон Селивёрстович Гуссаковский — химик по специальности, на семь лет моложе Бородина, богато одаренный молодой музыкант, на которого большие надежды возлагал М. А. Балакирев; однажды уехав за границу для усовершенствования в науках, Гуссаковский отстал постепенно от музыки. Балакирев не мог ему этого простить; своему новому протеже, Римскому-Корсакову, он писал в ноябре 1862 года не без жестокости: «Гуссаковский испакостился окончательно и, говоря беспристрастно, он самое лучшее дело сделает, если умрет; и для него и для других это будет лучше, чем его настоящее существование». Станным образом это жуткое пожелание как бы сбылось, хоть и не немедленно: Гуссаковский умер в 1875 году, тридцати четырех лет от роду; за два года до смерти он написал Балакиреву — хотел вновь вернуться к музыке, просил совета и помощи... Был он профессором Земледельческого института, в котором преподавал прикладную химию.

Да и тургеневский Базаров — несостоявшийся Бородин. В какой-то мере верно и обратное: Бородин — несостоявшийся Базаров... Ибо Евгению Базарову свойственны были некоторые черты следующего русского поколения, хотя он был немногим младше Бородина и собирался «держаться на доктора» в 1860 году, т. е. несколько позже А. П. Бородина, сдавшего экзамен на степень доктора медицины осенью 1856 года (диссертацию он защитил 3 мая 1858 года). Может быть, стоит вспомнить, что на последней странице романа «Отцы и дети» возникает даже Гейдельберг; именно в этот город отправляет Тургенев ультрапрогрессивную барышню Кукшину. «Она теперь в Гейдельберге и изучает уже не естественные науки, но архитектуру, в которой, по ее словам, открыла новые законы. Она по-прежнему якшается со студентами, особенно с молодыми русскими физиками и химиками, которыми наполнен Гейдельберг...»

И вот еще одна дорога, которой мог бы пойти Бородин; вот еще одна, и блестящая, жизнь — воплощение несостоявшейся для героя нашей книги, но вполне вероятной возможности. Сергей Петрович Боткин... Знаменитый, если не сказать — великий терапевт, один из основоположников русской клинической научной медицины. Он был на год старше Бородина, раньше стал профессором Медико-хирургической академии; ко времени, когда Бородин появился в Петербурге, у Сергея Петровича была уже своя клиника, своя (первая в истории клинического лечения больных) бесплатная амбулатория. Восходящее медицинское светило, он был известен и при дворе, и среди городской голытьбы. Уже тогда — и на всю жизнь — загруженный по горло работой, Боткин оставался страстным любителем литературы и музыки, меломаном. В полночь у него был назначен обычно урок виолончели: прежде этого времени выбрать свободную минуту не удавалось. Если бы не вмешательство Зинина, если бы не «измена» медицине в пользу химии — тогда схожий путь ожидал бы Бородина, и уж, конечно, музыке бы не поздоровилось...

По субботам у Боткиных «принимали», — блестящее общество собиралось у профессора; здесь бывали видные литераторы, ученые, государственные сановники, музыканты. На одной из боткинских «суббот» А. П. Бородин встретился с Милием Алексеевичем Балакиревым.

Гадать — что случилось бы, если бы произошло не то, а это, — чаще всего бессмысленно. И все же... Как подумаешь, что Балакирев мог не быть пациентом, а потом гостем Боткина, что Бородин и Балакирев могли бы разминуться... Тесна была в то время художественная среда в столице, однако ж ничего бы не было невероятного, если бы Бородин знал Балакирева издалека, как всем известного музыканта, а Балакирев о Бородине и вовсе бы ничего не слышал... Но — «прошрое одновариантно». Они встретились.

И теперь все компоненты бородинской судьбы были налицо, все главные линии его жизни определились на годы и годы вперед. Он-то сам об этом еще не догадывался, впервые направляясь по приглашению своего нового знакомого к нему в гости, в дом Хилькевича, что на углу Офицерской улицы и Прачешного переулкa.

IV

Балакирев приехал в Петербург лет за семь до того, в декабре 1855 года, из родного своего Нижнего Новгорода. Приехал в самое время: Крымская война тогда уже заканчивалась (военные действия практически прекратились); умерший в начале года император Николай Павлович был не то чтобы забыт, — забыть его тем, кто пожил под его тяжелой рукою, казалось немислимо, — но с жестокой радостью, в которой не каждый и сам себе признавался, был он выкинут из души, выброшен из всех жизненных расчетов: все, нет его, нету! Круто, ярко, очевидно для всех тогда начиналась новая полоса истории, и ослепительно талантливый нижегородец возник пред очами петербуржцев как раз на рубеже времен.

Он был юноша девятнадцати лет, с горячим взгладом больших темных глаз, с высоким лбом, с речью живой и уверенной. Талант и вдохновение бурлили в нем, страсть к музыке соединилась с жадным интересом к людям, в которых он, казалось, искал искру того же вдохновения, той же страсти, а найдя, радовался и раскрывался еще полней и свободней. «Влияние его на окружающих было безгранично и похоже на какую-то магнетическую или спиритическую силу», — напишет о

нем впоследствии один из его товарищей, трезвый, далеко не восторженный человек.

В том же декабре 1855 года он успел познакомиться с Глинкой, Даргомыжским, Серовым, — всех пленил, всех поразил. Провинциал, юный, почти мальчик, играл на фортепиано не хуже заезжих европейских знаменитостей. «Талант г. Балакирева — богатая находка для нашей отечественной музыки», — объявил критик, первый русский музыкальный писатель Александр Николаевич Серов.

Глинка обронил веское, всем запомнившееся замечание: «Балакирев очень дельный музыкант».

Он был нарасхват — играл в великосветских салонах, у Одоевского, Виельгорского, Львова. В университетском концерте под управлением Карла Шуберта он исполнил первую часть своего собственного фортепианного концерта; Глинке так нравилась балакиревская блестящая фантазия на темы его «Жизни за царя», что он просил играть ее снова и снова; уезжая за границу, — уезжая, как оказалось, умирать, — русский гений подарил молодому нижегородцу две вывезенные им когда-то из Испании музыкальные темы; в разговорах он прямо указывал на Балакирева и на Даргомыжского, как на своих продолжателей.

Иначе как словом «триумф» и не назовешь это завоевание столицы вчера еще никому не известным, точно из-под земли выскочившим провинциалом. Когда его спрашивали, где он учился, Балакирев отвечал: в Казани, на математическом факультете, — и то была чистейшая правда, он учился в Казани два года одновременно с земляком своим, ровесником и приятелем Петром Боборыкиным; будущим знаменитым литератором, хотя, следует признать, математика на поверхности балакиревской судьбы не оставила ни следа, ни царапинки. Да ведь это ж был не ответ, — спохватывались спрашивавшие; где он музыке-то учился? Самородок... оно, конечно, и так; но кем-то был же он найден? обработан?

Слишком любопытствующим Милий Алексеевич объяснял не без досады, что учился у Дюбюка, московского фортепианиста. И верно, в тринадцать лет он прошел у Дюбюка десять уроков, да еще матушка не согласилась учить его — дорого! — и увезла обратно в Нижний;

позже с ним еще занимался иногда дирижер тамошней оперы Эйзрих.

В пятнадцать лет Балакирев впервые услышал и сам играл Шопена; тогда же он познакомился с Иваном Федоровичем Ласковским, композитором и пианистом — учеником знаменитого Филда; Ласковский, чиновник особых поручений при военном министерстве, был коротко знаком со всеми тогдашними музыкантами и меломанами, близок с Глинкой.

И тогда же, на шестнадцатом году жизни, отворились для Балакирева высокие двери одного заветного дома... То был особняк богатейшего барина, отставного дипломата, музыканта и писателя Александра Дмитриевича Улыбышева.

Чего только не делал в жизни своей Улыбышев! Году в 1820-м был он даже близок к заговорщикам, участвовал в «Зеленой лампе»; это и ему Пушкин, вхожий в кружок, писал:

Здорово, рыцари лихие
Любви, свободы и вина!
Для нас, союзники младые,
Надежды лампа зажжена...

В кружке читалась — и сохранилась в архивах «Зеленой лампы» — статья Улыбышева «Сон»; говорилось в ней о России, какой она будет через 300 лет, — о России без деспотии, без рабства.

Родился Улыбышев в Саксонии, в семье русского посла, с семи лет играл на скрипке; с 1825 года стали появляться в журналах его музыкально-критические статьи, и не Александра Николаевича Серова, а его можно было бы по справедливости назвать первым русским музыкальным писателем, если бы не одно обстоятельство: и статьи Улыбышева, и его трехтомная монография о Моцарте писались и были напечатаны по-французски. И следующая его работа «Бетховен, его критики и толкователи», вышедшая в свет в Лейпциге, написана на французском языке. Книгу о Моцарте, правда, перевел на русский язык Модест Чайковский... но это произошло полвека спустя, когда Александр Дмитриевич давно уж лежал в могиле.

Писал он и по-русски — драмы, одна из них, под названием «Раскольники», получила некоторое распро-

странение. Ценили его как дипломата; после гибели Грибоедова ему, Александру Улыбышеву, предлагали пост русского посла в Персии.

Но при всех талантах Улыбышева, пожалуй, через сто лет его могли бы прочно забыть. Труды его были трудами способного, просвещенного, увлеченного — но любителя; они быстро устарели, и вскоре Серов всюю высмеивал несообразности улыбышевских сочинений; вообще об книги бедного Александра Дмитриевича, можно сказать, точила зубы нарождавшаяся русская музыкальная критика.

Да, быть бы Улыбышеву, скорей всего, к двадцатому веку забытым, если бы не доброта, не сердечное расположение, которым подарил он мальчика-Балакирева. И хочется — на старинный, дедовский манер — вывести отсюда прямую мораль: помогая состояться другому, человек и самоосуществляется. И истинная любовь к искусству не пропадает. Она проявится, прорвется, выкажет себя если не немедленно, то через годы, если не прямо, то с какого-то боку, косвенно и неожиданно; не через тебя самого — так через встреченных тобою, тебя выслушавших, услышавших, понявших; через людей, понятых и услышанных тобой.

Еще и в начале нового столетия, незадолго до смерти, Балакирев будет то и дело вспоминать Улыбышева, разыскивать в печати все, до него касающееся.

Александр Дмитриевич предоставил в распоряжение Балакирева свою богатейшую нотную библиотеку. В доме Улыбышева Милий Алексеевич в шестнадцать лет давал свои первые концерты, дирижировал оркестром, который нижегородский меценат частично содержал сам, частично же дополнял военными музыкантами и оркестрантами местной оперы; и смешанный хор, весьма многочисленный, оказывался в распоряжении мальчика-дирижера. Так Балакирев узнавал день за днем въяве, в живой плоти голосов и звучащих инструментов, европейскую (тогда думали — это означает: и мировую) музыку. А потом часами анализировал творения великих музыкантов в одиночку за фортепиано, а там снова разучивал с оркестром, солистами-любителями, хором отрывки из Моцартовых опер, Глинку, в музыку которого он влюбился сразу, беспamięтно и бесповоротно. Это редкость, это за все века мало кому досталось: чтобы с отроческих лет — оркестр в руках; такое выпало

еще Глинке — так не зря же во всем, что касается инструментовки, распределения средств в оркестре, его отличало ясновидение какое-то...

Чему научился Балакирев в доме Улыбышева, то стало основой его собственной школы, всего, что объединяло и вело в первые, самые плодотворные, годы «Могучую кучку».

Балакирев, может быть, и ехал в Санкт-Петербург за славой, — да мало ли кто искал ее здесь? Милий Алексеевич ее нашел; но тут же обнаружил, что ему не до того. Не оценка ему была, оказывается, нужна, а — отклик, возможность соревнования, спора; среда, обещавшая слушателей, единомышленников, недругов; судей, достойных доверия; может быть, друзей...

Круг знакомств Милия Алексеевича расширялся. В первый же год жизни в Петербурге он сошелся с молодым поручиком Цезарем Антоновичем Кюи. Тот тоже не был коренным жителем Петербурга. Сын наполеоновского офицера, оставшегося навсегда в России, он родился и вырос в Вильне; в тринадцать лет постигал, правда недолго, музыкальные премудрости под руководством польского композитора Станислава Монюшко, еще мальчиком сам начал сочинять. Лет четырнадцати приехал в Петербург, где уже учились два старших брата; поступил в военно-инженерную академию. Но музыку не бросал, а после выпуска предался ей с новой энергией. И вот на квартетном вечере у немца Фицума, инспектора Петербургского университета, судьба свела его с Балакиревым.

Но, кажется, всего более Балакирева интересовали и привлекали люди, бывшие почти на целое поколение старше его: Александр Николаевич Серов и братья Владимир Васильевич и Дмитрий Васильевич Стасовы. Все трое были, как говорили тогда, правоведы, — то есть окончили в свое время училище правоведения, закрытое привилегированное учебное заведение для дворян, приравненное в правах к Лицею. Лишь младший из братьев, Дмитрий, пошел по назначенной ему стезе: служил в Сенате, позднее стал известным адвокатом. Владимир Стасов незадолго до того, в 1856 году, поступил в Публичную библиотеку; Серов — первым в России — сделал труд музыкального критика своею профессией.

Ближе и необходимей всего сделался Балакиреву

старший из братьев Стасовых — Владимир, — тоже уже несколько лет выступавший со статьями по изобразительному искусству и музыке.

Александр Николаевич Серов был на четыре года старше Владимира Стасова; они встретились и дружились в училище правоведения примерно за год до рождения Балакирева. В течение по крайней мере десятилетия эта дружба была главным содержанием их жизни; она была их способом дышать, учиться, расти, постигать этот мир. В четыре руки они переиграли все, что можно было достать из старой и современной музыки в Петербурге. После того, как Серов был выпущен из училища, Стасову оставалось пробыть там еще не один год. Теперь каждую, буквально каждую свободную минуту они посвящали переписке, продолжая таким образом, интенсивнейшее, напряженное общение, не расставаясь, по крайней мере, мыслями друг с другом ни на один день. Этот «роман в письмах» растянулся на два с лишним десятилетия.

Никто и по сегодня в точности не знает, когда первая червоточина возникла внутри этого поразительного, небывалого этого содружества. Может быть, одно из возможных объяснений скрывается в письме, которое еще в мае 1846 года прислал Серов из Нижнего Новгорода (он ездил на ярмарку, с целью образовательною) своему отцу. «Вольдемар Стасов, — писал Серов, — находится под моим влиянием. Он меня любит горячо, но он вместе и уважает, любит меня мною; он мне, без сомнения, необходим, но и я ему необходим; отними у него меня — и лучшие верования его уничтожатся, весь бесподобной красоты храм искусства, который он носит в голове, разлетится в прах; отними меня — и из него ничего не будет, он ничего не даст свету того, что может и должен дать...»

Вполне возможно, что это или подобное письмо попало на глаза Стасову. Письмо мог показать Стасову отец Серова, умный и рассудительный человек, в то время крайне недовольный тем, что сын его занят скоморошеством, пустяками (под каковыми подразумевалась музыка и все с ней связанное); он не одобрял дружбы молодых людей, слишком экзальтированной и пылкой, и считал ее вредной для них обоих. Дать прочесть Стасову строки, посвященные ему, — да, это был бы с его стороны шаг точный.

«Отними меня — и из него ничего не будет...» При стасовской пылкости, при его самолюбии и тайной неуверенности в себе, уязвленности тем, что он, Стасов, не создан быть творцом, хотя так остро, так ярко чувствует красоту и силу чужих созданий... одна эта фраза могла стать искрой, опасной для их дружбы. «Отними у него меня — и лучшие верования его уничтожатся...» Кажется, вся жизнь Стасова посвящена была яростному стремлению доказать обратное!

К моменту появления в Петербурге Балакирева дружба Серова и Владимира Стасова не только была на излете, но и готовилась обернуться своей противоположностью: долголетней, неистовой, пылкой враждою, если не ненавистью. Ожесточенная полемика между Стасовым и Серовым окажется в центре русской художественной жизни, она будет происходить на глазах у целых поколений русской читающей и мыслящей публики, вовлекая в свою орбиту многих литераторов, критиков, музыкантов. То не была ссора двух частных людей (хотя играли тут свою роль и сугубо личные обстоятельства); творческие разногласия, усугубленные и другими мотивами, разводили их все дальше. Они по-разному смотрели на оперу Глинки «Руслан и Людмила», они не сходились в оценке Вагнера, Мейербера, Листа, Шумана, Верди, — но каким ожесточением сопровождалось это несогласие!

В 1856 году тлеющая под спудом ссора еще не вышла наружу, хотя под внешней оболочкой все еще дружеских отношений она уже, наверное, успела съесть все живое. Балакиреву пришлось вступить в напряженное поле отношений, завязавшихся, как уже сказано, до его рождения.

Вот что пишет ни о чем еще не подозревающий Цезарь Кюи Балакиреву, рассказывая об одном из собраний у Фицтума: «После музыки последовал разговор. Говорили о вашем прекрасном таланте, обреченном на гибель вследствие гнусного знакомства с Серовым и со Стасовыми. Засим начали ругать Серова, признавая, однако же, что он лучший критик в Петербурге...»

Кюи и Балакирев все еще так мало знали друг о друге, что случались разного рода казусы. Тем же летом Кюи писал однажды Милию Алексеевичу: «Кроме ваших партитур, еще читаю «Nouvelle biographie de Mozart

par A. Oulibichefffff».¹ Вот отрывочек: «Ниссен написал письмо кому-то, но так непонятно, что я (говорит Моцартов биограф), хотя тоже дипломат, как Ниссен, в том же чине, имею не один крест как Ниссен, но несколько крестов, а все-таки письма не понимаю». Глупый человек!! Читаю сию биографию и порчу себе кровь, но зато имею утешение: Серовины замечания на оную, напечатанные в отдельной брошюрке... Глупый Моцартов биограф и в симфониях отдаёт пальму Моцарту. По моему мнению, Первая симфония Бетховена поспорит с лучшими Моцарта, а вторая уже все убьёт. Что же говорить о последующих?! В симфониях и Гайдн не уступит Моцарту, а в инструментовке и перещеголяет!»

Если б Цезарь Антонович знал, что речь идет о покровителе и «втором отце» Балакирева, он бы, конечно, поостерегся так браниться. Впрочем, надо думать, Милий Алексеевич уловил, что инженер-поручик поет несколько с чужого голоса; кто знает, не тут ли прошла первая трещина между Балакиревым и Серовым? Во всяком случае, не могла не возникнуть в молодом друге Улыбышева неприязнь к чересчур ретивому критику, нападавшему тогда на сочинения «Моцартова биографа» с необыкновенным задором.

...В 1857 году среди учеников Балакирева, который в ту пору зарабатывал средства на жизнь музыкальными уроками, появился восемнадцатилетний офицер Преображенского полка Модест Петрович Мусоргский. Познакомились они в доме А. С. Даргомыжского, летом, в середине года. И тем же летом Балакирев перенес страшную болезнь, едва его не умертвившую. То была, видимо, разновидность тифа, или, как тогда говорили, горячка. У изголовья беспамятного, метавшегося в бреду Балакирева впервые встретились Мусоргский и оба Стасовых.

Для Балакирева болезнь не прошла бесследно. Не исключено, что здесь корни последующих глубоких изменений в характере Милия Алексеевича, что отсюда — приступы депрессии, мнительности, развитие некоторых деспотических черт. Во всяком случае, жестокие головные боли и прочие недуги, заставлявшие его страдать по-

¹ «Новую биографию Моцарта» А. Улыбышева. Стоит обратить внимание на пятикратное саркастическое «f».

том долгие годы, сам Балакирев относил к последствиям перенесенной в юности болезни.

В ближайшие год-два разрыв между Серовым и Владимиром Стасовым произошел с полной очевидностью; всякие отношения между ними были прекращены, и Дмитрий Стасов, с детства наревновавшийся, должно быть, глядя на полную поглощенность обожаемого старшего брата дружбою с Серовым, теперь с какой-то злорадной готовностью участвовал в разрыве. Балакирев заступает в жизни Владимира Стасова место прежнего, отвергнутого друга; и как человек и как музыкант он бесконечно восхищает Владимира Васильевича; Балакирев отвечает ему доверием, уважением, полной искренностью. Насмешливое, уничижительное отношение к Серову, по-видимому, входит в обязанности дружбы; Александр Николаевич, увы, не относится к людям, свободным от промахов и ошибок, и в поводах для насмешки нет недостатка. Кюи и младший из всех — Мусоргский — не отстают в этом смысле от Стасовых и Балакирева.

26 ноября 1861 года Балакиреву был представлен начинающий композитор, семнадцатилетний тощий воспитанник Морского корпуса Николай Римский-Корсаков.

И ровно год спустя в доме Балакирева появился Александр Порфирьевич Бородин. Все уже определилось, все утряслось к его приходу; вражду к Серову, дружбу братьев Стасовых он получил уже как бы «в придачу» к Балакиреву, единомышленником и соратником которого ему предстояло теперь стать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Бородин пришел сложившимся, зрелым и высокоталантливым человеком и музыкантом (и музыкантом!) в готовый, сложившийся без него, высокоталантливый кружок композиторов, «балакиревский кружок». Если не считать случайной детскую попытку девятилетнего Саши Бородина в области сочинительства — польку «Hélène» (а все дальнейшее показало, что нет оснований считать ее случайной), — то «стаж» его в качестве композитора-любителя составлял ни много, ни мало 20 лет! Иное дело, что Бородин сам себя считал скром-

ным дилетантом. «Мне кажется, что я был первым человеком, сказавшим ему, что настоящее его дело — композиторство», — писал позднее Балакирев. Сформулировано безошибочно. Бородин не «сделал композитором» балакиревский кружок, но именно здесь ему точно, внятно, веско сказали о том, что он композитор. Бородин поверил. Его убедили. Да ему того и хотелось, чтобы его убедили. Накопившаяся в нем творческая сила, конечно же, требовала выхода. Он созрел для этой встречи.

С его приходом сообщество молодых русских музыкантов составилось окончательно; «пятерка» (так позднее называли во Франции этих людей) соединилась.

Новичок безропотно, с видимым удовольствием и готовностью подчинился существовавшей в кружке атмосфере, принял выработанные здесь отношения и взгляды. Так же, как 17-летний Римский-Корсаков, Бородин словно бы дал обет послушания; не видно ни одной его попытки повлиять на четкую линию Балакирева—Стасова—Кюи, что-то поправить или перееначить.

В это время Милий Алексеевич и Стасов пришли почти ко всем своим конечным, уже не изменявшимся с течением времени, концепциям. Они признавали Глинку родоначальником и знаменем национальной русской музыки (с этим вполне совпадали и собственные выводы Бородина); они считали себя «русланистами», т. е. видели в партитуре «Руслана и Людмилы» «евангелие для новых русских композиторов». Все пятеро горячо ратовали за музыку народную, национально-русскую, не повторяющую бездумно чужие приемы; они мечтали о демократическом характере нового, нарождающегося искусства, о том, чтобы музыка так же много значила в глазах общества, как и великая русская литература. И тут многое совпадало с устремлениями Бородина, хотя, пожалуй, упор на элемент национальный был несколько нов для него. Но и он нашел в новичке немедленный и искренний отклик.

Что касается еропейского искусства, то в кружке определилось безусловно отрицательное и насмешливое отношение к «итальянщине»; весь вообще восемнадцатый век, включая Моцарта и Гайдн, считался несколько устарелым и наивным. Скептически воспринимались недавние кумиры: Обер, Мейербер. Мендельсон, все еще пользовавшийся у публики неслыханным успехом, име-

новался между ними «кислым», но достоинства отдельных вещей, например, увертюры «Сон в летнюю ночь», не отрицались. Категорически отказывалось в таланте и значении Вагнеру. Зато очень высоко ставили они Бетховена, особенно поздние симфонии и квартеты, а также творения Шуберта и — в еще большей степени — Шумана. К Баху отношение было неоднозначное: Стасов когда-то так увлекался им, что ему было присвоено даже прозвище: Бах. Что же до настоящего Баха, то, признавая его искусство, тематическое богатство его опусов, Балакирев в упрек ему ставил монотонность, однообразие: «это какая-то музыкальная машина...» Шопена играли и слушали с удовольствием, однако укоряли и его: в салонности, в излишнем меланхолизме. Наряду с Шуманом Лист и Берлиоз постепенно заняли исключительное место в жизни балакиревцев. Именно их признали воплощением всего современного, яркого и свежего в европейской музыке; именно их считали первыми — после Глинки — союзниками в борьбе за новое направление в музыкальном искусстве. Если говорить о русских композиторах — балакиревцы не жаловали предшественников Глинки, а из старших современников интересен им был разве А. С. Даргомыжский, отношение к которому было прохладным вначале, но затем менялось, и уже при Бородине достигло значительной близости и подлинной теплоты.

К тому времени сложились и взгляды кружка на консерваторское образование. Сформулировал их Стасов в опубликованных (без подписи) в феврале 1861 года «замечаниях на статью г. Рубинштейна», имевших заглавие «Консерватории в России». Статья вышла в том же году и отдельной брошюрой (тоже без подписи).

«В 1-ом номере «Века» (1861) г. Рубинштейн поместил статью «О музыке в России», которую, кажется, будет довольно интересно рассмотреть...» — так начинал Стасов, чтобы почти тут же перейти в яростное наступление: «Г-н Рубинштейн у нас иностранец, не имеющий ничего общего ни с нашей народностью, ни с нашим искусством. [...] ...сделаемся на минуту иностранцами вместе с г. Рубинштейном, вообразим себе, что наше искусство нуждается в его заботливых попечениях и советах, и станем размышлять о средствах извлечь русскую музыку из того состояния, в которое она ввергнута, по мнению г. Рубинштейна, деспотизмом и вред-

ным влиянием любителей. Что же? Неужели действительно оказались бы самыми верными лекарствами те, которые рекомендует г. Рубинштейн? Дайте, советует он, музыкантам звание, заведите консерваторию, и тогда все переменится у вас, все пойдет по-другому, все делается таким, как быть должно. Наше отечество вдруг наполнится истинными артистами; вредное влияние любителей кончится. Полно, так ли? [...] Может статься, г. Рубинштейн не знает укоренившегося нынче в большей части Европы мнения, что академии и консерватории служат только рассадником бездарностей и способствуют утверждению вредных понятий и вкусов в искусстве. Поэтому лучшие умы и ищут средств в деле художественного воспитания обходиться без *высших* учебных заведений [...] Университет и консерватория — вещи совершенно разные. Первый сообщает только *знание*; вторая этим не хочет довольствоваться и вмешивается самым вредным образом в *творчество* воспитывающегося художника, простирает деспотическую власть (от которой ничто не может его защитить) на склад и форму его произведений, старается дать им свое направление, вогнать их в известную академическую мерку, передать им свои известные привычки и, наконец, что всего хуже, запускает когти и в самое понятие юного художника, навязывает ему мнения о художественных произведениях и их авторах, от которых впоследствии невозможно или бесконечно трудно отделаться человеку, который посвятил себя искусству. Ввиду таких капитальных недостатков всех вообще академий и консерваторий нынче признано правильным считать их еще более вредными, чем полезными для развития искусства: история слишком ясно доказывает, что они двигали целые поколения не вперед, а назад...»

Кстати, весьма близкие взгляды и, пожалуй, с еще большей резкостью выражал в то время и А. Н. Серов.

Консерватория в Петербурге тем не менее была открыта в 1862 году, и во главе ее встал Антон Рубинштейн. Стасов до конца дней своих пребывал по отношению к ней (консерватории) в яростной оппозиции. Бородин — нет, не пребывал. Он ценил образование во всех формах и видах.

...И еще Римский-Корсаков рассказывал: «...мелодическое творчество, под влиянием сочинений Шумана,

было в то время в немилости. Большинство мелодий и тем считалось слабой стороной музыки». И — еще определенной: «...сочинять певучую мелодию, в те времена, было как-то совестно, боязнь впасть в пошлость мешала всякой искренности».

Подтверждение верности этих замечаний находим у Стасова. В своей статье об опере Кюни «Вильям Ратклиф» (7 мая 1869) он спорил с неким г. Фигаро из «Модного журнала»: «...потом еще этот же журнал заявляет, что ему интересно было бы послушать попури из мотивов «Ратклифа» — в том смысле, что, дескать, в этой опере и мотивов-то нет [...] Что же сказал бы этот интересный писатель... когда бы узнал, что нынче нельзя сказать большей похвалы кому угодно из сколько-нибудь порядочных современных композиторов?»

Вот в этой части Бородин молча, ни словом не возражая никогда ни Балакиреву, ни Стасову, твердо стоял на своем. Его музыка вся насквозь мелодична. Удивительная неподатливость мягкого, добродушного, милого Бородина далеко не всеми была понята и осмыслена; Стасов еще и после его смерти пенял ему за «уступку» прежним, устоявшимся музыкальным формам и канонам. Никакой уступки чему бы то ни было тут никогда не бывало. Бородин первый из всей «Могучей кучки» выказал упорство и самостоятельность, он был первым ослушником из трех великих ослушников, вырвавшихся из балакиревского гнезда. Отчего же первым? Оттого, что к моменту их встречи он был сложившейся личностью, зрелой и глубокой, и, при всей внешней сговорчивости, допускал влиять на себя лишь до той черты, до которой он оставался при этом самим собой.

Что же тогда дал Балакирев Бородину в первые же их встречи? Бесконечно много. Он сдернул со всей музыки флер непостижимости; творения величайших мастеров предстали заново как предмет изучения, разбора, критического анализа, а не как повод для слепого поклонения. Балакирев в музыке стал для Бородина тем же, чем был Зинин в химии. Зинин так же, протянув руку ученику, ввел его в самую гущу реального дела; как в химии достижения высочайших авторитетов не мешали молодой русской науке видеть, что не сделано — и смело, безоглядно ступить своей дорогой, так и в музыке нужна была отвага, чтобы преодолеть соблазн «потребительского» отношения, пиетета и благоговения

перед уже свершившимся. Однажды перейдя через эту грань, отделяющую восторженного любителя от самостоятельного творца, Бородин, собственно, уже знал, что делать.

Балакиревский кружок дал Бородину и масштаб, размах, прежним его товарищам-любителям и не снившийся. При первом же посещении балакиревского дома он услышал симфонию (еще не готовую) «отсутствовавшего»: Милий Алексеевич и Мусоргский играли ему в четыре руки музыку семнадцатилетнего юноши, пришедшего за какой-нибудь год до этого к Балакиреву с первыми дилетантскими опытами! Это ли был не пример, простой и ясный, что самые смелые замыслы реальны и доступны, только руку протяни! Это ли был не укор Бородину, не укол самолюбию: а ты что, хуже? Как в химии — в музыке достаточно было Бородину убедиться, что «не боги горшки обжигают» — и его уж было не остановить. Прибавим: отношение балакиревцев к классикам («не боги») не означало простого развенчания. Вся критика, достававшаяся на долю великих, не ставила целью пригнуть их до себя, а делала их земными, близкими, чуть ли не товарищами по кружку (ибо самим балакиревцам доставалось в десятки раз больше и круче; каждый такт новой музыки проходил разбор жесточайший). У Балакирева не было двух разных мерок — одной для Моцарта и Бетховена, другой — для Мусоргского и Бородина. Он с одинаковой страстью, заинтересованностью и — беспощадностью анализировал взлеты и поражения тех и других.

II

Незадолго до смерти тяжелобольная Екатерина Сергеевна Бородина диктовала воспоминания о муже. «...я вернулась в Москву, куда с моей матерью знакомиться приехал А. П. в декабре того же, 1862 года. Месяц, следовательно, мы с ним не виделись. Но что произошло за этот месяц! А. П. окончательно переродился музыкально, вырос на две головы, приобрел то в высшей степени оригинально-бородинское, чему неизменно приходилось удивляться и восхищаться, слушая с тех пор его музыку. Плоды только что почти заклю-

ченного, как раз за этот месяц, знакомства с Балакиревым, сказались баснословным по силе и скорости образом, меня окончательно поразившим: в этом декабре — он, этот западник, этот «ярый мендельсо-нист», только что сочинивший скерцо а la Мендельсон¹, играл мне почти целиком Allegro своей Es-dur-ной симфонии».

В этих словах все верно, кроме... кроме выражения «ярый мендельсо-нист», которое принадлежит, впрочем, самому Бородину... относившему его к другой поре: не к концу 1862, а к осени 1859 года, к второй его встрече с Мусоргским. Десятки, а может быть и сотни раз цитировались эти воспоминания Бородина, написанные через двадцать с лишним лет после описываемых событий, специально для очерка Стасова о только что умершем тогда (в начале 1881 года) М. П. Мусоргском. Да и не мудрено, что цитировались, — без них не обойтись. «М. объявил, что он вышел в отставку, потому что «специально занимается музыкой, а соединить военную службу с искусством — дело мудреное» и т. д. Разговор невольно перешел на музыку. Я был тогда еще ярый мендельсо-нист, Шумана не знал почти во-все, а М. знаком с Балакиревым, понюхал всяких «нов-шеств» музыкальных, о которых я не имел и понятия. Ивановские видя, что мы нашли общую почву для раз-говора, предложили нам сыграть в четыре руки, а именно а-moll-ную симфонию Мендельсона. Мусоргский немножко поморщился и сказал, что очень рад, только, чтоб его уволили от Andante, которое совсем не симфо-ническое, а одно из «Lieder ohne Worte»² или что-то вроде этого, переложенное на оркестр».

Оно и хорошо все, но хочется несколько поспорить с... Бородиным. Только что приведенные воспоминания написаны, как уже упоминалось, через два с лишним десятилетия. А ведь он писал через месяц после описы-ваемой встречи с Мусоргским (отчитываясь перед Те-тушкой о только что проделанном путешествии из Пе-тербурга в Гейдельберг), о встрече с молодым ученым-

¹ Скерцо это опубликовано только недавно. Музыковеды обна-ружили, что оно местами предвосхищает зрелого Бородина и носит ярко выраженный русский характер. См.: «Музыкальное наследство» вып. III, М., 1970.

² «Песня без слов» (нем.)

ботаником Борщовым, который «оказался очень хорошим музыкантом: с нашим направлением в музыке». И дальше рассказывалось, как Борщов «за компанию» с новым товарищем проехал до Гейдельберга, как они отправились «играть в четыре руки увертюру из «Жизни за царя» наизусть.[...] Надобно заметить, что Борщов рьяный поклонник Глинки и знает его оперы от доски до доски...» И это — известное исследователям письмо, и его цитировали многократно, делая вывод, сам собой напрашивающийся: «наше направление» в музыке было для автора письма направление, связанное с именем Глинки. Где ж тут, спрашивается, «западник»? Где тут «ярый мендельсонист»? Повторяем, письмо написано той же осенью, когда произошла вторая встреча Бородин с Мусоргским, и ему, конечно, веры больше, чем воспоминаниям, явившимся почти через четверть века.

Да и слишком много мы знаем о том, как складывался Бородин-музыкант, чтобы не заподозрить, что Бородин несколько «оговорил» себя. Быть может, подвела память. Возможно, в нем сказался художник: контраст между его западничеством (якобы!) неведением и — музыкальными новшествами, продемонстрированными Мусоргским, вышел в воспоминаниях куда как ярко и выразителен!

Но вот прошел за границу год с лишком. В Гейдельберг приезжает молодая русская пианистка. Бородин знакомится с нею. «Он себя в первый же день нашего знакомства отрекомендовал ярим мендельсонистом», — говорится в воспоминаниях, записанных со слов умирающей вдовы композитора С. Н. Кругликовым. Полно, так ли? Екатерине Сергеевне были, конечно, известны воспоминания мужа о Мусоргском; они еще должны были быть свежи в ее памяти. Не «приписала» ли она их к своим первым гейдельбергским впечатлениям? Ведь Бородин в первый же год в Германии пишет виолончельную сонату на темы Баха (а не Мендельсона!), «угощает» Сеченова отрывками из «Севильского цирюльника» Россини... Знакомство с Екатериной Сергеевной произвело новый переворот в его вкусах и симпатиях. Если и отдавал Александр Порфирьевич какое-то предпочтение Мендельсону, если и не успел за первый год жизни в Германии познакомиться поближе с Шуманом, то первые же встречи с будущей женой начали стремительно сокращать этот пробел. «Мне было от-

радно, что я заставила ярого мендельсониста (опять! — Р. Д.) так упиваться дорогими мне Шопеном и Шуманом». И дальше: «Нашлись в нашем обществе и смычки... Я продолжала свою пропаганду Шумана. После его В-dur-ного Humoresk'a и квинтета Бородин совсем, как он сам выразился, «очумел» от восторга. «Это какая-то бесконечность, ваш Шуман, — говорил он. — Как это у него чудно все разрастается!» Целый год проходит под этим двойным влиянием, под двойной звездой музыки (особенно шумановской музыки!) и любви; не удивительно, что Бородина потом недруги упрекали в «преувеличенном шуманизме». Но в воспоминаниях Екатерины Сергеевны как-то нарушается связь и последовательность событий; от нее же самой мы все сказанное и узнали — и вдруг снова: «этот западник», этот «ярый мендельсониист». Точно ничего не случилось, точно не было этих дней, месяцев в Гейдельберге и в Италии... Эта нелогичность, эти прямые противоречия в ходе рассказа (или в его записи) вполне объяснимы; нужно только нам потрудиться и сопоставить факты, чтобы подойти ближе к истине. И недоразумение разрушится само собою: никаким «западником» и «ярим мендельсониистом» Бородин, придя к Балакиреву, не был. Он был в этот момент горячо увлечен Шуманом, что и не замедлило проявиться в работе его над Первой симфонией.

Однако «самооговор» Бородина, горячо подхваченный Стасовым и подтвержденный невольной оговоркой Екатерины Сергеевны, не был случаен. Просто более поздние страсти «наложились» на прошлое, на воспоминания молодости. Не будучи, скорей всего, никогда «ярим мендельсониистом», Бородин, с другой стороны, не считал до знакомства с Балакиревым и Стасовым эту музыку «кислятиной» и уж, конечно, не морщился (как Мусоргский в его воспоминаниях) при названии той или иной вещи. Больше того: некоторые черты бородинского творчества, не совпадавшие с представлениями Стасова о том, какою должна быть новая музыка, были ближе к Мендельсону—Бартольди, чем позднее Бородин хотел бы признаться даже самому себе. Ясность, мелодичность, лирическая закругленность, светлый тон бородинской музыки, отсутствие мрачно-романтических порывов в какой-то степени роднили его с тем самым немецким музыкантом, которого так упорно и насмешливо пори-

цали балакиревцы и от которого сам Бородин в какое-то время открещивался весьма энергично.

Нужно заметить, что Мендельсон не только сам по себе «не устраивал» Стасова и Балакирева. Нетрудно проследить сходство между той ролью, какую играл в Германии, начиная с тридцатых годов XIX века, Ф. Мендельсон—Бартольди и той, которую взял на себя в конце 50-х годов в России Антон Рубинштейн. Та же широчайшая музыкально-просветительская деятельность, те же исполнительские триумфы; основание консерватории в Лейпциге (первой в Германии!) в 1843 г. Мендельсоном — и консерватории в Петербурге (первой в России) Рубинштейном в 1862 г.; параллель просто сама собою напрашивается... Так что Стасов порою, можно сказать, метил в Мендельсона, чтобы попасть в Рубинштейна, и наоборот...

В запале борьбы с бездарными эпигонами Мендельсона, с музыкальной рутинной и гладкописью участники ее, этой борьбы, быть может, имели право на преувеличение, на резкость, на — страшно сказать — несправедливость даже. Мы не знаем, какая сила притяжения или отталкивания необходима художнику, чтобы стать (или остаться) самим собой в магнитном поле других, мощно воздействующих на него художественных систем. Мы — ныне — вправе предположить, что Моцарт ничуть не «западнее» Шумана, Мендельсон — Берлиоза, Вагнер — Листа. Мы можем назвать слишком суровым и преувеличенным тот счет, что предъявлялся кучкистами к мендельсоновской музыке и к «пагубному» ее влиянию на современников и потомков.

Собственно говоря, идеален вовсе не тот спор, в котором с одной стороны изливается поток мудрости, а с другой слышится нечто невразумительное. Лучший спор — спор умных и сильных противников, причем в доводах каждой стороны есть свой резон. Однако же спор должен вестись не шутя, и плох будет тот из оппонентов, кто захочет придерживаться разом и своей и противоположной точки зрения. В бою законы свои, а кто их не приемлет, тот и в драку не лезь...

Стасов «драться» с противником любил, деликатничать в разгаре боя не привык. Может быть, Владимир Васильевич и не относился бы столь нетерпимо к музыке Вагнера, если бы не «вагнеризм» («цукунфтизм» — от

немецкого «цукунфт», будущее) его противника, его вечного соперника А. Н. Серова.

Да, споры носили не абстрактный, а глубоко личный характер. Не спокойное взвешивание доводов — а страсть, самоотверженная, порой почти фанатичная могла одна провести их через приманки и препятствия, отвратить от соблазнов моды и немедленного успеха, дать силы, чтобы вынести град поношений, насмешек, улюлюканий, провести через все трясины непонимания и людской косности, собственной своей неуверенности. Тут им надо было держаться вместе, — и каким-то инстинктом они держали стойкую оборону, они наступали, как некое единое целое, как школа, — будучи такими невероятно несхожими, разными с головы до пят...

III

В апреле 1863 года Бородин и Екатерина Сергеевна, наконец, обвенчались. Сохранилось письмо Александра Порфирьевича, в котором он потешно (да простится это недипломатичное выражение) и чрезвычайно обаятельно говорит невесте накануне свадьбы о своих переживаниях: «...При всем том — странная штука — меня несколько тревожит: что бы ты думала? — вся процедура свадебная. Ужасно хочется, чтобы именно этот период прошел, как можно скорее; как ни говори, а во всем этом есть что-то пошленькое, что-то натянутое. Мне несколько не кажется, например, странным, что ты будешь моею женою, что мы будем жить совсем вдвоем; все это как-то очень естественно...»

Год был тревожный.

В «Современнике» появился роман Чернышевского «Что делать?», только что написанный узником Петропавловской крепости; известно, что драгоценная, чудом вырвавшаяся из стен каземата рукопись, была... утеряна на улице, чудом найдена и возвращена Некрасову, чудом проскочила через цензуру, и — ахнула вся читающая Россия, прочтя эту «семейную историю», по смелости и по всему смыслу — небывалую, раздражающую, немислимую.

«Что делать?» была книга для Мусоргского — не для Бородина; ни положение, ни воспитание, ни взгляды

Бородин не могли его приблизить к Рахметову; но волей судьбы Бородин станет со временем в самом центре борьбы за освобождение, за равноправие и достоинство русской женщины — и, может быть, неожиданно для самого себя окажется как бы в поле действия романа Чернышевского.

«Советую читать «Современник» и «День»¹, т. е. альфу и омегу, из этого вы можете приобрести много дельного», — писал с Кавказа, из Пятигорска в Либаву, Курляндской губернии, на военный клипер «Алмаз», вновь испеченному морскому офицеру Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову Балакирев. Получатель письма был в это время занят делом, менее всего подходящим для молодого русского композитора... С раздражением и тоскою сообщал он Балакиреву: «...вышли опять в море и прошлялись до этих пор между Либавой и Полангеном, исполняя возложенное на нас поручение, нелепое поручение, ловить судно английское с оружием для поляков. Заходили мы в Либаву на одни сутки взять угля, но письма я вам послать не мог. Теперь мы зашли в Либаву на праздник. Пробудем мы в этих странах неизвестно сколько времени и все время будем выходить в море на крейсерство, а в Питер, кажется, не вернемся. Россию глаз видит, да зуб неймет. Что ж делать!» С этим же письмом Римский-Корсаков послал Милию Алексеевичу *Andante* своей первой симфонии, и оно было проиграно у Балакирева 3 мая, перед его отъездом на Кавказ. И Балакирев, и Кюи хвалили молодого моряка. Кюи 5 мая 1863 года писал Корсакову: «Вы *последний* явились в нашей музыкальной компании и *первый* написали всю симфонию — спасибо Вам».

С Бородиным Кюи еще не был знаком (их встреча произошла только в 1864 году); как видно, и особого разговора о Бородине у них с Балакиревым еще не было, да и имя Александра Порфирьевича в переписке тогдашней Балакирева, Стасова, Мусоргского, Кюи совершенно не упоминается. Последним явившимся в тесный балакиревский кружок считался Римский-Корсаков; профессора химии, видимо, еще не принимали в расчет. Да и сам он слишком мало мог уделить времени возникшим связям: «...все времени нет, — напишет он Ба-

¹ Еженедельная газета И. С. Аксакова, выходившая в Москве.

лакиреву в самом конце 1863 года, — у меня чертова куча лекций и всякой всячины на шее. [...] Я виноват перед Вами в том, что не доставил до сих пор ноты, которые взял у Вас давным-давно. Да нет ли у Вас чего-нибудь Вашего собственного, я ведь Вашей музыки знаю очень мало...» Вот оно как: прошел, видно, не один год, покуда светское знакомство и вежливый взаимный интерес перешли в товарищество и в тесное сплочение единомышленников; развитие, через множество оттенков и переходов, и укрепление этого содружества происходило в тесной связи с рождающейся симфонией Бородина. А она подвигалась медленно; каждая часть ее вынашивалась дольше, чем дитя созревает в утробе матери. Бородин не склонен был торопить, подгонять события — в ту пору и никто другой его не торопил; даже Балакирев, пожалуй, не был еще с ним так близок, так накоротке, чтобы побуждать профессора с большим рвением взяться за музыку.

Первый петербургский год Бородина был, как никакой другой, богат музыкальными событиями. Писем Бородина той поры мы почти не знаем: все близкие ему люди были рядом, кому ж писать. Дневника он не вел. Оттого мы не можем с уверенностью сказать, где он бывал, что успел слышать. В Петербург приезжал Рихард Вагнер; он дирижировал шестью концертами; в каждый были включены его собственные сочинения. Вагнер первый из дирижеров повернулся лицом к оркестру; новшество было встречено с изумлением, но вскоре признано разумным... «Приехал Вагнер, дает концерты, в которых нового и интересного нет, — это писал в марте Римскому-Корсакову Балакирев. — «Тангейзер» его уже очень известен и скверен». А вот послушаем Кюи: «Вы знаете, что Вагнер был у нас: удивительный дирижер. Как его оркестр слушается и как понимает! Его пребывание у нас всем принесло огромную пользу: оркестру показал он, как он может и должен исполнять, а нашим дирижерам — как следует оркестром распоряжаться. И действительно, все оживились: Шуберт обернулся к публике задом, К. Н. Лядов, уж на что невинный дирижер, и тот замахал палочкой сердитее. Кстати, вот еще хорошее: Милий обещает быть отличным дирижером; по крайней мере, во втором концерте Бесплатной школы он очень и очень хорошо продирижировал «Хоту» и мою увертюру из «Пленника».

И все спасибо Вагнеру, потому что до него Милий дирижировал гораздо вялее».

В отличие от своих новых музыкальных товарищей, Бородин был знаком с музыкой Вагнера довольно близко и раньше, и для него она не была столь ошеломляющей и озадачивающей новостью, как для иных петербуржцев. Не было у него еще в ту пору и никакого предубеждения против великого оперного реформатора, против гениального и заносчивого немца, из-за которого ломалось столько копий в музыкальном мире. Екатерина Сергеевна оставила нам описание лета 1861 года в Гейдельберге, в том числе прогулок «всей гофманской компанией по праздникам в Мангейм, где особенно тщательно ставились и с прекрасным ансамблем исполнялись некоторые немецкие оперы». «Там мы с Александром в истинном значении слова любовались красотами веберовского «Фрейшюца», — писала Екатерина Сергеевна, — там впервые на сцене слышали Вагнера: его «Тангейзера», «Моряка-скитальца», «Лоэнгрина». Массивность, яркость и блеск вагнеровской оркестровки просто ослепляли нас в чудесном исполнении мангеймского оркестра. До Мангейма мы с музыкой Вагнера не были знакомы. Т. е., конечно, разбирали кое-что в фортепианном переложении; но Вагнера нужно в оркестре слушать».

В России адептом и пророком Вагнера как провозвестника музыки будущего явился А. Н. Серов, двумя-тремя годами раньше лично познакомившийся со своим кумиром во время заграничной поездки (тогда же встречался он и с Листом, Берлиозом).

16 мая 1863 года на сцене Мариинского театра состоялась премьера оперы «Юдифь»: то был дебют 43-летнего Серова в качестве композитора. О, как потрясен был успехом оперы Стасов! Какое негодование и... растерянность охватили его. Мусоргский, бывший в театре вместе со Стасовым, должно быть, недостаточно возмущался и оперой Серова, и ее успехом у слушателей; более того, «Юдифь» его, без сомнения, заинтересовала, и чем-то задела. Стасов обрушился на Мусоргского; в огромном сверхъяростном письме к Балакиреву он называет его... идиотом! Вот что значит попасться под горячую руку...

Балакирев побывал в Мариинском только по возвращении с Кавказа, куда ездил на лечение; он писал

Римскому-Корсакову: «Вы, я думаю, не знаете, что в Петербурге есть музыкальная новость — «Юдифь», опера в 5 актах Серова. — Сие произведение обличает в авторе ум и неталантливость, он постоянно ведет, ведет и не доводит, как Антон козу, и в этом истинный сын Вагнера. Кроме того, удачны кой-где вышли применения вагнеровских музыкальных тенденций, он не держался глупых рутинных форм, в чем можно обвинить Глинку, и имел в виду, что опера не есть концерт в костюмах, а музыкальная драма. Одним словом, «Юдифь» — это умная попытка, неталантливая и полезная для дальнейшего хода русской оперы. — Мусоргский тоже хочет писать оперу на сюжет «Саламбо» (из французского романа карфагенских нравов); в следующем письме я Вам расскажу подробно сюжет моей будущей оперы».

Наконец, в Петербурге развернулась деятельность Бесплатной музыкальной школы (БМШ). Она предназначалась для взрослых и строилась по аналогии с знаменитыми воскресными школами для народа — к тому времени, кстати говоря, царское правительство прикрыло их все под предлогом «преобразования». У истоков БМШ стояли Гавриил Иоакимович Ломакин и Балакирев. Ломакин — фигура уникальная в русской культуре, достойная стать легендой. Родился он крепостным, пел в капелле графа Д. Н. Шереметева; позже граф отпустил его на волю. Научившись едва ли не всем музыкальным премудростям самоучкой, Ломакин сделался учителем в капелле Шереметева с 18 лет; зарабатывая уроками музыки, он сам передавал заработанные деньги более сведущим музыкантам, у которых учился игре на скрипке и на фортепиано. Постепенно Г. И. Ломакин сделался лучшим хоровым дирижером в России; слава его распространилась и за пределами страны; капельмейстера знаменитого шереметевского хора с почетом принимали во время его заграничной поездки прославленные музыканты Германии и Франции; Лист посвятил свою «Ave Maria» руководимой Ломакиным капелле; в Берлине придворный хор был собран специально по случаю его приезда; Берлиоз в Париже любезно принял знакомого ему по Петербургу музыканта и подарил ему на память свой музыкальный автограф.

В хор Бесплатной музыкальной школы принимались

все желающие — с условием, что они обладали необходимым музыкальным слухом; незнание почти всеми певцами и певицами простейших музыкальных начал можно было назвать полным, девственным невежеством. И вот через недолгое время... Но предоставим слово свидетелям происшедших превращений: Серову и Стасову, которые поначалу в оценке деятельности БМШ не разошлись.

Серов: «Она (Бесплатная музыкальная школа. — Р. Д.) открыта едва месяц назад в залах Медико-хирургической академии, но учеников там собирается уже более трех сот. [...]

Гавриил Иоакимович Ломакин, четверть столетия занимающийся вокальным капельмейстерством, развил в себе педагогическую способность в этом деле до результатов изумительных.

Каждый вверенный ему хор приучивается читать какую угодно певческую музыку прямо с листа — интонировать без погрешности и столь же безошибочно — называть по имени каждый данный звук. [...] Только при такой методе учения, вместе с бесконечным доверием поющих к такому капельмейстеру, могут выходить образцы исполнения, которыми Петербург любовался в концертах 11 марта и 11 апреля. Пусть какой-нибудь другой хор не говорю в Петербурге, а в Европе (европейски знаменитых хоров я слышал в Германии довольно) сделает вступление всей массы голосов таким едва слышным пианиссимо, едва уловимым для самого тонкого и привычного слуха, как хор, под управлением Г. И. Ломакина, в первых тактах бесподобной молитвы Моцарта «Ave virginis corpus»!

Чтобы проверить на деле самый способ обучения, стоит заглянуть в основанную Г. И. Ломакиным бесплатную вокальную школу. Быстрота успехов неимоверная!»

Стасов говорит уже о концертах следующего 1863 года, когда рядом с Ломакиным в БМШ встал и Балакирев, взявший на себя руководство оркестровой частью программ. Итак, В. В. Стасов: «Школа, которую основал недавно Г. И. Ломакин, такое явление, которого у нас еще никогда не бывало. Никто не думал о действительном музыкальном воспитании нашего народа, никто еще не раскрывал ему настежь двери, никто не посвятил ему всего своего времени и таланта. Но вот теперь

существует Бесплатная музыкальная школа; в несколько месяцев она уже в состоянии давать такие концерты, которые признаны всеми за превосходные, — это факты, которых не забудет история и которых она никогда не смешает с множеством других, ничтожных или мало-важных явлений современности [...] Была и полная зала, были и бесконечные вызовы, было и упорное требование повторить иные пьесы, была и поднесенная капельмейстерская палочка, были и похвалы газет — все было...» И — дальше: «Теперь мне остается указать на значительный факт, большинством публики почти вовсе не замеченный. В обоих концертах дирижировал оркестром, когда он исполнял оркестровые пьесы, — М. А. Балакирев. На его управление оркестром у нас, кажется, не обратили никакого внимания. Но те, кто прислушивается к музыкальному исполнению, помимо мод и признанных слав, убедились с первых звуков во втором концерте Бесплатной школы, что перед ними, с капельмейстерской палочкой в руке, человек, у которого значительное будущее и из которого выйдет в будущем — удивительнейший русский капельмейстер. В этом концерте «Хота» Глинки, одно из гениальнейших созданий русской музыки, была исполнена так, как никогда еще не исполнялась со дня своего появления на свет...»

IV

13 октября 1863 года торжественно было открыто новое здание «для помещения лабораторий и кабинетов естественно-исторического отдела преподавания» Медико-хирургической академии. Александру Порфирьевичу Бородину здесь была предоставлена казенная квартира. Что чувствовал он, переступая впервые порог дома, где ему предстояло прожить почти четверть века и умереть? Наверное, радость. Он любил и умел радоваться, а тут и поводов к тому было предостаточно. Его ждали дела великие, и он не то что предчувствовал, — он мог твердо знать это.

Вот как описывает один из гостей (бывавших здесь, правда, много позже описываемых событий) бородинскую квартиру. «Войдя в обширный вестибюль, сейчас же налево, в начале темного коридора, была парадная дверь квартиры Бородина.

При входе из темной передней вы попадали в небольшую залу с роялем и дальше, направо, в столовую. Налево от залы помещался кабинет Александра Порфирьевича, в котором по обыкновению всегда царил беспорядок. В этом кабинете Александр Порфирьевич и занимался по преимуществу композиторством. Он не очень долюбливал, чтобы кто-либо входил в эту комнату, и мне довелось в ней бывать очень редко, только по приглашению Бородина. Дальше за столовой помещалась, кажется, комната Екатерины Сергеевны».

В том же здании располагалась химическая лаборатория, фактическим директором которой с самого начала был Бородин, аудитория фармакологов и та, в которой читали лекции Бородин и Зинин.

Начиналось самое светлое, сильное время в жизни Бородина — страдная, солнечная пора. Не те годы счастливейшие в нашей судьбе, когда человек пожинает так или иначе плоды трудов своих, а те, когда во весь размах распахнется его душа, когда сил — невпроворот, и без счета, не оглядываясь, тратит он их: чем больше тратит, тем больше, кажется, прибывает. Одинаково подстегивает нас в эту пору и удача и неудача, — не за пряник, не за награду делается главное дело жизни, а по необходимости творить или рушить, по неодолимой потребности выразить, открыть, понять... Потом, потом, глядишь и посыплются на победителя лавры — но и принимать и носить их будет уже другой человек, не этот, теперешний, у которого рубаха на лопатках взмокла от пота, не этот, глядящий вперед так весело и уверенно, точно век человеческий — не краткий срок, а бескрайняя вечность.

Бородин влюблен был в свою жену. Летом, в июне, он писал матери (Тетушке):

«Катюша все бегаёт, хлопочет, покупает, заказывает и придумывает кушанья, бегаёт на садок и в пустой рынок и скорбит о том, что все страшно дорого у нас. Мы все собирались куда-нибудь съездить, да так до сих пор нигде не были; гуляем каждый день в госпитальном саду, там очень хорошо. С нами постоянно ходит Борзик, который ни с того ни с сего страшно привязался к Катюше и бегаёт за ней повсюду: в сад, в рынок, даже в сортир, и ждёт её, пока она выйдет. Послезавтра думаю с Катюшей съездить в Петергоф на пароходе... Катюша вас целует и всем кланяется...» Губы склады-

ваются сами собой в улыбку, когда читаешь это. Слог влюбленного выдает его: ему и песик-то дворовый мил оттого, что сообразил, знал, к кому привязаться.

Через год, 12 мая 1864 года он пишет самой Екатерине Сергеевне (должно быть, уехавшей в Москву, к матери): «Данилевский, — молодой, — сегодня был у меня; кажется, по уши влюблен в свою жену (точно я в тебя)».

Еще года через два, ей же: «Ложась спать, я все думал о тебе и так с этой мыслью и заснул. [...] Мне кажется, как будто бы ты по крайней мере месяц назад уехала и вообще мне время ужасно тянется, хотя я не могу сказать, чтобы я скучал. Скучать-то, собственно, некогда».

Вот он отчитывается о своем поведении: «Я все это время вел себя исправно: в голове и ногах не копал, резал за обедом все маленькими кусочками, в рот много не посылал, не давился, шляп не зарезывал и не процарапывал, не свистал и не пел по коридорам, голый не мылся, когда ложился спать, оставлял маленькую щелку в драпировке, лимона много в чай не клал и не давил его ложкою, личным полотенцем рук не вытирал, ложась спать, ушко закрывал только простынею, а не одеялом. «Вот уж умник...»¹

В следующем письме:

«Без тебя здесь ужасно пусто и тихо, как-то не кричится мне, не поется, не гамится; вероятно потому, что унимать некому...»

Не слишком ли бегло и походя, точно бы даже конфузясь, вспоминаем мы обо всем, что связано с любовью, семьей, домом. Если эта сторона жизни и не объявляется вслух второстепенной, то и тогда некая водонепроницаемая переборка как бы отделяет ее в нашем представлении от всего остального. Но в реальной-

¹ С. А. Дианин, составитель и комментатор собрания писем Бородин, снабдил это письмо примечанием, которое хочется привести здесь слово в слово. «Бородину, при его крайней чувствительности к свету и звукам, надо было для возможности заснуть находиться в полной тишине и темноте, для чего он иногда завязывал себе глаза черным платком и закрывал уши одеялом. Екатерина Сергеевна, очевидно, не считала эту привычку разумной и воевала с ней. Не нравилась ей, вероятно, и привычка Бородина напевать, идя по коридорам естественно-исторического здания Академии, различные курьезные последования звуков (скачки на септимы и ноны и т. п.)».

то судьбе таких перегородок нет, — или, вернее, не должно бы быть; как одно лицо и анфас, и в профиль остается все тем же лицом, так цельная личность проявляется в любви не менее, если не более полно и ярко, чем в общественных ее, социальных самоосуществлениях. Любовь женщины к мужчине, любовь мужчины к женщине — открытое, незамаскированное обнаружение творческого дара самой природы, первоначало, исток всех жизненных сил...

Друзья, а потом и биографы Бородина, как водится, по-разному оценивали место и роль Екатерины Сергеевны в жизни Бородина. Одни склонны видеть лишь светлую сторону этого союза, другие решительно указывают на его теневые стороны, на неустройства домашней жизни Бородина.

Не для того преодолеваем мы сегодня временную пропасть, вырытую целым столетием между нашей, нынешней, и той, тогдашней жизнью, чтобы вмешаться в отношения жены и мужа, «защищать» их друг от друга, самозванно присваивая себе роль судей. Но что известно нам — то будет сказано без приукрашивания и без утайки; ведь семейные отношения Бородиных составляли каждодневную основу их существования, и отсесть, ампутировать их в нашем рассказе — значило бы нарушить все пропорции реальной судьбы. Притом не согласимся видеть в человеке лишь средство для достижения целей, хотя бы и самых возвышенных: вот художник, вот все, что он успел сделать. По одну сторону — то, что помогало ему в создании его полотен, по другую — то, что мешало. Первое — полезно, второе — безусловно вредно. Страшиновато-утилитарен этот подход к живой и пульсирующей судьбе. Разве она ничего не значит сама по себе? Разве она — лишь сокопровод от предыдущих поколений к последующим? Разве она не живое воплощение всего, что было, и всего, что будет, концов и начал, корней и плодов, рождения и смерти в их вечном борении, так напоминающем вечное бытие?..

Пушкин обронил однажды, в первой своей прозе, как бы случайно: «Сладостное внимание женщин — почти единственная цель наших усилий...» Речь у него шла о времени куда более девственном и простодушном, чем последующие времена; но пушкинские слова не потеряли заключенной в них правды. Верно, конечно, что

отчужденная и односторонне развившаяся индивидуальность с тоскливой завистью услышит в пушкинской фразе отзвук цельности уже недостижимой; верно, что иной заблудившийся в профессиональных и социальных сложностях века гражданин, разбуди его, — не сразу сообразит спросонок, какого пола он существо, — ибо в разряд несущественного давно зачислил он все так называемые интимные вопросы. Но — выскажем мысль, быть может, не бесспорную — природа непременно отомстит каждому, кто норовит от нее отречься, и в той самой степени, в какой кому-то удастся забыть, что он мужчина (или женщина), — в той самой степени перестает он (она) быть и вообще человеком... Здесь так и просятся на язык рассуждения о плодоносной, детородной природе всякого созидания и о бесполой сущности таких отвлеченных порождений цивилизации, как например, бюрократизм. Но тут много само собой разумеющегося и не требующего напоминаний.

Сегодня мы знаем о Екатерине Сергеевне Бородинной — урожденной Протопоповой — больше, чем знали многие ее знакомые: одним известна была только часть ее жизни до замужества, другим, напротив, она представляла уже супругой профессора Бородина — без предыстории, как данность.

Екатерина Сергеевна родилась в 1832 году — на год раньше Бородина — в Москве. Фамилия ее прямо указывает на духовное сословие, — современнице запомнилось, что отец ее «был священником у князя Сергея Михайловича Голицина (известный вельможа, любимец Николая и крестный отец императора Александра II), но рано умер. О семье позаботился князь Сергей. Дал Екатерине Алексеевне (так звали мать Екатерины Сергеевны) квартиру в одном из огромных флигелей Голицынской больницы, назначил пенсию и велел выдавать паек (известное количество ржаной муки, крупы, масла и тому под.). Сыновей князь Сергей поместил на казенный счет в Сиротский институт. Старший, Алексей Сергеевич... остался на всю жизнь гражданским чиновником, а младший, Сергей, был переведен в числе многих других в Кадетский корпус, помню его офицером...»

Евгения Визард, оставившая эти воспоминания — одна из двух дочерей коллежского асессора Якова Ивановича Визарда. В семье было еще двое взрослых

сыновей. Яков Иванович служил надзирателем московского Воспитательного дома, в котором обретались одно время и братья Екатерины Сергеевны. В доме Визардов собиралась московская молодежь, народ до крайности интересный и одаренный. Старшая дочь Визардов, Леонида, была замечательно красива, «очень умна, талантлива, превосходная музыкантша, — рассказывала ее сестра. — Прекрасные густейшие, даже с синеватым отливом, как у цыганки, волосы и голубые большие прекрасные глаза...» Среди мужской молодежи, посещавшей дом Визардов, не было, пожалуй, человека, равнодушного к красоте Леониды. Иван Михайлович Сеченов (будущий великий естествоиспытатель), поэт и критик Аполлон Григорьев, позднее и его друг, поэт Афанасий Фет... — и рядом с ними — молодая и необычайно талантливая пианистка Екатерина Сергеевна Протопопова, подруга сестер Визард, ученица, по словам Евгении Визард, Дюбюка (того самого, что давал уроки мальчику Балакиреву), — сама Екатерина Сергеевна позднее называла среди своих учителей Константинова, Шульгофа, Шпаковского. В книге воспоминаний А. А. Фета читаем: «В то время все увлекались Шопеном, и Екатерина Сергеевна передавала его мазурки с большим мастерством и воодушевлением». Сама Е. С. вспоминала о «московских встречах в семействе графа Л. Толстого и Фета с талантливым скрипачом Фришманом...»

Но самая тесная и необычайная дружба связала Екатерину Сергеевну с Аполлоном Григорьевым. Безответная, трагическая любовь поэта к Леониде Визард, ставшая, может быть, главным содержанием всей его судьбы, была не только известна Екатерине Сергеевне — с ней он делился своими переживаниями бесхитростно и открыто, ей исповедовался. «Знаете, за что я Вас так люблю, мой добрый благородный друг женского пола? Вы — единственная женщина, с которой можно играть в эту сладкую и опасную игру, называемую женской дружбой, — писал ей Григорьев. — Причина этого, с одной стороны, в том глубоком и нежном уважении, которое Вы внушаете всему, что способно Вас понять, а с другой стороны — в Вашей артистической, т. е. немножко эгоистической, *немножко слишком* самообладающей, немножко даже ветреной природе. Знаю я, что и Вы меня любите, но знаете ли Вы, за что? — именно за тот анализ, который то пугал, то волновал Вас».

Вот он пишет ей из Италии, из Флоренции; 24 ноября 1857 года: «Здесь я все изучаю искусство, — да что проку-то? В себя-то, в будущую деятельность-то, во всякое почти значение личной жизни утратил я веру всякую. Все во мне как-то расподлым образом переломано. Нет! Глубокие страсти для души хуже всякой чумы, — ничего после них не остается, кроме горечи их собственного осадка, кроме вечного яда воспоминаний.

Женским душам, должно быть, легче это достается. Ведь любила же она меня, то есть знала, что только я ее всю понимаю, что только я ей всей молюсь...»

3 января 1858 года:

«Все так неумолимо-окончательно порешилось для меня в душевных вопросах, так последовательно обнажилось до желтых и сухих костей скелета — так суровы стали мои верования, так бесповоротны и безнадежны мои ненависти, — что дышать тяжело, как в разреженном и резком воздухе гор».

Такие письма не пишут «абы кому», они показывают небывалую степень доверия, они говорят о мере душевной близости и понимания¹. Они говорят и о личности женщины, к которой обращены эти письма, это «глубокое и нежное уважение». В то же время не должны ускользнуть от нас и трезвые, критические нотки, откровенное «но», мелькнувшее в одном из писем Ап. Григорьева.

Екатерина Сергеевна прожила до встречи с своим избранником, можно сказать, целую жизнь, напряженную, богатую событиями и умственными интересами, — но и отложившую в ее душе немало горечи. Быть наперсницей чужой любви — отнюдь не самое счастливое

¹ Последние два отрывка взяты из пятого тома Собрания сочинений А. А. Блока, из его замечательной статьи «Судьба Аполлона Григорьева». Блок, высоко ценивший дар поэта и критика, читал и переписывал своей рукой эти его письма... Скорей всего, он знал, что Екатерина Сергеевна, адресат этих писем, позже стала женой композитора Бородина. Того самого Бородина, с которым когда-то будущий отец его, Блока, жены, Любови Дмитриевны, Прекрасной Дамы блоковских стихов, Д. И. Менделеев рука об руку бродяжил по городам Германии, Швейцарии, Италии. Тут не просто «теснота» тогдашнего русского интеллигентного общества: тут еще и необычайная густота и плотность развивавшейся национальной культуры. За какую ветвь ни возьмись, — откликаются, вздрагивают и соседние, все переплетено и связано... могучее, неохватное, пышно зеленеющее древо!

занятие для молодой музыкантши, бесприданницы, не самого крепкого здоровья; к тому же молодость имеет свойство, начиная с некоей невидимой, но роковой черты, уходить стремительно.

Нужно представить ее детство и юность, квартирку при больнице, молитвы за вельможного покровителя и каждодневную боязнь будущего, ничем не обеспеченного; нужно вообразить себе заботы о скудном гардеробе, о том, чтобы на людях скрыть бедность, выступающую там и сям наружу, как проказа. Житье из милости, щедротами благодетеля, с этим самым пайком из ржаной муки, круп и масла, должно было наложить отпечаток на всю жизнь семьи. «Известные пианисты Катьеньке очень охотно давали уроки бесплатно, т. к. она в самом деле была очень талантлива» (Евг. Визард). Но гордость Екатерины Сергеевны должна была страдать — или же приучаться к постоянным ударам. Изначально искажено было, по-видимому, многое внутри семьи и в ее отношениях к миру внешнему. «Облагодетельствованные» в утешение своему самолюбию хотели тоже в свою очередь для кого-то быть благодетелями; у Протопоповых вечно обретались еще более бедные родственники, компаньонки, приживалки; потом эта атмосфера частью переключается в профессорскую квартиру Бородиных. Прожившие жизнь или часть жизни в больнице, Протопоповы странным образом неотделимы оказались от череды своих и чужих несчастий, хворей, дурных и нередко с лихвой оправдывавшихся предчувствий, страхов, тревог.

Увезя Екатерину Сергеевну в Италию, влюбленный Бородин буквально спас ее от гибели, но вот от «протопоповизма», как он это сам позже назовет, ему удалось избавить невесту, молодую жену только на время: слишком зрелый, сложившийся к тридцати годам, «совершившийся» человек была Екатерина Сергеевна.

Ничто из сказанного выше не сказано в осуждение; нелепо хоть косвенно укорять человека в том, что решилось и выстроилось помимо его воли и желания, собственно — до его рождения. Так же нелепо предполагать, что наш выбор предопределяют только безусловно «положительные», «плюсовые» черты нашего избранника. Думается, что слабость и болезненность Екатерины Сергеевны Протопоповой, хрупкость, ранимость ее в глазах Бородина обладали привлекательностью неотразимой.

Он был из людей, которых обращенная к ним надежда окрыляет; ему хотелось быть опорой для существа более слабого; он был из тех, кто нуждается в том, чтобы в нем нуждались.

Найдя — так нескоро, с почти роковым запозданием — защитника и друга, Екатерина Сергеевна положила на него во всем и совершенно; можно сказать, что самая деятельная часть жизни для нее на этом закончилась. После затяжной бедности и беспросветности какого-то сумеречного полусиротства, после невидимой посторонним, но довольно жестокой борьбы за существование она позволила себе расслабиться и отдохнуть; издали и со стороны трудно сказать наверное, — но, может быть, то была ошибка. Прежняя борьба делала ее, надо думать, крепче, препятствовала болезням и душевным неустройствам, возмещала некоторую вялость, недостаток бодрых, жизнестроительных сил. То, что Бородин оказался деятелен и жизнелюбив «за двоих», все-таки спасло положение не до конца: арифметика в этих случаях не так проста, и даже самый самоотверженный друг не сможет сделать за нас, вместо нас, ни вдох, ни выдох.

Но — опять же — кто возьмется судить, не были ли и эти черты «законным» и по-своему необходимым противовесом бородинской, почти избыточной ясности? Стыдно сказать, — но едва ли не хрупкому здоровью Екатерины Сергеевны, заставлявшему ее подолгу жить в Москве, вдали от мужа, мы обязаны почти всем, что мы знаем о жизни Бородина. Он писал жене длинные, подробные, блистательно живые, остроумные и ласковые письма, так много в себя вместившие. Нелегко решить, чему больше радуешься, читая их: драгоценным ли фактам, касающимся русской истории и культуры, собственно бородинского творчества, или вещественности быта, деталям, которые никакими судьбами не могли бы сохраниться, если б не были схвачены и закреплены письмом на лету. Так допотопный комар, увязнувший когда-то в капле смолы, летит и сегодня сквозь желтый, прозрачный, пузырчатый воздух янтаря и поглядывает оттуда на нас не без иронии...

«...был у портного и заказал себе пальто. Меньше сорока рублей никто не шьет (я потом узнал, что и Успенский и Кюи платили столько же). Пришел домой и все писал Менделеевскую работу. После обеда был у

тетушки; пил чай, ел апельсины. Вечером в 9 часов пришли ко мне Кюи с женою и просидели до 11^{1/2} (клянутся тебе, и мадам Кюи жалеет, что не видала тебя). На следующий день я до вечера писал и много написал. Вечером отправился к Исакову за справочными ценами книг для академии. В субботу (т. е. сегодня) я оппонировал на двух диссертациях, между прочим и у Габриловича, которого я вытащил чуть не за волосы. Плох. Сегодня у меня был Сорокин и обедал. После обеда он уехал, а я отправился в черную лабораторию и провонял валерьяной до костей. Да! Я и забыл тебе написать о хозяйственной деятельности моей: обед на четверг я описал, в пятницу (вчера) у нас был перловый суп и те же телячьи котлеты; сегодня — лапша и бифстек с хреном.

На другой день после твоего отъезда было великое истребление клопов: кушетку и шкаф вынесли, обварили и мазали лавандовым маслом; вонища этим маслом была на все коридоры; у Лины и Дуняши разболелась и кружилась голова, я — ничего...»

Возможно, скажут, что биографу великого человека не должно быть дела до каких-то клопов, к тому же более столетия назад уничтоженных посредством лавандового масла и кипятка. Но почему бы не существовать и другому взгляду на вещи? То, что 12 мая 1866 года занимало Бородина, то и нас может занимать; кто хочет взглядеться в чужую жизнь и понять ее, тому противопоказано высокомерие по отношению к мелочам, к подробностям, к вещественному и осязаемому.

Но вернемся к Екатерине Сергеевне. В ее воспоминаниях о первоначальных встречах с Бородиным в Германии есть любопытный эпизод. «Поехала я с Бородиным в Баден-Баден на музыку. Там ведь нечто вроде нашего Павловска. Не помню уже, что играл оркестр, только мне одна модуляция сильно там понравилась, и я обратилась к Александру Порфирьевичу. «Как, — говорю я, — хорош здесь переход из такой-то тональности в такую-то». Я видела, как изумился Бородин. «Как, вы так слышите абсолютную тональность? Да ведь это такая редкость!» — воскликнул он и погрузился в какие-то думы, а лицо и глаза в то же время были такие ясные, счастливые. Я тогда не поняла, что с ним творится: мне странно было его удивление; я ничего такого важного не находила в этой особенности музыкального

слуха. А между тем, как мне потом уже рассказывал Александр, в этот самый вечер, именно после моих слов для него стало несомненно, что он меня бесповоротно, крепко, на всю жизнь любит».

Правду говоря, поначалу кажется несколько прямолинейной эта мотивировка, столь непосредственная связь между тонкостью музыкального слуха и — любовью на всю жизнь... точно в грубоватом производственном романе из жизни музыканта. Вдумавшись, взглядевшись, обнаруживаешь, что натяжки здесь нет, что так оно могло быть. Екатерина Сергеевна очень кстати помянула Павловск: почти сказочные впечатления бородинского отрочества связаны с этим словом. («Рано мы с Бородиным начали наслаждаться оркестровой музыкой. Мы слушали оркестр в Павловске, где играл тогда Иоганн Гунгль...» — из воспоминаний М. Щиглева).

С тех пор, как определились успехи Бородина в Академии, со времени его знакомства с Зининым музыка, оттесненная на второй план главным, положительным и серьезным делом — наукой, неминуемо должна была стать Бородину еще милее, чем прежде. Дом Тетушки, — при всем замечательном здравомыслии этой женщины, — был, конечно, обывательский дом; в сравнении с открывавшейся перед Сашенькой ученой карьерой музыка представлялась баловством, которым следовало пожертвовать. Бородин так и сделал. Пожертвовал. Сеченов вспоминает, как тщательно он скрывал в Германии от друзей-химиков, что он серьезный музыкант. В соответствии с воспитанием, с трезвыми выкладками ума, с прямой необходимостью да и с уважением своим к науке, к учителю, — Бородин твердо определил музыке в своей жизни место досуга, отдыха, приятного отвлечения от трудов. Любое другое, более серьезное к ней отношение было для него в те годы попросту невымыслимо.

Чем дальше в глубину загонялась музыка, тем сильнее она, должно быть, дразнила и звала. Именно неразрешенность, полузапретность («баловство»!) напрямик соединяла ее с детством, которое всегда нарушает все новые «нельзя». А детство, в свою очередь, так же прямо, не посредством книжного или житейского опыта, а впритык связано со всеми родниками бытия, с тайнами минувших поколений (есть, кроме того, некая круговая порука детей, растений, зверей; ритмов и мелодий,

растворенных в природе). В детстве музыка в жизни Бородина не знала ограничений; теперь в ней должен был неминуемо сосредоточиться привкус давней свободы. Итак, память детства, силы призвания — недоосознанные, но от того не менее могучие, — необходимость самовоплощения... Все это откликнулось в Бородине на слова милой москвички о том, как хорош переход из одной тональности в другую. Екатерина Сергеевна нащупала сразу две «слабости» Бородина: первой была его тщетно подавляемая страсть к музыке, второй — инстинкт покровительства, развитый в нем очень сильно.

Редкостное обаяние отличало Бородина в частной, интимной жизни. Он умел окружить свою любовь ореолом нежности, тепла, надежности и дружелюбия; вдохновенная, неиссякаемая — как в ребяческой игре — изобретательность этого чувства не была головной; и все вместе освещалось совершенно неотразимой бородинской улыбкой. Десятки смешных и тайных ласкательных имен и прозвищ находит он для любимой; понятные только двоим воспоминания, уговоры, секреты создают целый язык, не предназначенный для посторонних глаз и ушей. Профессор химии превращается на эти минуты в «мальчика Сашу», мальчик Саша — в младенца, в «майчика Сясю»: Бородин не боится оскорбить чей-либо вкус, ибо он находится в пределах, никому не подсудных. Не след бы и нам вторгаться в эти пределы... но уж давно тут пролегает дорога; исследователи да и просто читатели знают письма А. П. Бородина к жене с восьмидесятых годов прошлого века... К тому же не из праздного любопытства обращаемся мы к ним, а в уверенности, что личность неразделима и что в «сладких тайнствах любви» — может быть, сгущение и разгадка ее животворящих сил.

«Егорка! Я начинаю на тебя сердиться. Желтый Пузырь этакий! Что не пишешь? Ждали мы от тебя письма вчера, ждали сегодня... все нет. Ты пойми, Николашка, с каким лихорадочным нетерпением мы ждем от вас хоть двух строк (...) Ну довольно; сорвал сердце! теперь начинаю любезничать: здравствуйте, Зозо, датуйте! У! — хорошая! У! Червленная! Как Вас ожидают-то!»

...«Егорка», «Николашка», «Желтый Пузырь», «Зозо», «Точка», «Точечка», «Газойчик», «Катрынхен», «Клоп», «Ноинькая», «Генриетта», «Фонтанчик разных приятностей», «Остаточек», «Поп», «Самая лучшая», «Хм-чик»,

«Хм», «Хм-ша», «Золотойка», «Пип», «Маленький человек», «Стрѣ-Стрѣ», «Клопик», «Миинькая», «Сокровенная», «Мозойка», «Синенькая», «Кококо», «Кокушка», «Маленькая», «Мистойчик», «Pigot», «Любовка», «Титя», «Caticchia», «Снисточка», «Chichie strikulée»...

Носительница всех этих и еще многих имен и прозваний (здесь, вырванные из среды обитания, лишенные единственного воздуха и тепла, они нарочно закавычены) Екатерина Сергеевна была вполне равнодушна к химии; зато музыка в ее лице приобрела лучшего защитника. Может быть, Екатерина Сергеевна не меньше Балакирева «повинна» в том, что попытки сочинительства не остались для Бородина грехами молодости. Заложённые в нем творческие силы искали выхода и «оправдания», — и она, Екатерина Сергеевна, их пробуждала и поощряла как могла, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Недаром скупой на похвалы и неукоснительно точный Балакирев писал: «Наши занятия с Бородиным заключались в приятельских беседах и происходили не только за фортепиано, но и за чайным столом. Бородин (как и вся наша тогдашняя компания) играл новое свое сочинение, а я делал свои замечания касательно формы, оркестровки и проч., и не только я, но и все остальные члены нашей компании принимали участие в этих суждениях. Таким образом сообща вырабатывалось критически все направление нашей композиторской деятельности. Могу прибавить, что и жена Бородина, Екатерина Сергеевна, принимала участие в наших беседах. Она была прекрасная музыкантша и весьма порядочная пианистка. Ее симпатичная личность вносила особенную сердечность в наши беседы...»

Автор со смущением обнаружил, что эти строки против его воли смахивают все-таки на защитительную речь. Видите, мол, какую пользу принесла Екатерина Сергеевна русской музыке? Польза-то несомненная, но вот в защите нашей Екатерина Сергеевна нуждается, надо полагать, не больше, чем, скажем, голос... или руки Бородина... или место и время его рождения... — все, принадлежащее его существу, бесповоротно и неотделимое от него.

Для Бородина в это время на первом, да и на втором, и на третьем месте стояла химия; для нас — важнее его музыка. Время поменяло все местами. Бородин готов был сердиться на музыку, отнимавшую дорогое время. Мы — через разделяющее нас столетие присоединяясь к Балакиреву и балакиревцам, — сетуем на все то, что отнимало Бородина у музыки.

Первая симфония сочинялась крайне медленно. Если первая часть — *Allegro* — как мы знаем по воспоминаниям Екатерины Сергеевны, почти целиком была готова в декабре 1862 года, т. е. через месяц-два после знакомства с Балакиревым, то позже счет пошел не на месяцы, а на годы. Екатерина Сергеевна припоминала, что в мае 1863 года Бородин показывал ей «кое-что из финала»; в 1864 будто бы написано было скерцо. Более убедителен и подробен ее рассказ о том, когда и где появилась музыка медленной части, *Andante*: «Вот как это было. В тот год (1865 — Р. Д.) мы снова ездили за границу и остановились в Граце. Александр вернулся с прогулки по Карпатским горам, близ какой-то беседки одного старого замка. Там ему пришла в голову *Des-dur*-ная середина *Andante*, именно эти так удачно вышедшие вздохи качающегося аккомпанемента».

Пожалуй, первые два года Бородина как композитора знает один Балакирев, — но и он, после случая с Гуссаковским, боится новых разочарований и не спешит включать профессора химии в число участников своей «музыкальной компании». Первое документальное свидетельство того, что Бородин и его музыка приняты всерьез — письмо Кюи (конец января — начало февраля 1865 года) М. А. Балакиреву: «Мне донельзя досадно, что мне не удастся увидеть Канилле и Бородина и передать последнему все удовольствие, доставленное мне его симфоническим *Allegro*. Это уж вы исполните за меня...»

После заграничного плавания, продолжавшегося два года и восемь месяцев, вернулся в Петербург Н. А. Римский-Корсаков. «При первых же посещениях Балакирева я услышал, что в его кружке появился новый член, подающий большие надежды. Это был А. П. Бородин.

По переезде моем в Петербург, в первое время его там не было, он не вернулся еще после лета. Балакирев наигрывал мне в отрывках первую часть его Es-dur-ной симфонии, которая скорее меня удивила, чем понравилась мне. Бородин вскоре приехал, я познакомился с ним, и с этих пор началась наша дружба, хотя он был старше меня лет на десять. Я познакомился с его женою Екатериной Сергеевной [...] Бородину понравилась моя симфония, которую сыграли ему в 4 руки Балакирев и Мусоргский. У него же первая часть симфонии Es-dur не была докончена, а для остальных частей уже имелся материал, сочиненный им за границей. Я был в восхищении от этих отрывков, уразумев также и первую часть, только удивившую меня при первом знакомстве. Я стал часто бывать у Бородина, оставаясь нередко и ночевать. Мы много толковали с ним о музыке; он мне играл свои проекты и показывал наброски симфонии. Он был более меня сведущ в практической части оркестровки, ибо играл на виолончели, гобое и флейте. Бородин был в высшей степени душевный и образованный человек, приятный и своеобразно остроумный собеседник. Приходя к нему, я часто заставлял его работающим в лаборатории, которая помещалась рядом с его квартирой. Когда он сидел над колбами, наполненными каким-нибудь бесцветным газом, перегоняя его посредством трубки из одного сосуда в другой, — я говорил ему, что он переливает из пустого в порожнее. Докончив работу, он уходил со мной к себе на квартиру, и мы принимались за музыкальные действия или беседы, среди которых он вскакивал, бегал снова в лабораторию, чтобы посмотреть, не перегорело или не перекипятилось ли там что-либо, оглашая при этом коридор какими-нибудь невероятными секвенциями из последовательностей нон или септим; затем возвращался, и мы продолжали начатую музыку или прерванный разговор. Екатерина Сергеевна была милая, образованная женщина, прекрасная пианистка, боготворившая талант своего мужа».

Молодой моряк, новый музыкальный товарищ, в большой степени «сдвинул» первую бородинскую симфонию с мертвой точки. Да-да, именно Римский-Корсаков повинен в резком, поразительном изменении темпов музыкальной работы Бородина. До его возвращения Бородин в течение трех лет выступает как автор одного

симфонического аллегро; после его возвращения из плавания, через год с небольшим, симфония кончена целиком и оркестрована. Не последнюю роль тут сыграло первое исполнение симфонии Римского-Корсакова в концерте БМШ 19 декабря 1865 года и ее успех. «Игнорируя» некоторые существовавшие ранее сочинения, в том числе симфонию А. Рубинштейна «Океан», Кюи печатно, а Балакирев еще раньше того в письмах и устно называли сочинение юного композитора первой русской симфонией. Бородин не мог не видеть: музыка, которую он сочинял, никак не уступала корсаковской; да и безудержное, искреннее восхищение молодого друга, конечно, подталкивало его к работе.

Вообще говоря, появление в Петербурге обошедшего полмира, повзрослевшего, стосковавшегося по музыке Римского-Корсакова стало сильнейшим катализатором, буквально удвоившим творческую активность других участников кружка. Одинокий, неприкаянный, знавший в ту пору одну только влюбленность — в музыку, в Балакирева и затем в других участников кружка, он именно в этой привязанности утолял юношескую потребность любить и быть любимым, отдаваться дружбе и призванию со всем пылом, всем цельным, неразделившимся существом. Он сваливался по три раза на неделе, как снег на голову, и ему были рады; он без конца готов был говорить о музыке, играть, слушать; он жадно спрашивал у каждого: что нового написано? — и сам притом работал не переставая; он оставался ночевать то у Балакирева, то у Бородиных, а это значило, что музыкальные беседы и «действия» продолжались далеко за полночь; он всех расшевелил, растормошил и — объединил более, чем когда-либо; с этого момента, с конца 1865 года, «музыкальная компания» уже вполне сознает себя единым целым.

Примерно к тому же времени относится и сближение кружка с Александром Сергеевичем Даргомыжским.

...17 декабря 1865 года на сцене Мариинского театра в Петербурге, в бенефис певца Ф. П. Комиссаржевского, впервые после долгого перерыва, была вновь поставлена «Русалка» Даргомыжского. Опера, сценическая судьба которой с момента премьеры (1856) была трудна и незavidна, прошла теперь с поразительным успехом. На последующих спектаклях успех этот не только не пошел на убыль, но утвердился. Бывало, что автора и артистов

«вызывали» по двадцати раз за вечер! Опера была заново поставлена и в Москве, в Большом театре, и там был успех. Все, что переменялось в России с середины пятидесятых до середины шестидесятых годов, работало, как оказалось, на «Русалку», — в театр пришел новый слушатель, по-новому относившийся и к национальной поэзии и к национальной музыке; слушатель демократический, которому раньше было не до оперы, которому была суждена раньше другая судьба и другие интересы; слушатель, прозябавший прежде и в ином качестве и положении, и, зачастую, в иных краях... В этом смысле история «Русалки», — ее неуспех в 1856 и триумф в 1865-м, — вдруг явила понятливому взгляду всю глубину свершившегося переворота. В деле как будто бы частном — чисто музыкальном, театральном — внезапно показалось и высветилось происшедшее со страной. Все это имело прямое отношение к балакиревцам: слушатель, принявший теперь «Русалку», был именно будущий слушатель Мусоргского, Бородина, Корсакова.

Успех к Даргомыжскому не опоздал — нет, пришел он в самое нужное время, чтобы поддержать, чтобы придать ему сил в новом небывалом начинании. Жить композитору оставалось немного, он чувствовал это. Может быть, и поэтому успех не заставил его искать нового успеха; нет, другие, несчетные стремления возобладали в нем. И вот вместо того, чтобы мирно вкушать радости всеобщего признания, Даргомыжский берется за самое трудное во всей его жизни, колоссальное и по-видимому безнадежное предприятие. Даргомыжский начинает писать «Каменного гостя» — прямо на неизменный пушкинский текст, сплошным речитативом, отказавшись от привычных условий и форм оперного искусства, от всех опор и вех, ставя задачи настолько трудные, что и сам, кажется не знал, верить ли в их исполнение. Вот тут-то ему понадобились люди, которые понимали бы, что замысел его не безумен, — а безумно смел, которые умели бы находить вкус в такой смелости, которые не поддакивали бы из желания угодить, а сами отличались бы от здравомыслящего большинства на тот же лад; которые, наконец, попросту могли бы понять и оценить неслыханное, т. е. то, для оценки чего никаких критериев еще не было и быть не могло. От приятных и добрых любителей-композиторов, окружавших его прежде, от внимательных и послушных учеников

судьба толкала Даргомыжского к строптивым, странным (и не очень-то жаловавшим его порою!) балакиревцам. У него не оставалось лишнего времени, болезнь наседа- ла. Надо было работать — для работы необходима среда, отклик. Они, эти новые люди, были нужны ему позарез. Он — такой — тоже был им нужен.

Авторитет А. С. Даргомыжского был очень высок и никем уже в ту пору не оспаривался: он в глазах общества прямой преемник Глинки, самый крупный из живущих композиторов. Вскоре после описываемых со- бытий его избрали председателем Петербургского от- деления Русского музыкального общества (РМО). Сбли- жение с знаменитым мастером, его дружеское распо- ложение и внимание к творчеству молодых собратьев, без сомнения поднимало их в собственных глазах и давало всему делу как бы новый размах. Как ни кре- пился Бородин, музыка в этих обстоятельствах должна была забирать над ним все большую власть; делать вид перед собой и другими, что она все еще остается воскресным развлечением, становилось все труднее.

Окинем всю картину музыкального 1866 года — года, когда завершалась Первая симфония Бородина — как бы с высоты птичьего полета. В Мариинском театре идет новая опера Серова «Рогнеда». «В публике «Рогнеда» произвела фурор, — писал позднее в своей «Летописи» Римский-Корсаков. — Серов вырос на целую голову. [...] Не могу не сознаться, что «Рогнеда» меня сильно заинтересовала, и многое мне в ней понравилось... Я не смел во всем этом сознаться в балакиревском кружке и даже, в качестве человека, искренне преданного идеям кружка, побранивал эту оперу среди знакомых... Я многое запомнил, прослушав эту оперу раза два или три, и с удовольствием играл ее отрывки на память... Серов в те времена начал нещадно поносить Балаки- рева, как дирижера, композитора и музыканта вообще в своих статьях. С Кюи у него тоже завязалась пере- бранка, и в газетах рознь шла невообразимая. Отноше- ния Серова к Балакиреву, Кюи и Стасову в прежние времена (до появления моего на музыкальном гори- зонте) для меня до сих пор непонятны. Серов был близок к ним, но из-за чего последовало расхождение, мне неизвестно. В балакиревском кружке об этом умал- чивали. Мельком доходили до меня отрывочные воспо- минания о Серове, большею частью иронические. Рас-

сказывался какой-то скандальный случай с Серовым (в бане) нецензурного свойства и т. п. В то время, когда я появился в кружке, между Серовым и этим кружком отношения были самые неприязненные. Подозреваю, что Серов был бы рад сойтись с кружком, но Балакирев к этому был неспособен».

Весной вторично — теперь уже в концерте РМО, под управлением К. Н. Лядова, была исполнена симфония Римского-Корсакова. Молодой композитор в несколько месяцев написал новую вещь: «Увертюру на русские темы»; образцом для нее послужили симфонические увертюры Балакирева, которого он в ту пору буквально боготворил. Увертюра была разучена и прозвучала в концерте БМШ 11 декабря 1866 года.

Уже тогда у Римского-Корсакова начали появляться и первые секреты от Балакирева. Он тайком... разучивал этюды Черни, играл гаммы «в терциях и октавах» и т. д. «Ох, и худые были времена! — восклицал он. — Надо мной и Бородиным кружок часто посмеивался за пьянизм, а потому мы и сами потеряли в себя веру». Насчет Бородина — сказано не совсем точно: последний пианистом себя никогда не считал, и насмешки в этом роде переносил с добродушным спокойствием.

Из «иностранной музыки» в эту пору в кружке особо популярен был «Мефисто-вальс» Листа.

Вышел из печати «Сборник русских народных песен», составленный Балакиревым. «Сборник этот должен сделаться настольной книгой всякого музыканта, — писал в «Санкт-Петербургских ведомостях» Ц. А. Кюи. — Не только русский, но и всякий будет просматривать эти песни с величайшим наслаждением, потому что музыка их дивно хороша, а музыкальный язык есть общее достояние. [...] Наконец, для будущего потомства — это сокровищница, в которой останутся следы народного музыкального творчества в неискаженном виде. Заслуга, которую оказал Балакирев русской музыке этим сборником, — громадна».

Сам Кюи усердно работал над оперой «Вильям Ратклиф».

Мусоргский оставил незаконченной свою оперу «Саламбо», но часто наигрывал куски из нее Корсакову. М. П. Мусоргский впервые получил в его лице по-настоящему внимательного и благодарного слушателя. С Бородиным Модест Петрович тогда еще не сошелся по-

настоящему близко. Может быть, его останавливала разница в их общественном положении: Бородин, как-никак, был профессор, — а ведь на десять лет раньше они встретились и познакомились впервые в госпитале как дежурный врач и дежурный офицер, люди одного круга и уровня. Балакирев и Кюи были весьма строги по отношению к Мусоргскому, к его вечным метаниям, к его музыке. Он им казался «мало подающим надежды». Если к Римскому-Корсакову отношение было поистине отеческое, то Мусоргский, пожалуй, оставался в положении пасынка. Это тем более странно, что никто с большей беззаветностью и пылом не ратовал за идеи новой русской школы, чем Мусоргский, никто горячее его не подхватывал каждую мысль Балакирева или Стасова, никто так не ополчался на общих врагов, как он.

«Я бывал у него... — пишет Римский-Корсаков, — а жил он со своим женатым братом Филаретом близ Кашина моста. Он много мне играл отрывков из своей «Саламбо», которые меня очень восхищали. Кажется, тогда же играл он мне свою фантазию «Иванова ночь» для фортепиано с оркестром... Впоследствии музыка этой фантазии, претерпев многие метаморфозы, послужила материалом для «Ночи на Лысой горе»¹. Играл он также мне свои прелестные хоры: «Поражение Сеннахериба» и «Иисус Навин». Музыка последнего была взята им из оперы «Саламбо». Тема этого хора была подслушана Мусоргским у евреев, живших с ним в одном дворе и справлявших праздник кущей. Играл мне Мусоргский и романсы свои, которые не имели успеха у Балакирева и Кюи. Между ними были: «Калистрат» и красивая фантазия «Ночь» на слова Пушкина. Романс «Калистрат» был предтечею того реального направления, которое позднее принял Мусоргский...»

Тем же летом Мусоргский написал «Гопак» на текст Тараса Шевченко и «Светик Савишну». Последняя вещь — объяснение деревенского дурачка в любви к местной красавице — являла уже талант Мусоргского в полной силе и могуществе. И что ж? Не Балакирев,

¹ Добавим, что фантазия была отвергнута М. А. Балакиревым, отказавшимся наотрез исполнять ее в концерте БМШ; оскорбленный Мусоргский, нужно сказать, именно с той поры никогда не писал ничего для оркестра.

не Кюи — «ненавистник» Серов отозвался на нее с подлинным волнением. «Ужасная сцена! — восклицал он. — Это Шекспир в музыке!»

Вездесущий Николай Андреевич сновал как челнок меж Бородиным и Кюи, меж Мусоргским и Бородиным, меж Балакиревым и Бородиным, Балакиревым и Кюи, Балакиревым и Мусоргским. От Балакирева он в восторге приносил новости о начавшихся тогда «Исламее» и «Тамаре», от Бородина — последние, только что испеченные куски симфонии, от Кюи — номер из «Ратклифа», от Мусоргского... но о Мусоргском мы только что говорили.

Следует добавить, что именно к этому времени относится увлечение Балакирева славянским вопросом и музыкой славянских народов; сам Милий Алексеевич сочинил увертюру на чешские темы; Римскому-Корсакову он подобрал сербские народные темы, послужившие основой для очень быстро написанной и вскоре же исполненной «Сербской фантазии».

Вот в гуще этих разнообразных событий и дописывалась, и оркестровалась Первая симфония Бородина. Александр Порфирьевич чаще, чем когда-либо, встречался с Балакиревым, показывал ему все вновь сочиненное, получал замечания и советы. Надо полагать, что уже тогда установились сочинительские привычки Бородина, которым он оставался верен до конца. Новая музыка слушателям являлась в виде импровизаций на фортепиано и, не занесенная на бумагу, могла существовать в таком виде годами, — впрочем, обрастая с течением времени новыми деталями, меняясь и, так сказать, естественно созревая до полной готовности. Любил Бородин и сочинять за роялем, ища новый ход, перебирая множество вариантов и терпеливо нащупывая последний, единственный, — думая вслух... Нотное письмо — дело кропотливое, трудоемкое и требующее, главным образом, много времени. А у Бородина было и без того немало «бумажных» дел. Чтобы иметь об этом представление, процитируем одно из ранних (1864 года) писем Бородина. «...только что сейчас переписал последний экземпляр моей работы, — писал он жене. — Ты не поверишь, как мне она опротивела: глядеть не хочется. Представь себе только, что она содержит до 25 000 букв, и я написал ее сначала вчерне, потом переписал три экземпляра и каждый проверил; это ужас

что такое. Хотел послать ее в Парижскую Академию, но как вспомню, что должен перевести ее на французский язык и переписать два раза: один экземпляр для Академии; другой для Société chimique — просто руки не поднимаются. Плюнул!» Это — об одной из химических работ. А переводы книг для издательства Вольфа? А записи для лекций? А рапорты и прочие служебные бумаги, без коих не обходился ни один день академической жизни? А письма?

Да, записывать сочиненное Бородин не спешил. Оттого-то увертюра к «Князю Игорю», которую он в течение нескольких лет играл десяткам людей, осталась незаписанной, оттого-то и Третью симфонию пришлось не столько даже восстанавливать по памяти, сколько сочинять заново по бородинским эскизам А. К. Глазунову, — автор умер, не собравшись занести на бумагу музыку, уже слышанную к тому времени многими.

Но вернемся в 1866 год. К нему могли бы относиться несколько писем Бородина Балакиреву, к сожалению, не датированных. С. А. Дианин, составитель собрания писем Бородина, относит их к 1864—1866 гг.; значит, наше предположение небезосновательно. Документальных свидетельств, касающихся работы Бородина над Первой симфонией, так мало, что каждая строчка приобретает особый вес. «Сегодня я буду брать ванну и разыгрывать первый акт из Вашей оперы... второго акта не будет, ибо подсматривать некому: жена может на меня смотреть во всяком виде, и потому подсматривать ей незачем; больше же никого нет. Разве Вы заедете. Право, садитесь-ка на извозчика и Вас довезут прелестно; риску никакого нет, погода хорошая, простудиться нельзя; дорога великолепна. Напьетесь у нас чайку и поблагодарим; приезжайте, — ей-ей, хорошо сделаете. Ваш А. Балакир... Черт знает, что такое! вместо моей фамилии написал Вашу. Видно, мозги не в порядке».

Это письмо, как и другие письма Бородина к Балакиреву, интересно своим тоном: свободным, дружеским и чуть-чуть подтрунивающим. Никто больше Балакиреву так не писал; правда, в шутовском роде обращался к нему и Корсаков, когда был в плавании, однако ж там, в той переписке чувствуется расстояние и разница в возрасте, придающие шуткам одного характер отеческий, шуткам другого — известный оттенок почтительности,

Римский-Корсаков вспоминал с обидой, что Кюи и Балакирев, каждый по-своему, чувствовали себя зрелыми и *большими*. «Бородин же, Мусоргский и я — мы были незрелыми и *маленькими*. Очевидно, что и отношение наше к Балакиреву и Кюи было несколько подчиненное; мнение их выслушивалось безусловно, наматывалось на ус и принималось к исполнению...» Все это, может быть, и верно в том, что касается самого Николая Андреевича и Мусоргского; с Бородиным же было иначе. С самого начала не только ничего подчиненного и ученического не было в его отношении к Балакиреву и Кюи, но и, напротив, обнаруживалось то и дело превосходство Бородин в тех или иных жизненных обстоятельствах; напомним, что он был и старше остальных. В музыкальных познаниях он, правда, уступал Балакиреву, но отнюдь не был новичком и профаном. В остальном же разносторонняя образованность, остроумие, опыт человека, повидавшего свет, выдвигали Бородина вперед даже в этом высококультурном обществе. Н. Д. Кашкин, впервые увидевший в Москве вместе Балакирева и Бородина (было это несколько позже, на пороге семидесятых годов), заметил: «Бородин, видимо, снисходил к опекунству Балакирева, но в общей беседе непринужденно брал верх над ним, ибо говорил гораздо лучше и, кроме того, его умственный кругозор был гораздо шире. Бородин отнюдь не старался занимать преобладающее значение в беседе, но это делалось само собой; он отлично говорил чрезвычайно простым языком, почти без иностранных слов и книжных оборотов, но очень складно и убедительно. Многосторонняя образованность и обширное знакомство с литературой вообще также отражались в его речах, соединяясь с тонким и всегда добродушным юмором. Такое остроумие Бородина особенно выделялось рядом с тяжеловесными потугами Балакирева, неприятно засорявшими его, в общем, умную речь...»

В письмах к Балакиреву все эти черты Бородина хорошо видны, но видна еще и полнейшая его независимость и... ну да, и, пожалуй, звучит в них, как ни странно, снисходительно-юмористическая нота; то есть и не то чтобы снисходительная, а нота человека, в разговоре легко «переигрывающего» собеседника; притом, воспитание, разумеется, не дает ему высказать ясней это легкое превосходство.

Не пустым ли делом занимаемся мы, пускаясь в эти психологические изыски? Верится, что нет. Степень духовной независимости Бородина, степень его равноправия в отношениях с Балакиревым и Кюи решала многое. У Бородина была иная черта: он подчинялся корпоративному духу, соединенной воле коллектива единомышленников; в нем сильна была дисциплина бойца, знающего свое место среди других и прячущего в карман все, что кажется помехой общему делу. Эти черты воспитались и развились, в частности, в ученых баталиях, где молодые русские ученые держались локоть к локтю.

«Письмо Ваше получено мною сегодня часа в два, но к моему прискорбию я быть у Вас не могу: мне самому крепко нездоровится; к тому же я страшно устал, ибо, несмотря на нездоровье, с восьми часов утра работал в лаборатории. В силу этого решительно не в состоянии таскать ноги и через час ложусь спать. Завтра я к Вам заверну непременно. В болезни моей виноват косвенным образом Кюи: я вчера вечером съел у него «гуся с капустой» (*c'est si peu français*)¹; этот подлец гусь мне и расстроил брюхо. Музыка спит; жертвенник Аполлону погас; зола на нем остыла; музы плачут, около них урны наполнились слезами, слезы текут через край, сливаются в ручей, ручей журчит и с грустью повествует об охлаждении моем к искусству на сегодня. Прощайте, милейший друг, выздоравливайте...»

Для музыкальных занятий использовались «законные» часы недомоганий, всякого рода хворей; таким образом, совесть профессора-химика оставалась чиста, он ничего не отнимал в этом случае ради музыки от науки... «Мы с Вами симпатизируем как видно друг другу: я тоже болен; Вы помните, что у меня разболелась щека еще у Вас, в понедельник. С тех пор я мучусь страшно и сегодня первую ночь спал, а то несколько суток сряду одолевала меня сильная боль, мешавшая спать и даже лежать. Я еще не выхожу, ибо не совсем еще прошла боль. У меня музыкальных новостей только одна: от скуки стал писать финал, и притом прямо на оркестр; 10 страниц уж написал. Прощайте, голубчик. Выздоровливайте скорее и приходите к нам. Мы по Вас очень соскучились. Жена моя Вам кланяется».

¹ Это совсем не по-французски (франц.)

...Но еще далеко не все сказано о самом годе, о 1866-ом. 4 апреля студент Московского университета Дмитрий Каракозов у ворот Летнего сада в Петербурге стрелял в императора Александра II. 3 сентября того же года он был казнен, повешен на Смоленском поле. Никто еще не знал тогда, началом каких событий, какой длинной цепи событий станет этот выстрел. Было общее: «Ах!» — как из одной потрясенной груди; в России никогда еще в царей не стреляли; государь мог себе позволить без охраны и чуть ли не инкогнито прогуливаться по столице; теперь — и уж навсегда — с благосудствами этими было покончено.

В учебных заведениях начались строгости; шум, шевеление, распекание нижестоящих, смещение с постов, разного рода проявления начальственной бдительности и деятельности, выражавшие больше растерянность и недоумение, чем что-либо иное, — все это волной прошло по тысячеверстным пространствам России. «У меня сегодня экзамен был; времена видимо пришли крутые, — писал Бородин жене в Москву через полтора месяца после каракозовского выстрела. — Мне президент (академии — П. А. Дубовицкий, — Р. Д.) сделал легонькое замечание: что, дескать, лучше бы Вы пришли в форме, теперь, мол, времена такие строгие. А на беду мне портной вчера не принес формы. [...] О студентах нечего и говорить: всем досталось, кто не так стоял, кто не так сидел, непочтительно держал руки (!!) и пр.».

Незадолго до этого Бородин получил чин статского советника, весьма высокий; в тридцать три года, нужно сказать, достигали его немногие. «А какой я смешной в *генеральской*-то форме, «старичок» совсем. Ужасно старообразит этот костюм частью сам по себе, частью потому, что мы не привыкли видеть его на молодых. Зато как я возложил на себя амуницию, от меня распускалось такое сияние во все стороны, что можно с меня было писать картину преображенья, вроде Рафаэлевской; сияет воротник, сияют обшлага, сияют 16 пуговиц, как звезды; сияют эполеты (убийственно!), как два солнца; сияет темляк, сияет околыш кэпи; одним словом «ваше сиятельство» — да и только».

Странно: чины, отличия были связаны в сознании Бородина почему-то со старостью и смертью. Когда в сорок два года он стал действительным статским советником, т. е. «полным» генералом, то, в подобном же случае, так

же точно примеривая новую форму, он вдруг расплакался: «Это старость, старость...» Впрочем, он был прав, конечно; золото эполет, золото наград и отличий — золото осеннее, предзимнее... И еще: приобретение этого блеска означало в той же степени потерю частной свободы; при всей бесправности нищего, бродяги — возможность личного, никем не санкционированного решения для него вероятнее, чем скажем, для министра.

Лето было трудное. Сперва Бородин оставался в Петербурге, а Екатерина Сергеевна в Москве, потом Бородин оказался в Москве, а Екатерина Сергеевна с братом ее, Алексеем, — в Петербурге, ему должны были делать операцию на глазах; дело затянулось и шло как-то не очень счастливо, Екатерина Сергеевна и сама болела, ей тоже оперировали глаз; Бородин успокаивал мать болящих и жену Алексея; отдыха настоящего, в котором очень нуждался после напряженной зимы Бородин и которого всегда ожидал с тоской и нетерпением, не вышло.

К началу лета относится один из первых известных нам стихотворных опытов Бородина. Стихотворение написано в Петербурге; автор воображает себе находящихся в Москве «трех Катерин»: жену, ее мать Екатерину Алексеевну и жену Алексея Протопопова, Екатерину Алексеевну-младшую. Алексей Сергеевич в это время (начале июня) уже находился в Петербурге, в квартире Бородиных, в ожидании операции. Стихи шуточные и ни в коей мере не претендуют на то, чтобы считаться поэтическим творением «для публики»: они рассчитаны на трех читательниц... Итак,

парафраз: (Dir Katarina sing' ich etc.)¹

С моею музою вдвоем
Трех Катерин я воспеваю
И песнь мою зараз всем трем —
Трем Катеринам посвящаю.
Одна: об муже все скорбит,
Все бегаёт и суетится,
Кисенка² накормить спешит;
Кричит Кисенок, — ей не спится.
Другая: тоже плохо спит,
Ее забота сокрушает;
Об сыне думает, молчит
И только изредка вздыхает.

¹ Тебе, Катерина, пою и т. д. (нем.)

² Прозвище маленькой племянницы Екатерины Сергеевны.

А третья: целый день сидит,
Пьет чай, табачный дым пускает,
А ночью чашками гремит —
И все о брате вспоминает,
И вплоть до раннего утра
В постели курит; — ей не спится.
Когда уж всем вставать пора,
Тогда она лишь спать ложится.
Уж все проснулись и встают,
Оделись и помолились,
И самовар уж подают,
И чаю все уже напились,
А третья Катерина спит,
Ей и под шум и говор спится,
О милом брате ей все снится...
Раскрыла рот, сопит, храпит,
И, в подражание свирели,
Свистит тихонько через нос...
Кругом — окурки папирос...

Неоконченное сочинение выглядит довольно безжалостным по отношению к «третьей Катерине». Следует признать, что Екатерина Сергеевна пришла уже в то время к привычкам, принесшим Бородину и ей самой немало горя. Или — если «горе» сильно сказано — уж во всяком случае: затруднений и забот. Бог с ним, с курением, — но вот что Екатерина Сергеевна засыпала под утро и вставала тогда, когда у Бородина был в разгаре переполненный обязанностями всякого рода, буквально трещащий под напором дел и событий день, — это разбивало вдребезги всякий порядок в доме, а Бородин в таком порядке нуждался с годами все настоятельней; его сердце не выдерживало, видно, безалаберщины и кутерьмы, вечной спешки, неспевания в срок куда-то, к кому-то, зачем-то...

Первая симфония Бородина сочинялась так, как будут сочиняться все его вещи: урывками, при первой возможности; композитор писал, стоя за конторкой, садясь снова и снова за рояль. «Как теперь вижу его за фортепиано, когда он что-нибудь сочинял. И всегда-то рассеянный, он в такие минуты совсем улетал от земли. По десяти часов подряд, бывало, сидит он, и все уж тогда забывал; мог совсем не обедать, не спать... А когда он отрывался от такой работы, то долго еще не мог прийти в нормальное состояние. Его тогда ни о чем нельзя было спрашивать: непременно бы ответил невпопад, — рассказывала Екатерина Сергеевна. — Как он не любил, чтобы на него тогда смотрели, и если даже

мой взгляд на себе чувствовал, то говорил с потешной интонацией слегка капризного ребенка: «Не смотри; что за охота глядеть на поглупевшее лицо!» А совсем оно тогда было не «поглупевшее». Я так любила, напротив, этот растерянный, куда-то улетевший, вдохновенный взгляд».

И вот еще одно письмо к Милию Алексеевичу Балакиреву, состоящее, если не считать подписи и постскрипума, из одного слова:

«Кончил.

А. Бородин.

Р. S. Если хотите быть крестным отцом, сиречь восприемником новорожденного детища, то напишите, когда. Я все дни свободен. Лучше, если приедете к обеду. Мы обедаем около пяти часов. Жена шлет поклон».

В этот день Бородин уже был великим композитором. И, может быть, начинал догадываться об этом?

II

Дело, скорей всего, происходило в рождественские каникулы 1866 года. Как рассказать о бородинской музыке? Прибегнуть к бедной беллетристике; попытаться представить себе тот неизбежный момент, когда Бородин проснулся с ощущением счастья; когда тысячу раз проигранное на рояле он с чувством, с толком, с расстановкой «проиграл» себе мысленно; он, разумеется, мог заставить звучать в кабинете оркестр в полном составе; мог да и должен был.

Вот он стоит у своей высокой конторки. Тихо, утро раннее-раннее, за окном темно, свет от лампы желтый и сильный; потом, вытесняемый светом дня, он будет все бледней, но это случится не скоро. Екатерина Сергеевна уснула поздно; ее бы сейчас не разбудил и настоящий оркестр — а этот, слышимый только ему, подавно не разбудит. Он стоит у конторки, точно дирижер перед пультом; пожалуй, он должен был, не стесненный ничьим присутствием, дирижировать: сначала смущенно и с оглядкой, точно бы стыдное, запретное что-то было в этом, — потом все смелей и размашистей, пока музыка не вытеснит, не заставит забыть все, и себя тоже...

Партитура закончена, здание выстроено, и все ключи у него. Сейчас, утром, без свидетелей, он может пройти по всем анфиладам и залам, по всем лестницам подняться и спуститься, заглянуть во все закоулки и углы... Нет, не так: какое там здание? Музыка только проигрывает от сравнений. Хватит приготовлений, предвкушений. Послушаем, поглядим, на что способен господин профессор химии. Торжественный момент! Первое исполнение. Невидимые музыканты — ах, как они внимательны и серьезны, как пожирают они глазами поднятые руки дирижера, как ловят их первое движение. С богом!

Унисон. Хороший унисон: голоса, слитые в голос. Пианиссимо. Тремоло альтов: так; заронить беспокойство, холодком проходящее по спине ожидание событий. Басы. Виолончели, контрабасы, фаготы. Медленное, тягучее движение. Первовещество, из которого явится все. Сумрак. Словно само время еще не до конца пробудилось, только-только потягивается, пробует силы. Начало всего, исток жизни целого народа. Что скрывать: он на многое замахнулся. Трудное и великое время, пробуждение подспудных, подземных, огнедышащих сил, — и перекинулись мосты к прошлому и будущему, вправо и влево, через головы уткнувшихся в каждодневность, чересчур благополучных и ни о чем не ведающих, через немоту целых поколений, — к болевым точкам истории, к ее обнаженному огню. Недаром сочинениями историков: Сергея Михайловича Соловьева, Николая Ивановича Костомарова — зачитываются, как в прежнее царствование разве романами Вальтера Скотта зачитывались. Нация, словно очнувшись, осознала себя, осознала протяженность и таинственную осмысленность своего исторического бытия, обернулась долгим, изумленным взглядом к своим началам. Музыка, звучавшая теперь в ушах Бородина, говорила об этом; говорила, может быть, единственно возможным и единственно внятным языком, вырывала из небытия нечто невыразимое словами и прямым знанием — что вместе с звенящим током крови передали ему давно сгинувшие поколения; отнятое народом у смерти, власть которой велика — но вот ведь не всесильна.

Медленное, тягучее движение басов — и в ответ им: ладные, чистые, ясные аккорды. Это деревянные духовые отвечают басам. Что это — обещание из будущего?

А как по-русски вышел этот самый «ответ» на унисонную фразу басов! Откуда это в тебе, Бородин? Не знает, откуда. Оттуда... Издалека.

Все-таки сравнение симфонии с самым раскрепощенным строением натянуто и неверно. Архитектура сама по себе недвижима, как и живопись, и скульптура. Она стоит — ты, зритель, ходишь, осматриваешь. Смысл музыки — движение. Вот где ее кровное родство с временем. И снова: с историей.

После зачина — дробление мелодии на составные, на короткие попевки, музыкальные молекулы, живые и подвижные; их столкновение, противоборство, сцепление. Собираение сил из разрозненного в целое, и вот — мощные акценты. Глинка такие называл «ударами кулака». Когда это было найдено впервые, Бородин все переживал их мысленно и каждый раз вздрагивал всем телом, когда «удары» оркестра звучали в нем; жена посмотрела на него тогда удивленно и озабоченно, однако ничего не сказала: поняла, может быть.

И, вот оно, пока что — в первый раз: нежность, истома. А следом — ну да, конечно, идиллия, солнце и мир, как, может быть, еще до Батыя, до татар бывало. Поют пастушеские рожки, жалейки, свирели. Удивительно русское слово: сви-рель...

И снова главная тема с этими ее характерными синкопами — теперь она набралась энергии, теперь в ней пружина сидит. И как занятно было в разработке поворачивать ее то тем, то другим боком, прятать в тени, подставлять солнцу, открывать в ней все новые обличья, свойства, оттенки, высветить до самого доньшка — и знать, что по-прежнему что-то осталось неузнанное, неизвестное там, внутри.

Бородин не без удовлетворения должен был отметить, что у него «все по науке»: сонатное Allegro, если даже и не привычное по материалу... Вступление, экспозиция, разработка, реприза — все налицо, и тонкости контрапунктические присутствуют. Наука европейская, но музыка-то новая, такой не бывало еще, в этом все балакиревцы сходятся, а по чести говоря, они знают музыки немало. Так и с Глинкой было. Наивны те, кто его представляет выросшим на пустом месте. Или недобросовестны. Глинка немцев, итальянцев (и старых, и современных ему), французов знал прекрасно. И уж, конечно, предшествовавших ему русских музыкантов.

Все вобрал, принял или отринул, переварил — и гением своим и чутьем построил самобытное, свое.

...Изначальное, могучее, пройдя через все водовороты, странствия, столкновенья, звучит в коде уверенно, просветленно и нежно. И только в глубине, у литавр — глухие отзвуки борьбы, настойчивая ритмическая фигура, пробравшаяся сюда из самой гущи недавнего напряжения.

Скерцо. Бородин «проигрывает» его одним духом, без осечки — как-то оно выйдет у живых музыкантов? И когда это будет? Стремительное, сказочное — пожалуй даже, не совсем по-русски: какие-то гномы, тролли, веселая и смешная нечисть копошится, мельтешит, мчит неведомо куда. Мусоргскому это напоминает птичий двор. И — цепь нисходящих, неожиданных, острых звучаний. Модест Петрович окрестил их «клеваньями» — да, это удалось! В середине, в трио — чисто русская попевка; счет все время меняется, то три четверти, то четыре, то две, и от этого простая мелодия приобретает глубину, текучесть... а потом снова налетает вихрь куда-то мчащихся сказочных фигурок.

Теперь третья часть, *Andante*. Самая бородинская. Это именно его путь: на сегодня, на завтра, может быть — навсегда. Русская бесконечная мелодия — никакого дыхания не хватит, так тянется она, не прерываясь, точно по степи идешь и края не видно. И «восточный элемент»: знойный, страстный, прихотливый. И не война между ними, а слияние и взаимопроникновение. Восток и Русь — разное, но не противоположное. Пусть они соединяются в музыке, как соединились в его крови. Пусть подают друг другу руку, и расходятся, и сливаются вновь.

Финал. Энергия. Напор. Молодая и радостная сила. Пускай и через сто лет услышат, скажут: вот они были какие! Вот чего ждали. Вот что могли. И припомнились ему слова Николая Николаевича Зинина: «Россия — единственная страна, в которой можно сделать все».

III

Нотный издатель Федор Тимофеевич Стелловский вел себя не лучшим образом, мягко говоря. Откупив у сестры М. И. Глинки, Людмилы Ивановны Шестаковой, после смерти композитора права на печатание опер

«Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», он за многие годы ничего не предпринял для их издания. По просьбе Шестаковой Дмитрий Васильевич Стасов вел переговоры со Стелловским, просил его хоть часть прав уступить, передать тем, кто дело сделает. Нельзя ли, к примеру, если не в России, то хотя бы за границей издать партитуры обеих опер? — убеждал он. Одно время казалось, что издатель поддастся на уговоры, не станет собою изображать собаку на сене.

Милий Алексеевич Балакирев по просьбе Людмилы Ивановны направился в Прагу, чтобы разузнать о возможности издания там глинкинских партитур и заодно выяснить, как чехи относятся к тому, чтобы поставить у них в театре оперы Глинки. В это время Стелловский категорически потребовал ничего не предпринимать «к его ущербу»... и — «к нарушению, — писал он Балакиреву, — заключенного ею¹ условия на продажу мне всех сочинений покойного ее брата Михаила Ивановича Глинки, право собственности на которое я приобрел от нее, конечно, не для того, чтобы позволять кому-то издавать их»².

Таким образом, в Праге Балакирев мог теперь договариваться лишь об исполнении опер Глинки. Чехи встретили это предложение с энтузиазмом, но и тут все карты спутаны были неожиданными и драматичными событиями: началась австро-прусская война. Балакирев писал Цезарю Антоновичу Кюи уже из Вены: «Я в самом отчаянном положении в настоящую минуту по милости Бисмарка. В Праге удалось мне быть всего 2 дня, на 3-й день мне нужно было уже уехать, потому что пруссаки подошли к Праге на расстояние ближе, чем Любань от Петербурга»³.

Балакирев вернулся в Петербург как будто бы не солоно хлебавши, — но нет, начало делу было положено, и Людмила Ивановна энергично продолжала начатое. Она сама поехала в Прагу, запасшись предварительно убедительным рекомендательным письмом к

¹ Т. е. Л. И. Шестаковой.

² Позже Стелловский даже судился с Шестаковой; защищал интересы сестры Глинки Д. В. Стасов — и выиграл дело.

³ Война длилась с 16 июня по 23 августа, когда в Праге был заключен мирный договор, весьма выгодный для победившего Бисмарка. Потери Австро-Венгрии убитыми, ранеными и пленными составили 44 тысячи человек; пруссаки потеряли почти в пять раз меньше.

пражскому наместнику, Л. Ригеру, и твердо договорилась о постановке опер Глинки в Национальном театре, а также о приезде М. А. Балакирева как постановщика и капельмейстера. 23 декабря 1866 года Милий Алексеевич снова выехал в Прагу. «Жизнь за царя» уже поставлена была чехами самостоятельно до его приезда. Балакирев этот спектакль разобрал, однако же продирижировал им. Постановка «Руслана и Людмилы» была осложнена обстоятельствами поистине драматическими. В горячей симпатии чехов к русской музыке кое-кто усматривал угрозу немецкому господству в Богемии и нелояльность по отношению к Вене: лоскутная Габсбургская империя боялась проявлений «славянского духа» как огня. Балакирев встретил в Праге и друзей, и — скрытых, а частью и откровенных — противников; последние немало испортили ему крови. Достаточно сказать, что в день премьеры куда-то «исчезла» партитура оперы; неизвестно, чем бы кончилось дело, если б не феноменальная память Балакирева: он взял и продирижировал всей оперой наизусть...

В это время написал Балакиреву, отвечая на одно из его писем, и Бородин. Милий Алексеевич выказал некоторое разочарование пражской публикой (позже, после премьеры, настроения его изменились; впоследствии он всегда вспоминал Прагу с сердечностью и теплотой.) «Таковы все австрийские славяне, — утешал Балакирева Александр Порфирьевич. — Чехи из них еще самые лучшие. Если они не понимают путной музыки, то это еще не беда; итальянское сладкогласие и жалкие, рутинные оперы и у нас грешных привлекают сердца и уши. Как ни обольщайтесь, а и у нас путного-то не жалуют. Что касается до меня, я разочаровываюсь в нашей братии, видя, как быстро мои приятели полонизируются и германизируются. У чехов германизация подействовала более на внешнюю сторону быта; в них остался чешский дух, чешские стремления. А у нас? — каждый норовит корчить француза или англичанина, раболепствовать перед судом Европы; ни малейшего проявления национальной самостоятельности, полная безличность. Может быть, впрочем, я и пересаливаю немного: я сегодня сердит. Вообще, я в последнее время часто бываю сердит...»

Духовная независимость, самостоятельность позиции, занятой Бородиным, налицо. И еще в одном отношении

интересно приведенное его письмо. «О, если бы Бородин озлиться мог!» — однажды (в 1876 году) патетически воскликнет Мусоргский. Многие под деликатностью и добродушием Бородина не умели разглядеть ту неуступчивую, скально-твердую породу, которая столь многое определяла в его личности. Как видим, и на десять лет раньше Бородин вовсе не отличался мягкотелостью, какую ему не раз и не два приписывали; сердиться он умел — но позволял себе делать это крайне редко. Знаменательно, что это соединение незлобивости и доброты, обаяния и остроумия — с неподатливостью к любому давлению извне, с трезвым взглядом на жизнь увидел и осознал самый молодой из друзей Бородина, человек следующего поколения — А. К. Глазунов. Здесь будет кстати привести отрывок из его воспоминаний; зоркость, точность наблюдений выдает в их авторе подлинного художника. «Бородин был необыкновенно доступен и располагал к себе всех, кому с ним приходилось встречаться. Это происходило естественно и невольно, ибо веселый нрав, остроумие и добродушие Бородина в соединении с общительностью и приветливостью являлись неотразимо привлекательными чертами его характера и сказывались во всем его облике и в манере держать себя с людьми при самых различных обстоятельствах, даже в мелочах жизни — в случайных встречах и в случайных разговорах... Летом 1884 года Бородин бывал у Глазунова¹ в Парголове, так как со времени первой их встречи и дня знакомства (в 1882 году 2 января у В. В. Стасова) Бородин и Глазунов испытывали в отношении друг друга чувства симпатии и привязанности, перешедшие в дружбу. В беседах и в прогулках Глазунову поэтому не раз приходилось наблюдать за проявлениями светлых качеств дорогого ему человека. Так и тут. Гуляя по Шуваловскому парку, друзья зашли в лавочку. Бородин через несколько мгновений сумел стать обаятельным и словно бы давно знакомым, «своим покупателем» для совершенно посторонней продавщицы: его забавные шутки, его манера перебирать выставленный товар (Бородин тут же примерил детскую шапочку) изобличали его умение сразу же войти в круг интересов лица, с которым он только что вступил в

¹ Глазунов говорит здесь о себе в третьем лице.

разговор, наконец, его удивительно чуткое отношение к людям и внимание к ним, независимо от повода и места встречи и беседы...» И дальше — особенно важное замечание: «Между тем нельзя сказать, чтобы в отношении к людям у Бородина проглядывала бы безотносительная неразборчивость от сентиментальной мягкости и безвольной уступчивости. Наоборот, он был в этом смысле трезвым и суровым скептиком и вследствие этого человеком особенно чутким и благодарным, когда встречался с проявлениями людского доброжелательства...»

...4 февраля в Праге с триумфом прошла премьера «Руслана и Людмилы». Не только чешские, но и немецкие газеты в отчетах о спектакле воздавали должное как гению Глинки, так и искусству русского капельмейстера. Балакирев послал соответствующую телеграмму в Петербург — Кюи в ответ писал, что, читая ее, он и его товарищи «чуть не выли от восторга». Вообще все то время, которое пробыл Балакирев за границей — без малого два месяца — между Прагой и Санкт-Петербургом шла оживленная переписка. Регулярней всего новости поступали к Шестаковой. Людмила Ивановна знала Балакирева и помнила еще с тех пор, когда жив был М. И. Глинка и юный музыкант из Нижнего Новгорода впервые представлялся ему. Позднее Балакирев давал уроки музыки единственной дочери Людмилы Ивановны. В 1863 году Оля — десятилетняя дочь Людмилы Ивановны и Д. В. Стасова — умерла. Горе отгородило Л. И. Шестакову от людей; она наглухо заперлась в своем доме на долгие три года. Только в 1866 году В. В. Стасову удалось однажды «вытащить» затворницу к себе на вечер; там она встретила старых знакомых — Балакирева, Даргомыжского — и познакомилась впервые с Кюи, Римским-Корсаковым. Во время пражской поездки Балакирева дом Шестаковой стал естественным центром кружка; она писала тогда Милию Алексеевичу: «Отъезд Ваш сблизил меня с Кюи и с другими, которые Вас истинно любят...» С этих пор квартира Шестаковой постепенно превращается как бы в штаб-квартиру кружка. Людмила Ивановна становится другом молодых русских музыкантов (совсем по-матерински относилась она к Мусоргскому, который и платил ей в ответ самой горячей и верной привязанностью); она прини-

мают заботы и дела «новой русской школы» так же близко к сердцу, как когда-то — заботы и дела М. И. Глинки, своего гениального брата.

Надобно сказать, что успех «Руслана» за границей круто изменил положение Балакирева и его соратников в музыкальном мире. То был первый выход русской оперы на европейские подмостки, первый подобный триумф за рубежами России. Вся прошедшая деятельность Балакирева как бы осветилась по-новому, а «претензия» компании молодых, малоизвестных композиторов быть наследниками и продолжателями глинкинского дела вдруг получила солидное обоснование. Отмахнуться от «Кюи-Балакиревского» (как называл его иногда Даргомыжский) кружка, попросту не замечать его становилось совершенно невозможно.

Вообще пражская постановка означала зенит балакиревской судьбы, да и вся «новая русская школа» входила в пору высочайших свершений.

В марте — уже в Петербурге — состоялся «Славянский концерт» под управлением М. А. Балакирева, носивший международный характер: на нем присутствовали гости со славянского Запада. «Гербы всех славянских национальностей и флаги с их народными цветами были расположены по всему протяжению хор, — писал В. В. Стасов, — эстрада для оркестра была сплошь увешана фестонами трехцветной драпировки, группы из трехцветных же знамен стояли по двум концам эстрады; наверху портрета государя императора, помещенного в глубине зала, были также расположены знамена, но уже с русскими национальными цветами». В концерте исполнялись «Камаринская» Глинки, «Малороссийский казачок» Даргомыжского, «Увертюра на чешские темы» Балакирева, «Сербская фантазия» Римского-Корсакова, произведения С. Монюшко и Ф. Листа. Стасов с чувством рассказывал об успехе концерта, о поднесении чехами дирижерской палочки (из слоновой кости, «такой чудесной работы, что эта вещь, наверное, заняла бы видное место на Парижской всемирной выставке») «первому, лучшему нашему капельмейстеру Балакиреву», о вручении ему лаврового венка («Если мы не ошибаемся, маленькие ручки петербургских дам перевязали этот венок золотыми лентами»).

В заключение же Стасов писал: «Кончим наши за-

метки желанием: дай бог, чтобы наши славянские гости никогда не забыли сегодняшнего концерта, дай бог, чтоб они навсегда сохранили воспоминание о том, сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов».

Последнее выражение — насчет «могучей кучки» — показалось многим музыкальным критикам нелепым и смешным (Римский-Корсаков еще и десятилетиями позднее находил его «бестактным») — последовал целый град насмешек, передразниваний и каламбуров не самого лучшего свойства. Слово, повторяемое и обыгрываемое без устали противниками «новой русской школы», запомнилось; запомнившись — привилось. Кличка становилась мало-помалу именем нового явления, — и поскольку само явление вырастало в глазах современников и наполнялось новым содержанием, постольку и имя его обретало иной, никем не предвиденный смысл.

IV

Во второй половине октября 1867 года в Москве появились афиши:

В Большом театре
в понедельник, 6 ноября,
русскими придворными артистами представлено будет
в пользу режиссера оперной труппы Г. Савицкого
в первый раз:

БОГАТЫРИ

опера-фарс в пяти действиях. Текст сочинения автора русской переделки оперетты «Орфей в аду». Музыка частью оригинальная, частью пародирована из разных опер г.**; аранжирована для оркестра г.г. Мертеном и Бюхнером.

Действующие:

Густомысл, удельный князь земли Куруханской —
г. Живокини

Милитриса Кирбитьевна, его жена — г-жа Акимова

Княжна Забава — г-жа Кропберг

Князьинька Задира — воспитанница Щепина

Кострюк Сидорыч, главный жрец Перуна — г. Божановский

Богатыри князя Густомысла:

Аника-воин — г. Константинов, Алеша-Попович — г. Никифоров, Кит Китыч, купецкий сын — г. Живокини 2-й, Авось и Небось, братья-близнецы — г.г. Сампелов, Воронский

Соловей Будимирович, чужестранный богатырь — г. Владиславлев.

.

Действие происходит до поры до времени, в земле Куруханской, при Калдык-реке.

Композитором, представившим для оперы музыку «частью оригинальную, частью пародированную из разных опер», автором, скрывшим свое имя под двумя звездочками, был профессор Императорской медико-хирургической академии Александр Порфирьевич Бородин.

...Вспыхнувший повсеместно интерес к отечественной истории власти старались направить в надлежащее русло; «преданья старины глубокой» должны были освятить незыблемость самодержавья и многих других вещей, порядков, установлений, зыбкость которых как раз проявилась в девятнадцатом столетии неоднократно. Этому казенному повороту и взгляду противилась и сама история, и люди, думающие над ней, — историки, философы, художники, поэты. Здоровое, неистраченное национальное самосознание не шло на приманку исторической спеси, отказывалось переваривать лже-историю, наспех приспособленную к целям Третьего отделения. Здравый смысл нации торжествовал над подделками, убивая ложь — смехом. В конце шестидесятых годов появилась гениальная «История города Глупова» Салтыкова-Щедрина; тогда же распространилась в списках куда более добродушная, но опять же не вовсе безобидная «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева»¹ графа Алексея Константиновича Толстого...

Молодой драматург Виктор Александрович Крылов, давний приятель, однокашник и соавтор Кюи, предложил Бородину сочинить музыку к его комедии «Бога-

¹ Гостомysl — полулегендарный новгородский князь; лишившись сыновей, он будто бы предложил призвать варяжского князя Рюрика. Тимашев — министр внутренних дел в 1868—77 гг., а перед тем глава печально знаменитого Третьего отделения.

тыри» весной 1867 года. Бородин он знал и через общих знакомых, и через сестру, Марию Александровну Полотебневу, принадлежавшую к ближайшим друзьям семейства Бородиных (ее звали в доме Бородиных Машенькой). Комедия Крылова никак не была резкой сатирой, но она позволяла передразнить и высмеять псевдоисторические музыкальные полотна, к которым — с бóльшим или меньшим основанием — Бородин и его товарищи причисляли «Аскольдову могилу» Верстовского, «Рогнеду» Серова.

Русская история обещала стать стержнем художнической работы Бородин, древняя стихия богатырства уже ворвалась в его музыку... и тем веселей и злее передразнивал он лжеисторические опусы, потешался над горе-богатырями, Аниками-воинами, бахвалами и пустомелями, каковых во все времена хватало. Он подходил тут все равно к заветной, к навсегда своей теме — пускай и с другого конца, «от противного»; тут он, человек и художник еще молодой, давал волю и озорству, юмористическому дару, без которого Бородин и Бородиным бы не был.

Драматург торопит композитора. Бородин его урезонивает: «...посвящая даже все свое время исключительно писанию оперетки, невозможно кончить ее в 3 месяца. А между тем, Вам неизвестно, что у меня музыка побочное занятие, отдых от более серьезных трудов...» Бородин предлагал Крылову, если тот «не гонится за свежее и оригинальной музыкой», подобрать что-либо из уже готового, старого театрального репертуара: «оно будет менее художественно, но зато хлебнее, — раньше получите барыши и не придется отдавать половину их мне».

Сошлись, по-видимому, на компромиссе. Напряженные сроки были сохранены; Крылов договорился, что Бородину помогут оркестровать большинство номеров; музыка частично была заимствована из популярных опер и оперетт.

Господин** должен был великолепно знать весь ходовой репертуар тогдашних театров. В «Богатырях» частью воспроизведены без изменений, частью пародируются самым уморительным образом фрагменты из «Роберта-дьявола» и «Пророка» Мейербера, «Севильского цирюльника» и «Семирамиды» Россини, «Эрнани» Верди, из оперы Кавоса «Князь-невидимка», из «Синей

бороды» и «Прекрасной Елены» Оффенбаха и уж, конечно, из «Аскольдовой могилы» Верстовского и «Рогнеды» Серова... Французская, итальянская, русская опера и оперетта... да еще и австрийский военный марш, порученный в «Богатырях» флейте и малому барабану. Если бы ставилась цель просто соединить столь разнородный материал и сплавить воедино, то и тогда взявшемуся за это человеку нужно бы было многое знать и уметь. Но ведь это все составляло только ползадачи! Через много лет дотошные специалисты подсчитают, что из общего количества 2812 тактов в «Богатырях» заимствованной музыки — 1556 тактов, а остальные 1256 тактов (45 процентов всех номеров) — оригинальная и пародированная музыка¹.

Бородин явно увлекся работой; шутка выходила вовсе не так проста, не так легковесна, как, похоже, он сам думал вначале. И, скрывая свое имя за таинственными двумя звездочками, он, может быть, думал не только о несовместимости жанра оперы-фарс с званием профессора химии. Вещь задевала многих музыкантов, мертвых и живых, в том числе и находившихся под высочайшим покровительством... да и официозные варианты истории создавались и окружались ореолом вовсе не для того, чтобы кто-то принимался над ними шутки шутить; остроумие такого рода не поощрялось.

За три недели до премьеры Бородин писал в Москву режиссеру Савицкому: «Извините меня, добрейший Николай Петрович, за мою медлительность относительно доставки трех последних нумеров «Богатырей». При всем моем желании никак не мог выбрать свободной минуты и только сегодня окончил последний нумер. Я впрочем не полагаю, чтобы у Вас не хватило времени на разучивание 5-й картины: песня Кострюка и финал 5 картины оригинальны и оркестрованы мною совершенно и их остается только расписать на партии. [...]

Относительно песни Кострюка мне нечего Вам сообщить, тут дело просто: — куплеты; 21 № сделан так, что сначала идет коротенькая оркестровая интродукция, затем коротенький хорик, после которого Соловей предлагает тост за здоровье дорогого тестя, знаменитого, всесильного и преславного князя Густомысла. Тост при-

¹ Заметим, что никто из балакиревцев ничего не знал о «Богатырях»; стеснялся ли Бородин? Хотел обождать результата?

нимается с криками: «Здоровье князя!», после чего оркестр играет туш; гости кричат «ура!» Густомысл благодарит и говорит под мелодраму дурацкий спич: «В настоящее время, когда...» и пр. (тут можно отлично пародировать спичи, которые у нас говорят при торжественных okazиях; надобно только Виктору Александровичу написать текст; это выйдет у Живоко¹ ужасно смешно. После спича Густомысл предлагает здоровье молодых; снова туш. Затем развеселившийся и довольный собою Густомысл поет куплеты: «Ай да я!» и пр.

№ 22 начинается куплетами Соловья на мотив лакейско-мещанской песни (так как тема эта повторяется хором, то вообще слишком много куплетов не надобно, а то тема надоест и номер выйдет вял и однообразен, тем более, что потом следует козачок в том же тоне и такого же характера мещански-лакейского. После пяти тактов мелодрамки начинается трепачок... вылетают богатыри и Кострюк, затем Густомысл выплясывает и поет один (это выйдет ужасно смешно), после него грянет хор: «Наше царство Куруханско всему свету голова», — после того трепачок все более и более оживляется и переходит в неистовый пляс, звуки которого, наконец, замирают в хроматической гамме струнных, и обрываются оглушительным финальным аккордом. Музыка трепачка комична и характерна, оркестрована пикантно, и потому я прошу Вас покорнейше не урезывать ее и не изменять порядка поющих, ибо музыка для всех поющих характерна, особенно для Густомысла.

Если уж нужно урезывать, то лучше пожертвовать куплетами Соловья, которые гораздо ниже по музыкальному достоинству и ordinarily. Общий пляс может быть отплясываем даже кордебалетом.

Затем мне остается только пожелать: Вам — полного сбора, а «Богатырям» успеха и долголетия. Передайте мой нижайший поклон Вашей супруге. Когда «Богатыри» пойдут успешно, то, может быть, я на святках дерну в Москву и явлюсь перед Вами как лист перед травой, по выражению известной сказки. Будьте здоровы, веселы и не забывайте от души Вам преданного композитора, ищущего неизвестности». Здесь это выражение: «композитор, ищущий неизвестности», употреб-

¹ Знаменитый комик, артист Малого театра в Москве.

лено впервые. Бородину случалось и потом еще не раз себя так называть. Перечтем еще раз письмо: в нем нет и тени уныния и сомнения; тон бодрый и деловой. Пожалуй, что Бородин здесь вовсе не считает таким уж пустячком сделанную работу; кажется, что он положительно доволен собой, находит многое небезынтересным и смешным и явно ожидает удачи. То была первая его музыкальная вещь, выносившаяся на суд публики! Первая! Симфония, уже законченная, ожидала своего часа (впрочем, Бородин все снова и снова показывал ее, играл товарищам по кружку, оценившим ее сполна; раз и навсегда балакиревцы признали его талант. Стоит заметить здесь, что именно в этом (1867) году Мусоргский посвящает Александру Порфирьевичу два своих произведения: «Интермеццо» H-moll и «Светскую сказочку» (более известное название: «Козел»).

Успех симфонии в среде серьезных и больших музыкантов, каковыми бесспорно считал Бородин своих друзей, воодушевление, владевшее Бородиным во все те месяцы, когда завершалась Первая симфония, поднимало его и толкало к перу. Тот порыв и разбег, который дан был симфонией, позволил Бородину в невиданно короткие, а для него — так просто сказочные сроки, справиться с достаточно громоздкой и нелегкой задачей.

6 ноября 1867 года состоялось первое и... последнее представление «Богатырей». Спектакль ошквали. Больше в течение своей жизни Бородин, кажется, не упоминал о «Богатырях», во всяком случае — письменно. Можно только гадать, каковы были причины поражения, виноваты ли в нем автор текста, композитор, постановщик и исполнители? Впечатлительная натура Бородина должна была отозваться на этот удар тяжело. Вообще, тому, кто не отдавал никогда свою работу на суд широкой публики, нелегко представить себе впечатления и следствия успеха или неудачи для автора. Автор пьесы, потерпевшей провал, точно бы посреди площади нагишом выставлен на всеобщее осмеяние; соединение сотен приговоров в один приговор, сотен ухмылок или шиканий — в направленное действие целой толпы дает не простое их слагаемое, а нечто новое, явившееся по законам геометрической, а не арифметической прогрессии. Бородин на спектакле не присутствовал, однако же ему довольно было того, что он узнал от других.

Биографы композитора обычно скороговоркой упоминают эпизод с «Богатырями» или же вовсе не удосуживаются о нем вспомнить. А напрасно. Когда мы позже — не раз и не два — встретимся с проявлениями какой-то преувеличенной медлительности Бородина в работе над его музыкальными опусами, когда увидим, как год за годом фатально оттягивается встреча оперы «Князь Игорь» со слушателем, как будто что-то невидимое и роковое мешает композитору сесть и завершить многолетний, чуть ли не целую жизнью оплаченный труд, — тогда может быть, не мешало бы нам вспомнить 6 ноября 1867 года, бенефис Савицкого, комическое представление «Богатыри» и его неожиданное фиаско... Лишь через семь лет после смерти Бородина Виктор Крылов, к тому времени плодовитый и удачливый драматург, постоянный поставщик пьес для императорских театров, покажет «Богатырей» Римскому-Корсакову: нельзя ли их продвинуть на сцену? Николаю Андреевичу опера-фарс не покажется стоящей внимания; с тем несчастливое произведение и было предано забвению — казалось, навеки...¹

¹ Нет, — не навеки все-таки. В двадцатых годах нынешнего столетия П. А. Ламм и Игорь Глебов (Асафьев) отыскивали рукопись «Богатырей» в архивах. Музыковеды П. А. Ламм и С. С. Гюпов восстановили партитуру. Оперой заинтересовался Камерный театр в Москве; режиссер А. Я. Таиров предложил известному советскому поэту Д. Бедному переработать явно устаревшее либретто. «Музыку к опере-фарсу «Богатыри», написанную Бородиным, нельзя иначе назвать, как молодым озорством музыкального гения. Это озорство сродни тому озорству Пушкина, которое породило «Гавриладию», — писал тогда Демьян Бедный. Он представил свой вариант либретто, по-видимому, спорный и яркий. 29 октября 1936 года состоялась премьера. Спектакль был горячо принят зрителями, но затем получил резко отрицательную оценку в печати. Сошлемся на авторитетные свидетельства современных энциклопедий. «Вокруг... работ Таирова разгорались ожесточенные споры, дискуссии. Многие из его экспериментов подвергались чрезмерно суровой и несправедливой критике (напр., постановка комической оперы «Богатыри» на текст Д. Бедного)» (Театральная энциклопедия, М., 1967, т. 5, с. 26).

«Излишне резкой была критика либретто оперы «Богатыри» (Большая советская энциклопедия, М., 1970, т. 3, с. 78).

Впрочем, труд композитора — А. П. Бородина — и тогда никаких нареканий не вызывал. «Богатыри» ждут еще своих исследователей... Добавим, что некоторые сведения об этом произведении почерпнуты нами из работы А. П. Нефедова (МГДОЛК, Кафедра истории музыки народов СССР. 1973).

В 1867 году написан и первый романс Бородина — если не считать того, что сочинялось во времена любительства, в студенческие годы. Роман назывался «Спящая княжна»; Александр Порфирьевич посвятил его Римскому-Корсакову. «Сказка» эта, слова которой написаны также Бородиным, принадлежит к его лучшим созданиям. Гармонически она была настолько нова и по тем временам необычайна, что вызвала множество толков, пересудов, споров. Небольшой романс сделался одной из самых известных вещей не только самого Бородина, но и всей вообще школы. Сегодня поэтичность и ясная красота «Спящей княжны» совершенно не вызывают сомнений; но ведь наше ухо много к чему привыкло за сто лет, прошедшие после Бородина. Не то было тогда... Романс казался некоторым музыкантам набором невыносимых, скрежещущих диссонансов! Вот что писал Ларош, известный критик, гонитель и враг «Могучей кучки»: «Один из членов кружка, г. Бородин, принял случайные секунды трелей Листовских за гармонические интервалы, за составные части аккордов, и вследствие этого написал романс («Спящая княжна»), где секунды, везде понятные, как трели, ударяются просто в виде аккордовых частей, в виде консонансов. Трудно объяснить немзыкальному читателю, какая оргия диссонансов бушует в этом романсе, как неуклонно и безжалостно он, так сказать, царапает слух своими секундами; читатель музыкальный и не выдавший романса, напротив, едва поверит, что секунды в виде самостоятельных консонансов тянутся в нем, не прекращаясь, несколько страниц. Большая часть этого замечательного произведения написано *pianissimo*... В произведениях, подобных этому, *pianissimo* как будто поставлено из деликатности к слушателю, из сострадания к нему, или из чувства стыда. Так иногда разговаривающие при посторонних начинают говорить шопотом такие вещи, которые не решаются произнести вслух...»

Чайковский не остался глух к красоте «Спящей княжны» и с горячностью доказывал своим друзьям, московским музыкантам, что должны найтись какие-то обоснования, какие-то неизвестные им музыкальные правила, которые объясняли бы обаяние и красоту бородинских секунд. Даргомыжский сказал о романсе: «Это просто страница из «Руслана». То же самое, но уже относительно целого ряда романсов Бородина, от-

крывающегося «Спящей княжной», скажет позднее и Стасов: «Иные из этих романсов и песен, как например, «Спящая княжна», «Морская царевна», «Песни темного леса» ...полны глубокого и могучего эпического духа, словно это одни из лучших страниц из «Руслана» — Глинки. Здесь явились из-под могучей кисти уже те самые формы и очертания, которые должны были с чудной поэзией и силой нарисоваться однажды в опере «Князь Игорь». Наконец, есть у нас свидетельство того, как воспринималась музыка Бородина молодежью, студентами. «Очень мы тогда увлекались, — вспоминал о временах своей молодости М. М. Ипполитов-Иванов, — его «Спящей княжной» и «Темным лесом» с их явно революционным оттенком».

Вот о «явно революционном оттенке» первых романсов зрелого Бородина стоит поговорить. Ведь это правда: не ощутить в них этот оттенок невозможно. В «Спящей княжне» — стихи Бородина:

Слух прошел, что в лес дремучий
Богатырь придет могучий,
Чары силой сокрушит,
Сон волшебный победит
И княжну освободит...
Но проходят дни за днями,
Годы идут за годами...
Ни души живой кругом,
Все объято мертвым сном.
Так княжна в лесу глухом
Тихо спит глубоким сном;
Сон сковал ей крепко очи,
Слит она и дни и ночи.
Спит, спит.

Это многократно повторяющееся: «Спит, спит...» почему-то выводило из себя Мусоргского. «Спит, спит... и никто не знает, скоро ль час ударит пробуждения» (я нарочно 2 раза написал «спит», как это у Бородина, п. ч. так глупее¹; и ведь этаким сонный леший; точно надо уверять, что «спит, спит... сколько раз просил его сократить»), — так он писал однажды В. В. Стасову. В письме процитированы и последние две строчки, но повторим их еще раз:

И никто не знает, скоро ль
Час ударит пробужденья.

¹ Слова «так глупее» в оригинале письма подчеркнуты синим карандашом; сбоку поставлено два восклицательных знака и рукою В. В. Стасова написано: «Экий вздор!»

Мусоргский, разумеется, был неправ. Колыбельные, убаюкивающие повторы: «спит, спит» необходимы сказке, как и знаменитые секунды, тоже повторяющиеся с колыбельной мерностью и монотонностью. Главное музыкальное «событие» романса — пробуждение леса и лесной нечисти:

Вот и лес глухой очнулся,
С диким смехом вдруг проснулся
Ведьм и леших шумный рой
И промчался над княжной.

Это сделано на уровне великих художнических видений; недаром невольно вспоминаются здесь «Бесы» Пушкина...

Бородин однажды писал жене о маленькой племяннице известного художника и своего приятеля К. Е. Маковского: «Вообрази, что она поет всю «Княжну» вернешенько от начала до конца с увлечением и экспрессией; сама подобрала первые такты аккомпанемента по слуху и ужасно восторгается именно этим интервалом секунды (mi-bémol и re-bémol), только синкопические фигуры даются трудно. При этом она обнаруживает замечательное эстетическое чутье: Смирновы¹ имеют глупую и безвкусную привычку кончать исполнение аккомпанемента там, где оканчивается пение, и не доигрывают романсы. Маня приходит в ярость от этого, особенно когда исполняют «Княжну». «Доиграй! Доиграй!» — кричит она. — «Тут не все! А еще сыграй, как час пробуждения-то ударит в конце!» — и ужасно радуется этим ударам fa-bémol и do». Очень любопытно пересказывал позднее Бородин свой романс по-французски графине Мерси-Аржанто: «В музыкальном движении, отвечающем русскому тексту: лес пробуждается, и все фантастические существа, которыми славянская мифология населяет леса, также просыпаются и пролетают над спящей княжной, которая одна остается погруженной в глубокий сон и не слышит криков и хохота уносящейся стаи».

Что касается «революционного оттенка», то его интенсивность и густота в сильной мере зависели от исполнителей и от восприятия, настроения слушателей. Алле-

¹ Родители девочки.

гория как будто прозрачная, и «расшифровка» напрашивается сама собой: «спящая княжна» — народ, «богатырь могучий», призванный освободить княжну, — революция и т. п. Наверное, в таком духе и понимали «сказку» Бородин в середине семидесятых годов революционно настроенные студенты, народники. Но авторский замысел едва ли заходил столь далеко. «Свободо-мыслящий, но не из нигилистов», — как-то сказал Александр Порфирьевич сам о себе. Заманчиво, конечно, ко всем талантам и достоинствам Бородина присоединить и самое передовое, прогрессивное, на наш нынешний взгляд, революционное мировоззрение. Но это было бы насилием над реальными событиями и фактами; в истории было лишь то, что было, и нужно удерживаться от искушения «поправить» что-либо в давно происшедшем, сделать «как лучше». Любая натяжка оскорбительна для реальной личности и судьбы.

Бородин, как известно, не был никогда революционером. Степень его свободомыслия была большей — ближе к молодости, меньшей — по мере того как уходили в прошлое шестидесятые годы. Во времена, когда написаны «Спящая княжна», «Песня темного леса» (последнюю вещь даже не хотела пропустить цензура, и спасла дело только хитрость Римского-Корсакова, подсунувшего опус Бородина цензору вкупе с его собственными, абсолютно невинными по тексту романами), революционеров в полном смысле слова насчитывалось не столь уж много в России, а вот демократические надежды и симпатии были очень распространены. Вообще поляризация сил происходит только во времена всеобщих потрясений и катаклизмов. Представлять себе тогдашнее общество постоянно разделенным на революционеров с одной стороны и контрреволюционеров — с другой — наивно и неисторично.

Конец шестидесятых и начало семидесятых годов, может быть, самое светлое время в пореформенной России, мирная передышка, пора собирания молодых сил. Зерна новых битв, новых бурь и трагедий уже зрели и выпускали первые ростки. Гнет официальной точки зрения не то чтобы поубавился, — но, казалось, у властей онемели руки, державшие узду, и мертвая хватка на мгновение ослабла. И немедленно воспользовались этим иные силы. Общественное мнение снова забирало власть.

«Спящая княжна» и «Песня темного леса» — самое радикальное, что в жизни своей написал Бородин, — и по смыслу текста, и по совокупному пафосу этих вещей. Александр Порфирьевич любил Некрасова, знал и Салтыкова-Щедрина; он читал лекции пылкой разночинной молодежи, которая бредила переменами и желала немедленно, своими руками перемесить все в России и вылепить совсем иное будущее. Он не мог быть безразличен к мнению этих молодых людей о себе, не хотел быть чужим для них. И все-таки: даже в эту пору «спящей княжной» для него была, скорее всего, не способность к мятежу, к восстанию, а вообще русская сила, весь огромный заряд творчества и мысли, который был растворен в народе, в крови поколений, и все еще не нашел достойного выхода. Пробуждение самобытных национальных сил — вот что всегда волновало Бородина; выполнение Россией высокого исторического предназначения — вот о чем он старался. Об этом — обе его симфонии, об этом — его опера; об этой силе — стихийной, не ручной, — и его «Песня темного леса»:

Темный лес шумел,
Темный лес гудел,
Песню пел;
Песню старую,
Быль бывалую
Сказывал:
Как жила там
Воля-волюшка
Вольная;
Как собиралась там
Сила-силушка
Сильная.
Как та волюшка
Разгулялась,
Как та силушка
Расходилась,
На расправу шла
Волюшка,
Города брала
Силушка
И над недругом
Потешалась,
Кровью недруга
Упивалась
Досыта.

Воля вольная,
Сила сильная.

Это не стилизация «под» фольклор: здесь постижение его сути, характера, в жизни не столь уж свойственное Бородину любование разгулом, разворотом стихии, неуправляемой, жестокой, могучей. Музыка «Старой песни» (так тоже называл иногда автор этот романс) словно высечена из одного скального куска; не верится, что она сочинялась такт за тактом, — а словно родилась готовой, не поддающейся ни малейшему изменению. Как это чудесно, что художник не подвластен своей осторожной мысли, своим и чужим взглядам на то, что можно и чего нельзя; как важно, что творчество вырывает его из тесных пределов единичного опыта, головных и разумных решений, что музыка и время говорят его устами, потрясая и изумляя неожиданностью его самого!

С «Песней темного леса» мы перекочевали в следующий год: она написана в 1868-м. Хроника 1867 года будет, однако, неполна, если не упомянуть о событии, происшедшем далеко от Петербурга, на другом континенте. 19 июня в Керетаро (Мексика) был расстрелян по приговору военного трибунала император Мексики и брат австрийского императора Франца Иосифа I Максимилиан Габсбург. Императора — судили? Императора — казнили, как простого разбойника? Выстрел мексиканских винтовок отозвался в России долгим эхом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Именно эту пору называли — по аналогии с немецким литературным течением времен молодого Гете — «периодом бури и натиска» в истории «Могучей кучки». И правда, начиналась эпоха такого кипения, такого мощного всплеска сил у всех без исключения балакиревых, что, право, вчуже завидно. В это же время участники кружка тесней всего сошлись друг с другом; они встречались так часто, как это было возможно; они оказывали значительное влияние друг на друга, — причем «младшие» (Бородин — как последний, пришедший в это музыкальное сообщество, Мусоргский и Римский-Корсаков — действительно младшие по возрасту) в

особенности сблизилась, образовав как бы еще более тесный кружок внутри «пятерки». Кроме того, В. В. Стасов все больше увлекался музыкой балакиревцев; он, видимо, теперь только «принял» по-настоящему и Римского-Корсакова, и Бородина, и даже Мусоргского, которого прежде как-то недооценивал.

Любопытна история с новгородской былиной «Садко, богатый гость». Владимир Васильевич Стасов предложил ее в качестве сюжета, программы музыкального сочинения М. А. Балакиреву. Тот «передарил» эту мысль Мусоргскому. Мусоргский, наконец, не воспользовавшись былиной сам, презентовал идею Римскому-Корсакову. И уж последний чрезвычайно быстро и вдохновенно написал музыкальную былинку «Садко»; ничего более подходящего для его таланта, для его страсти к музыкальной изобразительности, картинности, к народной фантастике нельзя было найти; любовь и вкус Николая Андреевича к тонкостям оркестрового колорита также удовлетворялись тут чуть ли не с избытком, — «материал» как бы сам понуждал обращаться к тем краскам и оттенкам, к которым молодого композитора безотчетно тянуло. Наконец, море, в течение нескольких лет качавшее гардемарина, а потом молодого офицера флота на своих немеренных просторах, никуда не исчезло с переселением его на сушу, как вообще ничто не исчезает из того, что строит и лепит душу человека; море теперь выплеснулось в музыке «Садко» во всем богатстве, во всей громадности своей и могуществе. Даже Серов, — кстати, из всей «Могучей кучки» выделявший и жаловавший Римского-Корсакова, — написал о «Садко»: «Выбор сюжета — превосходен».

«Садко» был первою ласточкой. В дальнейшем Стасов много раз подсказывал русским композиторам темы и сюжеты их будущих творений; впрочем, об этом нам еще предстоит говорить подробно. У Стасова в кружке была роль и более значительная. Он был идеолог, вдохновитель, ревнивый защитник кучкистских принципов, которые во многом сам же и вырабатывал. Он тянул кружок влево — что было как нельзя кстати; ведь Балакирев (прежде всего) и Кюи склонялись к официальным воззрениям; добавим, что Милий Алексеевич вообще к этому времени сосредоточил свою умственную деятельность почти исключительно в области музыкальной — в то время как главе школы необходим взгляд

более широкий. Стасов тут восполнял пробел, который нельзя было не восполнить. Владимир Васильевич был горячий последователь эстетических взглядов Белинского, Герцена и Чернышевского. Речь именно об эстетике, а не обо всей системе воззрений; там, где Белинский оказывался опасен для правительства, где Чернышевский звал или готов был звать крестьян в топоры, где Герцен становился на сторону польской революции, — там Стасов отворачивался, ему с ними было не по пути. Он не был политиком и, того менее, революционером. Считая себя безусловным прогрессистом, да и будучи таковым, Стасов умудрился соединить в себе черты старинных (и едва ли не вечных) противников: западников и славянофилов. Об их самозабвенном, на десятилетия растянувшемся споре не расскажешь в двух словах. «У нас была одна любовь, но не одинакая, — писал Герцен. — И у них и у нас запало с ранних лет... чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу... И мы как Янус, или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно». Однако ж эти примиряющие слова не охватывают всей проблемы; да и мудро было бы ее охватить одной фразой. Аполлон Григорьев назвал как-то славянофилов «витязями ракового хода», — а с годами стал близок к ним... Это течение русской мысли было настолько неоднородно, настолько широко разветвлялось, настолько менялось с годами и олицетворялось настолько несхожими людьми, что уже нельзя ссылаться на все понятие целиком, а нужно быть предельно конкретным. Что взял у славянофилов Стасов? Интерес к русской старине? Да. Но у Стасова в этом интересе больше историзма, меньше иллюзий.

Стасов вовсе не радеет о развитии и укреплении православных начал. Для него главное — мысль о национальной самобытности, о духовной самостоятельности русской культуры; о независимом от запада, опирающемся на собственную историю, ее развитии. В этом смысле спор Владимира Стасова с Серовым в какой-то мере повторяет — на «музыкальной основе» — первые и самые ожесточенные споры славянофилов и западников; но самое-то поразительное, что последователь Белинского выступает как будто бы с противоположной, с славянофильской стороны... И здесь, может быть,

ясней всего выявляется двуединая, диалектическая природа спора. Противники необходимы друг другу — так жизнь нужна смерти, а смерть нужна жизни; отсеки одно — убьешь и второе. Самые личности противников, их страстная дружба в ранней юности, их страстная вражда, являющаяся, бесспорно, тою же самою дружбой, только — наоборот, — проявление неистощимой парадоксальности бытия, без которой и океаны давно бы заросли болотною ряской...

Прошло столетие. Теперь видно многое, чего в горячке спора соперники не могли разглядеть. Народ, воспринимая лучшее из опыта других народов, должен непременно: оставаться, быть и становиться самим собой. Оставаться: значит сохранять верность исторической памяти, уважение к преданию, как говорил Пушкин. Быть самим собой: народу подобает ощущать себя личностью, самобытным существом среди других народов земли. Становиться собой. не жить только тем, что есть и было; развиваясь, заботиться о сохранении и движении языка, нравов, традиций.

Народу нужно быть, оставаться и становиться самим собой, но и это не самоцель, а часть таинственной его задачи во всеобщей человеческой истории. Плоские и неисполнимые цели главенства одного какого-то народа над всеми другими заставят рассмеяться любого, кто поднимет глаза от настоящего к просторам прошедшего и будущего. Национальное честолюбие естественно и объяснимо; ведь народу и впрямь необходимо осуществиться среди других народов, языку — встать между языков... Но самоутверждение не есть отрицание всего, что «не я». Личность в пустыне — вещь невозможная. Влиять и испытывать влияние — лицевая сторона и изнанка одной и той же материи. Односторонность и славянофилов и западников очевидна. Но они схватывались в борьбе — и спор обеспечивал движение и напряженное равновесие.

В конечном счете ни один народ никогда не отставал от другого народа; древний Египет не отставал от шумеров и Вавилонии, древняя Греция — от Египта, Рим — от Греции, Болгария от Византии, Испания от Португалии... Не наперегонки живут и развиваются языки и нации. Неведомые нам причины и малоизвестные законы запускают пружину исторического развития в свои сроки; стечение мириад мельчайших обстоятельств и

глобальные события оказывают свое воздействие на это развитие, то понукая, то почти приостанавливая его. В свой заветный срок выступает на историческую арену то одна страна, то другая; вот она на освещенной авансцене; вот снова отступила в тень... Центр тяжести перемещается; бремя исторической ответственности тяжелее ложится то на одни, то на другие плечи... О, конечно, есть страны беднее и богаче; у одних ветряная мельница, у других паровая, а у третьих — бронзовый топор. Но в духовном опыте человечества песня краснокожего индейца не меньше весит, чем романс Шумана; статуя работы Праксителя не устаревает безнадежно в сравнении со скульптурами Майоля, а Гегель не отменяет Платона. Бах, Моцарт и Глюк вместе взятые не заменят Шопена. Не в том дело, который из народов раньше, или громче, или ясней сказал свое слово в области духа. И уж вовсе наивны те, кто представляет общение народов в виде азартного соревнования в количестве и «весе» гениев; у нас, мол, пятнадцать великих поэтов, а у вас — всего лишь одиннадцать... Только подлинность не скороспелого, а созревшего слова, только своеобычие вклада в общечеловеческий опыт, только его насущность и единственность имеют цену.

Созрели силы, явились возможности, наступили сроки. Россия, русская литература и музыка должны были сказать никем не слышанное, небывалое слово. Из-за того и бились, и сшибались друг с другом; из-за того и заключалась дружба, и клокотала вражда. Отталкивались от чужого — не из высокомерия или невежества, а из необходимости родить свое. Узкий путь, тесные врата. Справа — призрак Китайской стены, национальной замкнутости и отгороженности. Слева — соблазн копирования и подражания чужой, по-другому развивавшейся судьбе. Сбивались и в ту и в другую сторону. Повисали, бывало, на одних ногтях над пропастью. Вскарabкивались, дышали тяжело, шли дальше.

В балакиревском кружке решались надолго вперед пути русской музыки; не только о самих его участниках мы говорим; еще неродившиеся Стравинский, Шостакович, Прокофьев — там, в непроглядном мраке преджизни, зависели уже от происходящего: судьба наша решается во многом до нашего рождения, и начало гармоний и ритмов, которые явились уже при нас, нужно искать раньше.

Антон Рубинштейн перессорился с профессорами консерватории и покинул ее; отказался он и от руководства концертами Императорского русского музыкального общества. В последующие три года он гастролировал за рубежом и в России, упрочив за собой славу гениального пианиста.

Консерватория на первых порах размещалась в Михайловском дворце (по имени владельца — великого князя Михаила, младшего сына императора Павла I). О Михаиле Павловиче рассказывали, что он «ничего ни письменного, ни печатного с малолетства не любил, из музыкальных инструментов признавал только барабан и презирал занятия искусствами». Полной противоположностью ему была его жена, великая княгиня Елена Павловна, урожденная Фредерика-Шарлотта-Мария, принцесса Вюртембергская. Она воспитывалась в пансионе в Париже. Великий естествоиспытатель Жорж Кювье, барон и пэр Франции, был ей наставником и другом. В России в круг ее знакомств вошли В. Ф. Одоевский и П. А. Вяземский, Ф. И. Тютчев и И. С. Тургенев. Елена Павловна была дружна с Карамзиным; Жуковский и Плетнев учили ее русскому языку. Пушкин своею рукой в альбом Елены Павловны вписал весьма смелый, полный вариант знаменитого своего стихотворения «Полководец» (в печати несколько урезанного и измененного по требованию цензуры).

Эта незаурядная женщина, перед которой, кажется, даже Николай I робел, называя ее *la savante de notre famille* — «ученая в нашем семействе», — была непосредственной покровительницей Русского музыкального общества и консерватории и разделяла с Антоном Рубинштейном честь основания этих учреждений, делая для них и в дальнейшем очень много. Но, как мы вскоре убедимся, она враждебно относилась к деятельности «Могучей кучки». Не без влияния Стасова и балакиревцев в литературе о музыке утвердилось насмешливое, поверхностно-ироническое отношение к ее личности и музыкальным начинаниям. Однако, чуждые сословных предрассудков, новые поколения вполне могут пренебречь обстоятельствами, связанными с происхождением и семейным положением Елены Павловны, и рассмот-

реть беспристрастно ее культурную роль не закрывая глаза ни на дурные, ни на добрые ее стороны.

И тут еще раз скажем об отношении Стасова к консерватории, любимому детищу Елены Павловны. Взгляды Владимира Васильевича всегда носили глубоко личностную окраску: художник, которого он почитал, уже тем самым становился его личным другом; человек, не разделявший его взглядов на искусство, был его заведомый противник в жизни, с которым не стоило и церемониться. Собственно, споры о путях развития русской живописи, музыки, литературы составляли самую жизнь Стасова, самое, может быть, личное и интимное, что было в этой жизни. Стасов не теоретик, а эмпирик, он предпочитал иметь дело с тем, что можно осязать, слышать, видеть; личный опыт имел для него решающее значение. Опыт этот убеждал его, что консерватория никому не нужна. Отчего же так? Да оттого, что он всю жизнь был окружен гениальными самоучками. Глинка, Даргомыжский, Серов, Балакирев, Бородин, Кюи, Мусоргский, Римский-Корсаков, — наконец, он сам. Как ни странно, Стасов совершал ту же самую ошибку, что и его оппоненты, представители «консерваторской» партии. И эти последние, и сам Стасов как бы не считали образованием ту огромную работу, которую многие русские композиторы проделали самостоятельно. Достаточно, скажем, почитать письма Серова к Стасову, чтобы увидеть, с какой невероятной жадностью, интенсивностью поглощались музыкальные знания и сведения; как разыскивалось, переваривалось, усваивалось все, абсолютно все, имеющее к музыке отношение. Так было с ними со всеми. Бородин за двадцать лет музыкальных занятий и увлечений, предшествовавших его знакомству с Балакиревым, впитал больше знаний, чем, думается, может вместить любой консерваторский курс. Менее образованны поначалу были Римский-Корсаков и Мусоргский. Корсаков очень скоро поймет это и сам себя усадит за школьную парту; не пройдет и пяти лет, как он станет одним из самых уважаемых и признанных профессоров консерватории... «Самоучку» Балакирева будут настойчиво приглашать на пост директора Московской консерватории! О каком же тут любительстве, о каком дилетантстве можно говорить? А ведь говорили... Даже такие серьезные музыканты, как Чайковский, Кашкин, не говоря уж о Лароше. Да,

знания, полученные самостоятельно, были, может быть, не столь систематизированы, как в консерватории, да и восприняты несколько иначе; приобретение их потребовало больше усилий и, может быть, сопровождалось большим числом ошибок и спотыканий; наконец, оно взяло больше времени. Но... здесь мы снова приходим к парадоксу: неправота Стасова и балакиревцев по отношению к консерваториям обернулась великой правотой по отношению к русской музыке. Стоит только припомнить, с какой яростью обличал Ларош «музыкальные безобразия» балакиревцев, сколь резкой была отрицательная оценка Мусоргского со стороны московских «ученых музыкантов», чтобы предположить с большой долей вероятности: русская консерватория первых лет ее существования была противопоставлена бунтарям «Могучей кучки». Там, на школьной скамье, все сделали бы, чтобы утихомирить их и пригладить, внушить почтение к авторитетам; там высмеяли бы и осудили самое начало пути — а кто ж не чувствителен к насмешке, к осуждению? В особенности не поздоровилось бы Мусоргскому. Еще и после его смерти долго не умолкали голоса разгневанных ревнителей музыкального благообразия и стройности; еще и в новом, двадцатом веке укоры в его адрес сыпались и у нас и за границей. А Бородин? Незадолго до его смерти на репетиции его Первой симфонии оркестранты отпускали нелестные замечания на счет автора и громко смеялись! Эта музыка казалась им еще и тогда странной и неблагозвучной, хотя в то время она уже с триумфом исполнялась в Германии, Бельгии, Голландии... Консерватории в России были нужны. Стасов оказался неправ вообще, но прав — в частности: они могли повредить тем музыкантам, которых историческая задача была оттолкнуться от всеми признанных образцов, а не подражать им и не следовать за ними; слишком ново, слишком небывало было их дело. В моменты всякого переворота правила и законы стремительно устаревают, и школьнические добродетели ценятся невысоко. Потом окажется, что и школа нужна, и многие законы действительны. Но это будет потом...

После ухода Рубинштейна руководить концертами Русского музыкального общества был призван Балакирев. Елена Павловна уступила в этом настояниям А. С. Даргомыжского, ставшего к тому времени вице-

президентом Русского музыкального общества и председателем Петербургского отделения. Уступала великая княгиня с неохотой. Ей было за шестьдесят, вкусы ее давно сложились и тяготели к классическим созданиям, к европейской музыке. То, что она слышала о Балакиреве и его друзьях, не могло внушить ей доверия. Нужно думать, что близкие к ней люди рассказывали ей о балакиревцах как о музыкальных нигилистах. Да такие вещи можно было прочесть и в журналах и газетах. Сами представители «Могучей кучки» — Кюи и Стасов в печати выступали весьма резко; нередко доставалось от них и «сухому и детскому» Моцарту и «кислому» Мендельсону, не говоря уж о Рубинштейне. Даже Николай Андреевич Римский-Корсаков с необыкновенной резкостью назовет позднее такого рода высказывания «передовым мракобесием». Что ж говорить о противниках «новой русской школы»? Но, так или иначе, Балакирев был утвержден как руководитель музыкальной части РМО; притом он выговорил себе право составлять программу концертов по своему усмотрению. По его же настоянию был приглашен из Парижа стареющий Берлиоз, и в сезоне 1867—1868 года Балакирев и великий француз дирижировали концертами по очереди.

В начале 1868 года дирекция Русского музыкального общества обратилась с предложением к молодым, начинающим композиторам, практически — ко всем желающим: дать свои опыты для пробного проигрывания в оркестре. Предоставлялся, так сказать, шанс для затерявшегося в безвестности гения. В ответ было получено довольно много беспомощных или посредственных сочинений. Увы: между ними оказалась и Первая симфония Бородина. Балакирев спешил послушать ее «в натуре»; случай показался ему вполне подходящим. Итак, в Михайловском дворце состоялось проигрывание симфонии... чуть ее не погубившее. Новизна и непривычность вещи для слуха оркестрантов, их недоумение, ошибки в партиях, ошибки самих музыкантов, остановки и недоразумения на каждом шагу... А так как «кроме нее (симфонии) нужно было переиграть порядочное число пьес, — рассказывал позднее сам Балакирев, — то в результате вышло то, что она произвела дурное впечатление, и дирекция ждала с ужасом публичного ее исполнения». Римский-Корсаков тоже упоминает в своей «Летописи»

об этой репетиции, состоявшейся 24 февраля. «Оркестровые музыканты сердились на неисправность голосов и постоянные остановки. Тем не менее все-таки можно было судить о великих достоинствах симфонии и ее превосходной оркестровке...» Едва ли это было так: Николай Андреевич забыл, что сам-то он знал бородинскую вещь только что не наизусть; конечно, ему было интересно, невзирая на все помехи, слышать впервые знакомую музыку в оркестре. Но вряд ли кто еще разделял эти чувства. Недаром после неудачной пробы исполнение симфонии отодвинулось почти на целый год, да и ему бы не состояться, если бы не оговоренное Балакиревым право самому выстраивать программу.

Итак — еще одна — после «Богатырей» — капитальная неудача! Воздадим же должное мужеству и стойкости Бородина. Никаких, ни малейших материальных благ его музыкальная деятельность ему тогда не сулила. Что же касается стороны моральной — нужно бы быть бесчувственным, чтобы не ощутить провал «Богатырей» в Москве и неудачную пробу в Михайловском дворце как удары. Бородин же не только не был бесчувствен; его чувствительность была временами (или казалась) чрезмерной! Его имени ученого, его служебному положению прямо-таки вредила репутация неудачливого музыканта-любителя! Он не колебался, не остановился, не отступил. Где ж тут «мягкотелость», в которой его многожды упрекали? Просто он, Бородин, знал, когда и в чем быть твердым.

III

«...Даргомыжский в пылу творческого вдохновения с поразительной скоростью создавал одну за другой сцены «Каменного гостя», как будто они были у него где-то заранее заготовлены и он вдруг стал их перед нами выбрасывать, как фокусник из мешка. Была только что написана вторая сцена...» Это — из воспоминаний Надежды Николаевны Пургольд, ставшей потом женою Римского-Корсакова. Она была двадцатилетняя талантливая пианистка, сестра ее, Александра Николаевна, бывшая на четыре года старше, прекрасно пела. Воспитывал сестер их дядя, тайный советник В. Ф. Пургольд, страстный меломан; квартира Пурголь-

дов располагалась в том же доме, где жил А. С. Даргомыжский, они были дружны. А вскоре друзьями и поклонниками таланта двух сестер стала «разбойничья компания» балакиревцев. Да, девицы прозвали участников кружка «разбойниками» и сами получили прозвища, очень дружелюбные, разумеется: Александра Николаевна называлась теперь донья Анна-Лаура, Надежда Николаевна — наш Милый оркестр. Атмосфера молодой влюбленности витала в воздухе; известно, что Александра Николаевна была равнодушна к Мусоргскому; Николай Андреевич Римский-Корсаков не пропускал ни одного вторника у Пургольдов, и тут также был секрет, который со временем открылся. Даргомыжский, которому жить оставалось меньше года, работал с лихорадочным вдохновением, и оно, похоже, передавалось окружающим. «С каждым вечером у А. С. «Каменный гость» вырастал в постепенном порядке на значительный кусок и тотчас же исполнялся в следующем составе: автор, обладавший старческим и сильным тенором, тем не менее превосходно воспроизводил партию самого Дон-Жуана, Мусоргский — Лепорелло и Дон-Карлоса, Вельяминов — приятель хозяина — монаха и командора, А. Н. Пургольд — Лауру и Донну-Анну, а Н. Ник. аккомпанировала на фортепьяно. Иногда исполнялись романсы Мусоргского (автор и А. Н. Пургольд), романсы Балакирева, Кюи и мои, — писал Римский-Корсаков в «Летописи». — Игались в четыре руки мой «Садко» и «Чухонская фантазия» Даргомыжского, переложенные Надеждой Николаевной. Вечера были в высшей степени интересны». Неясно, почему здесь не упоминается о романсах Бородина и его симфонии. Возможно, Бородин чаще стал появляться у Даргомыжского и Пургольдов позднее, с осени. Во всяком случае, и симфонию его Даргомыжский знал, и романсы ценил. «Собрания в семействе Пургольд были тоже чисто музыкальные. Игра Балакирева и Мусоргского, игра в 4 руки, пение Александры Николаевны и беседы о музыке делали их интересными. Даргомыжский, Стасов и Вельяминов тоже посещали эти вечера». Продолжались встречи, дважды в неделю, и у Л. И. Шестаковой; нередко вся компания — как видим, разросшаяся необычайно — оказывалась у Стасовых, у супругов Кюи; в более тесном кругу — у Бородина (который «вечеров» никогда не устраивал, но гостей, и «музыку-

сов» и «химикусов», принимал с неизменным радушием.) Знакомство с сестрами Пургольд дало новым русским композиторам то, чего им не доставало: лабораторию, в которой немедленно могли «испытываться» только что сочиненные вещи. Особенно важным оказалось то, что теперь в распоряжении авторов был богатый женский голос, ибо спеть теноровую, баритоновую, басовую партию умели и сами «разбойники». Немедленно выросло число вокальных сочинений; новые романсы являлись как грибы после дождя и исполнялись немедленно. Мусоргский под влиянием работы А. С. Даргомыжского в июне принялся писать оперу «Женитьба» на неизменный текст Гоголя; конечно же, он рассчитывал на донью Анну-Лауру и «Милый оркестр», рассчитывал и на «сильный тенор» Даргомыжского — и не ошибся; осенью «Женитьба» не раз была исполнена у Пургольдов и у Даргомыжского¹.

Но до осени еще произошли события, которые отвлекут нас надолго от музыки. С некоторых пор в балакиревском кружке появилось новое лицо: Николай Николаевич Лодыженский. То был разорившийся помещик, достаточно молодой и талантливый человек, кстати сказать, родственник Даргомыжского; Александр Сергеевич и родился в доме Лодыженских, в имении, принадлежавшем деду Николаю Николаевича — в селе Троицком Белевского уезда Тульской губернии. Молодому композитору уже тогда принадлежали романсы, отрывки из оперы «Дмитрий Самозванец» и начатки, фрагменты множества разного рода композиций, которые Лодыженский как-то не умел довести до конца. За эти именно «мифические», почти нереальные сочинения он получил в кружке прозвище «Миф», которое со временем перевернулось: вышло — Фим. В семье Бородиных, близко сошедшихся не только с Николаем Николаевичем, но и с его родными, он именовался «Обер-Фимом», просто же Фимом был брат Лодыженского Иван Николаевич, владелец имения Маковницы в Тульской губернии.

Еще раньше в том же кругу начал бывать певец-любитель, лесовод, тверской помещик Николай Иванович Калинин. По-видимому, балакиревцы его не жаловали. В одном из писем к Балакиреву Ц. А. Кюи именует

¹ Речь идет о единственно написанном — первом акте оперы.

Калинина так: «гигантское вместилище сплетен». («Не хватило бы у меня бумаги, если бы я хотел передать все сообщенные им сплетни», — письмо от 1 июля 1864 г. Похоже, Кюи раньше познакомился с Калининым, чем с Бородиным). Женат Калинин был на сестре Н. Н. Лодыженского, Анне Николаевне, и поместье его Турово располагалось в том же Кашинском уезде Тверской губернии, что и Маковницы.

Летом 1868 года Бородины и Римский-Корсаков приняли приглашение братьев Лодыженских приехать отдохнуть в Маковницы. Впрочем, Бородины там оказались раньше, а затем явились и Н. Н. Лодыженский с Римским-Корсаковым, которого Николай Николаевич «завал» с собою. «В Маковницах — имении братьев Лодыженских — я провел около недели, глядя на хороводы, катаясь верхом с хозяевами и Бородиным, обмениваясь всякими музыкальными впечатлениями с последним за роялем. В бытность мою в Маковницах, Бородин сочинил свой романс «Морская царевна» с его курьезными секундами в фигурациях аккомпанемента» («Летопись»). Затем Николай Андреевич воротился в Петербург, окончил там сочинение симфонической сюиты «Антар», писал первую свою оперу «Псковитянка». Бородины остались в Маковницах и позднее рассказывали о чудачествах Обер-Фима: как он спал на голых досках, утыканных гвоздями, и пр.

Остаток лета Бородины провели по соседству, в Турове, имении упоминавшегося уже Николая Ивановича Калинина. Здесь Александра Порфирьевича ждало потрясение неожиданной, непозволительной, застигшей его врасплох любви. Впрочем, в Турове буря только собиралась, разразилась она позднее.

Многие письма Бородина приводились в книгах и статьях десятки, сотни раз. Письма, к которым мы сейчас обратимся, публиковались только однажды, в Первом выпуске дианинского собрания, который вышел из печати в 1928 году (тиражом две тысячи экземпляров). Если они и цитировались порой, то лишь в той части, где касались музыкальных дел. Между тем, перед нами в этих письмах Александра Порфирьевича к жене — единственное свидетельство единственной бури, возмущившей эту столь ровную и ясную жизнь, единственный всплеск той раскаленной магмы, о присутствии которой можно лишь догадываться по внезапным вспышкам

поразительной силы и страсти в музыкальных творениях Бородина. Вот подряд, без пропусков и без попытки вмешаться, письма Бородина той грозовой поры. В них попадаетея немало незнакомых читателю имен; речь идет о родственниках и знакомых, каждого из которых представить читателю нет возможности. Хочется еще напомнить, что Бородин по образованию медик, что он был некоторое время врачом: это объяснит трезвость и точность некоторых строчек, которые мы бы непременно заменили многоточиями, обиняками и намеками.

Осень. Екатерина Сергеевна по нездоровью находится в Москве, климат которой больше ей подходит при таких обстоятельствах. Видимо, бородинские письма не раз прочитывались вслух другим «двум Катеринам», поэтому не предназначенная для чужих глаз и ушей часть письма будет отделена указанием: конфиденциально. Итак, повесть в повести, написанная не нами, со своим независимым сюжетом: семь писем Бородина.

Письмо первое

Ее Высочайшему Катерине Сергеевне Бородиной. Москва. В Газетном переулке, в доме Римско-Корсакова, в меблир. комнатах № 4.

С. Петербург. 16 октября 1868 г.

Ты спрашиваешь, душа моя, мнение Боткина о пневматическом лечении. Я тебе уже писал об этом. Боткин очень одобряет это лечение, именно для тебя. Только он предостерегает, чтобы первые сеансы не делать очень продолжительными. Вообще же он велел «выдержать» тебя в Москве по возможности до морозов. Кроме того, он настоятельно просит тебя ограничить, елико возможно, твое гнусное курение, которое ты довела до безобразных размеров. Я с своей стороны, убедительно прошу тебя не отказывать себе в извозчиках и как можно более пользоваться свежим воздухом, разумеется, когда хорошо на дворе. О вещах, которые тебе нужно прислать, напиши, пожалуйста, поскорее и пообстоятельнее, где что лежит, где что искать. Далее ты спрашиваешь меня, нет ли чего *особенного*. Особенного ничего нет, а есть весьма обыкновенное все. Но, впрочем, если

хочешь, все это можно подвести и под категорию особенного. У нас в доме *особенное* заключается в том: 1) что сортиры наконец починены, не воняет в комнатах, ямы и канавы в подвальном коридоре зарыты и народа туда более не валится. Кроме того, дом наш преисполнился ночлежников: Хлебников в кабинете, я у себя, Заблоцкие (на 1 или 2 ночи) в столовой. *Особенное* в академической публике выразилось в женитьбе Забелина. Женитьба эта окружена таким покровом таинственности, что дамы академические просто чуть с ума не сходят от любопытства. Во-первых, Забелин страшно похудел; во-вторых — он жил в Гатчине со своею женою, выдавая последнюю за свою сестру; в-третьих — он перестал бывать в академических кружках; в-четвертых — он никого не зовет к себе, под предлогом, что все еще не устроился; в-пятых — никому не говорил о своей женитьбе; в-шестых — никому не показывает жены. Догадкам, предположениям и пр. несть конца. *Особенное* в доме Фонтана, в квартире Дяди, выразилось так: прихожу я к нему с твоим поручением. Звоню. Отворяют. Спрашиваю: — «Дома»? Ко мне разлетается Дядё, машет руками и шепотом кричит: «Елена сейчас только разрешилась мальчиком!» В доме беготня, возня, суетня... Понятное дело, что я нашел совершенно неуместным излагать твои поручения при такой обстановке. *Особенное* в доме Фонтаны, в квартире Калининых, выразилось приездом их в Питер и решением остаться зимовать в Питере; денег нет ехать за границу. *Особенное* у тетушки выразилось приездом Ени. *Особенное* в Маковницах — тем, что там начисто обокрали весь дом: платье, белье, серебро, шубы и пр.; все кроме мебели и с'естных припасов. *Особенное* в Ницце выразилось нетерпением Александры Ивановны во что бы то ни стало воротиться в Питер. Она осаждает Николая Николаевича письмами с просьбою нанять квартиру и жить с ним, где ему только угодно, лишь бы только вместе с нею. *Особенность* у Николая Николаевича заключается в том, что он совсем бросил музыку и занимается математикою, до упаду. *Особенность* у Балакирева выразилась охлаждением интереса к музыке нашего кружка и тем, что он никуда не показывает носа. *Особенное* у Даргомыжского выразилось тем, что, вопреки предсказаниям докторов, он теперь благоденствует (относительно — разумеется); кончил «Каменного

гостя»; посещает своих знакомых, как ни в чем не бывало, и пр. Я вчера видел его у Шестаковой (Людмилы Ивановны), где был весь наш кружок, кроме Балакирева. Затем остается мне рапортовать о больных. Сорокин — лежит; — ревматизм в ноге страшнейший; Соколова — лежит; — какие-то воспаления, где-то серьезно больна; Красильников — опять совсем плох сделался. Написал бы тебе больше, да тороплюсь в комитет (по уставу). Все тебя кланяются. Прощай. Целую тебя и обнимаю. Поклоны...

А. Бородин

NB. Особенное. NB. (конфиденциально).

А. Н. провела эти два месяца очень скверно. Первые две недели она была страшно больна (совершенно как после потери своего ребенка): обмороки, нервные припадки, потеря сна, аппетита, нервная раздражительность, доходившая до галлюцинаций. Потом она немного поправилась силами, но продолжала не спать и почти ничего не есть, быть раздражительною и пр. *Особенное* у ней выразилось переменою отношений к Н. И., который ей сделался положительно невыносимым. Он, брюскировавший и оскорблявший ее сначала ежедневно, заметил однако положительное охлаждение к нему и видимо испугался; переменял тактику; вдруг стал необыкновенно внимателен, нежен, любезен (хлопочет об устройстве ей лаборатории, хочет нанять студента для занятий химиею, физикой и пр.). На все любезности Н. И. она отвечает какою-то презрительною холодностью, а подчас чуть не отвращением. Здоровье ее с приездом в Петербург хотя чуточку поправилось (она стала спать и есть), но все еще расстроено: нервная раздражительность, нервные боли головы, боль в груди и в боку; она часто плачет, сильно грустит, очень похудела с лета и пр. Теперь она немножко повеселела. Причиною этому, по-видимому, то обстоятельство, что Кашеварова запретила ей половые отношения (на время), которые, при настоящем ее положении, ей невыносимо противны и тяжелы. Ее успокоило также уверение Кашеваровой, что она не может иметь детей, по крайней мере, долго. Если дела пойдут так, то она или погибнет или разойдется с Н. И. Он, по-видимому, ужасно боится последнего исхода, озабочен, ищет места таксатора лесов при Кредитном обществе. До разрыва с Щиглевым

он продолжал ревновать А. Н. к последнему и делать ей сцены. Относительно *другого* он ничего не догадывается. Со мною очень мил и любезен, и видимо страх как боится, чтобы А. Н. при мне не выказала перемену в ее отношениях к нему.

Во всем прочем А. Н. осталась, по-видимому, неизменною как к тебе, так и ко мне.

Письмо второе

С. Петербург, 19 октября 1868...

Ты пишешь, голубушка моя, что от меня нет письма целую неделю. Это меня удивляет. Правда, я теперь не пишу тебе каждый день, как это я делал сначала; но это по твоему же желанию. Я тебе пишу аккуратно два раза в неделю, как ты просила, и потому мне непонятно, как ты могла целую неделю ждать писем. За скорое доставление сведений о том, что тебе выслать — благодарю и немедленно вышлю. Деньги же ранее вторника послать не могу, поэтому ты при займи покуда, хоть у Лизаветы Петровны. Главное — не стесняй себя; ездь, не отказывай себе ни в чем, что в пределах наших средств. Относительно паспорта Дуняши¹ я озабочусь и напишу. Я боюсь (и это всего вероятнее), что Дуняше надобно будет самой приехать в Петербург ради паспорта. Что касается до женского университета, то это оказалось еще проектом. Я был в комитете у Трубниковой. Оказалось, что вместо решения частных вопросов преподавания (как это мне передал Сеченов) рассуждалось еще только о проекте прошения для исходатайствования дозволения читать женщинам лекции. Мнения даже делились относительно того, кому подавать прошение; министру ли народного просвещения или также и министру внутренних дел. О самом принципе организации заведения еще не было установлено ничего положительного: одни хотели просить субсидии от правительства для устройства высшего Института, другие хотели просто специальных курсов для женщин, где бы-то ни было и без всяких субсидий, предполагая, что

¹ Прислуга Бородиных, А. Е. Виноградова; она напела Римскому-Корсакову старинную песню «Звон-колокол», включенную им в его сборник русских народных песен.

плата со слушателей окупит издержки преподавания. Одни говорили, что такого сбора будет 3000 р., другие — что 6000 р. Одним словом, ничего еще не определено положительно. Впрочем, большинство высказалось в пользу курсов без субсидий. Ты спрашиваешь о Калининных? Я у них был два раза, и они ко мне приезжали один раз. Я каждый раз убеждаюсь в справедливости того, что писал тебе по поводу их отношений. Отношения эти должны быть невыносимые. Перевес, однако, по-видимому, переходит на ее сторону. Он, видимо, как-то озадачен и страшно спустил тон; очень приуныл. Просил меня походатайствовать у дяди относительно таксаторского места, так как дядя имеет связи в Комитете. Вчера опять заезжал ко мне просить обедать у них в воскресенье. Надобно будет пригласить их к себе на чай. На А. Н. смотреть жалко: она очень грустна, хотя и напускает на себя какую-то неестественную развязность и даже веселость, но это не выходит. Здоровье ее лучше; она начинает поправляться, спать и есть, но очень нервна, раздражена и раздражительна. Отношения к мужу как-то не искренни и отличаются какою-то презрительною холодностью. Случается даже, что она как будто умышленно выгораживает его из общества; напр., в последний раз там был Кутузов, и все время разговор велся ею на французском языке, при чем Н. И., разумеется, совсем стушевался. Господи! как бы я был рад, если бы Туровщина в самом деле принесла ей хоть ту пользу, что высвободила бы ее из крепостной зависимости; выдержит ли она только? хватит ли у ней на это физических и нравственных сил? Я говорю «Туровщина», потому что мне сдается, что это именно она была причиною перемены отношений. Написал бы еще, да нет бумаги больше. Относительно денег Заблочки (которые покуда еще у меня) предлагают тебе такую операцию: займи покуда сколько нужно, а там (на днях) тебе Марк передаст их сто рублей, вместо того чтобы пересылать им в Питер; а я им здесь отдам 100 р., назначаемых тебе. Таким образом и мы и они избегнем и хлопот и расходов по пересылке. Ну прощай. Христос с тобой! Поклоны... А. Бородин.

Дуняше есть письмо: пересылать ли?

Письмо третье

Петербург. Среда. (23 октября 1868)

Голубушка ты моя родная, что это ты опять начинаешь прихварывать больше. Это выходит дело совсем дрянн. Ты пишешь: принимать ли тебе беладонну? а Алексею цинк? по-моему, беладонну принимать можно, насчет же цинка ничего не знаю, потому что трудно сказать, не выдав бедного Алексея и не зная обстоятельно, что с ним. Вообще положение его очень печальное, и я думаю опять, не лучше ли ему будет поместиться в клинике. Впрочем, теперь-то самое неблагоприятное время для переезда в Петербург. Как ни кинь, все выходит клин. Относительно лечения пневматического, мне кажется, следует решиться положительно, потому, хотя ты и хандришь и пр., но приезд в Петербург для тебя теперь вряд ли возможен и благоразумнее последовать совету Боткина, т. е. просидеть в Москве до морозов. В это время ты успела бы взять курс пневматического лечения. Сообщи пожалуйста Лажечникову, что я буквально не нахожу слов, чтобы благодарить его за все хлопоты и заботы о тебе. Узнай, пожалуйста, его адрес и напиши мне, чтобы я мог сам ему высказать письменно всю мою благодарность. Относительно нянюшкиного мужа скажу Николаю Николаевичу все, что следует. О брате Петра Григорьевича говорил Дяде, но он недоумевает, потому что нет никакого расчета переходить в ведомство Государственных Имуществ. Впрочем, пересылаю тебе в оригинале записку дяди, только что полученную мною. Написал бы тебе еще больше, но боюсь, что письмо и так будет очень тяжело. Ну прощай, моя голубка, и Бога ради не хандри очень; береги себя. Поклоны всем по принадлежности. А. Бородин.

Конфиденциально.

Письмо твое ставит меня в чрезвычайно тяжелое положение. Я долго колебался: писать тебе или нет о моей тоске и о встрече с Анкою; я решился не писать, не из недостатка искренности, но из боязни повредить твоему здоровью. Теперь я вижу, что сделал дурно, ибо представил твоему воображению полный разгул и возможность предположения гораздо более дурного, чем на самом деле было. Итак, слушай. Начну с тоски. Ты

пишешь: «я знаю, что у тебя опять тоска». Это совершенно правда, но только слово «опять» здесь неуместно, ибо она и не проходила. Я рассчитывал, что по приезде в Питер другая среда, занятия, отдых и пр. развеют тоску. Вышло наоборот. Пока я был в Москве, вид твоих страданий, уход за тобою, физическое утомление от недостатка сил, постоянная необходимость притворяться, казаться веселым, лебезить и пр. — все это несколько маскировало тоску. Когда же я попал в Петербург, где сдерживаться было не для кого и не для чего, когда я отдохнул первые дни — тут-то она проклятая меня и обуяла. Я ударился в занятия, в музыку, в чтение, в посещение академического кружка знакомых, — ничего не помогало. Несмотря на полную возможность спать сколько мне угодно, я, ложась в 11 часов, просыпался уже в 4 и даже в 3 часа утра. Занятия не заглушали тоски, музыка энервировала, академическое общество раздражало. Наконец, мне все это надоело, и я плюнул на мою дурацкую тоску, не принимал никаких мер к уничтожению ее и предоставил дело времени. Все окружающие замечали, что я стал грустен и раздражителен, и каждому я предоставил право объяснять это по-своему. Перехожу теперь к А. За несколько дней до 14 числа, в одно прекрасное утро раздался у двери сильный звонок. Я отворил. Это была она. Прежде всего она справилась о тебе и сообщила, что приехала одна в Петербург без Н. И., который по делам должен был отправиться дней на пять в Москву. Затем мы поздоровались, поцеловались весьма cordially и просто без всякой страсти (как я целуюсь с Машей, Надеждой Марковной и пр.). Тут я заметил, что она сильно изменилась и похудела, хотя лицо ее дышало непритворною радостью. Я проводил ее в кабинет; предложил чаю, так как она сильно прозябла, но она отказалась и начала живо и — как всегда бывает в подобных случаях, — крайне непоследовательно рассказывать про свое жительство, свои мучения и пр. Когда она кончила, я, желая сразу поставить отношения наши на настоящую почву, выгрузил ей весь запас аргументов и положений, заранее обдуманых и приготовленных давно уже, на всякий случай. Я говорил очень спокойно, твердым голосом, но не без волнения: голова у меня горела, на глазах навертывались слезы, руки были холодны как лед, так что А. заметила и с испугом спро-

сила: «что с Вами? Вы больны? У Вас лихорадка?». Я сказал, что это ничего, и начал было снова выгружать ей что-то о fraternité¹. Но тут она перебила меня и сказала с некоторою досадою: «Господи! зачем Вы мне говорите все это, ведь я сама знаю, да и не все ли мне равно, сестра ли я вам, дочь ли, — я знаю, что мне хорошо с Вами, без Вас было нехорошо, от Вас я ничего не требую, ни на что не надеюсь...» Потом она посмотрела на меня веселым, ясным взглядом, собрала нос на сборку, взяла мою руку и крепко поцеловала, прибавив: «Добрый Вы мой! Вот что!» Я было воспротивился, но она возразила мне: «Оставьте! тут нет ничего дурного, я это сделала в первый раз при Вашей жене и при Щиглеве». Тут разговор перешел на тебя, она все расспрашивала о тебе, соболезновала о том, что внесла много горя в твою жизнь и сообщила, что единственную целью решения ехать за границу было твое спокойствие, но что теперь, когда пришлось остаться, помимо ее воли, она, в сущности, рада этому. Затем мы болтали уже о пустяках всяких, о Пановском, Щиглеве и т. д. Вскоре пришли: Хлебников, Еня и — вообрази! Щиглев, который немало удивился, увидев А. у меня. Когда они ушли, А. просила проводить ее в Belle-Vue, где остановились Эйнварды. Видя, что на ней ничего не было кроме легкой шали, я надел ей твою старенькую шерстяную кофточку, и мы отправились. Не найдя Эйнвардов дома, мы решились отобедать тут же в отеле, откуда затем отправились к Н. Н., где застали кузена их: Митрофана Лодыженского. Просидев там до вечера, я ушел домой, предоставив Лодыженским проводить сестру в дом Фонтаны. Воротившись домой, я сейчас же разделся и лег. Безотчетная тоска моя, которая заставляла меня бегать по саду и комнатам Голицынской больницы, по моим пустым хоромам, по гостиной Сорокиных и Богдановских — вдруг совсем пропала. Осталась только совершенно сознательная и определительная грусть — по тебе и какое-то странное чувство виноватости, хотя я за собою никакой вины не ведал. Не прошло однако нескольких минут, и ко мне снова приступил наплыв злой и едкой тоски, доходившей до боли. Я уткнулся носом в подушку и горько, прегорько заплакал, приговаривая вслух: зачем мне она в самом деле не сестра,

¹ Здесь: отношения брата и сестры (франц.)

не дочь, не кузина; как бы я тогда был счастлив; я бы ведь мог любить и ласкать ее, не внося горя ни в чью жизнь. Вскоре мне стало самому досадно на себя за это и даже смешно, но тут же я вдруг понял, что А., где бы она ни была, кто бы она ни была, мне не чужая. Я успокоился и заснул глубочайшим сном и проспал до 9 часов утра. На другое утро, мы с Н. Н., по условию, отправились к А.: болтали, играли, завтракали. В два часа А. уехала с М. Лодыженским. На третий день А., по уговору, приехала ко мне для свидания с Кашеваровой. У меня была тетушка. Кашеварова надула, не пришла, и А. просидев до 3 часов, хотела ехать, но тетушка уговорила ее остаться обедать с нами. Обед был самый фругальный, но очень веселый. А. была жива и весела до невообразимости, болтала безумолку, и мы с тетушкой невольно подчинились ее болтовне, молчали и с каким-то напряженным вниманием слушали ее, обращая внимание не на то, что она рассказывает, а как она рассказывает. За обедом я вспомнил о тебе и вообразил сидящую с нами; тут меня вдруг охватило какое-то, совершенно новое для меня, чувство; не знаю как тебе и назвать его; чувство какой-то невообразимой полноты. Мне казалось, что вдруг я стал ужасно богат, что у меня всего ужасно много стало. Подобное чувство должна, мне кажется, испытывать мать, когда у ней за столом собрались все ее дети и она, глядя на них, говорит: тут, у меня, все мое; там, вне меня, все не мое. Я даже выскочил из-за стола и убежал в другую комнату, чтобы скрыть волнение и слезы, навернувшиеся у меня на глазах. После обеда мы болтали, пели; А. бегала по комнатам, рассматривала каждую вещичку, болтая без умолку, даже сама с собою. Я почти все молчал и смотрел на нее тем спокойным и ясным взглядом, которым смотрит старший брат на младшую сестру, воротившуюся из Института. Когда тетушка что-то заговорила о Н. И., А. бросилась обнимать и целовать ее, прерывая ее словами: «Бога ради не напоминайте мне об нем! мне так хорошо сегодня; таких дней у меня в жизни немного, не портите мне дня...» Тетушка совсем раскисла, глядя на нее, расплакалась, начала целовать ее, ласкать... В воздухе веяло чем-то патриархально-семейным, напомнив мне отдаленные времена моего студенчества, когда были живы Мари, Луиза. Мне казалось, как будто я годами 12—15 моложе настоящего.

Наконец, напившись чаю, А. собралась домой; я ее проводил до дому. На другой день мы условились ехать с ней к Кашеваровой, но рано утром я получил записку, что Н. И. против ожидания приедет сегодня или завтра, ранее обещанного срока, что А. расстроена приездом его и не может ехать к Кашеваровой. Мне сделалось ужасно грустно; в эту минуту я представил себе всю цепь оскорблений и грубостей, которые должны будут снова обрушиться на А., и я дал себе слово во что бы-то ни стало избавить ее от деспотизма этого бегемота, ибо величайшее добро, которое можно доставить любимому человеку, это — дать ему свободу. Мне хотелось, чтобы А. принадлежала не ему, не мне, но самой себе; тогда я был бы вполне удовлетворен. — Теперь у меня тоска, но другого рода: грусть по тебе и опять-таки чувство виноватости какой-то, хотя я ясно сознаю, что вины никакой нет, ибо я ни в Турове, ни здесь не обещал А. ничего такого, что могло бы вредить твоим интересам. По отношению к А. у меня тоже грусть, что-то вроде физического щемления в груди, которое должен испытывать всякий добрый отец, при виде дочери, несчастной в замужестве и выданной самим же отцом за негодного человека. В то же время я и по отношению к А. испытываю тоже чувство виноватости, но другого рода; ибо я твердо убежден, что стоит мне только сказать одно слово, и она навсегда свободна и счастлива, но именно этого-то слова я не хочу сказать и не могу сказать. Вот тебе голая исповедь твоего вдвойне виноватого мужа, которому подчас, ей Богу, не лучше твоего. Говорю тебе без фразы, что иногда, право, с радостью бы умер, кажется, или как-нибудь уничтожился бы. Веришь ли ты, моя бедная, моя милая, как мне тяжело писать тебе все это, зная, сколько тебе это доставит мучений. Но что делать; я не хотел..... ты сама настаивала на этом. Прости меня, родная моя, и перекрести мысленно, как я крещу тебя.

Прощай, дорогая моя.

Конфиденциально.

Я теперь бываю у Калининых раза два в неделю. Он в особенности пристает ко мне с приглашениями, ссылаясь на то, что А. гораздо спокойнее, когда есть кто-нибудь посторонний. Одна же она много и часто плачет

и ужасно грустит. Он опять принялся за старое, делает ей ежедневные сцены, доводящие ее иногда до истерики и нервных припадков. Недавно он удрал штучку, которая меня взорвала до нельзя. А. строго предписано воздержание... Он, в первую же ночь после этого, начал приставать к ней с требованиями, говоря что он «человек здоровый», у которого от воздержания может «разбовется говова»; она его стала упрашивать оставить ее в покое, пойти для удовлетворения себя куда угодно; на это он отвечал, что, имея жену, не считает нужным идти в другое место, что она затем и замуж вышла *et.. et..*, сделал ей ужаснейшую сцену, довел ее до нервных припадков и добился своего. Вследствие этого у А. хроническое воспаление перешло в острое, сделались страшные боли, тошнота, лихорадка и бред. Тогда Monsieur струхнул сам, прилетел ко мне и стал просить, нельзя ли пригласить к ним Флоринского или Крассовского. Флоринский прописал пиявки, противувоспалительное лечение и пр. Вот уже 6-й день, как А. больна и лежит в постели. Я был там вчера (во вторник); она еще не могла вставать. Свидания с нею чрезвычайно хорошо действуют на нас обоих и привели к очень спокойным, интимным и дружественным отношениям, в которых она черпает физические и нравственные силы, а я получаю значительное облегчение того тоскливого чувства, под влиянием которого я нахожусь. Отношения наши впрочем, все-таки очень теплые, и случалось, что *mi ha boscato le manina*¹; я уже не противлюсь более и привык рассматривать эту ласку как должное. Когда она поправится, она хотела писать тебе сама.

Письмо четвертое

С. Петербург, 24 октября 1868 г. (четверг)

Что с тобою, моя голубая, ты начинаешь хандрить не на шутку. Если ты так будешь тосковать, то никакая Москва и никакое лечение не помогут тебе. Тогда уж лучше сейчас же ехать в Петербург. Теперь у нас в квартире вони уже нет; если же понадобится тебе пневматическое лечение, то его можно предпринять и в Петербурге. Здесь есть такое заведение, и даже на Литей-

¹ Она мне целовала руку (итал.)

ной. Наконец, если ты боишься воздуха, то можешь ездить в крытом экипаже и с респиратором. Мне кажется, что ты даешь черезчур много воли воображению и представляешь все страшнее, нежели оно на самом деле. Я убежден, что здесь ты скорее успокоишься. Впрочем, делай, как ты полагаешь лучше. Что же касается до меня, то ехать мне в Москву на два дня не имеет смысла; да, наконец, мне и времени нет: на это потребуется четверо суток, самое меньшее. Ты только поуспокойся, милая, немного и подумай, не лучше ли тебе собраться сюда. Только ты предупреди меня, когда выезжаешь. У нас особенно нового ничего нет. Только в академии с новым инспектором все на лад нейдет. Он плохо знает наши порядки или, правильнее, беспорядки, бестактен до нельзя, да вдобавок еще ретив черезчур. В короткое время он сумел восстановить против себя не только всех студентов, но и большую часть профессоров. Из-за него даже пришлось исключить одного студента, по поводу сущих пустяков, что раздражило страшно массы, и я со дня на день ожидаю скандала инспектору. Это ужасно неприятно; тем более, что теперь как раз составляется устав и притом на возможно широких основаниях. Скандал в такую минуту может повлечь за собою ряд репрессивных мер, которые отзовутся на уставе. Это было бы очень грустно.

Что касается до Алексея, я с тобой согласен, или правильнее с Машей, что лучше ему лечиться в Москве. В том состоянии, в котором он находится теперь, везти его в Петербург невозможно. Признаюсь, мне хотелось бы, чтобы он консультировался с Захарьиным, я только не понимаю, зачем тут письмо от Боткина. Ведь Захарьин клинический профессор и, полагаю, у него прием в клинике бесплатный, как и у Боткина. Впрочем, я спрошу об этом у Боткина.

Ты спрашиваешь об Анне Николаевне, скоро ли она начнет работать в лаборатории и работает ли теперь. Она больна; лежит в постели около недели. В лаборатории же нашей академической она и не рассчитывает работать теперь, ибо не подготовлена. Она будет только еще брать уроки у Смольского, которого я рекомендовал туда. Еще я тебе собирался писать насчет Хлебникова: я думаю, твой приезд не помешает ему ночевать по-прежнему у меня в кабинете. Во всяком случае, напиши мне об этом заранее, чтобы он мог распорядиться

отысканием себе помещения. Я ему еще ничего не говорил насчет этого. Дом наш не остается без ночлежников: только что Заблочские перебрались на свою квартиру, приехала гостить тетушка; по этому случаю я сегодня обедал дома и кормил Заблочских. Ну прощай, голубушка моя, бога ради будь покойнее, а не то уж, право, лучше приезжай сюда.

Целую тебя крепко и обнимаю. Поклоны... А. Бородин.

Конфиденциально.

Не грех ли тебе, милая, спрашивать меня: боюсь ли я тебя и пр. С чего ты взяла все это? Я ничего такого не делал, что бы заставляло меня бояться тебя; да и ты наверное не готовишь мне ничего такого, что бы внушало мне боязнь. Что же касается до А., то я тебе писал, что именно теперь отношения установились те самые, которых ожидали, т. е. cordiales, искренние, но совершенно лишенные всего страстного. Оставить же А. теперь было бы не только глупо, но и бесчеловечно. Глупо — потому что она очень молода и могла бы легко надурить на свою же голову. Бесчеловечно — потому что, кроме меня, в настоящее время у ней нет никого, к кому бы она могла относиться открыто и черпать нравственные силы, без которых она непременно пропадет. Ты вспомни, что у ней нет теперь даже Щиглева. Насчет же меня не беспокойся: при моем теперешнем настроении, ей Богу, не до того, чтобы разводить амурь. Я уверен, что когда ты приедешь и увидишь все своими глазами, то будешь покойнее.

Письмо пятое

С. Петербург. 25 октября

Голубушка ты моя родная, пишу тебе опять каждый день; готов писать два, три, четыре раза в день, только бы ты была спокойна и не хандрила. Я тебе писал, что мне неудобно приехать в Москву и чтобы лучше ты приезжала сюда. Теперь я устроил так, что могу приехать, когда только ты захочешь. Бога ради пиши, моя хорошая, как тебе лучше, чтобы я приехал или чтобы ты приехала. Во всяком случае напиши скорее, чтобы я знал, что с тобою. Хотя я и не обладаю таким живым

воображением, как ты, тем не менее я, зная твою способность преувеличивать все дурное, могу предполагать Бог знает что. Пожалуйста, напиши поскорее. У меня все идет хорошо; ничего особенно не случается. Тетушка гостит опять, поэтому я обедаю эти дни дома. Теперь я работаю много: навалили мне целых три диссертации и комитетского дела. Поэтому я совершенно не хожу в лабораторию. У нас в Академии того и гляди, что будет студенческая история. Сегодня Наранович сам приходил к студентам увещевать их, почему и была собрана громадная сходка, на которой студенты вели себя довольно бурно. Не знаю, чем все это кончится, но раздражение студентов против инспектора достигло чрезвычайных размеров; его вслух ругают на коридорах, вообще все это крайне неприятно. — Ко мне приходили из редакции двух журналов с просьбою быть сотрудником и дозволить выставить мое имя в числе постоянных сотрудников. Один из этих журналов — специальный и будет издаваться под редакцией Руднева; другой литературный и популярный, издаваемый Симоновым, Жуковским и Антоновичем. Предложение сотрудничества в последнем журнале я объясняю желанием редакции заручиться некомпрометированными именами в числе сотрудников. Туда же предложили вступить и Хлебникову. Последнему это может быть даже выгодно, ибо дела его ужасно плохи. Не знаю как ты думаешь, но мне кажется, что Хлебников мог бы оставаться ночевать у нас при тебе: спит он в кабинете, целый день его нет дома, прихотей у него никаких; мне кажется, он мог бы даже пансионироваться у нас, т. е. иметь стол. Впрочем, все это ты увидишь сама. Только, пожалуйста, напиши, если думаешь ехать, чтобы я ему мог заблаговременно сказать об этом. Дела его ужасно плохи; у него почти что не более 30 р. в распоряжении (в месяц), ибо все прочее идет на уплату долга. Заблочкий начинает уже систематически посещать нас по утрам, читает газеты и кушает чай — если его застанет. Был у меня с визитом Воронцов-Вельяминов; а я на другой день поехал отдать ему визит, но уже не застал его, — он уехал в Москву. Если кто-нибудь его увидит в Москве, передайте пожалуйста, что я сожалею и пр. пр., одним словом, все что говорится в подобных случаях. Получил еще письмо от Кудашева; он «хозяйничает» (воображаю!!!) и в то же время сделался сеятелем

и деятелем. Между прочим в земском собрании он возбудил «вопрос» об образовании женщин-медиков на счет земства и по инициативе последнего. Об этом он пишет как о факте свершившемся; факт этот для меня еще далеко не конкретный и поэтому я не поверю серьезности этого дела, пока не получу более официальных сведений от самого земства. Ну прощай, голубушка. Бородин.

Конфиденциально.

Голубушка ты моя дорогая, Бога ради успокойся ты на счет меня и не рисуй черными красками всего, что происходит во мне и вокруг меня. А главное, не мучь себя отношениями моими к Анке. Пойми, что между чувством моим к тебе и к ней громадная разница. Тебя я люблю как мою жену, как женщину вполне сложившуюся, серьезную, если нуждающуюся в моей помощи, то только по случаю физических своих немощей. Ее же я люблю как девчонку, милую, душевную, которой я могу (и, по-моему, даже должен) сделать возможно больше добра; которая нуждается во мне, как в точке опоры для выхода из своего рабского состояния, куда она попала вследствие своей неопытности, молодости и крайней мягкости характера. Пойми, что она ведь не любовница же мне, не жена; если у ней, по словам Щиглева, и вырвалось желание ждать заграницею времени, когда я буду свободен, так, пойми ты, что ведь это ребячья надежда, за которую она ухватилась как девочка, не имевшая духа прямо сознаться себе, что с отъездом за границу всякая надежда, в сущности, лопнет. Пойми, что в отношениях наших нет ничего не только чувственного, но и страстного; тут только много дружбы, доверия и теплоты. Я ее люблю вроде того, как любил Джанину¹ только гораздо сильнее, ибо в ней больше данных, чем в Джанине. Когда я бываю с ней, я совершенно спокоен, ни одна грешная мысль не западает мне в душу. Она дополняет, мне кажется, то, чего недостает мне: элемент детский, т. е. все молодое, свежее, неустановившееся, крепко надеющееся на меня, что я ей хочу добра и не только хочу, но и сделаю. В ее обще-

¹ Молодая девушка, с которой Бородины познакомились в Италии, в Пизе, в 1861 году.

стве я освежаюсь от тех неприятностей, той грусти и тяжести, которая навеивается извне серьезными сторонами жизни домашней и общественной. Я с нею, если можно выразиться, отдыхаю, как отдыхает отец — в детской, старший брат — в комнате своей младшей сестры. Я люблю слушать ее рассказы, полные доверия, правды, искренности и совершенно лишенные чего бы-то ни было страстного или чувственного, хотя она вовсе не «pude»¹. Я люблю любоваться ею как Маней, люблю ее тоненький детский голосок, ее светлые глазенки, которые оживляются каждый раз, когда она меня видит, люблю даже, когда она соберет нос на сборку. Грешный человек, люблю даже, когда она иногда поцелует мне руку, что она делает так просто, естественно, бесстрастно, что я не испытываю ничего, что в эти минуты испытывает мужчина от ласки любимой женщины. Не забудь, что с минуты первого нашего свидания (когда мы поцеловались) я ни разу не поцеловал ее даже, хотя имел к тому полную возможность. В ней есть этот элемент «de pudeur» de chasteté², в высшей степени, — заставляющий забывать, что она не девочка, а женщина, и даже имевшая детей. Отношения ее к тебе в высшей степени честные и теплые. Она ужасно была тронута, когда я ей передал, что тебе все противны, кроме ее. Когда я ей намекнул на то, что тебя беспокоят отношения ее ко мне, она страшно огорчилась, говоря: «Господи! я никому в жизни не желала и не делала зла; неужели чувство мое к Вам, вносит ей столько горя; Бога ради поезжайте к ней в Москву, утешьте ее, скажите, что если ей тяжело, я готова уехать, только бы она не мучилась. Я имею право только на свое счастье, на свою жизнь, и как бы мне это тяжело ни было, пусть я мучусь за то, что имела несчастье привязаться к Вам, а не другие. Напомните ей, что ведь она сама же позволила мне любить Вас как брата; виновата ли я, что я Вас так сильно люблю? Ведь она сама же понимает, что встретив такое сокровище, нельзя же не полюбить его. Ведь я никогда не имела и в мысли отнимать Вашу любовь от нее. Я ничего не прошу и не требую ни от кого». — Пойми же, Катеринка, что в чувстве моем к ней и я от тебя ничего не отнимаю, а даю только то,

¹ Не чопорна (франц.)

² Стыдливости, целомудрия (франц.)

чего не могу дать тебе: «чувство моей любви к детям» т. е. к элементу слабости, молодости, надежд и будущности. Слышишь же! не ревнуй; не тоскуй и пойми все это.

Письмо шестое

Воскресенье, 27 октября 1868 года

Только что получил письмо твое, моя голубая. Сокровище ты мое неоцененное! Господи, сколько я тебе доставляю горя! Сколько у меня невольно лежит на совесть, просто как свинцом давит. И ты еще спрашиваешь, чтобы я позволил тебе приехать сюда? Голубка моя! Знаешь ли, что и у меня так переболело все внутри, что я дошел тоже до какого-то отупения: я знаю, что тебе больно, я понимаю это, знаю, что мне больно тоже — но все это точно во сне, точно не взаправду; мне все не верится самому, чтобы я именно мог быть причиною горя всем нам. А ведь это так; не будь меня или не будь я такой, ничего не было бы. Но опять-таки повторяю тебе, моя дорогая, что ты преувеличиваешь многое. Теперь я не только хотел бы, чтобы ты приехала, но настаиваю на этом. Тебе будет неизмеримо лучше здесь, ты успокоишься наверное, увидав своими глазами все, что происходит со мною. Я тебе выяснил разницу в моем чувстве к тебе и к Анке. Ты видишь, что одно чувство не исключает у меня другого. Поэтому, Бога ради, будь покойна. — Сегодня Калинины были у нас, пили чай, закусывали и пр. Мне было совершенно не до любезностей, и насилу выдержал вечер. Анка заметила мою сильную грусть, и хотя я ей ничего не говорил о твоём письме, но грусть моя передалась и ей. Ты пишешь о моем счастье... Какое тут счастье, когда знаешь, что из-за тебя страдают именно те, кто тебе дороже всех. Страдают совершенно безвинно и совершенно напрасну. Да ведь и я-то в сущности чем же виноват? Милая ты моя, думал ли я когда-нибудь, что принесу тебе столько горя в жизни, столько мучений. И это все за то, что ты меня так любишь! Говорят, что хорошо быть любимым всеми; это ужасный вздор. Тяжело быть любимым даже двумя женщинами, если не только любишь их, но даже просто дорожишь их спокойствием и счастьем. Приезжай скорее, моя хорошая. И куда тебе

ехать в отель, останавливаться в номерах; что за чепуха. Встреча со мною, слезы и прочее, ровно ничего не значит в этом случае. Только Бога ради телеграфируй, когда выедешь, я тебя встречу на железной дороге.

Знаешь, мне все-таки досадно на себя за мою болтливость, за это неумение щадить тебя. Ведь не хотелось мне писать тебе мою исповедь, и может быть, я поступил и умнее и гуманнее, умолчав обо всем том, что составляет причину твоей сердечной боли. Но опять-таки повторяю: пойми разницу в моем чувстве к вам обоим. Хотел тебе писать еще, да так как-то не клеится; сон клонит голову; в голове гудит какая-то пустота, а в пустоте этой темно как-то и тяжело. Милая моя, приезжай скорее; поплачь у меня на груди; дай мне поплакать с тобою. Слышишь: я жду. Приезжай скорее. А. Бородин.

Р. S. О моем здоровьи, Бога ради не беспокойся: я здоров как вол, меня ничего не берет, слава Богу!

Письмо седьмое

Понедельник 28 октября 1868 года

Только что получил твое последнее письмо, моя голубушка. Господи, сколько я тебе надделал горя. Ты просишь слова любви? — да ведь я тебе писал, что чувство мое к Анке не уничтожает той любви, которая выпадала на долю тебе, моя милая. Ведь я тебе писал, что я мерю эти два чувства разными мерками. Я сам сознаю, что поступаю честно, говоря тебе правду, но с другой стороны меня мучит совесть, зачем я поступил негуманно, жестоко, написав тебе множество вещей, которые должны были тебя расстроить. Прости меня, родная. Право, я не стою твоей горячей любви. За что я тебя так мучу? Я имею право на *мое* собственное, личное счастье, на *мою* жизнь, *мою* судьбу. Поэтому мне следовало, — как я и предполагал делать и делал, — одному переваривать, переживать и перестрадать все то, что было, хотя и невольно, создано главным образом мною. Ты пишешь, что я не рад тебя видеть? неправда. Но не скрою, что мне будет стоить много душевной боли увидеть тебя: больную, с разбитым телом и духом, по поводу меня же. Ты пишешь, будто я сержусь на тебя? с чего ты это взяла? Имею ли я какое-нибудь право или какой-нибудь

повод сердиться? и на что? неужели на то, что я же тебе внес столько горя, а ты меня любишь? Полно, голубушка моя, полно! Далее ты говоришь, что я тебе пишу просто: ты хандришь и пр. приезжай когда хочешь, делай как знаешь и т. д. Ведь ты забыла, что это написано в той половине письма, которая назначена не для тебя одной; я должен был писать сдержанно, ибо не мог прямо отвечать на то, что ты спрашивала. Что же касается слов: «делай как знаешь», то (сколько мне помнится) это относилось к тому, ехать ли тебе или ехать мне. Я имел в виду сказать тебе этим, чтобы ты исключительно руководствовалась своим желанием; поступала как лучше для тебя; не думала бы ни о ком, кроме себя. Вообще, душа моя, не требуй строгой точности в выражениях у меня, ибо при том настроении, при котором я находился и нахожусь, я часто могу написать не совсем то, что бы хотел сказать, и настроение минуты часто проскальзывает в мои письма. Я твердо убежден, что когда ты будешь здесь, ты привыкнешь спокойнее относиться и к моей тоске и к положению, созданному обстоятельствами, помимо нашей воли; увидишь, что тут нет ничего особенного. Об одном прошу: Бога ради не вини никого; ни меня, ни себя, никого. Поверь мне, что я думаю меньше всего о себе; единственная цель моя, чтобы было хорошо, по возможности, всем. Ты знаешь, я никогда не был эгоистом, и всего меньше жил для себя. Если бы ты знала, какую болью мне отзывается скорбь Мамы, болезнь Алексея, даже положение Маши, все, — веришь ли, что подчас, право, рад бы был умереть, до того тяжело. А с другой стороны, я иногда как-то намучусь до какого-то отупения, и чужие страдания и свои тогда я оцениваю как-то разумом, головою, сознанием, а не чувством. Во всяком случае, приезжай только скорее, моя родная. Будь только сама-то, Бога ради, здорова и не мучь себя-то. Целую тебя крепко, мою дорогую, Христос с тобою.

А. Бородин.

Помни, что это последнее письмо в Москву; больше не жди теперь.

Да, это было последнее письмо из семи писем, полученных Екатериною Сергеевной в течение тринадцати октябрьских дней.

Остается сказать, что Анна Николаевна Калинина позже разошлась с мужем; что, по утверждению С. А. Дианина, она сохранила с Бородиным «дружеские отношения и близость до его смерти»; при этом Дианин добавлял, что в его архиве сохранилось более семидесяти писем Анны Николаевны к А. П. Бородину на трех языках...

О том, что мучительно тяжелая для Бородина ситуация не вполне разрешилась приездом Екатерины Сергеевны в Петербург, мы знаем по... двум романсам, написанным Бородиным в ту пору. Стихи одного сочинены самим Александром Порфирьевичем, вот они:

Она все в любви уверяла.
Не верил, не верил я ей:
Фальшивая нота звучала
И в речи и в сердце у ней;
И это она понимала...

Романс, посвященный Мусоргскому, соединяет страстность с изумительной точностью формы; кажется, что все здесь от первого до последнего такта продумано, выверено, филигранно выработано... Но можно взглянуть и по-другому: не взвешено, не выверено — а вырвалось, как одно нерассуждающее признание, как вопль человека, у которого слова эти слишком долго стояли в горле. И не в словах дело, — хотя, что ж, и они говорят. Но музыка — с одною, непрерывно звучащей с первой до последней секунды, нотой «фа» в аккомпанементе, с неотвязной, маниакально повторяющейся, «висящей» надо всем, непобедимой нотой, — музыка говорит еще прямой, еще откровенней.

Точно так же и второй романс, «Отравой полны мои песни», кажется, не сочинялся, не складывался, а родился готовым; боль, выраженная словом, боль, выраженная музыкой, настолько срослись здесь, что ни слога, ни звука невозможно услышать по отдельности. Может быть, поэтому прожила больше сотни лет одна ошибка: считалось, что перевод стихотворения Генриха Гейне для этого романса сделан самим Бородиным, — тогда как в действительности тут положен на музыку перевод Л. Мея¹.

¹ См., например, издания: А. Бородин, Романсы и песни. М., «Музыка», 1975. Г. Гейне. Библиотека БВЛ. М., «Худ. лит.», 1971, с. 78.

Отравой полны мои песни,
И может ли иначе быть.
Ты, милая, губительным ядом
Сумела мне жизнь отравить.

Отравой полны мои песни,
И может ли иначе быть,
Немало змей в сердце ношу я,
И должен тебя в нем носить.

Романс поразил друзей Бородина. Страстный, почти отчаянный упрек, звучащий в нем, — фантастическая вспышка такого спокойного, незлобивого, ровного Бородина. Александра Николаевна Пургольд снова и снова пела «Отравой полны мои песни», — так пела, что Бородин ей однажды сказал: «Мне кажется, мы вместе это сочинили...»

Но мы теперь знаем настоящих «соавторов» этого романса.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

И все эти муки, вся эта душевная борьба и смятение, любовь, сострадание, тоска и нежность, — все это вместе взятое было величайшим взлетом в жизни и судьбе Бородина. Если бы боль и безвыходность момента и не переплавились в музыку, — итог был бы тот же самый. Как ни влечет, как ни заманивает нас спокойствие раз навсегда устоявшейся, заранее решенной жизни, а человек выявляется весь, как при свете молнии, в ситуации предельной, «бездны на краю». Минута приходит и спрашивает с человека все, что у него есть, без остатка: война? кораблекрушение? любовь? вдохновенье? смертный выбор? — полуответом не отделаешься, и уклониться от ответа нельзя. Мы-то склонны уходить от этих миггов, еще бы! — не всякому дано их пережить... Но в них — жизнь, самая полная, густая, глубокая; они, эти минуты любви, страдания, мужества, самоотвержения — не только мост к известной или неведомой цели; в них самих вдруг как бы приоткрывается цель всех целей, смысл существования, — если не разгадка, то намек на нее, ее предчувствие!

Время было переломное для всех балакиревцев. И всех прежде — для самого Балакирева. Как мы пом-

ним, «особенное» у Милия Алексеевича состояло, по словам Бородина, в потере интереса к музыке остальных участников кружка, в том, что он «никуда носа не кажет». Все было не совсем так. Уходил не столько Балакирев от своих учеников и сподвижников — уходили, отделялись от него выросшие ученики. Уже тогда — за три-четыре года до полного и несомненного кризиса. Именно к этой поре и Римский-Корсаков относит первые видимые признаки охлаждения: «острый отеческий деспотизм» учителя стал стеснять даже балакиревского любимца: ему шел двадцать пятый год. Николай Андреевич замечал, что неплохо побыть и в компании с Балакиревым, а еще лучше — без него... Ему казалось, что точно то же самое молча переживают и остальные.

Объективная картина мира не всегда дается нашим пяти чувствам. По всем внешним признакам происходит одно, а на деле... Звезда Балакирева, казалось, всходила все выше. Он был глава школы молодых композиторов, начинавшей получать признание: он стоял во главе концертов Русского музыкального общества в Петербурге; его деятельность приобрела международную известность...

На деле же происходило вот что: величайшая задача его жизни была исполнена и в основном исчерпана. Балакиревы не только не нуждались больше в опеке Балакирева, — она начинала стеснять их самостоятельность. Все, что знал сам Милий Алексеевич о музыке, о способах творить ее заново, о том, что хорошо и что дурно в сочинениях композиторов всех времен и народов, — все это он высказал. Он дал им все, что сам умел. Когда Римский-Корсаков задним числом упрекает Балакирева в упущениях и ошибках, это несправедливо. Балакирев «выложился» до конца. Великий учитель, — он, как любой человек, был ограничен пределами своих сил, знаний, возможностей.

Автор «Садко» и «Антара» в чем-то перерос Балакирева как композитор. Бородин уже был создателем национальной симфонии, — да, эта честь и это первенство выпали ему; юношеская симфония Римского-Корсакова не могла идти в сравнение с творением Бородина, это стало понятно сразу же. Мусоргский летом 1868 года своей «Женитьбой» совершил в музыке переворот, о значении которого никто еще не догадывался. В «Же-

нитьбе» Мусоргский был ученик Даргомыжского — не Балакирева. Это Даргомыжский сказал: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово». Это он вывел речитатив из межеумочного положения, из роли бедного родственника при «настоящих» оперных нумерах: ариях, дуэтах, хорах и т. д. Гибкость живой человеческой интонаций уже в его «Каменном госте» проникла в музыку и обогатила ее. Но Мусоргский пошел дальше: он обнаружил, что музыкою можно «припечатать» навеки живое чувство, выраженное как бы не только в самом слове, но и «за спиною» его, в умолчании, в оттенке интонации; он из гениального гоголевского текста гениально извлекал все нюансы гнева, подобострастия, тревоги, ласки, улыбки, презрения, лукавства, озорства — и музыку делал «актером», выражавшим это все с неподдельной и искренней силой. Достоинство удивления, с какой полнотой он сознавал новизну и значение своей задачи, как целеустремленно решал ее! Еще раньше обнаружилась трагедийная основа в его мировосприятии: Мусоргского попросту не интересовало все, что укладывается в прокрустово ложе повседневности; мирные и гармоничные проявления бытия для него не существовали. Где началась страсть, где вопияло горе, где маячила трагедия, — там его слух и зрение оживлялись, там была пища его воображению, уму, сердцу. Бородин был натурой прямо противоположной. Он не любил и не принимал крайностей, искал всюду светлое начало. Он не «закрывал глаза» на темные стороны действительности: его взгляд был устроен так, что избирал не худшее, а лучшее. Известно, что, проходя по улице, пьяница увидит все питейные заведения, записной донжуан — женские личики и ножки, архитектор — ошибки и упущения своих коллег; мальчишка запомнит всех встреченных собак, дворника, мороженщика, всех своих ровесников, всех калек, все, что опасно, все, что запрещено... Взгляд наш избирателен.

Бородин не понял «Женитьбу». Он не ругал ее — боже сохрани! он хвалил ее даже, но как! «Вещь необычайная по курьезности и парадоксальности, полная новизны и местами большого юмору, но в целом — une chose manquée¹ — невозможная в исполнении. Кроме того, на ней лежит печать слишком спешного труда». Отзыв этот в смягченном виде повторяет приговор, вы-

¹ Неудавшаяся вещь (франц.)

несенный Балакиревым и Кюи. Рядом Бородин пишет о «Ратклифе» Кюи: «Одна прелесть!» О первых страницах «Псковитянки» Римского-Корсакова: «...это такое благоуханье, такая молодость, свежесть, красота...»

Даже Даргомыжский, с великим удовольствием певший партию Кочкарева и хохотавший до слез, говорил, что Мусоргский тут «немножко слишком далеко хватил». Принял без всяких «но», с восторгом и благодарностью «Женитьбу» один В. В. Стасов. Опыт Мусоргского верней всего отвечал его представлениям о новой музыке, о ломке прежних, чужих, европейских, освященных преданием форм, о музыкальном реализме. Казалось бы, то были более «литературные», чем музыкальные соображения, — но факт остается фактом: Стасов оказался проницательнее всех остальных; он единственный в решающий момент горячо и безоговорочно поддержал Мусоргского. Тут направление стасовских ожиданий, пророчеств, усилий совершенно совпало со всем тем, что отличало гений Мусоргского.

Балакирев был наперсник по призванию; в нем жил инстинкт, заставлявший его кем-то руководить, кого-то учить и наставлять. С болью ощущал он убыль своего влияния. Собственно, самостоятельность учеников означала для него их потерю. Как художник, не желающий никому отдавать своих творений, ревнует их к новым владельцам, так и он не мог расстаться с своими живыми и могучими созданиями. Едва ли не все, что знали тогда о музыке Римский-Корсаков и Мусоргский, они почерпнули именно от Милия Алексеевича. Однако ж, как это ни жестоко, более они не нуждались в его указаниях. А он нуждался, ему нужно было эти указания давать. Кажется, он нарочно испытывает границы оставшегося у него могущества, своей учительской власти, когда Мусоргский показывает ему «Ночь на Лысой горе», а Римский-Корсаков — первую часть, Allegro своей новой симфонии. Балакирев отверг обе вещи. Не признал за ними никаких достоинств. Мусоргский ему не поверил, отказался подчиниться приговору. Тогда Балакирев использовал другую сторону своей власти: он не стал исполнять фантазию в БМШ. И — оттолкнул Мусоргского навсегда, окончательно и бесповоротно; внешне отношения их продолжались еще не один год, но былая теплота и доверие со стороны Мусоргского уже не возвращались. Римский-Корсаков также не сразу

подчинился мнению Балакирева: впервые поспорил с ним, доказывал, что Allegro не столь уж плохо. Но слишком тесно он был еще связан с учителем, его уверенности хватило не надолго: Allegro и все заготовки к симфонии были уничтожены. Именно с этой минуты Римский-Корсаков стал тяготиться обществом Балакирева и уходить от него все дальше и дальше. Что же касается Бородина, то он проходил в учениках совсем недолго; поворота, который дан был его знакомством с Балакиревым, да еще общих — в кружке — обсуждений Первой симфонии, некоторых балакиревских указаний по оркестровке ему хватило. Дальше ему нужны были не советчики и наставники, а соратники и слушатели. Как впрочем и всем остальным.

Наконец, Кюи закончил своего «Вильяма Ратклифа»: первую в «Могучей кучке» оперу, и она была принята к постановке. Известный к тому времени музыкальный обозреватель, оперный композитор, он теперь мог поспорить влиятельностью и авторитетом с самим Балакиревым... Все товарищи Кюи по кружку оценивали «Ратклифа» очень высоко. Милий Алексеевич и Николай Андреевич помогали оркестровать отдельные номера. Опера сочинялась несколько лет на глазах у всех балакиревцев и в каком-то смысле была их общим детищем.

II

В декабре начались репетиции Первой симфонии Бородина в РМО. Александр Порфирьевич нервничал и сердился. Просматривая расписанные по партиям ноты, он обнаружил множество грубейших ошибок. Симфония посвящалась Балакиреву. «...Я только вечером занялся пересмотром и поправкою симфонии, а также вклеиванием вновь написанных листов... Посвящения не пишу, чтобы консерватория не подумала, что только в этом заключается причина исполнения этой пиэсы в концертах Музыкального общества. А то, сохрани Бог, узнают что и симфония и «Садко» посвящены Вам: — тогда и Фаминцын, и Иванов, и Афанасьев, и Фитингоф поспешат посвятить Вам все свои сочинения. Что Вы будете тогда делать? А?» Бородин тут назвал композиторов, талант которых в кружке ставился под сомнение; Фаминцын и Иванов были, кроме того, и критиками весьма враждебного толка.

И следующее письмо к Балакиреву, — совсем сердитое:

«Проклятая симфония моя мне надоела — смерти! остается проверить кларнеты, гобой, фаготы. Остальное проверено, кое-что исправлено мною, кое-что должны исправить по моим указаниям копиисты. Вранья там была чортова куча! Рога 1-ой и 2-ой навраны были безбожно; в альтях местами переписчик въехал в виолончель, местами в скрипку. В знаках бездна вранья. Вообще, над симфонией тяготеет какой-то рок: все наши вещи шли в бесплатной школе, только моей не удалось; все шли своевременно — только моя три года ждет очереди. Ни одна не осквернена исполнением в Михайловско-дворцовском театре [...] только моя. Все переписывал Гáман, только мою какой-то сукин-сын. Остается только, чтобы автора закидали мочеными яблоками...»

«Пересылаю Вам, наконец, злосчастный продукт моего музыкального измышления.[...] Ну, батенька, я никогда не думал, чтобы проверка партий была такая адская работа!..»

Насчет «моченых яблок», разумеется, шутка... но и не совсем. Бородин волновался. «Богатыри» помнились ему, и репетиция в Михайловском дворце — тоже.

Концерт был назначен на 4 января 1869 года.

Теперь хотелось бы воззвать к воображению читателя. Представьте зал Благородного собрания (нынешний зал Ленинградской филармонии), заполненный публикой. Поищите глазами и найдите среди публики Авдотью Константиновну — мать Бородина («Тетушку»), Римского-Корсакова, Екатерину Сергеевну, Кюи, Мусоргского, академических приятелей: Сорокина, профессора Доброславина с женой, Марьей Васильевной, Боткина; наверняка была в зале и Анна Николаевна Калинина; и Стасов здесь присутствовал, разумеется, и вечный антипод его, Серов, и консерваторский профессор Фаминцын, и приятель Даргомыжского, известный певец-любитель, генерал Вельяминов... Даргомыжский лежал дома, тяжело больной, ждал известий. Сестры Пургольд были здесь, также как их дядюшка, и конечно же, Щиглев...

Римский-Корсаков вспоминал, что при исполнении симфонии не обошлось без легкого шиканья. Должно быть, память ему изменила. В том же концерте испол-

нялся его хор из «Псковитянки»; Николай Андреевич пишет, что он «прошел малозамеченным», — а на самом-то деле автора единодушно вызывали, и хор был повторен. В данном случае больше веры Балакиреву, который тогда же, вскоре после концерта, писал в Москву Н. Рубинштейну о его из ряда вон выходящем успехе, о том, что хор из «Псковитянки» повторяли. Есть и более поздний рассказ Балакирева о том, как прошла симфония Бородина. «Первая часть принята была со стороны публики холодно. По окончании ее немного похлопали и умолкли. Я испугался и поспешил начать скерцо, которое прошло бойко и вызвало взрыв рукоплесканий. Автор был вызван. Публика заставила повторить скерцо. Остальные части также возбудили горячее сочувствие публики, и после финала автор был вызван несколько раз. Тогдашний музыкальный критик, Ф. М. Толстой, ненавистник русской музыки, стал мне даже нахваливать финал и, видимо, был растерян от неожиданного успеха симфонии.[...] Умиравший Даргомыжский с нетерпением ожидал известия о том, как прошел концерт, но, к сожалению, никто из нас после концерта к нему не заехал, боясь тревожить больного поздно ночью; заехал только один приятель его, К. Н. Вельяминов, но тот, однако же, не мог рассказать ему обо всем подробно. Наутро уже не стало Даргомыжского: он скончался от аневризма около 5-ти часов утра, 5 января, а потому в следующем концерте и был исполнен под моим управлением реквием Моцарта».

Что было бы, если б и на этот раз Бородина постиг неуспех? Так и хочется из нашего далека спасибо сказать участникам того музыкального собрания, присоединиться к аплодирующим. Так много зависело от них. Они не подвели. Не испугались незнакомого, непривычного. Пересилили недоверие, может быть, и естественное, к неслыханным гармониям и ритмам; прислушались, услышали. Успех на людях, в присутствии близких, в присутствии друзей и коллег, в присутствии врагов и зоилов — великое дело. Бородин немедленно взялся за Вторую симфонию. Теперь он знал, что не обманывался в оценке своих сил и возможностей; он мог и дальше доверять себе и своим товарищам по кружку. Дороги назад теперь уже окончательно не было: он — композитор.

14 февраля 1869 г. с успехом прошла премьера оперы Цезаря Кюи «Вильям Ратклиф» в Мариинском театре. Мусоргский писал «Бориса Годунова», Римский-Корсаков — «Псковитянку». Бородин тоже задумался об опере. Балакирев в свое время предлагал ему исторический сюжет — из времен Ивана Грозного, основа для либретто была — драма Мея в стихах «Царская невеста», написанная еще в 1849 году. Однако дело с самого начала как-то не заладилось; «Царскую невесту» суждено было написать Римскому-Корсакову, но... спустя тридцать лет. Теперь же Бородин снова обратился к Владимиру Васильевичу с просьбой подыскать для него как-нибудь на досуге подходящий оперный сюжет. Стасов, весьма любивший быть полезным русским живописцам и композиторам, не отказался выполнить просьбу, но все никак не мог найти ничего подходящего. Бородин продолжал «атаковать» его, говоря, между прочим, что «оперу ему теперь больше бы хотелось сочинять, чем симфонию». Владимир Васильевич рассказал потом о музыкальном вечере у Шестаковой 19 апреля, о долгих разговорах с Бородиным, о том, как по возвращении домой ему пришла мысль о сюжете, словно бы предназначенном специально для Бородина: «Слово о полку Игореве». За ночь он составил «сценарий», включив в него отрывки из Ипатьевской летописи и из самого «Слова», и в воскресенье 20 апреля утром все эти материалы уже были доставлены к Александру Порфирьевичу. В тот день была пасха — один из лучших на Руси праздников, носивший издавна не столько даже церковный, сколько народный и полужыческий характер, — светлый, добрый, яркий; и в самом-то в нем, этом празднике, многое как бы прямо соединяло настоящее с минувшими веками и с обычаями, унаследованными от предков. Все это как нарочно сошлось и окружило зачинавшийся труд чистым и радужным ореолом. «Мне этот сюжет ужасно по душе, — писал Бородин в тот день Владимиру Васильевичу. — Будет ли только по силам? не знаю. Волков бояться — в лес не ходить. Попробую».

Если бы он, Бородин, знал, за что берется, если бы мог предвидеть, какой громадный и нескончаемый труд его ожидает, если бы мог представить себе семнадцать

лет поисков и разочарований, горы черновиков, нетерпеливые ожидания друзей, если бы ему было открыто его будущее, как открыто оно нам — как бы он поступил? Наверное, так же. Наши сюжеты выбирают нас, не спрашивая разрешения, и уж не отпускают. В «Князе Игоре» соединилось все то, что составляло силу Бородин и к чему он был призван; еще Стасов перечислял: широкие эпические мотивы, национальность, разнообразнейшие характеры, страстность, драматичность, Восток в многообразнейших его проявлениях... Тут отсутствует, правда, одно необходимое слово: история. Бородин принадлежал к немногим людям, которые не только разумом, а кожей, всем существом своим ощущают причастность своего поколения к череде поколений, сменяющих друг друга, чувствуют протяженность времени, чуют крепкие, бесчисленные узы, связывающие нас с прошлым и будущим. Простительно ребенку воспринимать «сегодня», «сейчас» как единственную данность. Прошлое для подрастающего человека — только туманное предисловие к сегодняшнему бескрайнему, необъятному дню. Где-то там, за горизонтом, мерцает и зовет завтра: там его час, там он все повернет и поставит иначе, там он себя покажет. Все, что случалось прежде, не в счет. Мир начинается вместе со мной, ему так же некуда и незачем оглядываться, он так же замирает от сладких и пламенных предчувствий... Как обязательна в отроче, в юноше эта смелость и безоглядность, как она ему к лицу! Но идут года. Человек видит следствия своих и чужих поступков; приводные ремни событий постепенно открываются внимательному и любопытному взгляду. Человек обзаводится прошлым; к слову «будет», когда-то единственному в его лексиконе, прибавляется щемящее слово «было». У кого есть что вспомнить, для того вслед за своим оживает и чужое прошлое; он вдруг обнаруживает в отце, в матери, в стареющей бабушке такого же как он бывшего ребенка. С каждым распечатанным десятилетием все короче принадлежащее нам будущее, когда-то бывшее таким необъятным; «сегодня» давно уж превратилось в бесконечно малую, практически не ощутимую величину; и видно, что вся жизнь твоя — только опушка на краю прошедших веков и тысячелетий; за спиной твоей, таинственно шумящие, а не мертвые и немые, как ты думал когда-то, стоят минувшие поколения; перед лицом

твоим уже появился молодой подрост, оттесняющий тебя в глубину, веселый, крепенький, дерзкий... Но тебя уж и самого эта глубина притягивает и манит родной, узнаваемой силой; этот глухой высокий лес — воплощение не смерти, а жизни, только жизни не минутной, вечной. Народ не есть лишь четыре-пять поколений, одновременно пребывающих на земле; народ есть вся цепь бесчисленных поколений, объединенная неразгаданной силой бессмертного языка, бессмертной музыки, бессмертной крови. Все мы — вольные или невольные носители этой тайны. Но есть люди, в которых она говорит сильнее и внятней, устами которых глаголет не время, а — времена. Бородин был из таких людей.

Стасов доставлял композитору всю литературу, потребную для «Игоря», из Публичной библиотеки, в которой служил до конца жизни и богатства которой он предоставил к услугам русских художников. Бородин перечитал, по словам Владимира Васильевича, летописи, трактаты, сочинения о «Слове», переложения его, стихотворные и прозаические, исследования о половцах; в числе его источников были «Задонщина», русские эпические песни, «песни разных тюркских народов (для княжны Кончаковны и вообще всего половецкого элемента)». Ему удалось также получить от известного венгерского лингвиста Хунфальви подлинные музыкальные мотивы, записанные последним в Средней Азии и в некоторых селениях Венгрии, где как будто бы проживали отдаленные потомки половцев... Все это, впрочем, читалось и изучалось не в один прием, а в течение полутора десятилетий. Через четырнадцать лет после памятного пасхального воскресенья, 4 августа 1883 года, Бородин писал Стасову: «Анна Николаевна Калинина (урожденная Лодыженская) была так любезна, что взялась попросить у Вас для меня Историю Карамзина, т. II, и, буде возможно «Киевскую летопись», которые оказались мне необходимы для моего злосчастного «Игоря». Если удовлетворение моей просьбы возможно, то передайте книги подательнице и владетельнице этой карточки».

К тому времени «Игорь» станет уже «злосчастливым», но в 1869-ом его долгая история только начиналась, и автор был преисполнен интереса и надежды.

«Симфония некоего Бородина мало кому понравилась. Вызывали его и хлопали ему усердно только приятели», — писал в своей заметке в «Голосе» А. Н. Серов. Это означало, что Бородин замечен противниками Балакирева, Стасова и Кюи, замечен и принят всерьез. Особенно усердствовал, преследуя симфонию Бородина, консерваторский профессор Александр Сергеевич Фаминцын. Малоудачливый композитор, он на время притих, когда узнал о возвышении Балакирева, прекратил свои нападки; злые языки утверждали, что он надеялся на ответную любезность Балакирева, на то, что его, фаминцынские творения, появятся в программах РМО... Этого не случилось, — и Фаминцын в новом сезоне с удвоенной силой набросился на «Могучую кучку», не пропуская ни одного сочинения Мусоргского и Римского-Корсакова, Балакирева, а теперь вот и Бородина. «Ратклиф» Кюи вызвал целый хор враждебных голосов. Все, кто когда-либо был обижен Кюи-критиком, все, кто имел претензии к его союзникам и друзьям, не преминули присоединиться к форменной критической травле оперы. Нельзя сказать, чтобы эта враждебная кампания была безрезультатна. В публике, может быть, не хватало еще привычки к самостоятельному суждению о явлениях новых и непривычных, а столь согласное суждение людей знающих и авторитетных способно смутить кого угодно. Враждебная критика не уставая твердила, что «новая русская школа» состоит из дилетантов, самоучек, невежественных любителей, в то время как противники их — высокообразованные музыкальные деятели. Серов, кроме того, был композитором, чья репутация оставалась неколебима в глазах многих (назовем среди его приверженцев Ап. Григорьева, Достоевского, Тургенева, Майкова, Айвазовского, Репина, Островского...). Нападки критики очень повредили Кюи в театре. Спектакль, принятый поначалу довольно тепло, стал хуже посещаться и потому почти сошел со сцены: «Ратклиф» был дан всего восемь раз за... 15 лет! Надобно сказать, что не одни только балакиревцы, тем не менее, высоко оценивали «Ратклифа». Чайковский писал в октябре 1869 года, получив клавир этой оперы: «Разбираю каждый день оперу Кюи и наслаждаюсь. Я не ожидал, что опера эта так замечательно хороша».

Через несколько лет, ознакомившись с этим клавиром, Ф. Лист напишет автору «Ратклифа»: «Это произведение мастера, заслуживающее внимания, славы и успеха как со стороны богатства и оригинальности мыслей, так и умелого пользования формой».

Разумеется, посылая стрелы в Кюи, противники метили и во всех остальных; «Ратклиф» была первая опера кучкистов (или «г.г. новаторов», как окрестили их недоброжелатели) и предоставляла случай для нападения, будучи мишенью заметной и крупной. Главной же целью отравленных критических стрел был, без спору, глава кружка — Балакирев. О Кюи-критике, который, как известно, вместо подписи ставил под своими статьями три звездочки, Серов писал: «...под этим созвездием*** прошу разуть лицо собирательное: это целый вертеп рыцарей с опущенными забралами». Что же касается оперы Кюи, то в одной из своих статей Серов посвятил ей ровно два слова, и слова эти были: «сугубая галиматья». В ответ на это Стасов писал: «Ну да, конечно, куда же бедному «Ратклифу» тягаться с негалиматей такого создания, как «Рогнеда» [...] Впрочем, есть люди, которые твердо убеждены, что г. Серов, вообще и всегда-то прежде лишенный критического дара, в последнее время окончательно опустился, выцвел и обессилел, так что теперь, что он ни напишет, уже ровно никакого не имеет значения, кроме юмористического». Статья «Ратклиф», из которой взяты эти строки, принадлежит к лучшим критическим созданиям Стасова. «На своем веку я уже несколько раз был свидетелем того, как у нас встречаются новые оперы наших соотечественников, — писал он. — Обыкновенно дело происходило так. Если опера была мало даровита и даже вовсе бездарна, но тут же заключала в себе значительную долю общедоступной пошлости в связи с самою ординарною смазливостью, банальными ритмами и плясовыми мотивами — она сразу производила очень большое впечатление на массу и тотчас же становилась истинною ее любимицею. Толпа валила слушать ее, смотрела и насмотреться не могла, любовалась и налюбоваться не могла на новое, по ее мнению, превосходное произведение. Напротив, если опера была истинно талантлива, а иногда и гениальна, если в ней было настоящее достоинство, она массе не нравилась и была ей неприятна: масса на нее смотрела как на что-то враж-

дебное для себя и даже готова была преследовать ее.

Но в это же самое время обыкновенно бывало совершенно не согласно с массой меньшинство, незначительное по численности, но значительное по своей понимающей способности, знанию и образованному вкусу. Ему невозможно, этому меньшинству, подобно остальным людям массы, упиваться совершенствами вещи плохой или бездарной, и потому оно протестовало против мнений большинства. Когда же, напротив, дело шло о произведениях действительно талантливых, это меньшинство заступалось за них и пробовало растолковать прочим соотечественникам своим, насколько они в настоящем случае были слепы, глухи или непонятливы.

Со временем верх всегда оставался за более развитым и образованным меньшинством. Что оно отстаивало, за что заступалось, тому и приходилось потом жить надолго, навсегда. Масса очень скоро и очень легко забывает своих фаворитов: она всегда с необыкновенной ветреностью готова бросаться то в одни объятия, то в другие, она без всякого затруднения отступает от своих идолов; а раз кинув их в сторону, словно измятую куклу или поношенные перчатки, позабыв их, она потом уже никогда более не делает ни единого шага, чтоб отстоять или снова выдвинуть вперед то, что еще недавно кружило ей голову. Итак, верх всегда оставался за меньшинством: оно было сознательно в своих симпатиях и антипатиях, оно дорожило ими, оно стояло за них горой и потому, наконец, доставляло им торжество».

Да, был и такой вот аспект в тогдашней борьбе: противники «Могучей кучки» обвиняли ее деятелей в том, что их творчество «непонятно», лишено вдохновения и красоты, что публика его не приемлет, что «товарищеские композиторы» пишут для самих себя и своих приятелей. Еще и в 1886 году критик В. С. Баскин в своей книге о Мусоргском писал: «М. П. Мусоргский принадлежит к так называемой «школе новаторов», о которой публика имеет весьма смутное (чтобы не сказать никакого) понятие, так как произведения представителей этой школы очень мало даются на столичных сценах, а провинция их почти и не пробовала». Стасов, страстно выступая против диктата «массы», большинства тогдашней публики, в этом случае стоит на пушкинских позициях. Стасов говорит о массе любителей привычного итальянского

сладкогласия («Ведь в своей итальянской опере они сидят и раскидают, точно в какой-нибудь теплой ванне»), о поклонниках Верстовского, Вильбоа, легкого и приятного Оффенбаха, Серова... Если насчет Серова и итальянцев мы сегодня можем со Стасовым в чем-то поспорить, то сама его борьба с установившимися, избитыми и дюжинными суждениями записных меломанов не может не вызывать симпатии. Противопоставляя «сознательное меньшинство» толпе, он, разумеется, говорит не о народе, которому в силу множества причин в ту пору к опере и симфонической музыке было еще и не подступиться... «Масса», о которой говорит Стасов — это та же «толпа», та же «чернь», против коей с гневом и презрением ополчался Пушкин. Другой великий поэт — Блок — десятилетия спустя скажет: «...нужно быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что под чернью Пушкин мог разуть простой народ. [...] Пушкин разумел под именем черни приблизительно то же, что и мы. Он часто присоединял к этому существительному эпитет «светский», давая собирательное имя той родовой придворной знати, у которой не оставалось за душой ничего, кроме дворянских званий; но уже на глазах Пушкина место родовой знати быстро занимала бюрократия. Эти чиновники и суть наша чернь; чернь вчерашнего и сегодняшнего дня: не знать и не простонародье; не звери, не комья земли, не обрывки тумана, не осколки планет, не демоны и не ангелы. Без прибавления частицы «не» о них можно сказать только одно: они люди; это — не особенно лестно; люди — дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежно и прочно заслонена «заботами суетного света!»

Вот о такого рода черни, об этой «массе» и говорит Стасов, и именно она и ее представители были, безусловно, повинны в том, что в апреле 1869 года Балакирев был отстранен от руководства концертами Русского музыкального общества. Так началась драма Балакирева, приведшая постепенно к глубочайшему и мрачному духовному кризису.

26 апреля состоялся последний в сезоне концерт Русского музыкального общества. Разнообразие и богатство программы — в нее входили увертюра Мейербера, симфоническая картина Берлиоза «Троянцы в Карфагене», Фантазия Шуберта-Листа и Девятая симфония Бетховена, — так же как искусство музыкантов и капельмей-

стера, были оценены по достоинству; Балакиреву достались овации слушателей; даже скрипачи постукивали смычками о пюпитр, присоединяясь к публике... А на другой день великая княгиня Елена Павловна дала знать Балакиреву, что в его услугах больше не нуждаются, и что теперь руководить концертами РМО будет Э. Ф. Направник. Уже через неделю — 4 мая — в газете «Современная летопись» в Москве появилось возмущенное письмо П. И. Чайковского. «...Не знаем, как ответит петербургская публика на столь бесцеремонное с нею обхождение, но было бы очень грустно, если б изгнание из высшего музыкального учреждения человека, составлявшего его украшение, не вызвало протеста со стороны русских музыкантов. [...] Г-н Балакирев может теперь сказать то, что изрек отец русской словесности, когда получил известие об изгнании его из Академии Наук: «Академию можно отставить от Ломоносова, — сказал гениальный труженик, — но Ломоносова от академии отставить нельзя».

Балакирев, для которого все происшедшее было тяжелым ударом, всегда очень ценил это письмо Чайковского. «Москва нас предупредила. Московская печать высказалась раньше нас в деле, которое в особенности касается нас, петербуржцев, и, по всей справедливости, должно считаться нашим общим делом», — писал о заметке Чайковского и в ответ на нее Стасов. И, конечно же, Владимир Васильевич Стасов превзошел Чайковского в энергичности выражений по адресу недругов Балакирева. «Они принадлежат к немецкой лжеклассической музыкальной партии, и кроме ее мелких, тощих интересов, они более ни о чем и не думают. И вот немецкая музыкальная партия у нас торжествует; русская, с Балакиревым во главе, унижена, отвергнута. Какое торжество! Не правда ли, собственно для этого у нас и заведено было Русское музыкальное общество? Ведь имя тут — только так, для вывески?..» «...Балакирев пал жертвою немецкой рутины и незнания...»

«Падение Балакирева, а вместе с ним и его «лагеря», — дело вполне логичное и справедливое», — громогласно заявил в ответ Серов. Такого Стасов не мог стерпеть. Полемика достигает высшего накала. Но об этом, — несколько позже; хронологически этим событиям предшествовало первое выступление в печати А. П. Бородина как музыкального критика.

В декабре 1868 — марте 1869-го, когда Цезарь Антонович Кюи был чрезвычайно занят хлопотами, связанными с репетициями «Вильяма Ратклифа» и с первыми спектаклями, он попросил, чтобы Бородин заменил его в качестве музыкального обозревателя «Санкт-Петербургских ведомостей». Так состоялось единственное в биографии Бородина выступление на поприще музыкальной критики. Он написал четыре статьи — развернутые рецензии на концерты Русского музыкального общества и Бесплатной музыкальной школы. «Никогда до тех пор не писавши музыкальных критик в газетах, Бородин не доверял себе и, по указанию М. А. Балакирева просил В. В. Стасова, прежде напечатания статей, просмотреть и «исправить» (как он говорил) статьи его. Но В. В. Стасов нашел возможным сделать лишь мелкие замечания», — читаем в стасовской книге о Бородине. Уже по этим словам можно понять, что рецензии Бородина рассматривались как выражение точки зрения коллективной и что именно так относился к ним и Бородин. В первой же статье, говоря о переменах в Русском музыкальном обществе, происшедших с приходом нового дирижера, Балакирева, Бородин выражает кредо свое и своих товарищей. «Наряду с произведениями классиков, при имени которых музыкальная публика привыкла испытывать священный трепет, исполняется множество произведений таких новейших композиторов, одно имя которых так недавно еще возбуждало чувство ужаса в присяжных музыкантах старого закала.[...] Общество доставляет также возможность слышать и новые произведения русских композиторов, находящихся еще в живых, даже очень молодых и развившихся вне тесных рамок музыкальной схоластики. Общество поступает в этом случае чрезвычайно честно и разумно, не стесняясь тем, что многие из присяжных жрецов Аполлонова храма смотрят на подобных композиторов, по меньшей мере, как на еретиков или каких-то нигилистов, понижающих якобы священные предания схоластической эстетики, музыкальной риторики и пиитики». В рецензиях мысли, знакомые по письмам Балакирева — скажем, о слабостях шумановской оркестровки; некоторые суждения, признанные в кружке, так сказать, на правах аксиомы. Вот Бородин говорит об увертюре Мендельсона «Морская тишь и благополучное плавание»: «После «Фингаловой пещеры» это, бесспорно, лучшая из его увертюр. Интродукция увер-

туры, изображающая морскую тишь, необыкновенно хороша и по содержанию, и по инструментовке. Как красивы эти секунды флейт, хоры струнных внизу, пока скрипки тянут высокие *p*, фигура флейты, изображающей ветерок, и проч. В интродукции нет и тени той общей надоедливой Мендельсоновской рутины, которая выработалась в последующих сочинениях этого композитора и надолго заразила музыкальный мир. Замечательно, что ни одно направление не породило столько бездарных подражателей, как именно эта мендельсоновская рутинка. Скажу более, ни одно направление не испортило так много музыкального вкуса, как именно эта внешне-страстная, внешне красивая, чистенькая, гладенькая и форменная, буржуазная музыка. Она отдалила надолго распространение сильной, трезвой и глубокой по содержанию музыки Шумана, отодвинула даже Бетховена, не говоря уже о Глинке, Шуберте, Берлиозе, Листе и других».

Эта гневная филиппика против мендельсоновской рутины последовала, как видим, непосредственно за похвалой произведению Мендельсона, таковой рутины не содержащему! (Впрочем, нет, — Бородин и здесь ее усматривает, и даже «местами во всей ее наготы»: во второй теме Allegro, «в пошлых фанфарах (в конце увертюры)». Но такие частные претензии предъявляются бестрепетно и по отношению к Бетховену, Берлиозу, Шуману, Шуберту. В «Неоконченной симфонии» Шуберта (H-moll) — причем, нужно сказать, Бородин рецензировал первое исполнение ее в России — «первая тема, в басах и виолончелях, *pp* очень хороша и сильна; быстро наступающая вторая тема положительно слаба и напоминает дюжинный немецкий вальс. В этом Allegro всего лучше средняя часть, построенная на элементах первой темы: в ней много силы и новизны (взяв в расчет, конечно, что Allegro написано в 1822 году). Все же, что построено на разработке второй темы, большею частью слабо и довольно рутинно, даже для того времени».

Приговор жестокий и едва ли справедливый; время показало, что симфония, о которой шла речь, принадлежит к вещам нестареющим. Но здесь можно видеть, какую свободу суждения оставляли за собой балакиревцы, как остро и резко высказывались подчас их мнения — и сколь раздражающей должна была кой-кому казаться эта независимость, эта непочтительность к признанным

всесветно авторитетам! Особенно «досталось» от Бородина... Вагнеру. Об увертюре к «Нюрнбергским певцам» он писал: «Трудно представить себе что-нибудь скучнее и бесцветнее этой музыки! Хоть бы одна свежая мысль в целой увертюре! Хоть бы проблеск вдохновения! И что за неуклюжее, насильственное сочинение тем! Что за невыносимая оркестровка! Медь ревет без умолку в продолжении всей увертюры и просто приводит в отчаяние; так и радуешься всякому такту, где какой-нибудь трубач или тромбонист остановится, чтобы перевести дыхание. [...] Сколько нужно иметь слепой веры в авторитеты, чтобы не видеть всей бездарности подобной музыки».

Вернемся к воспоминаниям Е. С. Бородиной — там, где она говорит о том, как они с Александром Порфирьевичем в 1861 году в Мангейме слушали оперы Вагнера. «Массивность, яркость и блеск вагнеровской оркестровки просто ослепляли нас в чудесном исполнении мангеймского оркестра...»

Не верится, что Екатерина Сергеевна самовольно распространила на Бородина те чувства, которые она одна переживала. Нет, в ту пору молодой любви они не могли разойтись в столь важном для них вопросе, не могли воспринимать Вагнера порознь и по-разному. Что ж, Бородин так резко переменялся? И да, и нет. Бородин не подписывал статьи своим именем; он выражал в них не только свое мнение. Так и кажется, что самые безапелляционные высказывания, самые резкие и однозначные оценки появляются там, где Бородин как бы доказывает свою «лояльность» по отношению к кружку, где ему приходится хоть в какой-то степени отказываться от собственных пристрастий, увлечений молодости, где осознанно или неосознанно в нем самом что-то противоречит и сопротивляется тому, что в балакиревском кружке принято было безоговорочно. Сказанное ни в коем случае нельзя понимать так, что Бородин был хоть сколько-нибудь неискренен. Как нам кажется, необходимым условием самого существования Бородина была цельность, неразорванность сознания. Он не мог, изначально не умел жить в разладе с действительностью. Став однажды в ряды новых русских композиторов, Бородин принял их взгляды на музыку; балакиревский способ критики и анализа совершил в нем решающий переворот. Бородину нужно было как можно безогляднее, истовее проникнуться теми идеями, которые исповедовали его новые товарищи;

он не хотел видеть ничего их разделяющего, он желал быть верным, честным, искренним бойцом того лагеря, на сторону которого он встал. Отказ его от некоторых симпатий и антипатий прежних лет был, можно сказать, сознательной его жертвой духу корпоративности. То же — но по другим причинам — происходило с Римским-Корсаковым: он бранил в обществе «Рогнеду», которая ему тайно нравилась; он боялся сочинить красивую мелодию, потому что у балакиревцев мелодическое творчество было тогда не в чести... В то же время — скажем со всей прямотой: возможно временное ослепление даже самых принципиальных людей, подпавших под влияние чужой властной концепции, догмы, не поверенной трезвым и благодетельным сомнением. «Бездарность» Вагнера, «устарелость» Моцарта... Это, собственно, были «антидогмы», но они оказались не лучше, чем их противоположность; как любое предвзятое мнение, они точно бельмами закрывали самые зоркие глаза, точно отнимали слух и понимание у людей, в столь высокой степени одаренных этими свойствами. Притом не поддадимся соблазну объяснять все происшедшее случайностью или странностями личного восприятия Балакирева или Стасова. В определенный момент «культ Моцарта» и вообще обожещаемой классики мог мешать балакиревцам. Всегда найдутся любители попрекать наступающее будущее состоявшимся и общепризнанным прошлым; отвердевшей лавой вчерашних бунтов старательно перегораживать дорогу всему еще текущему, пылающему, живому. Порою так и кажется, что одни и те же люди из века в век ставят палки в колеса всему новому, «побивая» Моцарта — Палестриной, Бетховена — Моцартом, Мусоргского — Бетховеном...

«Отталкивание» кучкистов от Вагнера также не было случайным и бесполезным; им предстояло сделать свой, вполне оригинальный и самостоятельный, несхожий с вагнеровским вклад в мировое искусство. Но тон, заданный в этом смысле Балакиревым и Стасовым, не был необходим. Остальные участники кружка, так критически, так независимо и свободно судившие о многих явлениях, в чем-то подчинялись слепо авторитету своих «старших». Хотя и ненадолго. Автор далек от того, чтобы попрекать своих героев. Жизнь — задачник, в котором никак не заглянешь заранее на последние страницы, туда, где готовые и безусловно правильные ответы. Да и «подгоняй»

решение под готовый ответ было бы недостойно человека и его до конца не разгаданной роли в этом мире.

Бородин с великим доброжелательством написал о первом исполнении «Антара» Н. А. Римского-Корсакова, об исполнявшихся под руководством Балакирева сочинениях Глинки, Даргомыжского, Мусоргского. Светлая натура Бородина придает и блеск и вдохновение как раз его положительным отзывам; его похвала всегда одушевлена живым чувством и солидно мотивирована; увлечение и логика в ней равноправны.

Для Бородина его «критический» опыт не прошел даром. Химия, профессорские обязанности в Академии, лабораторные исследования по-прежнему составляли основу его жизни; Александр Порфирьевич пытается — и долго еще будет пытаться! — сохранить за музыкой роль любимого досуга, необязательного, хотя и привлекательного занятия. Если остальные участники кружка безусловно считали себя призванными, то Бородин как бы находился в положении вольноопределяющегося; он, великий музыкант, странно сказать, дорожил как будто своей свободой от музыки и непрочь был утвердить ее перед остальными товарищами. Его критическая деятельность, совпавшая по времени с исполнением его Первой симфонии, круто изменила ситуацию. Быть, хотя бы и недолго, рупором всей «Могучей кучки» — значило заново осознать цели свои и своих товарищей, определить свою роль в этом кругу, значило поставить все точки над «и». С периферии событий Бородин разом попадает в самый их центр. Рецензент Бородин, не желая ударить в грязь лицом, должен был как никогда напряженно слушать музыку, анализировать, размышлять; отныне это станет его привычкой и потребностью, и письма его к жене наполнятся подробнейшими описаниями прослушанных концертов, музыкальных событий, споров и столкновений. «Коготок увяз — всей птичке пропасть». Музыка затягивала его, вбирала, всасывала, как трясина. Он противился, иногда как бы по обязанности, иногда — всерьез, и нам предстоит еще долго следить за перипетиями этой неравной борьбы.

Балакирев объявил войну великой княгине Елене Павловне (она же — Алена, она же — муза Евтерпа: прозвища, ходившие в то время среди балакиревцев и близких к ним людей), Русскому музыкальному обществу, Серову, Фаминцыну, Ростиславу, консерватории, всем их союзникам и доброжелателям и прочая. То была музыкальная война, и Балакирев собирался вести и выиграть ее средствами музыкальными. Наружно он был бодр и деятелен, — но в это время он уже начал ходить к какой-то таинственной гадалке, выпрашивал ее о намерениях своих недоброжелателей; надлом если еще и не совершился, то приготавливался. Стасов в начале лета напечатал в «Санкт-Петербургских ведомостях» необычайно резкую (даже для Стасова!) статью «Музыкальные лгуны». В ней он обрушивался на музыкальных сотрудников газеты «Голос»: Серова, Фаминцына, Ростислава (псевдоним критика Ф. М. Толстого) и «некоего г. И». «Сначала эти люди стояли врозь и даже как будто были недовольны друг другом, один на другого нападали. Но впоследствии дело объяснилось. Они, наконец, поняли, что интересы у них общие.[...] Главные... усилия блестящего квартета в «Голосе» адресуются к новым русским музыкантам. Эти последние квартету противны, ненавистны, и оно понятно: в них квартет чувствует какую-то новую, поднимающуюся силу, которая раздавит всех их, вместе сложенных, со всеми их учебниками, указками и историческими концертами, со всеми их менуэтами, со всеми их скоморошьими плясками и дураковыми сказками¹. И оттого-то квартет «Голоса» жалобно вопит и мечется, оттого-то он негодующим перстом указывает на новых русских музыкантов как на ничтожную шайку неучей и вралей, только и разумеющих что выхвалять одни других и нечестиво «разрушать» все существующее, все издавна принятое. [...] Подножка, подставленная г. Балакиреву и молодой русской музыкальной партии, для них просто праздник. [...] Неужели же, однако, нельзя быть музыкальным ретроградом и не лгать?»

Уличая во лжи, в основном, одного из четверых, Ростислава, Владимир Васильевич, надобно признаться, сам допускает некоторые неточности. Так, он отрицает, что

¹ Намек на «Рогнеду», в которой имеются и «речитатив и пляска скоморохов» и «сцена и сказка дурака».

Даргомыжский был «виновником избрания» Балакирева в капельмейстеры РМО, называет это «первой ложью» своего противника. На самом деле роль Даргомыжского тут была действительно велика, и смерть его, к несчастью, развязала руки влиятельным противникам Балакирева. Не совсем прав Стасов и во втором пункте своих обвинений; тут речь идет о том, что «концерты Общества были бесконтрольно поручены г. Балакиреву», что дирекция из уважения к Даргомыжскому согласилась на это. Мы располагаем свидетельством самого Балакирева: «...при вступлении моем в заведывание концертами Русского музыкального общества я выговорил себе право составлять программы по своему усмотрению». Стасов же грохочет: «...дирекция ни на что не соглашалась и ничего не нарушала... потому что для всего этого не было никакой надобности...» и т. д. Будучи прав по существу дела, Стасов здесь, увы, часто неубедителен и крайне груб в частности. «У нас есть люди, — пишет он, — которым статьи г. Фаминцына кажутся столь же несчастными, как телекции о музыке, которые вздумали бы нам читать наши бабушки; люди, которым писания г. И. кажутся даже и не смешными, а только что тупыми и плоскими; люди, которым г. Серов представляется в своих музыкальных статьях столько же жалким недоноском, как и в своей опере «Рогнеда»; люди наконец, для которых статьи Ростислава не что иное, как старческое бормотанье школьного учителя, окостенелого над грамматикой». Мы помним ехидную фразу Серова, ответом на которую, по существу, является вся эта тирада; и все-таки скажем: подобный метод обращения с противником не кажется нам убедительным. Всему есть пределы; Стасов, как будто бы уважавший покойную мать Серова, связанный с ним общей молодостью, целым куском жизни, не имел права на этого «недоноска» и, желая уронить врага, ронял себя. Не «мирить» задним числом хотелось бы Стасова с его оппонентами, не смягчать то, что их разъединяло. Пускай бы спор оставался острым и непримиримым, — но уверенность в своей правоте не должна переходить в нетерпимость ко всякой иной точке зрения, а страстность — в грубость, в желание унижить противника. Уж конечно, не впервой и не первый я скажу, что уважение к личности врага есть вопрос и нашего собственного достоинства... В данном случае еще одно обстоятельство делает автора чувствительным к ударам, нано-

сившимся А. Н. Серову: жить ему оставалось совсем недолго... о чем, впрочем, не догадывался ни он сам, ни тем более кто-либо из окружающих.

Профессор Фаминцын подал в суд на В. В. Стасова за клевету. На заседании Петербургского окружного суда «относительно обвинения в оклеветании Фаминцына» Стасов был признан невиновным, однако суд усмотрел в двух статьях В. В. «оскорбительный отзыв о частном лице, заключающий в себе злословие или брань». То есть, признав Стасова правым по существу дела, присяжные заседатели нашли оскорбительными некоторые его выражения, ввиду чего суд и приговорил Стасова к денежному взысканию в сумме 25 рублей и домашнему аресту на 7 дней. Стасов возмущался, дважды подавал апелляцию, но и Петербургская судебная палата, и Уголовный кассационный департамент сената оставили приговор в силе.

В сезон 1869—1870 гг. Балакирев вдохновенно, не щадя себя работал в Бесплатной музыкальной школе. Концерты БМШ начались раньше, чем концерты Русского музыкального общества. Бородин в письмах к Екатерине Сергеевне, по нездоровью остававшейся в Москве, как бы вел репортаж о споре двух музыкальных учреждений. Понятно, что все его симпатии были на стороне Милия Алексеевича. «Музыкальное общество все выжидало программы Балакиревских концертов и боялось пустить свою программу. Наконец решилось. И что за программа, просто курам на смех! Вообрази: я как-то раз в шутку сделал проэкт программы Общества, просто на смех. Что же вышло? что они как раз это и будут играть: 2-ю Симф. Бетговена, G-moll-ную Симф. и C-dur-ную — Моцарта, хор Палестрины, хор из оратории «Самсон», Симфонию Гайдна, увертюру «Оберон» и т. д. Так и вышло: это просто черт знает что! ребячья музыка совсем. Один из консерваторских хотел было сыграть концерт Листа — не пустили; боятся Елены Павловны. Направник прямо отказал, говоря, что Великая Княгиня велела ему с корнем вырвать прежнее направление. Умора!»

Как посмотришь — до чего же несхоже, до чего же разному можно воспринимать одни и те же вещи! Нам не смешны ни Гендель, ни Палестрина, ни Моцарт, ни ранний Бетховен, ни Вебер. Ничего «ребячьего» мы не найдем ни у одного из них. Наше время обнаружило в каждом из названных музыкантов какие-то новые источники

мудрости, цельности и чистоты; нечто уже утраченное и невозвратимое чудится, слышится в них (разумеется, что генделевская обнаженная, строгая мощь и недостижимая прозрачность Палестрины несхожи; говорить разом о пяти таких художниках нельзя — но от сказанного только что «через нельзя» мы, пожалуй, не откажемся); они нам дают нечто недостающее в нынешнем рационе, нечто вроде витамина, который и выделить-то нельзя, а вот ведь далеко без него не уйдешь... Но Бородину, как и его товарищам, они казались устаревшими безнадежно. Не позволим даже невольной снисходительности проникнуть в наше отношение к их горячности, к непрерываемости, которая слышится в их голосе. Полоса времени, отделяющая нас от них, шире, чем та, которая отделяла их от зрелого Моцарта, от молодого Бетховена, от Гайдна. Течение истории спрессовывает ушедшие года; чем дальше от нас — тем плотней времена и эпохи прилегают друг к другу, почти сливаясь воедино. Им казалось, что они бог весть как далеко ушли от времен Бетховена, — но приливная волна времени уже прибила их к тому же берегу; посмотрите: они почти соседи. Когда умер Бетховен, Стасову было три года... Они были соседи уже тогда, — только не подозревали об этом. Их связывают с предшественниками отношения пристрастные, несвободные от преувеличений дружбы и вражды. История музыки до них была, как сейчас видится, так осязаема, так обозрима: до восемнадцатого столетия рукой подать (с ним-то и ссорились, и мирились), а раньше — до Генделя и Баха — итальянцы... Это их, балакиревцев, ближайшие предтечи и современники, это они сами изменили картину музыкального мира, это в их времена и не без их участия музыка стала ветвиться, разрастаться вширь и ввысь, далеко в сторону от основного ствола, от первоначал, все дальше... чуть не написано по инерции: все выше, — но в музыке, как в космосе, нет ни «верха», ни «низа». Молодые русские композиторы запальчиво отталкивались от своих предшественников и учителей: да, так бывало. Обычная история. Так и стрела отталкивает пославшую ее тетиву.

Не нужно ждать от Бородина объективности: он страстен откровенно, не скрываясь. В концерте РМО ему и Шуман не мил, и оркестровка Берлиоза не греет; у Балакирева хорош и Глюк, и Мендельсон, и даже Антон Рубинштейн, которого в качестве композитора кучкисты

вообще-то не признавали. Но зато, читая письма-отчеты Бородина о концертах Бесплатной музыкальной школы и РМО, мы входим в самую гущу событий, видим их глазами участника, яростного союзника Балакирева, ощущаем самый жар борьбы, ее нешуточное напряжение.

Балакирев вступил в битву неравную, и шансов на победу у него нет. Ах, если бы дело обстояло так: на одной стороне — старомодные пьесы, отсутствие вкуса и таланта, консерватизм, на другой — новаторство, смелость, современность, талант... Нет, все было вовсе не так просто. Русское музыкальное общество располагало огромными средствами и возможностями; оно не собиралось ограничивать свой репертуар ни одними старыми, ни одними лишь современными авторами, но с достаточной гибкостью сочетало то и другое. Доля классики в концертах РМО была выше, а выбор современных пьес несколько отличался от балакиревского; но далеко не всем это казалось недостатком; публика не так уж рвалась к непривычным и новым сочинениям; большинство ее готово было изменить Балакиреву легко и без малейших угрызений совести.

А война все разгоралась. По указанию Елены Павловны цены билетов на концерты РМО были понижены до 50 копеек («на хоры») и 2-х рублей в партере; приглашена была опять заезжая солистка (чего БМШ себе, разумеется, не могла позволить). «Публики там, говорят, действительно было много — полный зал», — неохотно признавался Бородин. Балакирев обивал пороги влиятельных и состоятельных лиц, добывал средства у жертвователей и покровителей, изыскивал возможности собрать оркестрантов, уплатить им за репетиции, за аренду помещения, — да мало ли где и куда еще требовались деньги! Покровителем БМШ был наследник престола, однако от его имени выдавалось на нужды школы в год 500 рублей — одни слезы!хлопоты, уговоры, организационные дела, репетиции, добывание денег отнимали столько времени, что Балакиреву пришлось бросить уроки и занятия в институте, дававшие ему средства к жизни. В конце ноября состоялся четвертый концерт БМШ, в нем принял участие как пианист Николай Рубинштейн, директор Московской консерватории, специально для этого приехавший в Петербург; играл он концерт Листа ми-бемоль мажор. «Зал был полон и овации были сильные, как Рубинштейну так и Балакиреву, пьеса

которого впрочем, видимо, не понравилась публике. Большинство было озадачено этою восточною фантазией и ничего не поняло в ней¹. Впрочем пьеса эта, действительно, немного длинновата и запутана; в ней слишком видится технический труд сочинительства; это сознается даже поклонниками Балакирева. Жаль, но что делать. Приезд Рубинштейна громом поразил Музыкальное общество. Хотя об этом и было извещено уже заранее, но там все думали и надеялись, что, может быть, это не состоится. Когда же Рубинштейн аккуратно, как было извещено еще в первом объявлении, явился в Петербург к 4-му концерту Школы, — Музыкальное Общество первым делом отложило свой концерт, имевший быть в субботу, т. е. накануне концерта Школы. Они женировались дать концерт при Рубинштейне и без его участия: было бы действительно срамно, просто срамно. А Николай Григорьевич молодец. Он ни к кому из Музыкального Общества даже не поехал. Е. П., взбешенная донельзя всем случившимся, была настолько бестактна, что не приняла Н. Г. (Тот по обязанности являлся к ней, как всегда). От нее Н. Г. был у Раден и там спросил баронессу Раден: «что, Великая Княгиня, вероятно, нездорова? потому что не может же быть, чтобы она была так мелочна и не приняла меня только из-за того, что я играю в Бесплатной Школе». Ну уж играл он! — просто сукин сын! Чорт знает что такое! Этот концерт Листа был верх совершенства в исполнении: что за ансамбль, сколько огня и увлечения у обоих, как хорош был оркестр!»

Балакирев, можно сказать, совершил невозможное со своим любительским хором, «наемным» оркестром, с ничтожными средствами материальными — он в течение целого сезона успешно конкурировал с всемогущим РМО. Но силы и его, и самой Бесплатной школы были на исходе; резервы оказались исчерпаны, — Балакирев надорвался. Последнею каплей, сломившей его, была неудача концерта, предпринятого им у себя на родине, в Нижнем Новгороде. Милий Алексеевич именно от этого концерта ожидал и моральной поддержки, и спасения от катастрофического безденежья. Трудно сказать, отчего земляки Балакирева не проявили никакого интереса к выступлению музыканта, знаменитого по всей России да

¹ Речь идет об «Исламее» Балакирева.

и за границами. Тысячи мелких причин могли отвлечь не столь уж многочисленную культурную публику города от концерта. «Нижний Новгород, — писал Бородин Екатерине Сергеевне, — по выражению Милия Алексеевича был для него Седаном. Вместо 1000 р. (без которых, как он говорил в Москве, ему хоть в Неву броситься придется) он выручил с концерта... Сколько ты думаешь? — всего одиннадцать рублей!!! Это было для него неожиданностью. Кроме удара самолюбия, это был ужасный удар карману. Нынешний год поэтому будет Милию крайне тяжел... [...] Как мне жаль Милия!» В конце письма Бородин добавлял: «Не болтай... о неудачах Милия нашим Музикусам». Балакирев, видимо, так доверял Бородину, что рассказал ему о своих горестях по секрету от остальных членов кружка.

В следующий сезон концерты БМШ не могли состояться ввиду отсутствия средств; война была проиграна.

Война была проиграна? Да. Для Балакирева. Но не для русской музыки. Усилия и жертвы, вдохновение и творческий жар не исчезают бессмысленно и бесследно: так не бывает. Сами концерты РМО испытали мощное влияние балакиревской концепции; что ж говорить о единомышленниках, которых накал борьбы держал в постоянном и высоком напряжении! Вражда, сгустившаяся вокруг них, заставляла их сплотиться и принять вызов; то было время могучего самоутверждения «новой русской школы»; взаимная близость участников кружка достигла наивысшей степени. И в этот-то самый момент каждый из них окончательно сделался сам собой, так что дальше их ждали разные, неминуемо и бесповоротно расходившиеся дороги...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Еще в начале октября 1869 года Бородин писал жене, что у него готов первый номер «Игоря», «где сон Ярославны вышел прелестен». Одновременно он сообщил и об удачах в лабораторной деятельности. Правда, легкое облачко уже тогда появилось на горизонте: известный немецкий химик Кекуле «затронул ту область», в которой работал Бородин. «...Он выходил из совершенно дру-

гих начал и бил совершенно не на то, на что я, но все-таки, при дальнейшем ходе своих исследований, он легко мог напасть на те же идеи и преследовать те же цели, что и я, — писал Бородин. — В предупреждение возможности столкновения, я сообщил свою работу в заседании химического общества, хотя работа была еще далеко не округлена».

Весной стало известно, что Кекуле напечатал в «Известиях Берлинского химического общества» заметку с упреками в адрес Бородина, якобы заимствовавшего идею работы о валерьяновом альдегиде у него, у Кекуле. «Я этими вопросами занимаюсь уже с 1865 года¹, а Кекуле наткнулся на них только в августе прошлого года», — сетовал Александр Порфирьевич.

К такого рода происшествиям Бородин не был приспособлен. Химия развивалась в те годы необычайно бурно; золотая лихорадка открытий часто сталкивала ученых разных стран, работавших в близких направлениях. Бородин совершенно не умел да и не хотел отпихивать локтями соперников. Честный в любой мелочи до щепетильности, он должен был болезненно остро переживать демарш Кекуле. Не раз и не два в его научной жизни случится так, что сделав большое или малое открытие, он при первой же вести о других претензиях в той же области отступит без спора. Он со страстью работал в лаборатории, но драться с кем-то за первенство, да еще обороняться от беззастенчивых упреков, доказывать кому-то, что он честен и добропорядочен, — нет, тут слишком страдала его гордость; жизнь его сызмала была построена так, что сомнений этого рода по отношению к нему не возникало.

В музыке и музыкальных занятиях также не все было ладно. Бородин начал было писать оперу, — но последовали неприятности с Кекуле, отвлекшие его внимание в иные сферы. Все множество повседневных дел по-прежнему требовало сил и времени; Бородин прикинул, как свяжет его огромный музыкальный труд, — и решил от него отказаться. Тут же и доводы нашлись в пользу такого решения, много доводов, один другого убедительней. «Куда мне, в самом деле, связываться с оперою, —

¹ Бородин ошибся: не в 1865, а годом раньше он впервые обратился к названной теме.

писал он Екатерине Сергеевне 4 марта 1870 года. — Труд и потеря времени громадная; постановка неверна еще; да если и постаноят, то где мне возиться с целым ворохом мелких хлопот, неприятностей, с дирекцией, с артистами, с репетициями и пр. А сюжет, между тем, как ни благодарен для музыки, вряд ли может понравиться публике. Драматизма тут мало, движения сценического почти никакого. Наконец, сделать либретто, удовлетворяющее и музыкальным и сценическим требованиям — не шутка. У меня на это не хватает ни опытности, ни умения, ни времени. Успех оперы ничем не обеспечен. Ошибочное третированье сюжета с драматической и сценической стороны может открыться только впоследствии, и поправить дело будет так же трудно, как и в Радклиффе. Ко всему этому я пришел после многих попыток сделать несколько нумеров из тех материалов, которые имелись в готовности. Наконец, мне опера (не драматическая в строгом смысле) кажется вещью неестественною. Это мне резко выяснилось после того, как я слышал «Пророка» на Марининской сцене. Притом же я по натуре лирик и симфонист, меня тянет к симфоническим формам. Пока подожду и буду писать, что будет писаться, не задаваясь никакой большой задачею». Письмо замечательное. Важней всего тут — трезвое понимание слабых сторон сюжета, его коренных изъянов, в упрямом противоборстве с которыми позднее будет развиваться опера.

Недостаток сценического движения, драматизма все-таки ощутим в «Князе Игоре» — но сколько сделал Бородин, чтобы его преодолеть! А то, что он говорит здесь о либретто? Можно радоваться, что композиторы «Могучей кучки» проявили в той или иной степени и литературную одаренность, но как подумаешь, сколько месяцев, а то и лет напряженного труда сберегло бы каждому из них профессионально написанное либретто — право, досада берет. Тут не без греха Владимир Васильевич Стасов, считавший обращение в этих случаях к профессиональным литераторам излишним. Кто бы помешал Бородину, Мусоргскому вмешаться в написанное поэтом-соавтором, приложить и свою руку к тексту или побудить литератора к переделкам, необходимым по логике музыкального развития? Стасов как огня боялся ремесленничества в искусстве и предостерегал от него русских художников, — и здесь он был прав, но, как всегда, в правоте своей не умел остановиться. Ремесленничество

вредно, а владение ремеслом — благотворно; надо быть мастером в деле, за которое взялся. Как литераторы Кюи, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков были, безусловно, любителями. Порою в сочетании с тут же рождающейся музыкой появлялись и тексты, неотделимые от нее и бывшие редкостной литературной удачей; таких удач на счету в особенности у Мусоргского и Бородина вовсе немало. Но и неудачи есть, и тоже заметные.

Чтобы утешить Стасова, донельзя расстроенного отказом Бородина от писания оперы, Александр Порфирьевич посвятил ему новый романс, вернее — музыкальную балладу «Море». Стремительная и бурная музыка в сопровождении, более сложном, чем когда-либо раньше у Бородина, напряженная мелодия, множество острых и неожиданных поворотов, романтический сюжет, развитый с неподдельным волнением, — все это совершенно подкупило Стасова. Он писал, что романс этот, по его мнению, «самый великий, по силе и глубине создания, из всех, какие до сих пор есть на свете». Балакирев также ставил «Море» высоко, даже выше «Спящей княжны», которую весьма ценил. Сегодня как-то трудно разделить полностью эти восторги. В «Море» очень ощутимо влияние немецких романтиков, а бурная экспрессия кажется несколько внешней; текст отдает стилизацией. Стасов, впрочем, рассказывал, что первоначально существовал другой текст; «та самая музыка, которую мы теперь знаем, рисовала молодого изгнанника, невольно покинувшего отечество по причинам политическим, возвращающегося домой — и трагически гибнущего среди самых страстных, горячих ожиданий своих, во время бури, в виду самых берегов своего отечества». В окончательном варианте молодой герой баллады «с добычей богатой... едет домой с камнями цветными, с парчой дорогой, с жемчугом крупным, с казной золотой — с женой молодой». Отказ от «излишнего» вольномыслия, от всяких политических намеков для Бородина начала семидесятых годов, конечно, не случаен. В этом смысле интересно процитировать письмо Стасова Римскому-Корсакову, в котором Владимир Васильевич резко и без малейших околичностей говорит обо всех участниках кружка. Написано оно 19 апреля 1870 года, — месяца через полтора после того, как Бородин закончил балладу и посвятил ее Стасову. «Знаете ли, из всей компании Вы — самый мыслящий — это, кажется, я уже раз говорил Вам, ну да ничего, мне вот

пришлось повторить. Кюи — страстный, но вовсе не думающий и ровно ни об чем не способный думать, у него головы нет, да притом же, при всем таланте, ему ровно ни до чего нет дела. Мусорянин — просто выходит из всех пазов вон, по свойству своего таланта, но головою довольно ограничен, критики никакой и ни о чем, не надумывается и не размышляет ровно ни по случаю чего бы-то ни было; Бородин — ужаснейший консерватор и никогда не сделает ни единого шага вперед в чем бы-то ни было, а скорее 100 шагов назад, он все бы с удовольствием заморозил, чтоб ничто не двигалось, — не странность ли все это! Что за странный склад людей талантливых не только у нас, да и везде на свете! Что за соединение золота с какой-то самой дрянной известью или глиной, что за засорение таланта — вечным хламом? Балакирев — орел во всем музыкальном, и мне нечего прибавлять к тому, что каждый из нас чувствует до корней души, и такого другого человека мы на своем веке, конечно, не увидим; но его Ахиллесова пята — это прозаичность и кривизна головы во всем немзыкальном. Зато во всем музыкальном — что за человек!!! Ну а Вы: никто больше Вас не предан своему делу, никто больше Вашего не сидит вечно на своей университетской скамье. [...] Знаете ли, чего (по-моему) одного Вам недостает? Это страстности. Но это приходит от обстоятельств: стоит прийти той минуте, когда Вас кто-то и что-то завертит и окунет в омут, и тогда Вы запоете петухом. Этого не может не случиться раз, и в виде сильного пожара. Что у Вас достаточно для него есть пороха — в том я не сомневаюсь, видя, с какою страстью Вы любите Милюя».

Тут надобно иметь в виду одно из свойств стасовского красноречия: чтобы возвеличить один предмет, ему порой необходимым казалось пригнуть, принизить какой-нибудь другой, взятый для сравнения или ориентира; прием известный и распространенный. И горячность маститого критика, и его манеру в любом данном случае хвалить или порицать до упору, до самого края, все это нужно принять во внимание. И все же нельзя не видеть, что пронизательность его ему здесь несколько раз изменяет. Уж если искать «самого мыслящего» музыканта среди кучкистов, то им следует признать Мусоргского, жившего одною лишь музыкой, вложившего в нее всю душу, составившего к тому времени систему воззрений, поражающих самобытностью и глубиной.

Что же касается А. П. Бородин, то здесь, нужно думать, Стасов говорит более всего о музыкальном консерватизме; ведь он еще и после смерти Бородина упрекал его в том, что тот «не пожелал держаться прогрессивных форм нового времени, которые присутствуют в «Каменном госте», «Борисе Годунове» и «Хованщине», что он сохранял «общепринятую форму арий, дуэтов и пр., с их условною симметричностью и квадратностью», что и в симфонии Бородин «не пожелал стать на сторону коренных новаторов, а предпочел удержать прежние условные, утвержденные преданием формы». Сказалась и его досада по случаю тогдашнего «отречения» А. П. от «Игоря», и перемена текста в «Море», о которой он, видимо, глубоко сожалел. Но, может быть, и общественная позиция Бородин в эту пору представлялась Владимиру Васильевичу недостаточно решительной и боевой? Сам он, бесспорно, был гораздо радикальнее в своих воззрениях; в частности, социальная критика, обличительная литература в лучших ее проявлениях всегда была ему кровно близка.

Не совсем так смотрел на тот же предмет Бородин. Еще в 1866 году он в шуточной «поэме» изложил пожалуй что и нешуточные свои соображения...

Я не сатирик, я поэт;
Сатиры все и обличенья
(Пусть говорит, что хочет, свет)
Суть нигилизма порожденья,
Родные сестры клеветы,
Плоды бездарности суровой,
Плоды духовной нищеты
И публицистики дешевой,
Ругать других всегда готовой.
Мне обличенья все — противны!
И что в том проку, наконец,
Что там какой-нибудь подлец
Описан — «обличен»? Мне гривны,
Гроша за это жалко дать;
А где уж самому писать!

Поклонник чистого искусства,
Я не могу им торговать
И только при наплыве «чувства»
Могу строфы свои писать.
Зато, когда луч вдохновенья
Меня внезапно озарит,
Мой дух под небеса парит,
Рекою льются песнопенья,

Живых, картинных представлений
И фантастических видений,
Мыслей и рифм летучий рой
Вдруг пронесется предо мной...

И все же не станем принимать эти строки совершенно всерьез; в них можно уловить и подлинные настроения Бородина, и в то же время обязательно нужно знать меру; автор рассмеялся бы или рассердился, если б узнал, что кто-то глубокомысленно изучает его юмористический набросок, морщит нос, делает выводы. Здешний «противник нигилизма», что ни говори, карнавальная маска, костюм ряженого, — но только выбор костюма принадлежит Бородину, и вот он-то не случаен. Что ж до «чистого искусства», то в 1870 году и ему досталось. Екатерина Сергеевна, жившая в Москве, от кого-то узнала, что Бородин написал «антологическое стихотворение»; она спрашивала, что за стихи, почему он их не пришлет ей... Бородин отвечал, что стихотворение — пародия «на наших доморощенных греков»: на Фета, Щербину¹, что писать о нем «не стоит». Екатерина Сергеевна настаивала; наконец, пародия была прислана.

Поэт и Нимфа

Громко в лесу одинокая пукала нимфа,
Громко тем звукам послушное вторило эхо,
Звуки до чуткого уха поэта достигли,
Миру поэт их поведал в стихе сладкозвучном.

(Новый Фет)

Не будем здесь защищать антологический род поэзии, так блистательно представленный в стихах Батюшкова, позднего Пушкина, а затем Мея, Щербины, Фета. Трудно сердиться и на пародиста: он, признаться, сумел уловить и передразнить интонацию русско-«античного» стиха. Перед нами всего лишь шутка, но она позволяет догадываться, что крайние выражения вечного, вневременного в искусстве вызывали в Александре Порфирьевиче нескрываемый скепсис.

¹ Поэт Н. Ф. Щербина в 1860 году вместе с Балакиревым путешествовал по Волге: они записывали русские песни, составившие потом знаменитый балакиревский сборник.

«Хотел тебе написать еще вчера, да смерть устал; целые дни теперь провожу в лаборатории, с самого утра. Теперь, кроме моего личного дела, прибавилось немало работы с Николаем Максимилиановичем, который как ни мил и ни любезен, а все-таки поглощает у меня целые утра; чуть не целые дни. Он приходит часов в девять утра и остается до часу, и даже до двух иногда. Потом, после него, приходится подчас кое-что сделать, для него же: профильтровать, выпарить, высушить и т. д. Без этого его анализы протянутся до самого лета. Иногда нужно бывает навести кое-какие литературные справки, вычислить некоторые данные опыта, чтобы не провратиться при дальнейшей работе. Все это берет немало времени. [...] Музыка теперь в загоне. Решительно нет времени. Милый и музикасы на меня сердятся, и первый даже как будто дуется немного...»

Николай Максимилианович был председатель Минералогического общества, работавший в лаборатории Бородина по рекомендации Николая Николаевича Зинина. Но прежде всего это был человек с необыкновенной родословной. Прадед его, виконт де Богарне, с 1789 года член Национального собрания Франции, командовал Рейнской армией и был гильотинирован в 1794 году. Пробабка, Жозефина, вышла замуж второй раз — за Наполеона, императора Франции. Дед, пасынок Бонапарта, был вице-король Италии; вторым дедом, по материнской линии, стал русский царь Николай I. Николай Максимилианович был герцог Лейхтенбергский, князь Романовский, генерал-адъютант, — а также известный минералог, обладатель уникальной коллекции минералов. Позднее его назовут автором нескольких химикокристаллографических исследований. Ими-то и занимался он в лаборатории Академии. «Ты спрашиваешь, как я зову герцога Лейхтенбергского — разумеется, «вашим высочеством»; как же иначе? нельзя же звать его «голубчик Николай Максимилианович». Мы с ним очень сошлись. Это такой милый, такой симпатичный молодой человек, и притом джентльмен до конца ногтей. Как с ним не деликатничай, как ни будь любезен — все останешься у него в долгу. При всем этом он прост и естествен в высшей степени, умница, весьма начитан и относится к науке серьезно. [...] Но что смешно, так это

отношение других, прочих ко мне; Козлов¹ и другие относятся ко мне как будто почтительнее немного, точно я издаю от себя запах великого князя, остающийся во мне вследствие частого посещения высокого гостя». «...Утра у меня все уходит на занятия с великим князем, который со мною мил и душевен до невозможности. Я, по выражению Маши, кажется прельстил его, и он действительно пускается со мною иногда в такие откровенности, что я даже удивляюсь. А между тем, наши музыкасы меня все ругают, что я не занимаюсь делом, и что не брошу глупостей, т. е. лабораторных занятий и пр. Чудаки! Они серьезно думают, что кроме музыки не может и не должно быть другого серьезного дела у меня. Милый тебе, вероятно, будет ругать меня.»

Ах, время, — какой оно мастер переворачивать с ног на голову, забавляясь, менять все местами! При всем уважении к минералогическим заслугам его высочества, да, в конце концов, и к его родословной — ведь в ней сама история засела! — сегодня, пожалуй, мы никак не вспомнили бы его, если б не его пребывание в лаборатории Бородина. Уж конечно, считалось, что герцог оказывает честь профессору химии, любезно принимая его услуги. Сегодня нам нужно хорошенько поскрести в за-тылке, чтобы решить: кто кому оказывал честь?

III

Жена была в Москве; месяц за месяцем проходили в разлуке; порой он в суете забывал о своем одиночестве, порой ощущал его до боли остро. «Приедете Вы — и квартира наша зацветет жизнью, проснется, начнет дышать; каждый уголок станет жилым, и квартира перестанет быть складочным местом мебели и всякой домашней утвари; перестанет быть амбаром, где только спит сторож, стерегущий хозяйское добро по ночам. Сторож этот — я. А именно спать ужасно скучно в пустой и нежилой квартире. Ты знаешь, странное чувство это: тишина, именно абсолютная тишина мешает иногда спать. И как я бываю рад иногда, когда слышу храп полупьяного сторожа, легкую поступь «барыни на коридоре», скрип сапог консерватора или даже треск

¹ Тогдашний президент Академии.

паркета. Это странно, но верно. Покой требует жизни вокруг себя, жизнь — движения, движение немыслимо без звуков... На днях я ужасно радовался тому, что лопнула труба в коридоре и ее пришлось чинить по ночам. Стук, ходьба, движение, жизнь. Теперь для меня как нельзя более понятен смысл одной юмористической брошюрки на немецком языке: «Über das Unglück allein zu sein und besonders allein zu schlaffen», eine von der Akademie dei Sposi gekrönte Preisschrift¹. Я читал ее очень давно, еще в детстве, и не понимал тогда всей глубины ее смысла, полного житейской правды. Я думаю, даже Ева создана собственно для того, чтобы Адаму не было скучно спать в пустом раю. Пустом — потому что кроме Адама там были только бесплотные ангелы да скоты. Не было человека. А с другой стороны нельзя не сообразить, что зачастую Адаму не спалось именно потому, что у него была Ева. Вот тут и раскидывай умом...»

Бородин иногда пишет, иногда же «проговаривается» близким о своей тоске; когда Екатерине Сергеевне становится об этом известно, он пугается и уговаривает ее не верить никому, и ему тоже не верить: он вовсе не скучает, ему некогда скучать; все пустяки — лишь бы здоровье ее «не развихлялось» снова... Но проходит время — и снова он не выдерживает, пишет: «Скоро ли я тебя увижу? Мне подчас страх как хочется видеть тебя и быть с тобою. Да и что это в самом деле за существование наше бездомное! Точно бобыли какие-нибудь, женатые-холостяки, вечные жидаы... По правде сказать, мне страх как надоел такой порядок вещей — самый беспорядочный, для таких порядочных людей как мы с тобой. Ведь мы с тобой порядочные люди, не правда ли?»

Положение осложнялось еще и тем, что в доме, где квартировала Екатерина Сергеевна, атмосфера была весьма мрачной. «...Мне кажется, немаловажную роль относительно расстройства нервной системы играет и вся

¹ «О несчастье быть одному и в особенности спать в одиночестве. Работа, удостоенная премии Академии счастливых супругов». (нем.) Заодно поясним, что «консерватор» и «барыня на коридоре» — это хранитель анатомического кабинета и его жена; двери их квартиры выходили в тот же коридор, что и двери бородинской квартиры.

эта московская обстановка и среда — душная, гнетущая своими тяжелыми картинами, своею роковою безысходностью, хроническою, до отупения мозолящею душу, тоскою. Не может это не отозваться на субъекте таком впечатлительном, как ты, когда я — во всяком случае менее восприимчивый к московским влияниям, — подчас задыхаюсь в этой атмосфере. Я понимаю всю нравственную связь твою между тобою и матерью, тобою и братом, тобою и близкими тебе теткою, Надей и пр. Но согласишься, что знать о страданиях даже близких людей или видеть ежеминутно воочию эти страдания — две вещи разные. Человек так создан и вменить ему это в бессердечие нельзя. Мы все таковы. Я знаю это по себе и проверял на себе неоднократно. Но кроме этой стороны несчастий и страданий, на меня болезненно действовала вся эта буржуазно-чиновничья обстановка, весь склад мыслей и жизни, весь антураж, которым обставлены Алексей и пр. Вся эта масса предрассудков, местных болячек, выработанных московской распушенностью, суеверием и пр., на меня действует всегда убийственно угнетающим образом. Ты этого, может быть, в десятую долю не чувствуешь — ты выросла в этой атмосфере, всю жизнь твою приучалась ко всему этому, дышала этим воздухом, сжилась с этими понятиями, взглядами, влияниями. Но все же сумма всего этого отзывается и на тебе невольно, бессознательно».

Однажды товарищ Екатерины Сергеевны по несчастью, бравший сеансы лечения сжатым воздухом «под колоколом» там же, где и она, рассказал ей массу жутких подробностей о смерти больного-астматика. Екатерина Сергеевна, мучившаяся астмой, была потрясена. В письме своему мужу она рассказала обо всем этом. «Какой это болван тебе рассказывал всю эту чепуху? — всполошился Александр Порфирьевич. — Чтоб ему самому задохнуться за это. И что он тебе нагородил! Всякая смерть некрасива; да скажу более, агония при всякой смерти, не скоростижно-мгновенной, а медленной и притом в памяти — сопровождается группой припадков астматического характера, так как при этом всегда бывает отек легкого. Ну что же до этого за дело? Когда-нибудь надобно же умереть, и этого никому не избежать. Неужели же однако постоянно думать о минуте смерти и рисовать себе подробную картину агонии? Да ведь этак нельзя покойно прожить ни минуты, ибо все суще-

ствование будет тебе казаться наступлением медленной агонии. Как хочешь, но человек в трезвом, не раздраженном болезненно уме не должен и не может травить себя подобными картинами. Подумай, что и ты, и я, и все мы когда-нибудь умрем, а как умрем — никто не знает; и слава Богу! Не прибавляй бога ради новых нравственных мук к существующим уже физическим. Пошади себя и главное — не проси никого рассказывать тебе ничего в этом роде. Я ведь тебя хорошо знаю. Ты любишь всякие нравственные шпанские мушки. Но это нехорошо, поверь мне. Избегай этого, хоть для меня. Ты не можешь себе представить, как мне больно все это. [...] Надобно брать с жизни что можно и мириться с тем, что портит нам ее до известной степени. Что делать: унывать еще хуже. А больной твой пусть никогда тебе ничего не рассказывает. Дурак! Как можно нервной, больной женщине, да еще мнительной и расстроенной, рассказывать картины смерти, да еще с подробностями, которые выворачивают душу и у здорового человека, с крейкими нервами!»

Отношение к смерти много говорит о каждом человеке, тем более — о художнике. Столетие назад смерть стояла гораздо ближе к каждому живущему; между ней и людьми было гораздо меньше преград. Оно, конечно, и сегодня ни один смертный не защищен от неожиданной, внезапной гибели, но она представляется все-таки происшествием сверхчрезвычайным. В середине девятнадцатого века многие болезни косили людей безвозбранно; медицина была еще очень слаба, хотя и начинала мало-помалу вставать на ноги. Смерть была повседневностью, с ней коротко оказывалась знакома каждая семья; она вовсе не обязательно ожидала старости: дохнёт чахоткой — и в месяц-два сгорит человек в цвете сил и молодости; а не то, глядишь, она, смерть, с холерой под руку пройдет по Северной Пальмире, небрежно и бессмысленно тыча своим костяным пальцем: этот, этот, вон та, и еще, которая рядом, и этот тоже... Стасова смерть возмущала. Он бунтовал и ругался; он обличал в своих письмах смерть в несправедливости, как будто она была очередной противник, с которым можно и нужно полемизировать и которого логикой и горячим убеждением можно уложить на лопатки. Он не хотел, он не желал смерти. С какой стати ему, полному сил, мыслей, планов, помирать? Спорит со

смертью и Мусоргский, но его спор иной: это схватка, в которую он вовлечен весь без остатка. Смерть отталкивает и притягивает его; он должен понять, он не может уйти в сторону! «...эта бездарная дура смерть косит, не рассуждая, есть ли надобность в ее проклятом визите», — вот так, для Мусоргского смерть «бездарна», потому что противостоит творческой силе, человеческому дару созидания. Он с негодованием отвергает утешение, что, мол, то, что успел человек сделать, останется. «Если «он» не попусту жил, а создавал, то каким же негодяем надо быть, чтобы с наслаждением «утешения» примиряться с тем, что «он» «перестал создавать». «Нет и не может быть покоя, нет и не может быть утешения — это дрябло», — писал Мусоргский Стасову под впечатлением от смерти близкого человека, художника и архитектора Гартмана. Мусоргский трагик; он не раз еще пойдет навстречу смерти и взглянет ей в лицо хмуро и жестко, не отводя глаз; его разговор со смертью станет музыкой, которая и через столетие покажется современной, только что явившейся на свет.

Бородин от смерти отворачивался, не хотел думать о ней до срока, и не только о ней: предвестники и посыльные смерти, старость, безвыходная болезнь, страдание, безумие, нищета его отвращали; чужая глупость и незадачливость мучили. Однажды пришли к нему родственники — отец незабвенной кузины Мари, Владимир Петрович Готовцев с сыном Саней. «Пребывание их у меня, — писал Бородин Екатерине Сергеевне, — произвело на меня очень неприятное и тяжелое впечатление: и бедно-то, и глупо, и ни к чему не способно. Просто жалость смотреть. Зачем такие люди живут на свете».

«Зачем такие люди живут на свете...» Что это? Ответим: тот же самый оптимизм, та же солнечная бородинская ясность, но только — с изнанки... Сказать ли, какие «достоевские» бездны откроются, если продлить мысль, вырвавшуюся в письме, до логического ее завершения; если хоть на миг, хоть предположительно и слабо усомниться в праве неудачливых, несчастных, по видимости «никчемных» людей на их долю земли и солнца, — сказать ли? Нет, и без того уж автор предвидит возражения и недоумения читателя. Зачем мне, читателю, — скажет, быть может, читатель, — оптимизм с изнанки, когда можно любоваться им с лицевой сто-

роны? Зачем это вы вставляете всякое лыко в строку, зачем цепляетесь за каждое «но», словно бы желаете стащить своего героя с пьедестала, на котором он находится по праву? Скажем же открыто и решительно: нам представляется бесплодным и вредным — рисовать предметы, отрезая от них тень, которую они отбрасывают.

Не один раз — а много, много раз Бородин признавался в своем отвращении к «дурачкам и дурочкам», ко всему беспросветному, мрачному, безвыходному. «Это, что по Достоевскому называется, надрыв... Мама, как и ты ужасно любит травить себе и другим душевные язвы. А как вы вместе сойдетесь, воображаю, что это такое! Надрыв, — надрыв такой, что хоть вон беги из дому. Господи, когда же это все сколько-нибудь прояснится, просветлеет; мрак и мрак, в прошедшем, в настоящем и в будущем!»

Бородин признавал и, можно сказать, любил слабость, — но слабость, которой он в силах помочь, которую есть шанс поднять и вывести на дорогу. Он сам это поразительно точно назвал: его привлекает «элемент слабости, молодости, надежд и будущности».

И — обратим сызнова внимание на то, сколь же не схожи были Бородин и Мусоргский. Вот идеал Бородина: молодой поповский сын из села Давыдово, «образец русского парня» — «умный, способный в высшей степени, деятельный, работающий, умелый на все, за что не примется, а принимается он за многое, чуть ли не за все. А что за сила! Надобно видеть, когда он молотит, пилит, дрова рубит — сердце радуется... совсем Илья Муромец».

Мусоргскому описанный Бородиным человек был бы неинтересен. Его атлетизм скорее способен был бы вызвать в Модесте Петровиче раздражение, тот же протест, какой вызывали в нем античные статуи. Герой Мусоргского — человек безвыходной, беспросветной беды, в том числе и человек никому не нужный: тот же дурачок деревенский, юродивый... И от дурачка из «Светик Савишны» до юродивого из «Бориса» — гигантской, над целой Россией раскачивающейся и причитающей фигуры — оказывается полшага. Пронзительность, безысходность несчастья Бородина терзает нестерпимо; он бы все, кажется, отдал, чтобы бежать от этой «мги». А у Мусоргского здесь-то как раз глаза широко открываются,

сердце бьется: это его епархия; это струна, на которую все в нем отзывается волею сочувствия, узнавания, сострадания и... — художнического восторга, поскольку всякий художник способен открыть лишь те страны, которые есть в нем самом или которых предчувствием и ожиданием он полон. Нет ли чего болезненного, горького, «надрывного» в этой тяге Мусоргского к трагической стороне бытия, в этой повернутости его существа в сторону людского горя? Есть, как не быть. Есть больное, есть безысходное в его характере, в его судьбе. Но каким потрясающим порывом к солнцу и любви оборачивается его боль и его тьма, какая силища сквозит в самых обреченных его фигурах!

Кого ж предпочтем мы: Бородину? Мусоргского? А это уж зависит от того, кто как устроен. Можно и не выбирать. Можно разглядеть, что натуры Бородина и Мусоргского — словно разорванные насильственно и временно половины одной всеобъемлющей и всепонимающей натуры; да они и были, и, может быть, остаются по сию пору двумя проявлениями именно одного и гигантского характера, одной и гигантской — русской, российской натуры: и особенных ее свойств, и черт ее общечеловеческих; ее Пушкина и ее Достоевского...

IV

«Элемент слабости, молодости, надежд и будущности» с некоторых пор был представлен в семье Бородиных маленькой воспитанницей, Лизой Баланевой. Ее имя все чаще появляется в переписке Бородиных; девочка живет пока с Екатериной Сергеевной в Москве, но Александр Порфирьевич хлопочет о ее будущем, думает, куда отдать ее учиться. Один из вариантов — патриотическая школа. «Там дети всех сословий, — мещан, купцов, чиновников, большей частью бедных очень. Учат там: русскому языку, арифметике (4 правила и дроби), закону божию, географии, истории всеобщей и русской, рукоделью и хозяйству. Телесных наказаний нет. Содержание: утром и вечером чай с черным хлебом, обед три блюда, из которых одно мясное; в среду и пятницу, а также великим постом — постное; в мелкие посты мо-

лочное; по вечерам ужин.[...] Школы эти в разных местах Петербурга. На Выборгской школа около церкви Спаса-Бочарного, следовательно, в двух шагах от нас. По праздникам Лизу будут отпускать домой, на каникулы тоже. [...] Напиши мне, пожалуйста, как ты думаешь? Если согласна, то можно сейчас же поместить Лизу туда. По крайней мере она все-таки будет у нас на глазах. У меня сейчас только была мать Лизы; я ей отдал письмо. Она велела тебе кланяться; разумеется, благодарит за Лизу, предоставляет Богу наградить нас и т. д. и т. п. Она тоже ужасно рада бы, если бы Лизутку отдали туда».

Дальнейшая судьба Лизы Баланевой вся просматривается. Елизавета Гавриловна Баланева выросла в доме Бородиных. Один из любимых учеников Александра Порфирьевича, отношение которого к Бородину как бы повторило в новом поколении отношения самого Бородина к его учителю, Н. Н. Зинину, — так вот, любимый ученик и названный сын Бородина, Александр Павлович Дианин, полюбил Лизу. Они поженились и жили в той же квартире (А. П. Дианин в Академии был ближайшим помощником Бородина); здесь росли и их дети. Последние дни жизни Александра Порфирьевича буквально согреты и освещены лаской маленького сына Дианиных. Вот что писал Бородин за пять дней до смерти: «Боба и прежде ужасно любил папу Кокинью, но теперь на него нашла особенная полоса нежных отношений к Кокинью. Когда только возможно, он спешит влезть ко мне на колени, целует, ласкает и причитывает: «Голубчик ты мой! Голубчик каких нет! Голубки мои маленькие! Чистенький мой! Ручки чистенькие! Лицо чистенькое! Вроде: *oschini bellini! nasino bellino! è poi ride!*¹ Дуся мой! Крошечка моя! Воробушек мой! Птичка моя маленькая! Жучок мой!» и т. д. в том же роде, всегда с уменьшительными. При этом взасос целует руки и лицо, и требует, чтобы я непременно смотрел ему прямо в лицо; чуть я поверну голову в сторону, он сейчас поправит ручкой мою голову и повернет лицом

¹ «Глазки красивые, носик красивый» и т. д.; Италия, молодая и звонкая пора их любви, видно вдруг вспомнилась, ворвалась в письмо каким-то, нам неизвестным, эпизодом; точно длинная искра пробежала, соединив юность с тем последним днем, который уже грозно вырастал перед Бородиным...

к себе. Теперь играет «Пляску птиц» и «Песни Леля» из «Снегурочки» и просит, чтобы я ему играл «Пляску шутов» из этой же оперы».

* * *

Может быть, одним из самых горьких разочарований в жизни Бородина было то обстоятельство, что брак его с Екатериной Сергеевной оказался бездетным. Есть какая-то справедливость в том, что этого рода радость все-таки в конце концов не миновала его. Но и эта ребячья улыбка, светившая ему на прощанье, оказалась наградой не единственной и не последней. Дети Дианиных вырастали в атмосфере, где все дышало Бородиным. Ученик, преемник, наследник Александра Порфирьевича, А. П. Дианин сохранил сотни писем, около тысячи документов, связанных с жизнью и творчеством Бородина. Через сорок лет после смерти композитора, в 1927 году вышел в свет первый выпуск обширного собрания писем А. П. Бородина, подготовленный сыном А. П. Дианина, Сергеем Александровичем. Труд этот был посвящен памяти незадолго до того скончавшейся матери исследователя, Елизаветы Гавриловны Дианиной, урожденной Баланевой. Изучению биографии, творчества, эпистолярного наследия Бородина Сергей Александрович посвятил всю жизнь; ему принадлежит и первое научно выверенное жизнеописание композитора. В предисловии к «Письмам Бородина» составитель писал: «Я задался целью опубликовать в данном издании все письма Александра Порфирьевича, какие удастся разыскать, как бы малы и незначительны они ни были, а равно и все черновики его писем, какие сохранились: всякий выбор в этом отношении я считал неуместным, ибо для вдумчивого биографа и психолога все может представить интерес». Сегодня ни одна работа по истории русской музыки второй половины XIX века немыслима без обращения к тому, что сделано С. А. Дианиным, не говоря уж о том, что для всякого, кто обращается к бородинской теме, труды его сохраняют значение первоисточника. Автор настоящей книги, не желая выносить за скобки, в предисловия или послесловия, эту тему, здесь, в тексте книги хотел бы подчеркнуть, сколь многим он обязан Сергею Александровичу Дианину. Поклон памяти человека, сделавшего смыслом жизни своей удивление и благодарность,

унаследованные от отца и матери. Чистота и самоотверженность просвечивают в этой судьбе. В жизни добро вознаграждается, нужно сказать, вовсе не всегда так уж неукоснительно, прямо и наглядно. Мать Лизы Балабановой, «предоставившая Богу наградить» Бородиных, едва ли в состоянии была вообразить себе, как велика и прекрасна будет награда. Чудеса случаются, — чудеса добра и самоотвержения: засвидетельствуем это.

V

В субботу 9 мая 1870 года Бородин на сеансе у четы художников Маковских, в это утро был закончен его портрет¹. Бородину он нравился. «Портрет мой кончен и вышел чудо как хорош. Последний *сюр де main*² портрету дан Константином. В какие-нибудь полчаса портрет, до того еще не очень походивший на меня точно ожил: несколько точек, несколько черточек и штрихов, и фигура майчика точно высунулась из полотна, глаза заблестели, лицо как у живого... Костя, ей богу молодец! Талантлив, каналья, как сукин сын! Елена, впрочем, тоже очень талантлива, ибо Костя дал только окончательную отделку, главное же дело было все-таки Елены»³. «Недавно (в четверг) у Маковских был Моденька, играл там своего Бориса и произвел эффект. Все — не говоря о Сашке⁴ — и Костя и Елена прельстились оперою Моденьки. В субботу, кроме «Каменного гостя», исполнены были три романса — Балакирева и три моих — и произвели громаднейший эффект, особенно мои. В заключение был ужин, превосходный. [...] Вообще гоньба за нами ужасная».

Летом, 19 июля 1870 года, началась франко-прусская война. Бисмарк был сильней противника, дальновидней, умней, хитрее, — да и цель вела его серьезная и боль-

¹ Теперь портрет принадлежит Музею музыкальной культуры им. Глинки. Воспроизводится он редко, и потому не слишком известен.

² Удар кисти (франц.)

³ Елена Тимофеевна, первая жена известного художника К. Е. Маковского и сама художница, была «незаконной» дочерью одного из виднейших вельмож тогдашнего царствования, министра двора Адлерберга. Ей посвящен романс Бородина «Морская царевна». Вскоре у нее открылась чахотка, и она умерла, едва дожив до тридцати.

⁴ Сестра К. Е. Маковского.

шая: он добивался объединения Германии, которому Наполеон III препятствовал. Эти имена, интересы немцев и французов, военные действия обсуждалось тогда повсюду в России. Неслыханные нововведения: широчайшее использование железных дорог и пароходов, а также и воздушных шаров в интересах войны — поражали воображение. В обороне впервые использовались окопы.

«Насчет Царского села¹ я навожу справки и, сверх ожидания, узнаю неприятные вещи: квартиры там страшно вздорожали и стали редки вследствие того, что множество русских семей воротилось из-за границы. Война пригнала к нам столько соотечественников, что Петербург не в состоянии вместить их; квартир в Петербурге невозможно отыскать даже за дорогую цену. Вот и пришлось многим поселиться в окрестностях, из которых самым бонтоным и модным стало Царское село... Я провожу время — так себе. Больше в хлопотах, чем за делом. Был на квартетном вечере Музыкального общества, в химическом Обществе, у Менделеева, у Рудневых, у Вильмса, у Стасова, у Чистовича, у Зинина. Собираюсь к: Козлову, Бутлерову, Якубовичу, Дм. Стасову, Пургольд, Хвостовым, Калининим, Кюи, Дядё, Кошлакову, Юнге и пр.»

«В мире теперь вообще творятся крупные или чрезвычайные события: война, голубиная почта, шары с министрами и без министров², недостаток пороху у осаждающих, недостаток оружия у осажденных, недостаток справедливости у немецких ученых (Кольбе и пр.) к французским, недостаток ясности в протестах русских ученых против немецких (зри протест Зинина, Менделеева и пр.), недостаток денег во всем свете. У тетушки — чрезвычайное событие — продажа дома. У Анны Николаевны — выкидыш на первых месяцах (У меня был Калинин с этим известием; она здесь уже недели три, но я до сих пор не мог собраться приехать к ней; он же всего несколько дней как приехал). У меня — два события — I/сдал окончательно казенные вещи, пришедшие в негодность с 1843 года, и вздохнул свободно, освободившись от массы хлама, за которой мог бы отвечать в случае пропажи и т. д. [...] Другое чрезвычайное событие —

¹ Бородин одно время хотел там устроить Екатерину Сергеевну.

² Письмо написано 12 октября; между тем 8-го октября тогдашний министр внутренних дел Франции Леон Гамбетта перелетел на аэростате из осажденного Парижа в Тур.

заказ платья. Долго я крепился, но пришлось, наконец, раскошелиться. Только я все-таки не заказал новой шинели. Посуди сама: для хорошей и мягкой зимней погоды у меня есть пальто; для морозов — шуба; шинель же пужна большей частью только для ненастной и не очень холодной. Новую шинель было бы жалко пускать под дождь и снег. Осмотрев хорошенько мою старую шинель, я нашел ее, по примеру прежних лет, — вполне удовлетворительною. Положим, что она потерта, коротковата и пр. — ну да что в этом? Живет еще! Итак, я заказал себе только платье для гостиной: сюртук черный однобортный (без сюртука нельзя) английского тонкого сукна, на шелковой подкладке (кроме рукавов); брюки английского трико — хорошие, солидные; жилет черный с разводами, французской материи — отличный; пиджак бархатный (какой ты мне всегда желала) — из Манчестера (род плиса); жилет — таковой же; все обшито по моде тесьмою; брюки светлые (серые) немецкого трико. Все это стоит 102 рубля. Торговался из всех кишек. Заказано все у Корпуса. У Шармера приступа нет; дорого — смерть. К тому же Шармер, подлец, стал скверно шить; это общий голос. Сорокину он сюртук сделал сквернейшим образом. [...] Сегодня я внес 251 р. 50 к. по застрахованию жизни; расскажи это маме, она станет жалеть этих денег. Шутка, ли! — скажет она».

...Итак, Тетушка продала дом. Дом, — с большой буквы, — тот самый, который кормил, одевал, обувал все семейство, но который, главным образом, поднял на ноги, выучил и вывел в люди любимого первенца, Александра Бородина. Александр Порфирьевич и уговаривал Тетушку продать его с упорством и жаром необыкновенным. «Боже мой, как мне жаль, что Вы так нерасчетливо-трусливы, так нерешительны и гонитесь за пустяками! Ведь это последний случай к спасению. Через три, четыре года — дом придет в упадок и — разорение неминуемо. Как Вы этого не хотите понять! Ей богу, у меня сердце надывается, глядя на то, как Вы бьетесь и путаетесь и при всем том не хотите решиться на то, что рано или поздно неизбежно. Только теперь продажа упрочит за Вами хоть небольшое состояние; потом она разорит Вас. Продавайте, продавайте, продавайте дом скорее за 25 000; потом сами будете горько плакаться, если упустите этот случай...»

Тетушка продала Дом; новый хозяин через некоторое время вежливо, а потом уж и все настойчивее стал просить ее оставить ее квартиру; он собирался переделать помещение и сам поселиться жить здесь. Бородин давным-давно уж жил сам по себе, но теперь и два других сына, худо-бедно, где-то пристроились (Александру Порфирьевичу пришлось не раз хлопотать ради обоих братьев: Ени — Евгения Федоровича Федорова, который был младше его на четырнадцать лет, и Мити — Дмитрия Сергеевича Александрова, на десять-одиннадцать лет младше А. П.). С продажей Дома, мучившего и обременявшего Авдотью Константиновну, являвшегося уже четверть века как бы осью, вокруг которой крутилось все, с продажей этого почти легендарного, треклятого и благословенного дома как-то вдруг, разом обнаружилось, что от прежней Тетушки осталась одна оболочка. Дело ее на земле, очевидно, было исполнено. После того, как сыграна наша роль, можно жить долго; можно сгореть в одночасье; можно потерять рассудок, можно и благополучно существовать далее в уме и твердой памяти, — все это различия незначительные. Неизвестно кем, когда назначенная задача, — ее задает и время, и сам человек, и его окружение, но еще многое, многое другое, — ведет нас и держит на плаву. Она — невидимый костяк души, опора всего, что составляет судьбу и личность.

Солдатская дочь Авдотья Антонова, поздняя любовь отставного поручика князя Луки Степановича Гедиянова, свою цель определила рано и раз навсегда: она должна была вырастить и «сделать человеком» своего Сашу. Так и видно, как, собрав все свои силы, она подняла сына над головой и — вытолкнула высоко над собою, как можно выше, как можно дальше от себя, от своей среды, от всего, что было суждено ей и таким, как она, в тогдашней жизни. Кажется, она перестаралась, перемудрила маленько. Игра в «Тетушку» и «племянника» зашла слишком далеко, потом этого было уже не поправить. Материнский жертвенный порыв оказался странно искажен; что было для отводу глаз и понарошку — стало всерьез; Авдотья Константиновна теряла сына — и некому, не на кого было жаловаться; у Бородина не было матери, а была тетушка, которая вырастила его и родила. Не было особого секрета в том, что профессор Бородин — побочный сын князя Гедиа-

нова. Но о матери профессора мало кому что было известно. В начале августа 1873 года Мусоргский — увы, не без ехидства и желчи, — писал В. В. Стасову: «Brigadier (на днях похоронивший свою дряхлую старушку мать, которую, по присущей дураковатости, называл при нас тетушкой — хе-хе!)...» «Это — о Бородине; искаженное немецкое Brigadier означало первое генеральское звание, бригадир, упраздненное к тому времени в русской армии; именно ему, этому званию, соответствовал чин статского советника, в каком он пребывал, как мы знаем, Александр Порфирьевич. Мусоргский был достаточно близким Бородину человеком; то, как он воспринимал ситуацию, говорит само за себя. Не нужно нам смягчать и замазывать остроту положения: происхождение тогда много значило, и при всем том достоинстве, какое неизменно отличало Бородина, оставалась всегда в его жизни недоговоренность и двусмысленность, которая не могла не ранить его снова и снова. В житейском смысле его тянула к себе традиция, канон, правило, а не исключение. Между тем, он носил фамилию людей, ему чужих, и по сути оказался человеком как бы и вообще без родителей, «без роду и племени». Выход, найденный Бородиным, был достоин недюжинного человека. Он не только противопоставил «сомнительному» по тогдашним взглядам происхождению благородство, честь, талант, глубину и созидательные силы личности. Произошло нечто гораздо более серьезное и значительное. Родители, деды, прадеды — пуповина, через которую каждый отдельный человек связан с прошлым своего народа, с все более глубокими слоями истории. Бородин, почти лишенный этих связей, сумел принять и ощутить самое русскую историю лично — как если бы она и была его родословная. Именно поэтому нити отвлеченного нет в его понимании и приятии прошлого; он как будто связан с минувшими веками единой системой кровообращения. То, что могло бы стать «написанным ему на роду» личным поражением, обратилось в победу, в залог всего сделанного им навечно. Сказанное никогда не было выражено словесно. Однако музыку Бородина не понять, если не почувствуешь эту его кровную связь с русской историей, совершенно необычную, непосредственную, прямую.

«У меня на этих днях (в понедельник) была тетушка. Она теперь вообще куда как спокойнее прежнего и ве-

веселее, с тех пор как продала дом. Тем не менее она постарела и одряхлела в последнее время поразительно. С каждым разом, что я ее вижу, она становится все старше, слабее. Память у ней притупилась, энергии ни малейшей. Она уже не возится, не хлопочет, не убирает, не чистит по обыкновению, а скорее садится отдыхать. Лицо у ней как-то сморщилось, сама она опустилась. Слава богу, что она вовремя продала дом. С ее ли силами и характером было бы возиться и хлопотать по дому, когда она теперь ровно ничего не может делать. У ней, кроме того, постоянные и сильные головные боли, и одна сторона немеет. По всей вероятности, у ней старческое отвердение артерий (артериосклероз). Теперь она только и толкует, что о богадельне...»

По-видимому, Бородин боялся, что Екатерина Сергеевна не захочет, чтобы мать его жила вместе с ними. Разговор о богадельне (скорей всего, частной, за пребывание в которой нужно было заплатить немалые деньги) возобновлялся еще не раз. Но до этого не дошло; в конце концов Авдотья Константиновна поселилась в бородинской квартире; здесь она и умерла через два с половиной года после продажи своего Дома. Бородин был вызван из Москвы телеграммой, когда с ней случился удар, и сутками безотлучно находился у постели больной. Сохранились его записи о ходе болезни: подробные, точные, трезвые записи врача. Вплоть до последних минут агонии. С. А. Дианин свидетельствует, что ближе к концу почерк Бородина стал меняться и в последних строчках исказился до неузнаваемости.

VI

В тридцать семь лет — весной 1870 года — Бородин начал свою Вторую симфонию. Ничто у него не пропадало. Когда-то он собирался писать оперу «Царская невеста», — наметки этигодились, когда он сел за «Игоря». Отказавшись от мысли написать «Князя Игоря», он теперь без малейших угрызений совести использовал то, что было для него сочинено. Главная тема первой части новой симфонии предназначалась как раз для оперы. Но здесь, теперь, она оказалась на месте. Пригодилось вообще все, что делалось для «Игоря»: прочитанные летописи, «Слово», соприкосновение с род-

ной, зажигающей кровь стариною, все, что узнал он о кочевниках, соседях и вечных соперниках оседлой Руси. Он впервые работал в полную силу, без оглядки и без боязни сказать не то, не так. К нему пришла та совершенная свобода, которая высоко поднимается над любым умением и знанием. Когда не нужно заботиться о знании и умении, а нужно поспевать сказать то, что никем еще не сказано и никем другим сказано быть не может. Allegro Второй симфонии дышит вольным и мощным вдохновением. С начала до конца. Это можно сказать не о всякой музыке, даже великой. Наверное, сознание своей силы, прекрасная и свободная игра всех способностей, всех мускулов души и тела меняла в те дни даже походку Бородина...

Можно предположить, что он знал: новая симфония «продолжает» первую. Нет, не так: он как бы писал ту же музыку заново, на другом уровне, на другой высоте. Впрочем, трудно наверняка сказать, известно ли было Бородину, что всегда, всю жизнь он будет писать одну вещь, что все творения его будут частью единого целого. Тут, может быть, разгадка того, что бородинские вещи, сочинявшиеся иногда на протяжении долгих лет, урывками, при самых невозможных обстоятельствах, выглядят так, точно они созданы на одном дыхании.

Главная партия симфонии... Почти непостижимо, как в это сочетание звуков вместились столько мощи, — и представление о богатырях древности возникает само, никем не навязанное — внутренним каким-то узнаванием; ведь живет и в душе слушателя воспоминание давней, по цепочке переданной пращурами в нашу кровь, первобытной свежести и глубины. Во второй, лирической мелодии Бородин отыскал то, что позволило сблизить ее с главной темой, и уж тогда широта ее дыхания стала почти беспредельной.

Тоника¹, да, мощная тоника в начале, могучие унисонные ходы... Как в первой симфонии? Нет: там еще была неоформленность, близость к изначальному хаосу, — здесь: могущество, сознание цели. Славянофилы искали идеала в прошлом. Бородин, при всей близости к некоторым их построениям, музыкой говорит иное. Он говорит о таинственных целях, зародившихся в далеком

¹ Привожу пояснение из словаря: главный устойчивый звук лада.

прошлом и жизнеспособных поныне, о жизнестроительных основах, разворачивающих силы молодого, еще не жившего, начинающего свой разбег народа.

«Корсинька живет теперь один, нанимает комнатку за 11 рублей. Он обрадовался мне неописанно. Велел тотчас же поставить самовар и начал сам чайничать и претворительно: длинный, в партикулярной жакетке, неловкий и весь сияющий от радости, он размахивал руками, кричал, заваривал чай, раздувал самовар и наливал. Умора! Мне ужасно жаль, что ты не могла его видеть.

Мы засели с ним играть: сначала две прелестные фуги Баха, из которых одной я не знал вовсе (gis-moll во второй тетради). Ужасно хороша! Это меня очень освежило после всех хлопот и суеты деловой. Затем он мне сыграл твой романс¹. Потом я ему наигрывал новую симфоническую вещь, которую я теперь стряпню (ту, что наигрывал в Москве). Корсец неистовствовал и говорил, что это самая сильная и лучшая из всех моих вещей. Так кричал и размахивал руками! Оттопыривал нижнюю губу, мигал и подигрывал, то бас, то дискант».

«...Милий уморителен! Я тебе писал, что он давно дуется на меня и явно сух, сердит и порой придиричив ко мне. Прихожу к Людме — Милия узнать нельзя: раскис, разнежился, глядит на меня любовными глазами и, наконец, не зная, чем выразить мне свою любовь, осторожно взял меня двумя пальцами за нос и поцеловал крепко в щеку. Я невольно расхохотался! Ты, разумеется, угадала причину такой перемены: Корсинька рассказал ему, что я пишу симфоническую штуку, и наигрывал ему кое-что из нее. Уморительный — Милий. Он теперь «простил», вроде того, как Надя или Варя — прощают Маму или тебя: «миленькая, я Вас простила, я на Вас больше не сержусь».

Кажется, у М. Бахтина где-то сказано о героях Достоевского, что они люди «бескорыстной страсти». Без спору, то же можно сказать о Балакиреве, Римском-Корсакове, Стасове, Мусоргском... Никакой, даже косвенной корысти, не предвиделось ни для кого из них в

¹ Посвященный Екатерине Сергеевне романс Римского-Корсакова «В царство розы и вина приходи».

факте появления новой музыки Бородина; никаких утех честолюбия, никакого вообще внешнего «прибытка». Какими бы сложностями и колебаниями ни был отмечен их путь, какие бы разногласия не разделяли их позже, какие бы слабости ни вкрались оборотнями, под личиною веры и правоты, в их судьбу, это о них нужно помнить и знать: они были люди страсти, и страсть их была бескорыстна.

«В пятницу я шлялся с самого утра, вплоть до вечера, по самым разнообразным местам, между прочим был и у Корсиньки; пил у него чай и просидел с часок, наигрывая ему мою новую штуку, от которой он в восторге. Штука эта вообще производит шум в нашем муравейнике; Кюи прибежал нарочно утром рано, чтобы послушать ее. Пургольдша уже наигрывает отсюда кое-что, ибо Корсец ее кое с чем познакомил из этой штуки».

Оглянемся теперь на 1870 год, мы с ним расстаемся. Что-то забыто... ага, эпидемия холеры, свирепствовавшая летом. Даже в Давыдове, где Бородины отдыхали, были случаи заболевания. По приезде в Петербург Александр Порфирьевич писал жене в Москву: «...пишу... чтобы ты не думала, что я умер от хандры или холеры».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

20 января 1871 года внезапно скончался Александр Николаевич Серов, оставив после себя недоконченную оперу «Вражья сила», молодую вдову (Серов женился так же поздно, как стал композитором: на сорок четвертом году, в то время как юной жене его не было и семнадцати) и шестилетнего сына Валентина, будущего великого русского художника. На этом, казалось, кончился спор между Серовым и Стасовым... Года через четыре Стасов опубликовал в печати письма Серова (впрочем, с сокращениями и поправками, носившими иногда слишком вольный характер); этой публикации он предпослал вступление, тон которого совсем иной, чем был при жизни А. Н. «Вся жизнь его была служением искусству, и ему он принес в жертву все остальное, что других манит и радует, — писал Стасов. — Еще с молодых лет

он покончил и расстался со всем тем, что не вело его прямо к намеченной цели, и ничто уже не могло своротить его с дороги: гнев, а иногда преследования прозаика-отца, собственные неудачи и разочарования, горькие сомнения в собственной творческой способности, внешние, иногда порядочно шершавые обстоятельства — ничто не могло победить его железного упорства, его «мономании» (как говорили иные из его знакомых), и, наконец, сквозь тысячи помех, несчастий, лишений — но также и радостей — он пробился туда, куда хотел, он нашел, наконец, слова и звуки для выражения того, что почти с ребячества носил внутри себя. Пример редкий, почти небывалый между нами! Узнать подробности такой жизни, глубокой и героической, наверное, будет интересно для многих». Там же Стасов обещал со временем «...начертить портрет его, со всеми слабостями, недочетами и падениями, но также и со всеми блестящими качествами и великолепными силами, которые дали деятельности Серова — значение историческое». Эта великодушная и, конечно, справедливая оценка Серова и его деятельности не была для Владимира Васильевича окончательной; спор продолжался до смерти Стасова, причем не раз Владимир Васильевич возвращался к старым своим нападкам на вечного своего друга-врага, к резкостям и колкостям, на которые как будто бы некому было ответить... Но нет, он спорил не с призраком; противник дразнил его по-прежнему своей музыкой, своим Вагнером, своими вновь издававшимися статьями, но главное: всей памятью детства и юности, от которой не волен скрыться ни один человек. Когда в 1880 году Стасов опубликовал воспоминания об Училище правоведения, стало очевидно, что давняя дружба с Серовым лежит в основе всей его жизни, что он помнит оттуда едва ли не каждое слово; через сорок лет с поразительной нежностью и страстью защищает Стасов юного Серова от его обидчиков-однокашников, клеймит и поносит мальчишек, которые его дразнили и преследовали, доводя до слез, — забывая в это мгновение, наверное, искренне, те обиды, которые позднее наносил он сам...

«Вражью силу» закончили вдова композитора Валентина Семеновна и консерваторский профессор Соловьев. Опера имела успех, хотя, может быть, и не столь шумный, как «Юдифь» и «Рогнеда». На премьере были едва

ли не все композиторы «Могучей кучки». За два дня до премьеры Стасов писал Римскому-Корсакову (речь шла о том, чтобы собраться вместе в ложе Пургольдо): «От Мусоргского и Бородина я еще не получал никакого ответа, так что еще не знаю, что они скажут. Балакирева мне удалось поймать вчера вечером у Людмилы, и на мое предложение он сначала ответил, что ему очень хочется быть и он непременно придет; скоро потом он сказал, что, может быть, не будет, потому что в креслах приятнее быть, чем в ложе, и сверх того, он скорее попадет на 2-е или 3-е представление, а не на 1-е; наконец, уже на улице расставаясь, он опять сказал, что вероятно придет, и просил прислать ему сказать № ложи. Какой следует из всего этого вывод, — недоумеваю. Посмотрим, что будет послезавтра.

Вообще скажу Вам, что Милий произвел на меня вчера самое грустное впечатление. По наружности, как будто, все то же и ничего не переменялось: голос тот же, фигура, лицо, слова — все те же, — да — но только на самом деле все переменялось, и от прежнего не осталось камня на камне. Можете себе представить, от времени до времени наступало вдруг молчание и продолжалось по несколько минут!!! Я снова начинал и так и сяк, принимался и с одного конца и с другого (тщательно избегая всего, что могло бы быть неприятно...), — нет, ничто не помогает, он ответит несколько слов — и опять молчание. Когда бывало что-нибудь подобное, вот 15 лет, что я его знаю. Нет, это, совсем другой человек, передо мной был вчера какой-то *гроб*, а не прежний живой, энергический, беспокойный Милий, начинавший рассучивать все новое и новое как только войдет в комнату, допрашивать и подталкивать всех, кто налицо тут есть. А теперь — ни до кого и ни до чего ему дела нет!»

То было «начало конца» целой эпохи в развитии каждого из композиторов «Могучей кучки», и хотя предвестия такого поворота событий можно было видеть уже давно, но одно дело предполагать хотя бы и самое худшее, другое — увидеть своими глазами. Бородин оказался летописцем всего происходившего; именно его письма шаг за шагом дают возможность проследить всю печальную историю отречения Балакирева от музыки. Потом те же происшествия станут известны и в освещении Римского-Корсакова, Стасова, — но они вспо-

минали давно прошедшее, Бородин же писал о случившемся только что; не удивительно, что частные его письма приобрели нынче цену исторического свидетельства.

Премьера «Вражьей силы» состоялась в апреле; а в августе Бородин писал Римскому-Корсакову из Давыдова, где он отдыхал: «...вести, доставленные мне из Питера... касаются Вас и Милия. Обе вести меня сильно переволновали, но в различном смысле: одна сильно порадовала, другая сильно опечалила. Мне сообщили, что Вы поступаете профессором инструментовки в консерваторию, которая обновляется и реформируется. О Милие же мне сообщают ужасную вещь — что он сошел с ума. [...] Об Вас ходят подобные толки в среде московских музыкантов; о Милие известие приобретает большое вероятие, если вспомнить его прежнее воспаление мозга, постоянные головные боли, нервную раздражительность, окружающие обстоятельства, и, наконец, все его поведение за последнее время». Здесь же Бородин сообщал, что оркеструет симфонию. Надобно сказать, что согласие Корсакова преподавать в консерватории было, разумеется, таким же, если еще не более ясным признаком расхождения участников кружка, как и странное поведение Балакирева. В кружке всякая польза консерваторского образования всегда и категорически отрицалась, в том сходились Кюи, и Стасов, и Балакирев, и Мусоргский. Это был один из основных, краеугольных принципов, — почему-то подразумевалось, что его разделяет и Бородин... В следующем письме Корсакову Александр Порфирьевич продолжал: «За Вас я искренне радуюсь; Вы как нельзя более на своем месте (имеется в виду будущее место профессора консерватории, — Р. Д.) и можете принести громадную пользу музыкальному делу и учащейся молодежи. Относительно же Милия я душевно скорблю. Положим, что он не сошел с ума. Но разве состояние, в котором он находится, лучше помешательства? Я страх боюсь, чтобы Милий не кончил тем же, чем кончил Гоголь. Пиэтизм его весьма подозрительного свойства и не обещает ничего хорошего. Еще прискорбнее его непонятное охлаждение к музыкальному делу и к своим экономическим интересам. Что его ожидает в будущем? Страшно подумать!». «Вы меня спрашиваете о том, всю ли симфонию я оркеструю или только злополучную первую

часть. Увы! — стыжусь сказать — только первую часть. (краснею письменно)».

Вся симфония оставалась делом довольно-таки отдаленного будущего: она будет кончена только в 1876 году. Но обратимся к осени 1871-го, когда Бородин вернулся с летних вакаций. 19 сентября Бородин отправился на Васильевский остров, где рассчитывал найти Корсакова, но выяснилось, что тот переехал и живет теперь вместе с Мусоргским в меблированных номерах на Пантелеймонской, — Александр Порфирьевич отправился по названному адресу и нашел обоих друзей, обрадовавшихся ему «несказанно». Обедал он у Кюи. «Вечером Модест был у нас. Все они много сделали за лето. Корсинька совсем кончил «Псковитянку»; Модинька множество переделал и прибавил в «Борисе». В коридорах, лабораториях и новых помещениях наших — полнейший разгром и хаос. В зоологическом музее ломают одно окно, через которое спустят слона. Для этого перед нашей спальней поставлены леса (зоологический музей располагался в том же здании, что и квартира Бородиных, — Р. Д.). Зрелище будет необыкновенное, вряд ли второй раз увидишь когда-то, что из окна выпирают слона». На другой день, во вторник 21 сентября, Бородин снова писал жене: «Вчера у меня были Корся и Модя.[...] Модинька и Корсинька мне переиграли все, что написали. Как теперь хорош «Борис»! Просто великолепие. Я уверен, что он будет иметь успех, если будет поставлен. Замечательно, что на не-музыкантов «Борис» положительно действует сильнее «Псковитянки», чего я сначала не ожидал...» Дальше Бородин подробно рассказывает о первых шагах Римского-Корсакова в качестве консерваторского профессора: «...Корсаков, что он и сам сознает, может иметь громадное влияние на молодое поколение относительно выработки истинного направления в музыке. Прибавь к этому, что он же учит и композиции, следовательно имеет в руках самое могучее средство для направления молодежи на настоящий путь в искусстве. Да, не всякому дается такое счастье! Так напр., я считаю Балакирева на невыгодной дороге — его ли дело давать фортепианные уроки?.. Кстати, о Балакиреве. Он все такой же, бегаёт по церквям, но, впрочем, начинает интересоваться музыкой. Говорит, что нынешний год даст непременно пять концертов... (состоялось четыре: на пятый не хватило средств, — Р. Д.)

Но я боюсь, чтобы на этот раз он не потерпел поражения. Конкуренция с музыкальным обществом будет ему очень трудна — не то что прежде».

В октябре Бородин сочинял финал Второй симфонии. «У меня были Модя, Корся и Н. Лодыженский, которые все с ума сходят от финала моей симфонии; у меня там только не готов самый хвостик. Зато средняя часть вышла — бесподобная. Я сам очень доволен ею; сильная, могучая, бойкая и эффектная. Сейчас иду к Людме, у которой понеделеньники по-прежнему».

«В пятницу (15 октября) я был вечером у Балакирева. Он велит тебе очень кланяться, был мне ужасно рад, интересовался симфонией и по обыкновению начал сейчас меня просить переделать и переменить разные штуки, и как всегда, — говорил мне как раз диаметрально противоположное тому, что говорил весною.[...] Я собственно ходил выручать партитуру 1-й Симфонии, которую он мне ни за что не хотел возвратить в прошлом году, уклоняясь под разными предлогами. А между тем Надежда Пургольд все пристает ко мне; ей хочется сделать фортепьянный аранжемент этой вещи. Балакирев же ни за что этого не хочет, говорит, что он сам это сделает. Разумеется, этого никогда не будет. Оказалось, что он держал мою партитуру все ради различных соображений своих о переделке, пересочинении, переклестровке и пр. различных мест симфонии.

И тут курьез: партитура вся испещрена замечаниями вроде: «дать кларнетам» или: «виолончелям», «удвоить» и пр.; что же оказывается: у меня эти самые места первоначально и даны были именно этим инструментам, но потом по настоянию Милия переменены, напр., кларнеты на фаготы, виолончели на альты; дублировка уничтожена и пр. Это курьезно! Ведь как нарочно он теперь советует буквально то, против чего он прежде восставал. Насилу отдал мне партитуру, и то потому только, что я обещал сообразить все его поправки. [...] Милий очень весел, хлопочет о концертах... Отношения его к остальным членам нашей музыкальной семьи, видимо, натянутые и всему виною, без сомнения, его деспотизм и резкость. Жаль! Да и вообще он чудит во многих отношениях...»

24—25 октября 1871 года: «Музыкою в это время, разумеется, я не занимаюсь вовсе. Некогда; совершенно

некогда. Вчера вечером, впрочем, был у Пургольд; там производилась вся «Псковитянка» целиком в последовательном порядке, ~~а~~ за актом. Музыка невообразимой красоты, но, — как справедливо заметил Стасов, — холодноватая, бесстрастная; за исключением, впрочем, сцены веча, которая изумительно хороша по красоте, новизне и эффекту. Словом — это музыка первый сорт, во всех отношениях. (А в отношении страстности? — Р. Д.) Кроме меня было у Пургольд много народу: вся наша компания (кроме Милия, которому было послано приглашение, но который и тут уклонился), Азанчевский¹, театральные господа разные, Фим, Людма, Никольский, Стасовы и т. д. Исполнение было на двух ролях. На одном играла Надежда Пургольд, на другом Корсинька подыгрывал все, что она не могла выполнить одна. Выходило все очень хорошо. Пели — Модинька, Васильев и Александра Пургольд. Не понимаю, что Балакирев так упорно уклоняется от нашего кружка и очевидно избегает всяких свиданий. Боюсь я, что у него в самом деле голова не в порядке. А может быть, просто самолюбие его грызет. Он такой деспот по натуре, что требует себе полного подчинения, до мелочей самых ничтожных. Он никак не может понять и признать свободы и равноправности. Малейшее сопротивление его вкусам и даже просто капризам для него невыносимо. На всех и на все он хочет наложить свое ярмо. Между тем, он сам сознает, что мы все уже выросли, крепко стоим на своих ногах и в помочах не нуждаемся. Это его, видимо, досадует. Он не раз высказывал Людме: «Что мне слушать их вещи, теперь они настолько созрели, что я для них стал не нужен, они обходятся без меня» и т. д. Натура его такова, что требует непременно несовершеннолетних, с которыми бы он возился, как нянька с ребенком. [...] А между тем, отчуждение от кружка, резкие отзывы о многих, особенно о Модесте, охладили значительно симпатии к Милию. Если пойдет так, то легко может случиться, что он останется изолированным, а это, в его положении, равносильно моральной смерти. Мне, да и не одному мне, а и другим тоже, глубоко жаль Милия, да что делать. Даже Людма, ко-

¹ М. П. Азанчевский — в 1871—76 гг. директор Петербургской консерватории; именно он пригласил Корсакова в состав преподавателей.

торая прежде могла его еще кое-как настраивать на лад, утратила всякое влияние. Может быть, отчуждению его причиною также странный и неожиданный поворот в пиетизм, самый фантастический, самый наивный. Милий, напр., не пропускает ни одной обедни, всенощной, вынимает часть из просфоры, с азартом крестится на каждую церковь и т. д. Очень может быть, что при этих условиях ему неприятно сталкиваться с обществом, которое не сочувствует всему этому; может быть, он даже боится бестактной и бесшабашной митральезы упреков — Владимира Стасова, который, где бы его ни встретил, начнет сразу «докладывать» ему, что все это вздор, что ему «непонятно», как Милий, человек умный и пр. и пр. К тому же, значительная доля упреков падает и на апатию его относительно музыкального дела, особенно за прошлый год. Стасов, например, никак не может простить Милию отношения последнего к концерту в пользу «Каменного гостя» Даргомыжского, для которого сделано было все и который не состоялся только потому, что Милий без всякой причины откладывал концерт и тянул безбожно дело¹. Людма не может простить необъяснимое равнодушие к «Руслану», когда Милий, уговорив Людму взять ложу нарочно для него, вдруг просидел этот вечер у Жемчужникова без всякой нужды и на следующие представления не ходил ни разу. Модинька оскорблен несправедливыми и высокомерными отзывами Милия о «Борисе», высказываемыми бестактно и резко в присутствии людей, которые вовсе не должны бы слышать этого. Корсинька обижен равнодушием к «Псковитянке» и скорбит о поведении Милия. Кюи тоже негодует на апатию Милия и отсутствие желания с его стороны узнать даже, что делается в нашем музыкальном кружке. Прежде бывало, Милий первым интересовался малейшею новинкою, даже в самом зародыше. Как бы-то ни было, но пропасть между ним и нами разверзается все больше и больше. Это ужасно больно и досадно. Больно главным образом потому, что жертвою этого всего сделается именно сам Милий. Остальные же члены кружка теперь живут более согласно, чем когда-

¹ «Каменный гость» по завещанию Даргомыжского был закончен и инструментован Кюи и Римским-Корсаковым; чтобы поставить оперу на Марининской сцене, пришлось преодолеть значительные препятствия.

либо. Особенно Модинька с Корсинькой, с тех пор как живут в одной комнате, сильно развились оба. Оба они диаметрально противоположны по музыкальным достоинствам и приемам; один как бы служит дополнением другому. Влияние их друг на друга вышло крайне полезное. Модест усовершенствовал речитативную и декламационную сторону у Корсиньки; этот, в свою очередь, уничтожил стремление Модеста к корявому оригинальничанию, сгладил все шероховатости гармонизации, вычурность оркестровки, нелогичность построения музыкальных форм, — словом, сделал вещи Модеста несравненно музыкальнее. И во всех отношениях наших ни тени зависти, тщеславия, безучастия; — всякий радуется искренне малейшему успеху другого. Отношения самые теплые, не исключая и Кюи, который, например, нарочно прибежал ко мне только для того, чтобы послушать конец финала моего. Один только Милий чуждается этой семейной равноправности. Ну, да что об этом!»

Очевидно, что Бородин во многом высказывает здесь не только свое мнение, что приговор балакиревскому превращению был произнесен в кружке — и, пожалуй, из всех судей Александр Порфирьевич был еще наиболее мягким и доброжелательным. Кажется, что причины печальной перемены были поняты также правильно, — но может быть, нам сегодня видней, сколь глубока и необратима была драма Балакирева, как мало он был, в сущности, в ней повинен. Чтобы он, Балакирев, был счастлив, ему надо было бы встречаться каждое десятилетие с новым Бородиным, Римским-Корсаковым, Мусоргским, приобретать над ними права духовного руководства, отцовства в полном смысле слова, но только еще большие и обширнейшие. Но такое происходит и не в каждом столетии. Нужно было редчайшее стечение обстоятельств, нужны были исторические предпосылки — переворот в жизни народа и государства, возрождение и развитие творческих сил нации; нужно было, чтобы редчайшее учительское призвание Балакирева натолкнулось на встречную потребность нескольких великих талантов в учителе. Как мы уже говорили, дело Балакирева было сделано — он не мог не чувствовать этого; кризис, который он переживал, был так естествен, так неизбежен, — каково человеку в разгаре жизни ощутить, что дальше дорога только вниз! Еще почти сорок лет проживет он, — вовсе уйдет от музыки, вернется к ней,

закончит свои начатые в молодости сочинения; будут у него новые ученики, в том числе и вовсе не бесталанные, будут и важные заслуги перед русской музыкой и не только перед нею. Его какая-то надрывная религиозность, реакционность воззрений и странности характера усилятся с годами, деспотизм по отношению к окружающим станет под конец жизни нестерпимым; но, может быть, все это следствия одиночества. Люди вокруг были, — однако он не мог не чувствовать себя оставленным и забытым теми единственными, которых молва назвала балакиревцами, он не мог не быть одиноким без них.

II

Если бы, по примеру плутарховых сравнительных жизнеописаний, нужно было бы сопоставить две личности, два характера, противоположных едва ли не во всем, Мусоргский и Бородин отвечали бы этому требованию. Бородин был не охотник обострять и доводить до конфликта какую бы то ни было ситуацию, и выступить в чем-либо против существующего положения вещей могла его заставить лишь вопиющая несправедливость, взывающая к его чувству долга, к его чести. Трагическое мировосприятие Мусоргского заставляло его видеть черты разлада и страдания, картины борьбы и гибели, куда бы ни бросил он свой взгляд. Мусоргский, дворянин, происходивший по прямой линии от святого Владимира, был как-то естественно демократичен; в «незаконнорожденном» Бородине, также демократичном в поведении и воззрениях, нетрудно заметить и некоторую, может быть, подсознательную, слабость к высшим титулам, невозможную в Мусоргском. Для Бородина чувство любви в конце концов сконцентрировалось в отцовской привязанности к элементу «слабости, молодости и надежды», для Мусоргского — в привязанности сыновней, дружеской, братской. Модест Петрович никогда не мог опомниться от горя, принесенного смертью матери; в том чувстве, которое питал он к Надежде Петровне Опочининой, бывшей на восемнадцать лет старше композитора, в том горячем почитании, с каким относился он к Л. И. Шестаковой, угадываются превращения и

видоизменения самого глубокого чувства этой жизни: любви к матери. К товарищам Мусоргский привязывался так, что разлука бывала для него почти катастрофой. Так было, когда Римский-Корсаков женился на Н. Н. Пургольд в июле 1872 года; Мусоргский хотя и не высказал вслух своей обиды, он был даже шафером на свадьбе, — однако и никогда уже больше не относился к Николаю Андреевичу с прежней теплотой. Так будет и с поэтом Арсением Голенищевым-Кутузовым, который после совместного житья с Мусоргским также решит завести семью; Мусоргский придет в негодование: это ему покажется изменой и дружбе, и искусству (тут его взгляд разделял В. В. Стасов, также считавший семью помехой для подлинного художника). Есть во всем этом что-то отроческое, детское. Мусоргский гений, и ребенок, которым он был когда-то, им не был забыт и потерян; тут не инфантильность, столь неприятная во взрослом человеке, а именно сохранение чудесных сил детства, глядящего на мир без шор, не умеющего поладить с неправдой. Во многих случаях это — самое опасное и саморазрушительное свойство, какое можно себе вообразить.

Предшественники. Бородин — Пушкин и Глинка. Предшественник Мусоргского — если говорить о целом и вечном народном характере — протопоп Аввакум (недаром же так захватила поздней Мусоргского тема раскола, язык и песнопения раскольников — бунтарей и страдальцев, еретиков, обвинивших весь остальной мир в еретичестве и исполненных высочайшего самопожертвования, при всех их заблуждениях, при всем их фанатизме). В русской литературе появится со временем гений, во многом напоминающий Бородин как личность. Это Чехов. Великий человек — но чуждающийся всякой исключительности, трезвый в суждениях и деликатный, как будто бы вовсе лишенный эгоистической жилки, мягкий в обхождении, но беспощадный в своей зоркости, исполненный надежды, но становящийся все грустнее с годами... Всякое творчество, по сути, — гипертрофия индивидуальности; великие люди — что скрывать — народ, как правило, нелегкий для тех, кому суждено с ними общаться. Бородин и Чехов в этом смысле точно открывают какой-то иной ряд; оказывается, гений и деликатность, гений — и отсутствие себялюбия и эгоизма не есть «вещи несовместные»...

Бородин не ошибся: Мусоргский и Римский-Корсаков были полезны друг другу и один другого дополняли в дни совместного проживания на Пантелеймонской. Но «уничтожить стремление Модеста к корявому оригинальничанию» Корсакову было, конечно же, не под силу, так же как Мусоргский не в состоянии был уберечь Николая Андреевича от ожидавшего его мучительного кризиса. Их пути расходились далеко в стороны; Римскому-Корсакову, чтобы стать собой, требовалась школа, узда, рамка; единственной возможностью самоосуществления для Мусоргского был отказ от узды, от школы, отдача на милость той трагедийной стихии, которая и была его тайной сущью.

Упреки Бородина Мусоргскому почти слово в слово совпадают с теми, которые Римский-Корсаков позднее сделает в «Летописи». «Стремление к корявой оригинальности (!), шероховатости гармонизации, вычурность оркестровки; нелогичность построения музыкальных форм...» И в то же время тут точно не союзник, а противник говорит: точно Ларош рассуждает о Мусоргском. Бородин и не был союзником Мусоргскому в его небывалых задачах. И Римский-Корсаков не был. Осуждая «нелогичность построения музыкальных форм» у их товарища, его «корявую оригинальность», они, к сожалению, не могли постичь, что здесь шла речь об иной, незнакомой логике. Может быть, степень этого непонимания еще ясней видна там, где Бородин хвалит «Моденьку». Он, такой чуткий к слову, к его малейшим оттенкам, говорит о музыке «Бориса Годунова»: «прелесть», «прелестно». «Какое разнообразие! какие контрасты! как все теперь округлено и мотивировано». Тут только слово «контрасты» как-то относится к «Борису». Остальное поражает несовпадением с тоном и характером оперы. Бородин точно о чем-то другом пишет. Притом он искренен — и хвалит Мусоргского за то самое, за что он похвалил бы сам себя. Опера на него действует, волнует и задевает его? Должно быть, это потому, что все так разнообразно, контрастно, округлено и мотивировано. На самом-то деле его больше всего задевала и брала за душу «корявая оригинальность» Мусоргского: все, что противоречило существовавшей до тех пор музыкальной логике и отвечало новой, возникавшей вместе с этой музыкой. Бородин уж в силу чуткости своей и талантливости не мог не поддаться

могуществу этой новизны. Но объяснить происходившее не умел. Частично это сделал Стасов. Вообще же до победы этой музыки оставалось лет пятьдесят...

Бородин был сам поборником новизны в музыке, смелость его гармонического языка недаром же вызывала столько нападков. Но эта новизна и смелость относились к тому, что делал Мусоргский, как реформа к революции. Оперы Мусоргского глядели — целиком — во вторую половину двадцатого века. Они означали переворот и совершенно новое слово в мировой музыке.

Понять это не было дано современникам Мусоргского. Характер события попросту не вмещался во временные и пространственные рамки одной эпохи, одной страны, одного поколения. Не были исключением и музыканты — товарищи Мусоргского. Жестко сказал об этом Асафьев в «Симфонических этюдах»: «И нечего теперь скрывать: для них он уже являлся горьким неудачником и жалким алкоголиком, наделенным гордым самомнением самоучки...»

Прозорливость Стасова объясняется и тем, что Мусоргский частично «совпал» с представлениями Владимира Васильевича о том, какой должна быть новая музыка, частично же — увы! — был упрощен и «подогнан» под эти представления, причем сам Модест Петрович не то что не сопротивлялся, но даже и способствовал этому... Представления эти строились по аналогии с другими искусствами, живописью и особенно — русской литературой критического реализма; музыка соотносилась с «натуральной школой», с рассказами и очерками писателей-народников. Не удивительно, что при такой ограниченной точке зрения даже Стасов не все видит, не все и хочет видеть в Мусоргском... И все-таки его отношение к Мусоргскому, его любовное и восторженное внимание пробивало брешь в одиночестве музыканта, далеко шагнувшего в будущее, не свое время.

III

В 1872 году С. А. Геденов, тогдашний директор театров, заказал четверем композиторам: Бородину, Римскому-Корсакову, Мусоргскому и Кюи — музыку к опере-балету «Млада»; общий сценарий составлен был

самим Гедеоновым, стихи написал В. А. Крылов. Все четверо согласились, но с чувствами совершенно различными. Бородину заказ пришелся кстати. Александр Порфирьевич точно ждал его. Симфонист-то он был симфонист, однако же разнообразные и богатые возможности, которые только опера открывает перед музыкантом, снова начинали его, по-видимому, привлекать. Да и пример других был заразителен: Кюи, несмотря на скромный успех «Ратклифа», бодро работал над следующей своей оперой, «Анджело»; «Борис» и «Псковитянка» часто исполнялись в музыкальных кружках и салонах, приобретая среди любителей музыки в Петербурге известность. К тому же, один акт оперы, заказанный Бородину — далеко не то, что целая опера, за которую Александр Порфирьевич боялся браться по недостатку времени. Работа, четко отграниченная видимыми, доступными пределами, — это как будто нарочно для него было придумано.

Сюжет «Млады» относится к временам язычества у западных славян. На долю Бородина достался четвертый акт. Ему нужно было написать: сцену страсти и ревности между главными героями «Млады» — молодым князем Яромиром и Войславой; эпизод решающего объяснения Яромира с Верховным жрецом. Главным же содержанием четвертого действия должны были стать могучие эпические картины: языческое богослужение в храме; явление теней древних славянских князей; затопление храма морскими водами и общая гибель...

Как и при работе над «Игорем», Стасов доставлял Александру Порфирьевичу необходимые книги, помогающие войти в атмосферу изображаемой эпохи; сам Бородин в особенности благодарил его за книгу профессора Срезневского «О богослужении славян»... «В это время, в начале 1872 года, я очень часто виделся с ним, — писал потом Стасов, — и часто заставлял его, утром, у его высокой конторки, в минуту творчества, с вдохновенным, пылающим лицом, с горящими, как огонь, глазами и с изменившеюся физиономиею. Особенно помню одно время: у него было легкое нездоровье, он недели с две оставался дома и почти все время не отходил от фортепиано. В эти дни он сочинил всего более, все самое капитальное и изумительное, для «Млады», и когда я приходил к нему, он тотчас же с необыкновенным увлечением и огнем играл мне и пел все вновь со-

чиненное». По обыкновению, Бородин использовал и музыку, назначавшуюся для «Князя Игоря»¹.

Все три товарища Бородина были в ином, неприятном и несколько даже двусмысленном положении. «Ратклиф» Кюи числился в репертуаре Марининского театра, но почти не давался; Цезарю Антоновичу, безусловно, приходилось беспокоиться и о судьбе «Анжелло» — своей новой работы. Римский-Корсаков и Мусоргский были авторами первых опер, судьба которых еще не решилась. Все трое зависели от Геденова; в особенности остро и болезненно ощущал это Мусоргский. Общественное положение Мусоргского было, по тогдашним понятиям, более чем скромным. Трое его соавторов были профессора. Стасов, под руководством барона Корфа писавший историю царствования Николая Павловича для одного-единственного читателя — императора Александра II, получил за эти свои труды чин действительного статского советника, соответствовавший генеральскому. Бородин был статский советник. Кюи — полковник... Один Мусоргский был «никто» в смысле чинов и рангов: просто беспоместный дворянин, просто композитор Модест Мусоргский... Тем ревнивей он хранил и защищал свое достоинство, тем чувствительней был к малейшим покушениям на его самостоятельность и творческую свободу. Геденов, надобно сказать, не очень-то стеснялся, диктуя требования «ангажированным» композиторам; он торопил их, он указывал, каких размеров должны быть музыкальные нумера и т. д. «...Батраческий прием сотрудников по *Младе*, оценка их труда тупоголовая до безобразия, отсутствие всякого *обычая* в достопочтенном подрядчике, следующее отсюда нравственное *fiasko* кружка (не за горами) — вот что меня мутит, — писал Мусоргский Стасову 31 марта 1871 года. — ...Я объявил (насколько умею чисто и деликатно) Корсиньке и Бородину, что в видах спасения девической непорочности кружка, желая, чтобы из него не сделали публичной женщины, я буду предписывать *в деле нашего батрачества*, а не выслушивать, я буду ставить вопрос, а не ответ держать, и это, конечно только с позволения Корсиньки и

¹ Кстати говоря, Стасов, оскорбленный отречением Бородина от «Игоря», почти тут же «передарил» этот сюжет Римскому-Корсакову; хорошо еще, что Николай Андреевич не спешил за него браться.

Бородина, за них и за себя, а подрядчику — как угодно».

Бородина все эти терзания почти не коснулись. Он уложился в сроки, назначенные заказчиком, он хронометрировал время, которое понадобится на исполнение каждого музыкального эпизода, и даже проставил в каждом случае с точностью до полминуты это время в партитуре. Столь разное, чуть не диаметрально противоположное отношение к этому труду не могло не вызвать трений среди балакиревцев. Стасов пишет, что, хотя все товарищи Бородина сами создали «изумительные сцены для «Млады» [...] но все они были невольно принуждены сознавать громадное, в настоящем случае подавляющее первенство Бородина, и с глубокой симпатией дружбы и удивления преклонялись перед своим обожаемым товарищем». Может, сказанное справедливо по отношению к Корсакову. Однако Мусоргский и Кюи были не из тех, кто готов «преклоняться перед обожаемым товарищем» и с готовностью признавать чье-то над собой превосходство. Да и настроение их было иное. Оно, разумеется, не улучшилось, когда выяснилось, что у дирекции нет денег на роскошную постановку и что четыре композитора трудились понапрасну. Позднее каждый из них так или иначе использовал написанное для «Млады», но в тот момент, нужно думать, удар показался им сокрушительным.

«Млада», бывшая, в сущности, для Мусоргского, Корсакова и Кюи делом посторонним и нежелательным, отвлекавшим их от собственных работ, оказалась для Бородина важным этапом. Он разом «догнал» своих товарищей, доказал себе и им силу и дееспособность свою и в этой сфере; он сочинил немало хорошей музыки, вошедшей потом в «Князя Игоря»; он обнаружил, что может писать вдохновенно и быстро, преодолел робость перед крупными замыслами. Остальные трое, при всем том, что они приняли музыку Бородина с величайшим одобрением, были расстроены и подавлены; Мусоргский, как видим, считал историю с «Младой» «моральным фиаско» всего кружка. Так вышло, что эта их общая работа не только не свела их теснее, но, напротив, развела в стороны.

В июле того же года Модест Петрович писал Шестаковой: «Голубушка наша Людмила Ивановна, пять лет тому назад Вы осуществили Ваше благословенное

желание сплотить русский музыкальный кружок в Вашем доме. Вы были свидетельницей горячих дел, подчас борьбы, стремлений, опять борьбы сочленов кружка, и Ваше сердце всегда было живым откликом на эту борьбу, на стремления, горячие дела. Много хорошего было сделано, и за это хорошее дань Вам надлежит, — Вам по праву. — Светло прошлое кружка, — пасмурно его настоящее: хмурые дни настали. Не стану винить за это ни одного из сочленов, «бо несть злобы в сердце моем», но по прирожденному мне доброму смеху не могу не почтить кружок изречением Грибоедова: «одни повыбыли, другие, смотришь, перебиты»¹, то, что служило на пользу Скалозубу, зело печально для кружка, и как ни стараюсь я отогнать докучливую муху, что жужжит скверное слово «развалился», муха тут как тут со своим жужжанием — словно смех, гадкий смех слышится в этом жужжании...»

Мусоргский был прав: Могучая кучка в прежнем своем значении и виде больше не существовала; ей и не нужно было существовать; сроки ее истекли и задачи были исполнены.

IV

В мае 1872 года на заседании Русского химического общества профессор Бородин сделал три сообщения; из них одно, по современным представлениям, было первостепенной важности. Бородин описал явление, названное позднее альдольной конденсацией. Вновь открытая реакция оказалась ключом к созданию множества синтетических, не существовавших ранее в природе веществ. Сегодня она используется в промышленности повсюду в мире; мы сплошь и рядом имеем дело с вещами, которые без альдолей не могли бы существовать. Впрочем, после появления бутлеровской теории химического строения (развитой для ароматических веществ уже знакомым нам боннским профессором Кекуле) подобное развитие событий в химии было неизбежным; ученые Европы как бы взапуски делали одно открытие за другим, наступая друг другу на пятки. Вскоре Бородин в

¹ Скалозуб в «Горе от ума» говорит: «То старших выключат иных, другие, смотришь, перебиты».

немецком химическом журнале наткнулся на статью Вюрца: оказалось, что знаменитый французский химик своим путем пришел к тому же самому открытию. Бородин послал в журнал сообщение о своей работе, но в дальнейшем этою темой уже не занимался. «Когда Бородин спросили, отчего он уступил Вюрцу исследование альдозов, — писал ученик Александра Порфирьевича, М. Гольдштейн, — он вздохнул и сказал: «Моя лаборатория еле существует на те средства, которые имеются в ее распоряжении, у меня нет ни одного помощника, между тем как Вюрц имеет огромные средства и работает в двадцать рук, благодаря тому, что не стесняется заваливать своих лаборантов черной работою». Это была правда. А. П. Дианин рассказывал, что Бородину иногда на свои собственные деньги приходилось нанимать лаборанта для практических занятий со студентами; «бедность лабораторной обстановки доходила до того, что при одной из работ, где требовалась азотно-серебряная соль, Александр Порфирьевич принужден был пожертвовать частью своего фамильного серебра». Однако нам представляется все же, что не меньшую роль тут сыграли и свойства бородинского характера; повторим: не в его натуре было вступать в тяжбу с кем-то из-за первенства; совершенно обычный и никому не казавшийся зазорным ученый спор из-за приоритета его отвращал.

Научная деятельность Бородина, которой так мало уделяется места в этой книге, в его собственных глазах была тогда, может быть, важнейшей задачей жизни. Или одной из важнейших. Не нужно представлять себе дело так, что Бородин был здесь неудачником. Сами имена его соперников, ранее или одновременно с которыми Бородин приходил к важнейшим открытиям, говорят за себя. Французский академик Шарль Адольф Вюрц, так же как немец Фридрих Август Кекуле (с 1886 года — президент Немецкого химического общества) были ученые с мировым именем, корифеи органической химии. Коллега и добрый товарищ Бородина, Александр Михайлович Бутлеров еще во время первой своей заграничной поездки, в 1857—58 годах, сдружился с Кекуле и много чему научился у него; в те же времена он полгода работал в лаборатории Вюрца в Париже и там именно сделал свои первые открытия. А в 1860—61 гг. у Вюрца работал и сам Александр Порфирьевич. В это время в его письмах встречается и имя Кекуле, за ра-

ботой которого молодой химик Бородин следил с сочувствием и интересом.

Исследования Бородина носили практический, экспериментальный характер. Это было направление заданное Н. Н. Зининым. Как-то Зинин даже упрекнул весьма резко Д. И. Менделеева, в то время уже занятого своей периодической таблицей, сказав ему, что, мол, «надо работать»! Ставя лабораторные исследования во главу угла, Николай Николаевич, должно быть, не без подозрения относился к «голому теоретизированию». Сохранилось неотправленное письмо Менделеева к Зинину, запальчивое и возмущенное; он перечисляет сделанное им, доказывает, что мысли, которыми он занят, и есть его работа... К Бородину Зинин, глава петербургских химиков, никогда не предъявлял подобных претензий (Сам Александр Порфирьевич ценил Менделеева всегда очень высоко. Много лет спустя, рассказывая об истории открытия Периодического закона и написания книги «Основы химии», в которой он впервые сформулирован, Менделеев скажет: «Писать [книгу] заставляли и многие друзья, например, Флоринский, Бородин...»).

По необходимости исследовательская работа Бородина смыкалась и с учебными, прикладными задачами, — ведь назначение Академии было готовить военных врачей, и все подчинялось этой именно цели. Тем не менее Бородин оставил после себя, «не считая мелких статей и заметок, 20 химических мемуаров». Боткин и Менделеев, не сговариваясь, назвали его «первоклассным химиком».

Наш замысел вовсе не состоит в том, чтобы, выпятив одну часть деятельности Бородина, принизить или замолчать другую. Возрожденческая широта и многосторонность его личности, приводящая невольно на ум имена Леонардо и Ломоносова, как раз умножает наш интерес и изумление, невольное чувство сопричастности этому празднику и кипению человеческих неиссякаемых сил. Но — будем откровенны: научные открытия Бородина могли быть сделаны и другим первоклассным ученым; логика развития науки такова, что в ней нельзя не пройти определенную веху, нельзя и перескочить через нее. Симфонии Бородина, его «Князя Игоря» не мог написать никто другой; они не сделались с развитием музыки «пройденным этапом». В тех областях духовной деятельности человека, где не бывает прямолинейного

прогресса, понятное дело, ничто наступающее не зачеркивает предшествующего. За спиною остаются застроенные, занятые, навеки обжитые пространства; они, впрочем, и не «за спиной» — не позади и не впереди, не сверху и не снизу; Эвклид здесь не годится. Они с нами или в нас, то отдаляясь, то ставясь ближе; они — это мы, то, чем мы были, то, чем мы будем. Труды Бородина-химика сегодня принадлежат истории науки; сделанное Бородиным-композитором принадлежит вовсе не истории музыки, а — музыке...

V

Еще в январе 1871 года в Версале, рядом с осажденным Парижем было провозглашено создание Германской империи, «рейха». Наследственным императором становился прусский король. В империю вошли двадцать две германские монархии и три вольных города; рейхсканцлером стал князь Бисмарк, Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен. То был второй «германский рейх»: первым считалась Священная Римская империя¹. Все европейские соседи Германии были крайне обеспокоены. Военный дух от новой имперской столицы — Берлина — распространялся во все стороны.

В России введена была всеобщая воинская повинность (и отменена — рекрутчина).

Еще не сошла с лица земли волна непоправимых несчастий, вызванных Крымской войною, были живы искалеченные солдаты, вдовы, сироты. Жива была и память о пережитом национальном унижении, о том, как все подвиги и самоотвержение защитников Севастополя не дали и не могли дать желаемого результата... Теперь скорая и ошеломляющая победа Пруссии над французами, соединение разрозненных княжеств и герцогств в единое целое пробудили в России не просто опасения; в теперешней тревоге прорывалось недоверие к себе, к дееспособности армии; прорывался страх: а вдруг крымская катастрофа повторится? Когда-то местность, занимаемая Петербургской губернией, именовалась Ингерманландией; существовала даже при Петре Первом

¹ «Третьим рейхом», которому прочили тысячелетнее существование, стала Германия Гитлера...

специальная Ингерманландская канцелярия, куда поступали «сборы с рыбных ловель, мельниц, конские и извозничьи пошлыны» и т. п. с Ижорской земли (другое название тех же мест). Балакирев мрачно шутил, что когда немцы захватят Прибалтику, Петербург, Новгород и Псков, они частицу «ин» отбросят: будет не-Ingermanland, а Germanland, а столицей станет Bologai, — то есть попросту Бологое... Мусоргский, развивая эту мрачную фантазию, прикидывал, чем будут заниматься в Германланде их музыкальные противники: Фиф (Ф. М. Толстой, он же музыкальный критик Ростислав), Ларош, Томсон (прозвище профессора Фаминцына). «...Ларош поступит в канцелярию немецкого музыкального цеха вахтером (в буквальном смысле), Фиф в мармитоны¹ к бисмарковскому повару, а Томсон, по крайнему и уважительному, хотя бесплодному, трудолюбию, мух гонять с бисмарковской плеши — мухи будут, наверное, русские мухи, их не скоро выживут, как не скоро выживут и тараканов, а клопов и в Германии много, недаром, в Кенигсберге, Щербина требовал у кельнера Klopstock um klorу zu schlagen², — писал он 13 июля Стасову. — А впрочем чья еще возьмет — бить нас будут, и шибко, да ведь и меня бьют, а все-таки чья еще возьмет».

На вопрос: что-то будет? — ответил следующий год, когда (хоть и не надолго) был заключен «союз трех императоров»: германского, российского и австрийского. Бисмарк показал себя политиком дальновидным, осторожным. Он считал, что война с Россией была бы для Германии предприятием крайне опасным. Ближайшая большая война ждала Россию через пять лет — на Балканах...

VI

Женщины всегда много значили в жизни Бородина — так много, что ему никогда не удавалось относиться к ним легкомысленно. Юность влекла его — все тот же «элемент молодости, слабости и надежды»; мужской корысти в этом его влечении не было. Что-то невозврати-

¹ Т. е. — в поварята.

² Клопшток, чтобы бить клопов. (нем.) В каламбуре обыгрывается имя немецкого поэта Ф. Г. Клопштока.

мое — из детства — откликалось в нем при взгляде на девичье лицо, при звуке молодого голоса, смеха. Мари Готевцева, Луиза, молодая Тетушка... Его окружали и баловали в детстве женщины; он вынес из тех времен много тепла и благодарности. Потом прибавилась жалость, желание защитить. Он знал страсть — достаточно слышать его музыку, чтобы понять это, — но страсть касалась одной, а благодарность, а желание защитить — многих. Отеческое чувство, чувство брата к младшей сестре, которое дается не каждому отцу и не всякому старшему брату, в Бородине развилось необычайно. Способность любить, как и все остальные таланты, раздается живущим не поровну; да это и не одна способность, а несколько — разных, непохожих. Можно пожалеть тех, кому удастся любить лишь себя, — впрочем, порой они и не замечают, эти люди, что им не достает чего-то. И бывает способность к любви абстрактной и возвышенной; и чаще всех прочих встречается родительская, материнская любовь, но и любовь двоих, самодостаточная и эгоистически замкнутая, встречается чаще, чем принято думать; эта любовь содержит в себе почти все, что способна содержать любовь; ее недолговечность равна ее живучести. Редчайшая способность к сыновнему чувству, большему, чем все остальные влечения, и потому подчиняющему их себе и окрашивающему в свои тона, была свойством Мусоргского, мы говорили об этом. Бородину дано было по-отечески любить и жалеть десятки, сотни, — может быть, всех встреченных девочек, девушек, молодых женщин, всех, о ком ему случалось думать, всех, кому он в состоянии был помочь. То было не абстрактное, а вполне конкретное и избирательное чувство.

Ни о чем Александр Порфирьевич не писал с большей безразличностью, чем о волокитстве, донжуанстве, распущенности. «Петра Григорьевича я, по правде сказать, не понимаю. Что все это значит? Положим, что он Нади не любит, но ведь он и Маши не любит, как это он и сам высказывал. [...] Ведь не Дон-Жуан же он, в самом деле; не может же он рассматривать любовные дела, как приятное развлечение, пур се лепетан¹. В таком случае, он не стоит ни малейшего уважения и не следует

¹ Нарочно искаженный французский; «для препровождения времени».

жалеть о том, что никому из двух сестер не выпало на долю быть его женой. Во всяком случае, все это ерунда ужасная...» «Конфиденциально: Киривирюлькин не ограничился простым ухаживанием за Глафирой. Они месяца три были в связи... Кроме дочки, он же, Киривирюлькин имел дела в то же время и с матушкой... Экая грязь! Экая мерзость Донская!»

Можно сказать с уверенностью: одна телесная близость, отлученная от всех богатств нежности, понимания, любви, казалась ему постыдно-убогой; притом, похоже, в женщине он неизменно видел жертву; и опять же — ревность оскорбленного брата или отца проглядывает во всем этом...

«Женский вопрос» был в эти годы на устах у всех в России. Пожалуй, даже Бисмарк отходил перед ним на второй план. Спорили о равноправии женщин, спорили о женском образовании, о способности женщины к умственному и всякому иному труду, о положении женщины в семье, об одиноких матерях. Были и спекуляции на модной теме, и демагогия, и глупость; было и много подлинной страсти и молодого порыва. Была страсть и искренность и у противников эмансипации, у поборников тысячелетней традиции, и не все они об себе хлопотали, о своем незыблемом мужском превосходстве... Женщины же рвались вон из клетки: родительской и мужней власти, невежества, обычая, жестокого ко всему индивидуальному, что было в них, признававшего за ними лишь вечную, родовую роль матери и хранительницы очага (не так уж мало, как выяснилось впоследствии). Только ребенок равнялся с женщиной в ее экономическом бесправии, — и об этом нельзя было не волноваться, не спорить. «Женский вопрос» касался всех и каждого, как никакой другой; одни драться готовы были ради перемен, в других один намек на эти перемены вызывал бурю ненависти. У самого забитого и несчастного холопа в России было кем помыкать, было над кем изгаляться: согласно закону, жена была рабыней раба, дочь была рабыня раба-родителя.

Власти смотрели на «женский вопрос» в высшей степени мрачно и подозрительно. Правительству мерещилось тут покушение на устои общества, все мерзости нигилизма, весь разврат социалистических учений.

Более двух лет велись переговоры, пока дано было разрешение открыть «Женский курс при Императорской

Медико-хирургической академии для образования ученых акушеров». Название это служило для отвода глаз начальства: на самом же деле предполагалось дать курсисткам образование в объеме медицинского института. Подобных учреждений не было тогда еще нигде в мире. Химию на женских курсах читал Бородин; женщины получили доступ и в лабораторию.

Александр Порфирьевичу не требовалось никаких дополнительных указаний или постановлений для того, чтобы видеть в женщине человека в полном смысле слова: он только так и умел на нее смотреть, и возможность какого-то иного взгляда была для него изначально закрыта. «Женский вопрос» состоял для него лишь в необходимости помочь молодым россиянкам обрести себя, встать на ноги. Он стал казначеем общества «вспроможения» женским врачебным курсам, то есть взял на себя самую хлопотную и трудоемкую обязанность, какую только возможно себе представить. Так получило осязаемые, конкретные формы его отеческое чувство, так нашелся выход инстинкту любви, переполнявшему его.

Новая деятельность Бородина прямо-таки возмущала его товарищей-музыкантов. Негодование слышится еще и через много лет в «Летописи» Римского-Корсакова, когда он пишет: «...не наука отвлекала его. Он стал одним из видных деятелей по учреждению женских медицинских курсов и начал принимать участие в различных обществах по части вспомоществования и покровительства учащейся молодежи, преимущественно женской. Заседания этих обществ, должность казначея, которую он исполнял в каком-то из них, хлопоты, ходатайства по их делам начали занимать все его время. Редко я заставлял его в лаборатории, еще реже за музыкальным письмом или фортепьяно; обыкновенно оказывалось, что он только что ушел на заседание или только что пришел с него, что целый день он провел в каких-то разъездах по тем же делам или просидел за писаньем деловых писем или за отчетными книгами». «...Мне всегда казалось странным, что некоторые дамы из стасовского общества и круга, по-видимому восхищавшиеся композиторским талантом Бородина, нещадно тянули его во всякие свои благотворительные комитеты и запрягали в должность казначея и т. п., отнимая у него время, которое могло бы пойти на создание чудесных художественно-музы-

кальных произведений; а между тем, благодаря благотворительной сутолоке, оно разменивалось у него на мелочные занятия, выполнить которые мог бы и не такой человек, как Бородин. Сверх того, зная его доброту и податливость, медицинские студенты и всякая учащаяся молодежь прекрасного пола осаждали его всевозможными ходатайствами и просьбами, которые он самоотверженно старался удовлетворить. Его неудобная, похожая на проходной коридор квартира не позволяла ему запереться, сказаться не дома и не принимать. [...] Сердце у меня разрывалось, глядя на его жизнь, исполненную самоотречения по инерции».

Николай Андреевич искал виновников не там, где надо. Не происки «дам из стасовского общества и круга», а собственная неодолимая потребность двигала Бородиным. Через три года он напишет Л. И. Кармалиной: «Одно, что меня несколько хорошо настраивает, это — дела женских курсов, которые хотя и много отнимают у меня времени, но зато дают нравственное удовлетворение, совершенно отвечающее ожиданиям».

Отношение к женскому образованию, может быть, неожиданно для самого Бородина, поставило его в прямую оппозицию к официальной точке зрения; он вдруг обнаружил себя здесь ближе к Чернышевскому, М. Л. Михайлову, Некрасову, чем когда-либо мог предполагать. Тут есть своя логика: совестливый, думающий, талантливый человек, даже лояльный к существующему строю жизни, оказывался рано или поздно вне русла окостенелых официальных доктрин; сама жизнь как бы разворачивала его против течения, хотел он этого или не хотел. Таким-то образом во всех решающих областях своей деятельности Бородин оказался на позициях максимально передовых для того времени: в науке, в музыкальном творчестве и в отношении к «женскому вопросу», занимавшему так много умы его современников.

Когда в августе 1873 года в Казани состоялся Четвертый съезд русских естествоиспытателей, Бородин выступил — и был горячо встречен — по всем этим трем линиям. Бородин сделал семь сообщений в химической секции, из которых четыре — о работах своих учеников; «достоинство и число их (сообщений — Р. Д.) ...импонировало сильно всем членам секции и выдвинуло нашу лабораторию сильно во мнении химиков и даже не химиков». Потом оказалось, что в Казани есть поклонники

балакиревского кружка, что они следят за деятельностью Бородина и его товарищей, знают «Бориса» Мусоргского и т. д.; для Бородина специально были устроены два музыкальных вечера... Наконец, на обеде в честь участников съезда «...публика растрогалась, — писал жене Бородин, — начали качать... Бутлерова (как популярнейшего ученого всей Казани и бывшего ректора университета). После этого неожиданно подлетели ко мне грешному: «Бородина! Бородина качаты! Он не только хороший, честный ученый, но и хороший, честный человек!» Десятки дюжих рук подняли на воздух мое тучное тело и понесли по зале. Покачав на «воздусях», меня поставили на стул, и я сказал спич — в качестве представителя женских курсов. Вино развязало мне язык, и я сказал горячую речь, провозгласив тост за процветание специального образования женщин. Поднялся гвалт, и мне сделали шумную оvation».

VII

Толстой писал однажды Афанасию Афанасьевичу Фету: «Страшная вещь наша работа. Кроме нас, никто этого не знает. Для того, чтобы работать, нужно, чтобы выросли под ногами подмости. И эти подмости зависят не от тебя. Если станешь работать без подмостков, только потратишь матерьял и завалишь без толку такие стены, которых и продолжать нельзя. Особенно это чувствуется, когда работа начата. Все кажется: отчего ж не продолжать? Хвать-похвать, не достают руки, и сидишь дожидаясь».

У Бородина «выросли под ногами подмости». После смерти матери точно рухнула последняя защита, последняя живая загородка, отделявшая его от космоса, от ледяной вечности. Смерть оказалась на целый порядок ближе, — и тем упрямей противостояли ей упругие, творческие силы души. Он продолжал сочинять Вторую симфонию, — она, однако же, была ему ясна уже вся наперед и требовала не столько созидательного усилия, сколько кропотливой запечатляющей работы, да и простого «писарского» усердия: нужно было исписать гору нотной бумаги. Эту, наименее приятную, часть дела Бородин без конца откладывал. Его силы сейчас требовали нового замаха; задачи с запасом, на вырост... К тому же,

Бородину не давали покоя уже сочиненные и оставшиеся без употребления куски из «Млады». Недоставало какого-то последнего толчка, чтобы новая цель очистилась и открылась. Таким толчком послужила, как нам представляется, поездка в село Рожново. Вот как это было.

Из числа студентов, занимавшихся с первого дня на женских врачебных курсах, очень близка к семейству Бородиных сделалась Марья Александровна Миропольская. Она была москвичка и музыкантша; (в свое время она давала уроки фортепиано маленькому Сереже Танееву). Взбалмошная, чудаковатая, вечно о ком-то и за кого-то хлопочущая, Марья Александровна стала в доме своим человеком.

Весной 1874 года, как всегда, встал трудный вопрос: куда податься летом? У Бородиных не было ни дачи, ни постоянного облюбованного места отдыха. На лето всегда возлагались большие надежды — но уже не раз случалось, что неудачный выбор места, бытовые неудобства и неурядицы все смазывали. В этот раз Миропольская предложила устроить их в имении своих добрых знакомых Куломзинных, в Суздальском уезде. Никаких определенных планов у Бородиных не было, и они согласились.

Выехали 19 июня, поездом до Владимира: Александр Порфирьевич, Екатерина Сергеевна, Лиза, прислуга — Дуняша Виноградова; Марья Александровна. Ученик и помощник Бородина Александр Дианин провожал их к поезду; летом он должен был присоединиться к обществу. Из Владимира предстояло ехать дальше с полсотни верст на лошадях; Екатерина Сергеевна, как всегда в подобных случаях, волновалась и высказывала самые различные опасения. Одно из них на сей раз оправдалось: по дороге экипаж перевернулся; слава богу, никто серьезно не пострадал, хотя перепугались все изрядно.

Сельцо Рожново, Знаменское тож, стояло в местности почти безлесной, но живописной и здоровой. Лето было теплое, — о чем всегда зиму напролет мечтал Бородин. Каждое утро Александр Порфирьевич бегом, с полотенцем через плечо, спешил на речку — умыться. Речка Уршма была невелика, но слыла коварной из-за множества холодных ключей, бивших со дна. Возвращаясь, Александр Порфирьевич еще до завтрака садился за

фортепьяно, которое они, не сговариваясь, прозвали клавесином. «Клавесин» был совсем дряхлый, дребезжащий — под стать небольшому и уже обветшалому дому, который принадлежал когда-то путешественнику Крузенштерну. Бородину приходилось листать его книги — толстые тома с подробнейшим описанием первого русского кругосветного путешествия, с картами и гравюрами под папиросной прозрачной бумагой. Наверняка Бородину приходило в голову, что старый моряк, может быть, здесь, в этом самом доме, писал свои труды, с полотенцем через плечо ходил по утрам на холодную Уршму, а потом, глядя из сада на мирные здешние поля, косогоры, луга, вспоминал превратности и тревоги долгой жизни, Камчатку, Японию, тропики...

Куломзины, чьим гостеприимством Бородины пользовались, — чета небогатых помещиков, — жили в нескольких верстах от Рожнова; Бородин с Лизою, а позднее и с Дианиным ходили к ним в гости пешком. Народ в этих местах был рослый, красивый; в здешних крестьянах угадывалась порода древних оратаев и ратников, пронесенная через столетия без урона. Не замечалось за рожновскими жителями ни сильного пьянства, ни озорства; в то же время и забитости, приниженности не было в людях: они знали себе цену, и глядели с достоинством, а в молодых и дерзость проглядывала, и смешливость вовсе непочтительная.

Однажды в августе, росным утром, Бородин, Лиза, Миропольская и Елизавета Александровна Куломзина во вместительном помещицьем тарантасе отправились в недалекое путешествие — в Суздаль. Солнце незадолго до того взошло; длинные тени от лошадей и экипажа неторопливо переваливались с косогора на скошенный луг, на островки кустарника, съезжали в таинственный и глухой овраг, там пропадали, но вот уже снова протягивались наискосок по ровному, зыбились и ломались на взгорьях.

Вдруг раздался голос кукушки: чистый и такой отчетливый в тишине, точно она куковала прямо над ними. Кукушка, казалось, хотела изобразить излюбленный бородинский интервал, кварту, но всякий раз немного — на четверть, на восьмую долю тона не дотягивала.

— Поздняя! — неизбежно должен был произнести кто-то из них.

Бородин попросил остановиться. Вышли, с наслаждением ощущая твердую почву под ногами, а вокруг себя — старинную хрупкую тишину. Воздух был чист, холоден, как вода из ключа. Тени остановились, протянулись вперед, задевая головой далекую березовую рощу, скрывавшую, скорей всего, деревенский погост; стога бурели там и тут; какое-то озерко блеснуло чешуей у самого горизонта. Роса сияла на каждой былинке и светилась. Родина была здесь.

И тысячу лет назад здесь было такое же утро, роса так же переливалась и дрожала в травах, и той же самой осьмушки тона не хватало до кварты кукушке...

Потом они опять ехали, потом опять стали и вышли из экипажа, чтобы издали окинуть взглядом Суздаль, толчею деревянных изб, старательную детскую геометрию огородов, и стены и башни, колокольни, голубые, золоченые, зеленые купола и луковки церквей, кресты, крыши, купы деревьев, и желтое жнивье, и жилку ручья, бегущего к речке Каменке. Бородин отвернулся и отошел в сторону от других, он не хотел, чтобы на него смотрели. Никто не стал мешать ему. Перед ним была древняя, домонгольская Русь, город времен «Слова о полку Игореве», времен Всеволода Большое гнездо. Того, о котором сказано в «Слове», что Всеволод может Волгу веслами расплескать, а Дон шеломами вычерпать. Отсюда, издали, легко можно было вообразить, что минувшее не миновало, что там, внизу, собирается в поход дружина, застоявшиеся кони роют землю, старухи заранее голосят, а молодки глядят на своих лад, на мужей своих, уже отлученных, оторванных от них, с жадностью и страхом, улыбаясь через силу.

Здесь, в это время, в этом месте Бородин должен был вернуться к мысли о «Князе Игоре». Автор, избегающий в этой части книги беллетристического домысла, уверен, что ничего не присочинил. Шестью годами раньше Корсаков собирался ехать в деревню (в те самые Маковницы, где он отдыхал одновременно с Бородиным). «Помню, — писал Николай Андреевич, — как картина предстоящей поездки в глушь, во внутрь России, мгновенно возбудила во мне прилив какой-то любви к русской народной жизни, к ее истории вообще и к «Псковитянке» в частности, и как, под впечатлением этих ощущений, я присел к роялю и тотчас же с импровизи-

ровал тему хора встречи царя Ивана псковским народом...»

Уж никак не менее впечатлителен был Бородин; только не «мысль о предстоящей поездке», — живые улицы древнего Суздаля влияли на него. Известно, с какой чуткостью отзывался Александр Порфирьевич на впечатления бытия; известна и мера подготовленности его именно к этого рода впечатлениям... Бородин мог увидеть больше, точнее, подробней, чем здесь рассказано... Еще и через год он поминал в письме всю тогдашнюю компанию и ее похождения «в тот день, когда мы ездили поклониться Суздальской святыне...»

По возвращении из Рожнова, 15 октября 1874 года, Бородин объявил Стасову, что вновь принимается за оперу «Князь Игорь».

Стасов дает свое объяснение тому, что Бородин вернулся к «Игору». Он рассказывает, что в ту осень приехал с Кавказа молодой врач Шоноров, один из любимых учеников Бородина (а также Боткина); узнав, что Александр Порфирьевич забросил свою оперу, Шоноров «с жаром стал доказывать своему учителю и другу, что это истинное преступление, что музыка его оперы паразитична и глубоко талантлива, и что сюжет именно всего более соответствует натуре Бородина». Может быть, внешне все и выглядело согласно этому рассказу, но мы-то убеждены, что дело решилось летом, у древних суздальских стен. Мало ли что с жаром доказывали Бородину в разное время разные, в том числе очень близкие ему люди! Мало ли в чем его убеждали! Одни говорили, что ему следует заняться делом и бросить пустяки, имея в виду под «пустяками» работу в лаборатории. Другие советовали бросить пустяки, разумея под этим словом музыку и все, что ее касается («Господа профессора не могут простить мне, что на досуге я не в карты играю!» — вырвалось однажды у Бородина). Те и другие дружно ополчались против «пустяковых» дел, связанных с женским образованием и отвлекавших Бородина от науки и от музыки. Бородина уговаривали писать симфонию, а с оперой подождать. Потом уговаривали поспешить с оперой, обождать с симфонией. И уж во всяком случае не заниматься квартетом, пока... и т. д. и т. п. Бородин выслушивал всех, но давал уговорить себя лишь тогда, когда внутренне решался поступить так или иначе.

Тем же вечером, 15 октября, донельзя обрадованный Стасов и не менее счастливый Бородин обсуждали, как использовать в «Игоре» музыку, назначавшуюся для «Млады» Гедеонова, прикидывали, что нужно переменить и добавить в старом «сценариуме»; времени оба не замечали, и прощаться начали в полтретьего ночи. Бородин пошел провожать Владимира Васильевича и, увлекшись разговорами, прошел с ним чуть не до самого его дома. Моросил дождик, — они и этого почти не замечали, размахивали руками, останавливались, смеялись и кричали, словно два гимназиста, сбежавших с урока... Через два дня Стасов вновь появился у Бородина — с томами «Истории...» Карамзина, с летописями...

Двенадцать с небольшим лет оставалось жить Бородину... Если б кто подошел к нему, шепнул на ухо, подсказал... А что подсказать-то можно было? Ну, хотя бы: что время еще не ушло, что оно работает пока что ему на подмогу — но не вечно так будет; что сейчас все совпадает: его музыка и смелые надежды нового поколения, силы и желание писать и желание публики слышать, но и так будет не всегда. Что — вот его, Бородин, по-прежнему на все хватает, но наступит час, когда бессонный голос его будет ночью повторять с выражением муки: «Не могу сочинять...» Но нет, некому было подойти и сказать все это, да и не поверил бы Бородин ничьим предостережениям.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Эпоха шестидесятников обняла не одно, а два десятилетия: они выступили на исторической арене сразу после смерти Николая Первого, и к середине семидесятых годов им принадлежали ключевые посты в жизни России. Но тут явилось со своим словом новое поколение, которому суждено было прочертить свой путь с яркостью и гибельной стремительностью падающего метеора. Семь лет борьбы и жизни (именно в таком порядке: сперва — борьбы, потом — жизни) было в запасе у семидесятников. Люди этого, только что послевшего поколения, в большинстве были так маловозрастны перед падением крепостного права, что оказались уже целиком произ-

ведением нового, пореформенного времени. Но именно им не давал покоя позор вчерашнего рабства. Никакого восторга по поводу известных происшедших реформ они не выражали; напротив, они в толк не могли взять, как это их отцы и деды так долго, так вяло мирились с ужасающим средневековым крепостнических порядков; эту ошибку они не имели права и не хотели повторить. Если предки их закрывали глаза на многое, то тем более их долг был увидеть, малейшую несправедливость и возвысить против нее свой голос. Да и какие там «малейшие» несправедливости, когда нужда и невежество, произвол, глупость, голод, пьянство губили целые губернии! Образованная молодежь называла в числе виновников народных бед своих отцов, но и себя тоже. Их образование, доставшиеся им плоды культуры выросли, как в античных рабовладельческих обществах, на черном труде миллионов, на чужом бесправии. Искупить — как можно быстрее, сейчас, немедленно свою вину, — вот что ими двигало. Народ настолько забит и темен, что даже не сознает степень своей несвободы, не видит, как он обманут и обобран, как попрано человеческое достоинство всех и каждого. Где, когда? — неизвестно, — но совершен мерзостный подлог; естественное чувство любви к родной земле повернуто в русло казенного патриотизма; преданность Отечеству отождествлена со скотской покорностью власти предержажим; вера обратилась частью в лицемерие, частью в грубое суеверье; пытливость ума едва ли не вменяется в преступление, и лишь одна свобода оставлена: притеснять или быть утесняемым, пожирать себе подобных или служить им пищей... Нужно народу разъяснить, рассказать весь ужас его положения, тогда-то он, народ, проснется, развернется во всю мощь, тогда-то он себя покажет!

Не вчерашних крепостников, не верноподданных российского монарха, не либералов даже, не сторонников реформ, — а Герцена, Белинского, Чернышевского признавали новые люди своими отцами. Рахметов, воспринимавшийся как лицо живое, был им образцом. Выросшие на статьях Писарева, сочинявшихся в Петропавловской крепости, они презирали искусство и поэзию, если поэт и художник не обличали язвы, не звали на битву, не давали ощутимой и немедленной пользы, не откликались на вопросы. Суровое «антипоэтическое» поколение отвергало Пушкина и Тютчева, отдавая все свои симпа-

тии Некрасову; говори как можешь, как умеешь, но говори дело, — по-базаровски настаивали они.

Весной и летом 1874 года сотни, тысячи образованных молодых людей пошли «в народ», — по деревням, по проселочным дорогам, по глухим и заброшенным углам: рассказывать крестьянам правду об их жизни, звать их к пробуждению, искупать свою старинную вину.

Ничего подобного, пожалуй что, не случалось еще ни в одной земле и ни в какие времена. Разве с первыми христианами можно было бы сравнить этих матерьялистов и завзятых безбожников. Не из нужды, не из отчаянья личного встали они на эту дорогу — большинство из них принадлежали к сословиям состоятельным, многих могла бы ждать блистательная карьера, сытая, беспечная, беспечальная жизнь. Что оторвало их от отца с матерью, от соблазнов молодой любви, от учения и творчества? А то, что они не могли видеть спокойно беспросветность чужой беды, не умели ждать постепенных перемен к лучшему; совесть гнала их и заставляла положить жизнь за други своя.

Не каждому удастся быть храбрым на войне, если даже и справа и слева — свои, и вся страна за спиною. От них же отрекались родители и братья, вчерашние друзья боялись признаться в знакомстве с ними. Полиция преследовала их по пятам. Те самые крестьяне, ради которых они готовы были жертвовать всем, бывало, выдавали их властям, испуганные противузаконной затеей барчуков. Многие из них верили, что смутьяны желают восстановления крепостного права, потому и мутят народ, хотят поднять на царя-освободителя... Так или иначе гнев и подозрения кипели в мужике, чудился ему во всем этом какой-то хитрейший и коварный подвох. Подвиг самоотвержения, незабываемый, святой подвиг русской интеллигенции просиял на фоне житейской прозы и пошлости, среди мелочных расчетов, трусости, карьеризма, лицемерия; рядом с осторожностью осторожных, равнодушием равнодушных; рядом с беззаветной собачьей преданностью монарху, рядом с шовинизмом и ханжеством всех мастей, рядом с улиточной порядочностью и честностью «для себя»... Люди одной идеи, народники прошли мимо многого, во многом ошиблись, но запал их страсти был таков, что не оказалось вокруг другой подобной силы. С жертвенностью своей и совестью, с правдой своей, с наивностью и фанатиз-

мом — они встали в центре общественной жизни, это принуждены были сознавать даже несогласные, даже враги.

Здесь начиналась драма Бородина, не уместившегося со своим творчеством в отведенном шестидесятникам отрезке истории. Его антипод — Мусоргский — «совпадал» с тревогой народников, с острым и беспощадным осознанием несообразностей, кричащих противоречий действительности. Бородину же любая отрицательная программа была чужда; его призванием было не разрушать, а строить. Не станем недооценивать неистощимую парадоксальность жизни. Когда внешние воды ломают лед и несут с собою вниз все, что вчера казалось твердым и неприступным, — пусть они тащат на здоровье ледяные поля, осколки, обломки, весь взбаламученный сор, вплоть до поскребышей побежденной зимы... но берега не должны быть захвачены течением, но берегам должно оставаться на месте! Идеалы национального и государственного единства, вдохновлявшие Бородина, не были таким уж анахронизмом; вовсе не только к временам «Слова о полку Игореве» они годились. Незадолго до того, сразу после реформы, чуть ли не во всех слоях общества они преобладали. Как сказал Достоевский, «Россия еще молода и только что собирается жить, но это вовсе не вина...» Ощущение молодости народа и страны не было обманчиво, — обманчива была надежда на совпадение разнородных интересов.

Бородин крайностей славянофильства никогда не разделял. Однако некоторые взгляды «старших» славянофилов были ему, без спору, близки. В далеком прошлом, в домосковской Руси им чудилась цельность, почти не постижимая, единый народ, в котором общая забота была у князя и ратника, боярина и холопа, а искренняя вера, заветы отцов, начала справедливости и братства сплачивали людей в борьбе со злом. Выраженные словесно, такого рода воззрения теряли убедительность, их наивность не удавалось, невозможно было скрыть. Другое дело — музыка. В ней способна ожить подлинная цельность и древняя мощь, она, как язык, как пушкинская поэзия, надсословна и принадлежит разом всем временам. Речь о великой музыке. И о той, в частности, какую писал А. П. Бородин.

Но как она казалась не ко времени в семидесятых, а особенно в восьмидесятых годах! Взвзвывая столько от

прошлого, так безошибочно нацеленная в будущее, она, эта музыка, оказалась в разладе с настоящим, с воздухом одного-полтора десятилетий. Но об этом — позже; пока же скажем, что все главные события тогдашней общественной жизни происходили рядом с Бородиным и вокруг него. Не потому, чтобы он стремился в их гушу, — нет, но он был в эпицентре. Один из ближайших его знакомых, Дмитрий Васильевич Стасов, первый председатель первого Совета присяжных в России, участвовал в качестве защитника во всех самых крупных политических процессах, и закрытых, и гласных: Каракозова, нечаевцев, в процессе 193-х. Это последнее дело, по которому прошло с начала следствия около четырех тысяч человек, как бы и подвело итог «хождению в народ». Следствие продолжалось долго, — 97 человек погибли или сошли с ума, не дождавшись приговора... Затем впереди была революционная деятельность народовольцев, террор, мученичество, казни на площадях.

Никакого отражения эта сторона жизни не получила ни в письмах, ни в воспоминаниях, ни в каких-либо иных документах. Но непременно нужно помнить, что все это составляло атмосферу последнего десятилетия жизни Бородина, все более сгущавшуюся и наэлектризованную, все более грозную атмосферу. Александр Порфирьевич получал сведения самые точные и полные из первых рук: от Д. В. Стасова, знавшего больше, чем судьи, больше, чем подсудимые, от других причастных к делу и осведомленных лиц. Сама Медико-хирургическая академия была настоящим рассадником вольномыслия, один из центров революционно настроенной молодежи. Есть документальные свидетельства того, что в химической лаборатории хранились прокламации и листовки. Бородин нередко ездил в своей генеральской форме выручать арестованных студентов; это, правда, не значит, что он полностью сочувствовал их деятельности.

II

27 января 1874 года в Петербурге состоялось первое представление оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Успех оперы у слушателей был чрезвычайный. Критики, приготовившиеся напасть на новое творение

ненавистой «шайки музыкальных радикалов», пребывали в растерянности. В основном их объяснение происходящего сводилось к тому, что артисты совершенно бесподобно, с невиданной и редчайшей выразительностью исполняют эту, в общем-то, неумело, непрофессионально написанную, варварски грубую и неинтересную музыку. Талантливый, знающий, тонкий критик Ларош — и тот попался на эту удочку. «...Вообще исполнение было замечательно хорошо», — писал он о премьере «Бориса». Потрясали своей игрой, правдой и глубиной переживания не только признанные артисты, но и второстепенные, ничем не замечательные «трудаги» Мариинской сцены, в которых никаких признаков драматического дарования сроду не замечалось. Критики не видели (да и не хотели видеть), что «играла» музыка, что в ней была схвачена и припечатана навеки правда человеческих страстей, что музыка, была первый актер спектакля, что она делала талантливым и вдохновенным каждого, кто ей доверялся: и исполнителя, и слушателя. «Борис Годунов» стал величайшим торжеством Мусоргского, Стасова, всей «Могучей кучки», русской музыки вообще. Друзья «Бориса» еще, может быть, не осознавали до конца масштаб события, но враги если и не поняли, то уразумели чутьем размер грозящей опасности. Никогда еще ни одна опера на свете, ни один оперный композитор в мире не подвергался такому разносу. «Если демократическая правда называется «Борисом Годуновым» Мусоргского, то пропадай она совсем», — с предельной откровенностью сказал Ларош. Еще и через десять, и через двадцать лет после премьеры, когда композитора уж давно не было в живых, «Борис Годунов» и «Хованщина» продолжали вызывать озлобленные нападки, брань и ругательства недругов — удивительный, потрясающий успех; как же глубоко нужно было задеть этих людей, как взбаламутить и возмутить всю их натуру, чтобы стать предметом столь долгого, ожесточенного гоненья!

Особенно яростно сражался против «Бориса» на протяжении всей оставшейся жизни Ларош. Ненависть к этой опере, навязчивая, как любовная страсть, сжигала его. Консерваторский товарищ, а затем друг и проницательный истолкователь Чайковского, ценитель глинканского творчества, один из образованнейших музыкантов России, блестящий музыкальный писатель, остроумный и язвительный полемист, Ларош сознательно встал во

главе поборников классической традиции, защитников музыкального предания, завета. О композиторах Могу-чей кучки он писал: «...кружок всегда стремился к эмансипации инстинкта и произвола, к торжеству стихийной силы над преданием, над историей, над знанием, над эстетикой». Это была четкая программа противостояния. Ларош как бы изображал собою «Стасова-навыворот». На знамени его были написаны имена Палестрины, Баха, Моцарта; уже Бетховен, при всем уважении критика к этому гиганту, казался ему в какой-то степени отступником и разрушителем. Представителям же новой русской школы отказывалось во всем: в таланте, в самостоятельности, в знании, в простой грамотности. Справедливости ради заметим, что Ларош признавал, однако, право этой школы на существование. «Нужно, чтобы каждое направление имело возможность высказаться, — разумно писал он, — чтоб каждая новая мысль могла облечься в слово: решать участь художественного направления может только публика, а для этого необходимо, чтоб между публикой и произведением не было стены». Но в случае с «Борисом» и публика была ему не указ. Ларош-дожил до триумфов ненавидимой им оперы, до шаляпинских спектаклей, но он умел закрыть глаза, заткнуть уши и твердить свое. «У Мусоргского я ничего не могу найти, кроме редких отдельных проблесков красоты и вдохновения (как в сцене корчмы в «Борисе») вроде тех знаменитых пяти стихов, которые Пушкин нашел у Тредьяковского и которые ничуть не помешали своему автору остаться Тредьяковским». «...Холодный рассудок при первом взгляде на партитуру г. Мусоргского сказал бы, что при огромных претензиях на поэзию, на драму, на правду, на народность, она представляет поразительное отсутствие не только умения, но и врожденного чутья к голосоведению, врожденного чувства изящного. Какая-то, деревянная безжизненность тупо глядит на вас из этих аккордиков, словно во сне подобранных на фортепиано. Никакой искорки поэзии я не слышу также в этой декламации, столь превозносимой сторонниками композитора... Если я не ошибаюсь, школа допускает, что он ничему не учился, но прибавляет, что у него громадный природный талант. С первой половиною этого суждения я совершенно согласен; вторая была бы отчасти справедлива, если б речь шла о г. Бородине. Вот у Бородина действительно чувствуется несоответствие

между родовым именем и благоприобретенным, между дарованием и школой; дайте такому таланту школу, конечно, не теперь, а в годы юности, и трудно представить, на какой степени совершенства он остановится».

Уже в начале нового, двадцатого столетия, в 1901 году, Ларош вот над чем задумался. «Мы не знаем и того, что в Европе происходит, да и в том доме, где я живу, я не знаю, кто настоящий музыкант. Разве в 20-х годах прошлого века знали в Вене, что в ней, в Вене, происходило нечто грандиозное, что жил и творил Франц Шуберт? Истинный гений так же невидим вблизи, как Ньютон непонятен для ньютоновой собачки. Составляя отчет по музыке последних двадцати пяти лет, я рискую поместить таких, которые не выдержат испытания следующего двадцатипятилетия и раньше успеют кануть в океан небытия. А главное: я, наверное, не помечу первым того, кто таковым окажется в 2000 году, по столетней прочности, наверное, ошибусь — или тем, что, зная его, не угадаю в нем будущего первого, или же тем, что не знаю теперь ни сочинений, ни самого факта его существования».

Сегодня можно сказать с совершенной уверенностью: в двухтысячном году первым из современников Лароша останется тот, кого он поносил и преследовал при жизни и после смерти, в чьих сочинениях не находил «ни искорки поэзии» — Модест Петрович Мусоргский.

И все же — нельзя не сказать о ценности позиции Лароша и его единомышленников. В какой-то мере они разделили с Стасовым, с балакиревцами ответственность за развитие русской музыки и русской музыкальной мысли. Спор в искусстве, как в науке, есть норма. Навивно толковать законы диалектики как борьбу хорошего нового с нехорошим старым. Взрывная сила противоречия посылает явление вперед. То, что говорит о Мусоргском и его товарищах, «по всегдашнему глумясь и не понимая», Ларош, звучит кощунственно и зачастую нелепо. Ну, а то, что Стасов говорит о «детскости», «деревянности» Моцарта, о неспособности Чайковского к вокальной музыке, об устарелости Баха и Гайдна, о ненужности консерваторий — не те же ли самые крайности, только с обратным знаком? Стасов тоже не видит и не слышит, не желает видеть и слышать сплошь и

рядом. И снова скажем: это не личный каприз того или другого критика, а их воинственная верность избранной роли, историческому призванию. Стасов отстаивал национальную самостоятельность, новизну и современность в искусстве, народность; все, что связано с великими социальными движениями и общественными страстями; с историческими событиями, с поисками справедливости, его волновало до глубины души; мир личности, индивидуальная любовь и страдание, нежность, печаль его интересовали значительно меньше; эта область была для него почти закрыта — и оттого-то он ничего не понял в гениальной «Пиковой даме», не жаловал бородинские чудесные квартеты, а лучший романс Бородина «Для берегов отчизны дальной...» находил абсолютно неудавшимся. Ларош видел далеко и верно как раз там, где зрение отказывало Стасову; Стасов прекрасно слышал то, что недоступно было слуху Лароша...

Любопытно одно из высказываний Листа о русских музыкантах, о балакиревцах, ставшее известным со слов близкой его ученицы. «Развившись самостоятельно вдали и вне всякого постороннего влияния, они внесли в музыку нечто новое, что восхищает его (Листа, — Р. Д.) своим ритмом и свежим вкусом. С другой стороны, он глубоко бы сожалел, если бы русские музыканты, которые обрели самих себя, замкнувшись в своего рода крепость, поистине и в высшей степени русскую, в один прекрасный день перестали энергически защищаться против иностранцев. По его мнению, ничего худшего не могло бы с ними случиться...» Стены этой «крепости» были слеплены из... вражды, которую вызывали у «классиков», которую питали к противной партии кучкисты. Примирение означало бы ассимиляцию, растворение в чужих обычаях, в готовом языке. Но русской музыке нужна была и вторая сторона, — чтоб самобытность не превратилась в самоизоляция, чтобы столь недавний союз с Моцартом и Бахом не прервался по недоразумению, чтоб Чайковский и Вагнер не были отброшены «за ненадобностью», а квартеты изъяты из музыкальной литературы ввиду их излишней камерности. Это, быть может, преувеличение, но преувеличенные и крайние формы зачастую принимал и сам спор; да ведь и не шутки же какие — битва не на жизнь, а на смерть разворачивается перед нами; и отнюдь не клюквенный сок проливается в этих боях...

К враждебности Лароша, Фаминцына, Соловьева, писавшего о «дилетантских блужданиях, каким поддаются инженер Кюи, химик Бородин, моряк Римский-Корсаков, отставной поручик Мусоргский и им подобные», к нападкам критики Мусоргскому было не привыкать. Но вскоре после премьеры «Бориса» он получил, можно сказать, удар ножом в спину. В «Санкт-Петербургских ведомостях» шестого февраля 1874 года появилась статья, в которой говорилось, в частности: «Главных недостатков в «Борисе» два: рубленый речитатив и разрозненность музыкальных мыслей, делающая местами оперу попуриобразной [...] ...недостатки произошли именно от незрелости, от того, что автор не довольно строго-критически относится к себе, от неразборчивого, самодовольного, спешного сочинительства, которое приводит к таким плачевным результатам г. г. Рубинштейна и Чайковского». Автором статьи был Цезарь Антонович Кюи, а соавтором — зависть, да-да, обычная зависть к более удачливому собрату, обычная, — но столь сильная и непреодолимая, что она заставила автора «Ратклифа» пойти против своих. Враждебная критика тут же с удовлетворением отметила ренегатство Кюи. Мусоргский писал Стасову в день опубликования рецензии, сразу по ее прочтении: «Что за ужас статья Кюи! [...] Так, стало быть, надо было появиться «Борису», чтобы людей показать и себя посмотреть. Тон статьи Кюи ненавистен: что за детская выноска по поводу баб!¹ А это рискованное нападение на самодовольство автора! Безмозглым мало той скромности и нечванливости, которые никогда не отходили от меня и не отойдут, пока у меня мозги в голове еще не совсем выгорели. За этим безумным нападением, за этой заведомою ложью я ничего не вижу, словно мыльная вода разлилась в воздухе и предметы застилает. Самодовольство!!! Спешное сочинительство! незрелость!.. чья?.. чья?.. хотелось бы знать.

Вот что: любящая женщина предчувствует по разным признакам что-нибудь угрожающее любимому человеку. Вы часто проговаривались: «боюсь за Кюи по поводу

¹ В день премьеры не пожелавшие назвать себя дамы просили передать венки композитору; венок, однако, не был вручен Мусоргскому при публичке; с этим была связана болезненная и неприятная для М. П. история, чуть не поссорившая его с Стасовым. Кюи, как и Ларош, не отказал себе в удовольствии «обыграть» историю с венком.

«Бориса». Вы оправданы в Вашем любящем предчувствии».

Для Мусоргского происшедшее было крушением. Нести в одиночку бремя гениальности было трудно, непосильно. До самого последнего момента Модест Петрович тешил себя надеждой, что он не один. Балакирев оттолкнул его от себя, — ну что ж, в конце концов он всех оттолкнул. Оставались Кюи, Корсаков, Бородин. Римский-Корсаков стал профессором ненавистой консерватории, но это было еще полбеды: он разрушил невиданное содружество двух композиторов, он женился! А потом усадил себя за школьные премудрости, — что было прямым вызовом и укором ему, Мусоргскому! Автор «Бориса» воспринимал корсаковские фуги и контрапункты как прямую измену, — и точно, они были таковой; Николай Андреевич поступал тут прямо по рецептам Лароша (недаром Чайковский считал, что Ларош оказал своей критикой Римскому-Корсакову огромную услугу и подвинул его на новый путь; то, что Корсаков продолжал отзываться о Лароше весьма резко, казалось ему неблагодарностью.) Сам Николай Андреевич именно о 1874 году писал в «Летописи»: «Во время моих занятий Бахом и Палестриной... фигуры гениальных людей показались мне величественными и с презрением глядящими на наше передовое мракобесие». Да, это был переворот, полный отход от прежнего. У Мусоргского оставались еще Кюи и Бородин... И вот теперь — только Бородин. Но с Бородиным Модест Петрович никогда не был так близок, как с остальными; здесь уже была сделана попытка показать, что и как люди и как музыканты они были антиподы. Обаяние и терпимость Бородина скрадывали это обстоятельство, но Мусоргский слишком глубоко и губительно был вовлечен в свою музыку, чтобы не чувствовать, что их разделяло. Бородин и Мусоргский никогда не разойдутся окончательно, — но это и потому, кроме всего прочего, что они никогда окончательно не сходились. Модест Петрович умел с восторгом, любовью и благодарностью говорить о близких ему людях; тем более поражает сдержанность его по отношению к Бородину. Упоминаний об Александре Порфирьевиче вообще немного в его переписке. Стасову — в ноябре 1875: «Пошлю Вам, дорогой мой, послание к Бородину (оно, это послание, до наших дней не дошло. — Р. Д.). Если бы можно, с Вашим содействием, вытащить из чайной

чашки или самовара там, что ли, перекладку его тузовой симфонии!» Шестаковой — в январе 1876: «...Мы с Бородиным хотели бы к Вам попасть в четверг 22 января к 8 часам вечера, с целью Вас повидать и Бородинскую героическую симфонию посмотреть». Ей же, 28 — 29 февраля: «...сдается, Бородин не выдаст: поздно и незачем. О, если бы Бородин озлиться мог!»

Остальных Мусоргский судил с беспощадностью. В письме Шестаковой: «Но не подвигнемся на Ц. Кюи и Н. Римского-Корсакова: «мертвые бо сраму не имут». Для него они были мертвы...

II

В 1874—75 учебном году Бородин дважды простужался; оба раза, сидя дома, он всласть позанимался музыкой. В это время он сочинил для «Князя Игоря» половецкий марш, «Плач Ярославны», арию Ярославны, женский хор в половецком лагере («Улетай на крыльях ветра...»), начал писать половецкие пляски. «У меня накопилось немало материалов и даже готовых номеров, оконченных и закругленных, — писал он Кармалиной, — (например, хоры, ария Кончаковны и проч.) но когда мне удастся все это завершить?..» — «Никогда, — отвечала ему судьба из неведомых глубин...» Так выразительно прокомментировал эту фразу Стасов в своей книге о Бородине.

Однако же 1875 год оказался богат на диво. Лето Бородины провели не в деревне и даже не на даче, а — в Москве, в пустовавшей квартире главного врача Голицынской больницы. И что же? Бородин сочинил половецкие пляски с хором, арию Кончака, хор славления для финала (позже Бородин перенесет его в Пролог оперы). По-видимому, в это же время он закончил Вторую симфонию и переложение ее для фортепиано в четыре руки, досочинил и записал струнный квартет, начатый еще зимой. Это изобилие приводит на память болдинскую осень Пушкина. Точно сняты были какие-то препоны, и чистое, зрелое, полновесное вдохновение вылилось в этих вещах бурно и свободно. Бородин был гением в то лето. Все, написанное им в эти месяцы, принадлежит к лучшим его сочинениям и к счастливейшим открытиям всей русской музыки. Сознал ли он сам

размеры сделанного? Трудно сказать. Осенью он писал Екатерине Сергеевне, оставшейся в Москве до зимы: «Признаюсь, я даже не ожидал, что мои московские продукты произведут такой фурор. Корсинька в восторге, Модест тоже. Людмила Ивановна приглашает Петровых¹ послушать их. Особенно меня удивляет сочувствие к первому хору, который мы пробовали в голосах и, без хвастовства скажу, нашли ужасно эффектным, бойким и ловко сделанным в сценическом отношении».

И следующим летом Бородин напишет Кармалиной: «...я все стремлюсь осуществить заветную мечту — написать эпическую русскую оперу». Слово сказано. Задача определена. Говорится о ней, как о деле давно задуманном и решенном. Ну конечно же, Бородин не относился к людям, которые работают вслепую, наощупь. Он знал, чего хочет. И хотел, как видим, многого. Наверное, не будет ошибкой предположить, что он знал цену своему зрелому творчеству. Но в том же письме он объяснял Кармалиной: «Я люблю свое дело, и свою науку, и Академию, и своих учеников; наука моя — практическая по характеру занятий, а потому уносит много времени; студенты и студентки мне близки и в другом отношении, как учащаяся молодежь, которая не ограничивается тем, что слушает мои лекции, но нуждается в руководстве при практических занятиях и т. д. Мне дороги интересы Академии. Вот почему я, хотя с одной стороны желаю довести оперу до конца, но с другой — боюсь слишком увлекаться ею, чтобы это не отразилось вредно на другой моей деятельности». «Боюсь увлекаться ею» — своей оперой. Возможно ли представить такое высказывание в устах Мусоргского?

23 марта 1876 года состоялся под руководством Римского-Корсакова концерт Бесплатной музыкальной школы. «А каков концертник! — восторгался Стасов. — Ведь это ж был просто день торжества для русской школы. Этакая львиная штука как хор Бородина. Суший Гендель, только нашего времени». То был хор из финала оперы, который нынче звучит в прологе и открывается словами «Солнцу красному слава!» (В первом варианте и текст начинался иначе: «И на Дунай-реке славу поют

¹ Петровы — чета знаменитых артистов; прославленный бас, О. А. Петров, и жена его А. Я. Петрова-Воробьева, друзья Людмилы Ивановны Шестаковой.

ему...»). Стасов без обиняков объявил хор гениальным. В концерте он прошел также с шумным успехом. Бородин признавался Кармалиной, что для судьбы его оперы этот успех важен: «...после исполнения хора из «Игоря» в публике стало уже известно, что я пишу оперу, скрывать и стыдиться нечего».

III

Одно из недомоганий Бородина запечатлено для истории следующим шестистишием, адресованным В. В. Стасову:

Откликнуться на ваш призыв
Рвался душой
Я страстно!
И вдруг: на животе нарыв!
Да пребольшой!
Ужасно!

Это написано 5 декабря 1876 года; как всегда, Бородин спешил воспользоваться тем досугом, какой давала ему болезнь, для музыки. На сей раз дело было срочное. Направник потребовал партитуру Второй симфонии для исполнения в концерте Русского музыкального общества! Не обошлось здесь без небольшого заговора бородинских друзей: стало ясно, что без внешней побудительной причины Бородин оркестровку симфонии закончит не скоро; и вот Шестакова воспользовалась своим влиянием и знакомствами — и Направник срочно «захотел» исполнить симфонию, полной партитуры которой еще не существовало в природе. Тут обнаружилась вещь уж совершенно ни с чем не сообразная: потерялись ноты давным-давно оркестрованной первой части и финала! Проклиная все на свете, Бородин инструментовал Allegro и финал заново. В довершение бед пропали и партитурные листы двух остальных частей — Scherzo и Andante. Бородин готов был прийти в отчаяние, — но тут Стасов припомнил, что видел эти ноты у Людмилы Ивановны Шестаковой; они лежали на рояле, завернутые в какие-то афиши...

В начале 1877 года, 25 января, в зале городской Думы, в концерте БМШ Римский-Корсаков исполнил Первую симфонию Бородина; через месяц, 26 февраля, Вторая симфония впервые прозвучала в концерте Рус-

ского музыкального общества; дирижировал Направник. Успеха не было ни здесь, ни там. Римский-Корсаков корил себя за то, что он не справился с симфонией, которую давно знал и любил. Что же касается премьеры Второй симфонии в зале Дворянского собрания, то она, по-видимому, провалилась. Единственный мемуарист — Ипполитов-Иванов — пишет о «среднем» успехе симфонии и о том, что молодежь будто бы устроила автору овацию. Из других воспоминаний возникает картина менее утешительная. После первой части кто-то пытался аплодировать, но в публике зашикали, и аплодисменты прекратились. Скерцо Направник провел раза в полтора медленнее, чем следовало; в этой части почти сплошь идут острые, непривычные (во всяком случае, для тогдашних музыкантов) и сложные синкопы; оркестранты сбились. *Andante* и финал шли без перерыва. Они показались слушателям слишком растянутыми, несколько человек вышли из зала, громко топая. Шумок в зале, кашель и чиханье — кажется, нарочитое; ни одного вызова, жиденькие «утешительные» аплодисменты по окончании. Бородин стоял в конце зала у колонны с левой стороны, руки его были заложены за спину. Репин впоследствии написал его портрет: Бородин стоит у колонны в зале Благородного собрания, заложив руки за спину. Бородина в то время уже не было в живых; лицо художник писал по памяти и по фотографиям, а для фигуры позировал ему друг Александра Порфирьевича, профессор Доброславин; лицом они не походили друг на друга, а фигура и стать были очень схожи. Должно быть, не случайно Репин выбрал этот момент, это место, эту позу. Неудача в переполненном концертном зале — как падение в пропасть, как сон, в котором гибель надвигается, а противиться ей невозможно. Провал «Богатырей» произошел вдали, Бородин не был ему свидетелем. А здесь каждое шиканье, каждый кашель и смешок должен был мучить его, как царапанье ножом по стеклу. «Помню, что он все-таки (?! — Р. Д.) был расстроен, и мы доказывали ему, что гений — потому он и гений, что стоит выше толпы и пониманию ее недоступен», — вспоминала Мария Васильевна Доброславина. Сохранилось письмо Шестаковой Бородину, написанное в тот же вечер и содержащее примерно такого же рода утешения; она напоминала Александру Порфирьевичу, что и Глинку далеко не сразу поняли. Римский-Корсаков

увел после концерта Бородиных к себе; наверное, и он старался развеять тяжелые впечатления этого вечера, бранил публику и оркестрантов, и в особенности Направника. Поздней мнение его несколько изменилось. Дело в том, что в годы, когда сочинялась и оркестровалась Вторая симфония, Бородин и Римский-Корсаков, встречаясь, часто беседовали о секретах инструментовки. Римский-Корсаков к тому времени был инспектором морских хоров, т. е. флотских духовых оркестров. Он и сам изучал один за другим медные духовые инструменты, их особенности, и Бородину доставлял в его казенную квартиру то один, то другой инструмент, показывал, как с ним обращаться, и уже вместе они рассуждали о способах практического применения этого инструмента в оркестре. В результате Вторая симфония Бородина была, по словам Римского-Корсакова, оркестрована «ужасно тяжело», «роль медных слишком выступала вперед». «В особенности пострадало скерцо, в котором быстро меняющиеся акценты были поручены валторнам. Направник вынужден был взять скерцо гораздо медленнее, чем следует, для того, чтобы оно вышло удобоисполнимо и ясно. А мы досадовали и бранили его за холодное исполнение и искажение темы, между тем, как он был совершенно прав.[...] Однако года через два сам автор сознал свое увлечение; инструментовка скерцо была значительно облегчена».

...Но первая-то часть, *Andante* и финал были уже тогда записаны точно так, как мы их знаем, или почти так. Отчего ж гробовым молчанием было встречено *Allegro*, первая часть симфонии, — самое высокое и могучее, что создала к тому времени русская симфоническая школа? Бородин был слишком нов, вот в чем дело. Прецедентов не было в сознании слушателей и музыкантов. Новой была сама концепция эпической симфонии; таких не бывало не только в России — вообще не бывало, нигде и никогда. Стоя у колонны Дворянского собрания, переживая всю муку публичного поражения, Бородин в этот же самый миг был — по иному, подлинному счету, в ином измерении и ракурсе — победителем, триумфатором. Впервые выходила в свет, начинала свой путь по концертным залам, по городам и весям, по странам, континентам, десятилетиям, теперь уж можно сказать: векам — симфония, с легкой руки Стасова получившая прозвище Богатырской, Стасов писал даже,

что не раз слышал от самого Бородина нечто вроде сюжета, программы Второй симфонии, что именно русских богатырей, песню Бояна и богатырский пир и веселье хотел он изобразить в тех-то и тех-то частях замечательного своего произведения. И все-таки... приняв его сообщение к сведению, будем помнить, что Бородин, в общем-то, никогда не нуждался в том, чтобы кто-либо за него изъяснял его намерения. Симфония много раз исполнялась при его жизни в России и за границей, была опубликована и в фортепьянном переложении, и в виде партитуры, и уж если композитор не считал нужным сопроводить ее определенной программой, значит, такова его воля, которую следует уважать. Симфония богатырская? Да, да и еще раз да! Богатырский размах, богатырская мощь, богатырское веселье... И наигрыш гуслей в ней слышится, и русская старина дышит, и простор оживает раздольный, бескрайний, немеренный. Но, должно быть, не хотел автор стеснять воображение слушателя, ограничивать его строгими временными и литературными рамками; музыке отнюдь не вредит свободное соавторство слушателя. У Владимира ж Васильевича Стасова была давнишняя страсть к программной музыке; он не раз подыскивал сюжет и к тем вещам любимых композиторов (например, Бетховена), которых программа не была объявлена автором; он старался нарисовать картину, которая безусловно и единственно соответствовала бы замыслу гения, не замечая, что эти толкования все-таки довольно произвольны и не могут быть обязательными для всех, что здесь, наконец, есть насилие над авторской волей.

Цельное, словно из одного скального куска вырубленное, поразительной мощи аллегро Второй симфонии было еще непривычно и своей монолитностью. Здесь главная партия не сталкивалась с противодействием второй темы, не было острого конфликта, не было борьбы двух сил; побочная партия, как уже однажды упоминалось, точно бы развивала и продолжала основную, у них было общее дыхание. Можно бы опасаться в столь необычном случае монотонности, однообразия, пожалуй что — и внутреннего самодовольства ничем и никем не оспариваемой силы... И если такого впечатления не возникает ни на миг, то ведь это не случайно. Умиротворенности нет в этой мощи, нет покоя, нет благодущия. А есть — огромная созидательная сила, и

настороженность, и готовность к отпору, и тревога, и тайна. Богатырская сила выходит в мир не покрасоваться и поиграть мускулами, выходит на борьбу и испытания, только в этом и смысл богатырства, и отзвуки трудного прошлого, и предчувствие будущих бурь дают бородинской музыке поразительную упругость, оберегают ее от статичности.

Римский-Корсаков писал в «Летописи»: «В. В. Стасов всегда называл эту симфонию «Богатырской», и эта характеристика была верна; исключением однако было скерцо (но не его трио), носящее чуждый всей симфонии характер». Это утверждение следует оставить на совести Николая Андреевича. Насчет трио, то есть середины этой части, он сам сделал существенную оговорку. А «быстро меняющиеся акценты» — небывалые синкопы, неуклюже-изящные, как шутка великана? С какой стати их «отлучать» от всего остального? Корсаков рассказывает также, что короткий модуляционный переход к скерцо был придуман — симпровизирован — Балакиревым (у Бородина поначалу скерцо начиналось нотой «до», повторяемой валторнами). Вот этот-то переход, при всей его ловкости, кажется сегодня несколько прямолинейным и натянутым. Разумеется, поскольку он принят как окончательный самим Бородиным, — спорить не приходится. Ритмические находки Бородина в скерцо Второй симфонии поражают и сегодня веселой свежестью, оригинальностью, красотой.

Анданте — третья медленная часть — не только вышло самым русским куском симфонии; в нем и гусли звенят, и словно бы широкую как степь, долгую песню поет, сказывает, выговаривает вздрагивающим человеческим голосом валторна... но и трагедия, может быть, впервые в бородинской музыке, выглянула здесь. Совсем новые для композитора, медленные, грозные, невольный трепет внушающие аккорды... Потом такое же — но еще более понижающее холодом, завораживающее впечатление произведет сцена затмения солнца в прологе «Князя Игоря». Вещая природа художника точно приоткрывала завесы: холодом дышало будущее, непроглядной чернотой сгрудилась возле горизонта гроза! Принадлежа России, Бородин подходил к долгим бедам и испытаниям вместе с ней. Если бы вычертить кривую личных несчастий и радостей Бородина, подъемов и спадов его судьбы, и такую же линию взле-

тов и несчастий большинства народа, то они во многом совпали бы.

...Сегодня вовсе уж трудно понять, как могли первые слушатели без сердечного сочувствия, без радости и веселья воспринять заразительно бодрую, крепкую, чудесно здоровую музыку финала. Привычка! Привычка, как шоры, мешает взглянуть на новое и позволяет восторгаться лишь тем, на чем висит прилепленное знатоками клеймо: «это прекрасно». Давно уж и такое признание пришло к великой симфонии Бородина; пусть же оно никому и никогда не помешает взглянуть на то, что дышит еще более новой новизной, что только что вырвано у молчания и у вселенского хаоса звуков, что спорно, молодо и горячо! Чем смелее — тем ближе и роднее всему великому, что было, есть и будет на земле!

IV

«Говорили мы на этот раз о самых разнообразных вещах: о «Нови» Тургенева, о позитивизме, дарвинизме, Геккеле, философии Шопенгауэра, фортепьянном переложении «Антара» Корсакова, которое лежало раскрытым на рояле, о Вагнере, о веймарских художниках...»

Сто с лишним лет назад, так же как и сегодня, такой разговор был под силу далеко не каждому. Широта и разнообразие затронутых тем, по-видимому, не смущали Бородина; его собеседницей была баронесса О. А. Мейендорф (Горчакова), русская по происхождению; разговор происходил в ее доме в Веймаре. С баронессой познакомил Бородина Ф. Лист, она принадлежала к числу лиц, наиболее близких композитору, одному из самых прославленных музыкантов своего столетия.

Бородин привез в Германию, в Иену, своих учеников — А. П. Дианина и М. Ю. Гольдштейна. Здесь, за границей, было легче, нежели на Родине, получить научную степень, которая нужна была «мальчикам», как называл в письмах своих учеников Александр Порфирьевич, позарез.

От Иены — близко, рукой подать, до Веймара, где жил, окруженный учениками и почитателями, маститый и всесветно знаменитый к тому времени музыкант. Лист уже давно интересовался русской новой школой, отзывался с похвалой об известных ему вещах Балакирева,

Римского-Корсакова, Кюи, Мусоргского, Бородина. Балакиревцы, в свою очередь, ставили Листа чрезвычайно высоко; для них он был подлинным главой современной музыки; казалось бы, для них не существовало незыблемых авторитетов, но нет — для Листа и Берлиоза они делали исключение, и авторитет этих музыкантов был в их среде непоколебим. Бородин давно хотел лично познакомиться с Листом, и вот теперь он набрался смелости и нанес ему визит в Веймаре. Дальнейшее описано Бородиным в письмах к Екатерине Сергеевне, а позднее в статьях, подготовленных для печати¹. С жаром, с любовью, с недюжинной наблюдательностью, наконец, с бородинским неназойливым и обаятельным юмором описаны день за днем встречи с Листом. Эти письма и статьи стали знамениты; они по сегодня широко известны и у нас на родине, и в Европе. Едва ль не общепризнанным считается, что Бородину принадлежит лучший литературный портрет Листа. Чем дальше человек от юности, тем трудней завязываются новые дружбы, тем реже наблюдается «совместимость тканей» с вновь появляющимися лицами. И Лист, и Бородин были немолоды (Лист — значительно старше); и тому, и другому жить оставалось уже меньше десятилетия. Но с первой встречи их связала почти необъяснимая, по-юношески трепетная и горячая симпатия, дружба, которая, кажется, как это бывает в ранней юности, сродни была влюбленности. Бородин шутя, но настойчиво называл Листа «своей седой Венерой» и даже Веймар в его честь переименовал в «Венусберг». Не раз и не два Бородин сравнивал также Ференца Листа с молодым Балакиревым. А затем уж так и именовал в письмах великого венгра: «мой Балакирев».

Обаяние Бородина, в свой черед, оказалось неотразимым и для Листа и для всего его окружения; к этому действию его личности прибавилось действие его музыки. Оказалось, и сам Лист, и его ученики, и великосветские знакомые знают Первую симфонию Бородина. Впрочем, тут лучше предоставить слово самому Бородину:

«...Не успел я отдать карточки, как вдруг, перед носом, точно из земли, выросла в прихожей длинная фигура в длинном черном сюртуке, с длинным носом, длинными седыми волосами. «Vous avez fait une belle sympho-

¹ При жизни композитора опубликована статья «Лист у себя дома в Веймаре» — журнал «Искусство» №№ 11, 12 за 1883 год.

pie»¹, — гаркнула фигура зычным голосом, а длинная рука протянулась ко мне. «Soyez le bienvenu!»² — и тут же, в коротких, но сильных выражениях, он успел высказать свое *résumé* относительно каждой из частей симфонии и показать мне, насколько эта вещь ему нравится и хорошо знакома, в подробности. Мускулистая рука крепко сжала мою руку, втащила в комнату и усадила меня на диван. Мне оставалось только откланиваться и благодарить. Величавая фигура старика, с энергическим выразительным лицом, оживленная, двигалась передо мною и говорила без умолку, закидывая меня вопросами относительно меня лично и музыкальных дел в России, которые ему, очевидно, недурно известны. Разговор шел то на французском, то на немецком языке, перескакивая ежеминутно с одного на другой».

Бородин попросил издателя Бесселя срочно прислать Листу ноты Второй симфонии и романсов; петербургский издатель немедленно выполнил это поручение, и вот что было дальше: «...я пошел к Листу на урок. Когда я вошел, Meister стоял у рояля и что-то толковал столпившимся около него ученикам. Увидев меня, он закричал: «Ah! Soyez le bienvenu, mon cher M-r, — а мы вчера играли вашу вторую симфонию» — и при этом высказал свое одобрение в самых веских выражениях. [...] Неугомонный Meister опять деспотически засадил меня за фортепьяно с Зарембским, а сам слушал; когда дело дошло до *Andante* и финала, он сказал: «l'Andante, Vous le jouerez et puis je Vous remplacerai; je ferai le final mieux que Vous, n'est ce pas?»³ — засмеялся Лист. Перед вступлением к финалу я встал, Лист сел на мое место и бойко, с огнем, с энергией и увлечением сыграл финал. После этого он перебрал мою симфонию по косточкам, останавливаясь с большим вниманием на различных подробностях гармонизации, голосоведения, формы и пр., которые он находил наиболее оригинальными, и я имел новый случай убедиться, с каким горячим интересом он относится к музыкальному делу вообще и к русскому в частности. Трудно представить себе, насколько этот маститый старик молод духом, глубоко и широко смотрит на искусство; насколько в оценке художественных требо-

¹ «Вы написали прекрасную симфонию» (франц.)

² «Добро пожаловать!» (франц.)

³ «Вы сыграете *Анданте*, а затем я Вас сменю, я ведь лучше Вас сыграю финал, не так ли?» (франц.)

ваний он опередил не только большую часть своих сверстников, но и людей молодого поколения; насколько он жажен и чуток ко всему новому, свежему, жизненному; враг всего условного, ходячего, рутинного; чужд преубеждений, предрассудков и традиций — национальных, консерваторских и всяких иных. Тем дороже мне было встретить его теплое сочувствие и слово одобрения, выраженное не в форме светской любезности или общих мест, но в виде простых, ясных, всегда мотивированных, выводов из анализа вещи. [...] Как видно, ни годы, ни долгая лихорадочная деятельность, ни богатая страстями и впечатлениями артистическая и личная жизнь — не могли истощить громадного запаса жизненной энергии, которую наделена эта могучая натура.

Все это, вместе взятое, легко объясняет то прочное обаяние, которое Лист до сих пор производит не только на окружающую его молодежь, но и на всякого непредубежденного человека. По крайней мере, полное отсутствие всего узкого стадового, цехового, ремесленного, буржуазного, как в артисте, так и в человеке — сказывается в нем сразу. Но зато и антипатии, которые Лист возбуждает в людях иного закала — не слабее внушаемых им симпатий...»

«...Это было мое последнее свидание с Листом¹. Покидая Веймар — мой Венусберг, — я однако не сразу оторвался от моей седой Венеры (разумей Листа). Я попал в Марбург. Здесь жила, умерла и похоронена Св. Елизавета, поэтический образ которой вдохновил великого Maestro. На месте, где она была похоронена, стоит один из самых изящных готических соборов. Видал я его и прежде, но тогда он говорил мне только об одной Елизавете. На этот раз с воспоминанием о ней связывалось воспоминание и о художнике, воспевшем ее. Женственный, светлый образ Елизаветы² сливался для меня с величавою фигурою седого Мастера. Да и не мудрено: в них есть много общего: оба случайно родом из Венгрии, занесены судьбою к немцам, стали достоянием католической церкви³ — но во всем, что в них есть симпатич-

¹ Последнее в тот приезд.

² «Святая Елизавета» Листа — одно из самых любимых произведений Бородина.

³ Во времена своего пребывания в Риме Лист принял духовный сан, однако остался верен большинству своих светских привычек.

ного, не видно ничего ни венгерского, ни немецкого, ни католического — а только одно общечеловеческое». Как видим, если дело касалось России, национальный элемент казался Бородину необходимым, в иных же случаях он явно предпочитает общечеловеческое национальному.

Восхищенное внимание Листа к музыке Бородина тотчас как бы распространило часть сияния и блеска, окружавшего седого Мастера, на русского музыканта. Поначалу это было важно — потом-то Бородину и его музыке не нужно будет никаких рекомендаций; они светили своим, неотраженным светом. Но ведь за три-четыре месяца до веймарских встреч обе симфонии Бородина исполнялись в Петербурге с полным неуспехом; Вторую симфонию и ее автора только что не освистали. Каким же утешением, какой радостью было для Бородина любовное отношение к этим же самым симфониям великого Листа, вся атмосфера признания и дружелюбия, окружавшая его, Бородина, в Веймаре! Сам Александр Порфирьевич, безусловно представлялся его европейским ценителям фигурой необычайной и полулегендарной. Незаконный сын восточного князя, бывший раб своего родного отца, профессор химии и академик, — как раз в 1877 году Бородин был избран академиком, — член русского, Берлинского и французского химических обществ, кавалер высших российских орденов и гениальный композитор, — во всем этом было нечто особенное, не совпадавшее с трезвой обыденностью, с буржуазной холодностью века.

Сам же Бородин в Веймаре, быть может, впервые в жизни почувствовал, что музыка «перетягивает» на весах его судьбы, что она может быть в глазах окружающих делом не менее значительным и серьезным, чем наука или воинские подвиги. Понадобился гений Пушкина, чтобы в России утвердилось то общественное уважение к поприщу литератора, отзвуки которого слышны нам и поныне. Но звание русского композитора еще мало кем принималось всерьез. Музыка не давала авторам почти никакого дохода, не говоря уж о том, чтобы доставить средства к жизни; не было и общественного престижа, внимания и мало-мальского почтения к труду музыкального сочинителя. Это их деятельность постепенно разбивала лед равнодушия и пренебрежения; это Глинка, это Серов и Стасов, это Рубинштейн и Чайковский, это Балакирев и Кюи, Ларош и Римский-Корсаков, Бородин

и Мусоргский завоевывали ценою непрерывной борьбы уважение к званию русского композитора; но до успеха было еще далеко. Тем больше значили веймарские встречи Бородина. Они были началом тех бородинских триумфов, которые выдвинули его имя в число первых музыкальных творцов Европы. И случилось это при жизни Александра Порфирьевича, к вящей досаде и раздражению всех недругов новой русской музыки.

V

В конце июля Бородину удалось побывать в Гейдельберге. Представляем читателю целиком письмо, написанное им к Екатерине Сергеевне 30 июля 1877 года. Содержание этого письма могло бы служить программой Второго квартета Бородина, написанного несколько позже и посвященного, как и Вторая симфония, Екатерине Сергеевне. Во всей мировой музыкальной литературе немного отыщется такой захватывающей и искренней лирики, такой нежности и печали, такой страстности, такой полноты и обнаженности чувства. Ежели такое хранится и присутствует в душе человека, значит всем нам есть на что надеяться или, как сказали бы в старину, есть на что уповать...

«Никогда еще я так далеко не уезжал от тебя и, кажется, никогда ты мне не была так близка, как теперь. Пойми только — я в Гейдельберге!!! Можешь думать, что я должен был перечувствовать! Глупая! (Прости, что branюсь!)

...Из Бонна я отправился по Рейнской железной дороге в обетованную землю, мою Мекку, Медину, Иерусалим, назови как хочешь, словом в Гейдельберг... Я проезжал мимо нашего Бингена, где мы останавливались, помнишь?.. Господи, сколько я пережил в это время! От Майнца пошли всякие Бенегеймы, Геннегеймы и проч., мимо которых мы с тобою ездили сто раз!! Я был до того возбужден, до того взволнован, что не заметил даже, как настал вечер (пять часов); только позже гораздо я вспомнил, что с утра, с шести часов, я ничего не ел и не пил, несмотря на нестерпимый жар. Я пожирал глазами каждую горку, дорожку, каждый домик, деревеньку, все мне сразу напомнило счастливые времена. Подъезжая к Гейдельбергу, я спрятал лицо в окно, чтобы скрыть набе-

гавшие слезы, и крепко сжал ручку зонтика, чтобы не разреветься как ребенок. Я с замиранием сердца караулил тот садик, что выходил на железную дорогу от Гофмана; садик, где я тебя видел на другой день после Вольфсбрунна¹, помнишь? Укараулил-таки!!! Узнал его сразу!! Почуял его!! Без сомнения, тебе случалось видеть во сне места, которые ты как будто давно знала; места, где ты наперед знаешь, что будет впереди, где ты спешишь осмотреть каждый уголок и уверена, что все тебе знакомо. В таком состоянии был я. Я бросился в омнибус и велел везти себя прямо в «Badischer Hof», где я останавливался в первый раз в 1859 году, где потом обедал за табль д'отом. Вот она — Hauptstraße.² Теперь будет «Darmstalter Hof», теперь Derara, теперь «Goldner Engel» и т. д. Все до мельчайших подробностей воскресало в памяти. Вот и Karpfengasse, милая Karpfengasse, где ты была у меня в первый раз (помнишь, где я тебе показывал шкаф с бельем: не нашел ничего умнее?); где была лаборатория Erlenmeier'a. Вот и «Badischer Hof»! Та же зала, те же лестницы. Я взял номер и, оставшись один, не выдержал (грешный человек), — разревелся как дитя. Наплыв чувств, которые охватили меня, я даже не умею тебе описать. Умывшись и приведя себя в приличный вид, я вспомнил, что надобно пообедать, и пошел в Speisesaal. И вообрази! совершенно машинально, бессознательно, я сел на то самое место, где сидел тому назад семнадцать лет за табль д'отом! Пообедав наскоро, я побежал осматривать «святые места». Прежде всего на «Schloß». Чего я не перечувствовал, пробегая те дорожки, те галереи, где мы бродили с тобою в первую пору счастья? Как бы я дорого дал в эту минуту, чтобы ты была со мною! Вот и та глухая, мрачная, тенистая аллея, те нависшие каменные своды, под которыми мы пробирались с тобою как-то ночью. Помнишь, ты уцепилась за меня от страха? Хотелось страх сходить к Гофману в домик со скрипучей лесенкой. И хочется, и боюсь спросить: а ну как домик давно срыт, сломан, Гофманов и в помине нет? Вот Peterskirche, где ты слушала Paulus'a, когда я играл в оркестре. Вот «Museum», где ты

¹ «Волчий источник» — место, где состоялось объяснение Бородин с Екатериной Сергеевной в 1861 году.

² Главная улица (нем.). Здесь и дальше по-немецки — названия гейдельбергских улиц и переулков, ресторанчиков и пр.

бывала на репетициях. Вот и кондитерская, где мы бывали с Кудашевыми, дом, где жили Сорокины, Fridrichstraße, № 12, где я жил до тебя еще, zimmer, где мы жили с Менделеевым; дом, где жила Анна Павловна Бруггер, где она умерла, где я познакомился с Софьей Карловной, Karpfengasse, № 6 — лаборатория Эрленмейера (не вытерпел, забежал на чужой двор посмотреть; лаборатории уже нет, но постройки все целы; вот и место, где я работал! все цело!) А вот и № 2, моя квартирka со шкапом для белья... Страх хотелось проникнуть туда, в самую квартиру. Там сидела какая-то старая немка и вязала чулок по-немецки, оттопырив один палец. Побоялся, не пошел. Долго бродил я, до ночи, осматривая каждый уголок. Всех мелочей не «переказать», как говорит Па. Мне все не верилось, что я наяву вижу все это, что я наяву хожу по этим знакомым местам; я трогал стены домов рукою, прикасался к ручке дверей знакомых подъездов; словом, вел себя, как человек не совсем в своем уме. На другой день я пошел сначала осматривать специальности, потом сидел «у себя» за табль д'отом и ел, казалось, то самое кушанье, которое приготовлено было семнадцать лет тому назад. Оно казалось мне необыкновенно вкусным! И стул, на котором я сидел, был необыкновенно удобен; это тот самый плетеный стул, на котором я привык сидеть, словом, «мой стул».

И соседи мои давно знакомы мне, хотя я вижу их в первый раз. После обеда я отправился прямо, горнею дорогою, в Мекку: в Вольфсбрунн. Дорога знакома, как свои пять пальцев; только ее расчистили, сделали шире к моему приезду. В Вольфсбрунне я нашел все в порядке, только к моему приезду успели выстроить там крытую галерею, которой прежде не было. Я сел против самого фонтана, где плавают форели. Вода в четыре струи текла из волчьих мордочек, как и прежде, текла не прерываясь 17 лет! Вот уже буквально можно сказать: много воды утекло с тех пор! Ко мне вышла девушка, лет 15, с приветливою улыбкою. Должно быть, она собиралась сказать мне: «насилу-то опять собрались к нам! Что давно не были?» — ничего она не собиралась сказать, кроме: «Wünschen Sie Bier, oder sonst noch was?»¹ Меня она и не узнала. Да и где же узнать, когда ее не было еще в то время и на свете?! Не берусь описать всех ощу-

¹ «Желаете пива или еще чего-нибудь?» (Нем.)

щений, которые я пережил, сидя перед фонтаном и упорно глядя на бегущую воду, мерно, однообразно, без конца падавшую в бассейн, где апатично плавали глупые рыбы, в ожидании попасть сегодня же на жаркое. Господи, сколько я пережил! Какая это была смесь счастья и горечи! Долго просидел я за своим шопеном пива, наконец, поднялся и пошел уверенными шагами по нижней дороге, по берегу Неккара, словом, тою дорогою, которою мы шли домой с тобою. Напрасно искал я камня, на котором мы сидели, напрасно искал той скалы перед воротами в город, где я тебя толкнул и вышиб зонтик, как сумасшедший... Неумолимая рука «прогресса» уничтожила эти святыни, проложила вдоль берега железную дорогу. До чего мне жаль было видеть эти места! Ворота, Karlstor, остались, как были, нетронутыми. Я раза четыре, без всякой нужды, прошел взад и вперед под воротами (к немалому удивлению проходящих). Усталый, подавленный вереницею воспоминаний, я ввалился в свой номер и грохнулся на кровать. Вскоре я заснул, как убитый. Солнце стояло высоко, когда я проснулся. Я пошел по своим делам. Потом с Лоссенем, профессором химии, прошел на Molkenkur, оттуда на Schloß. И зачем тут быть Лоссену? Ведь он ничего не понимает! После обеда я собрался с духом и, справившись предварительно о существовании Гофманов (в адрес-календаре), бойко направился к *самой заветной* святыне прошлого. Боже! Что наделали немцы? Улицы Berghheimerstraße и в помине нет; это какая-то Литейная, Тверская, Hauptstraße! Дом на дому, домом погоняет! Ищу № 4. Куда тебе! такого и нет! Наконец я в закоулочке нашел заветный дом. С трепетом подхожу. «Здесь живет профессор Гофман?» — «Профессор Гофман две недели тому назад умер». Коротко и ясно. Так меня и огорошило. Умер! «Frau Professor здесь; как прикажете доложить?» Я сказал. Выходит Софья Петровна, вся в черном. Она очень радушно, даже радостно встретила меня. В самое короткое время она успела рассказать мне подробности о смерти бедного Гофмана (он умер от удара), о пансионе, который она продолжает содержать; о своих детях: маленькая Мери замужем, в Лондоне, имеет уже свою маленькую Мери. Гейнрих (которого Богдан Марко-Вовчок посадил в бадью с дождевой водой, помнишь?) давно в Гамбурге; Чарли, маленький Чарли, которого я спас, вытащив стеклянный шарик, угодивший ему в самую гор-

себя бесконечно большое число раз; попробуй! сосчитай!) Ох, пора кончить, тороплюсь. Маму поцелуй. Теперь в Вюрцбург и в Мюнхен; оттуда через Иену — домой (остановлюсь в Вильне). Твой Я.»

VI

Бородину не довелось бывать ни в каких сражениях, но, уже начиная с Крымской войны, все малые и большие военные кампании касались его самым близким и непосредственным образом: Академия принадлежала военному ведомству, и окончившие ее должны были облегчать страдания раненых и больных воинов. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. была война тяжелая, кровопролитная. Медико-хирургическая академия произвела ускоренный выпуск врачей; в районе военных действий был развернут клинический госпиталь Академии. Воевали, врачевали раненых, сами получали ранения и погибали близкие знакомые Александра Порфирьевича, его ученики, вчера еще работавшие в химической лаборатории студенты. Оттого быстро отодвинулись на задний план его недавние успехи в Веймаре; Бородину опять было не до музыки. В обществе отношение к войне было двойственным: одни называли ее войною за освобождение славян — и действительно, многие тысячи русских жизней были отданы, чтобы выволить болгар из-под жестокой, немилосердной власти янычаров. Другие — и прежде всего радикально настроенная молодежь — говорили о лицемерии царизма, который одною рукой освобождает братьев по вере, другою — давит и душит и все подвластные ему языки и нации, и всякое живое движение в собственном народе. Для Бородина последней проблемы не существовало; что касается войны, он разделял официальную точку зрения с полной искренностью и всей душой желал победы русского оружия. Но ведь он не был ни слеп, ни глух, голоса скептиков раздавались чуть ли не над самым его ухом, увеличивая тревогу, напряжение и нервозность, усугубляя все нелады, связанные с военным временем. Ощущение бедственности давило и нарастало долго, пока не достигло высшей точки в событии как будто случайном, но с какою-то грозной полнотою вместившем и выразившем все, что копилось в душе, что сгушалось в воздухе.

В июне 1878 года Бородины приехали всей семьей отдыхать в село Давыдово Владимирской губернии; разместились они в доме Павла Афанасьевича Дианина. У Бородиных теперь росли три воспитанницы: Лиза Балашева, Ганя Литвиненко, Лена (Лено) Гусева. Еще одну воспитанницу, Раиду Сютееву, они «успели» выдать замуж, и при рождении ее ребенка Александр Порфирьевич «исполнял даже отчасти обязанности повитухи», а также и крестного отца. Бородин шутил, что в доме у них «всегда урожай на девочек», к приемным дочерям своим относился с нежностью, да и они в нем души не чаяли. В доме жили также привезенные в большой клетке ручные дрозды, прикармливались, как всегда, окрестные кошки и собачки; летний быт, не в пример иным годам, налачился быстро и счастливо. Погоды стояли сухие и жаркие. Однажды в конце июня, к ночи, поднялся сильный ветер. Он дул ровно, не утихая, и когда ночью бог весть от чего вспыхнул в соседнем Финляндине пожар, ветер понес невесомые клочья пламени через темные палисадники, от избы к избе, от сарая к сараю; высушенное солнцем дерево построек вспыхивало при первом прикосновении огня.

Хозяин дома, отец Александра Дианина (приехавшего тоже вместе с учителем), Павел Афанасьевич проснулся первым. Он еще не знал, что его разбудило, только чуял неладное. Он растворил обе стороны окна — и услышал шум и треск, гул огня, а потом уж — как бы отдельные и отставшие от этих странных звуков — крики, женский потерянный визг и вой собак. Волна ветра жаром дохнула в лицо. Через мгновение весь дом был на ногах — и в самое время, потому что пожар был близко. Не сразу засветили лампы; красный свет пожара то влетал в окна и выхватывал растерянные лица и руки, то сменялся почти полной тьмой. Было много бестолковщины, сутолоки, все метались, желая немедленно сделать самое необходимое, и только мешали друг другу; казалось, что в доме вдвое прибавилось народу. В конце концов все оказались на дворе; мужчины еще успели вытащить из дому что-то, что первым попало под руку; Лено порывалась бежать туда, в дом, за оставшимися там в клетке дроздами, но было уже поздно: дом вспыхнул почти весь разом, свечой, жар стал нестерпимым; летели горячие головни, что-то трещало и рушилось. В неверном и багровом свете сновали полуодетые люди; отовсюду

слышались крики и весело-злобные матерки мужиков, забывших в горячке кого бы-то ни было стесняться; позвериному ревел скот, ржали и проносились куда-то черными силуэтами лошади. В какой-то момент все приняло характер паники; глаза бегущих сделались бессмысленными от страха, люди и животные сбивали с ног друг друга, плач и проклятия перестали восприниматься ухом. Дурочка Наталька лезла в огонь, подбежавшие мужики тащили ее прочь — она отбивалась с отчаянием и рвалась в самое полымя. Мизонов, дряхлый старик, знакомый Бородиных, помер в эту ночь от испытанного страха и потрясения. (Вскоре, и месяца не протянув после пожара, умер и Наталька).

Екатерина Сергеевна ни за что не соглашалась бежать в поле: она боялась открытого пространства, до того боялась, что ноги отказывали ей, подламывались в коленях. А бежать надо было — где пространство не было «открытым», там уже гулял огонь. Мучительней всего оказалась невозможность докричаться до своего родного человека, пробиться сквозь внезапную глухоту; никакие доводы не помогали — пришлось Дианину с Бородиным силой оторвать Екатерину Сергеевну от земли и нести на руках в безопасное место. До самого утра Бородин и Александр Дианин разрывались между необходимостью успокаивать и оберегать Екатерину Сергеевну и испуганных девочек и стремлением помочь тем, кто тушил пожар. Утром, когда их подопечные уgomонились, учитель и ученик стали искать, где бы и им соснуть; в конце концов они набрали на открытый сарай при церковной сторожке, в котором стояли два свежеструганных гроба. Недолго думая, они легли в эти гробы и тут же забылись... Едва ли тут было озорство или дерзкий вызов по отношению к смерти; просто оба до изнеможения устали, напряженные нервы требовали отдыха и отгороженности от внешнего мира; Александр Порфирьевич и в обычное-то время не умел уснуть, когда что-нибудь раздражало его слух и зрение.

Бедствие было ужасающим. У тех, кто помоложе, оставались шансы, начав опять все с нуля, оправиться когда-нибудь от разора; но стариков, бобылей, вдов пожар обездолил навсегда. Немногого бояться в русском деревянном и соломенном селе больше, чем боялись пожара; смерти, к примеру, страшились куда меньше. С месяц пусто и горестно было на пепелище, погорельцы

жили кто в отрытых наспех землянках, кто у родни по соседним деревням. Детишки и бабы, «проглотив стыд», побрели по дорогам просить подаянья. Мужики по горло были заняты в поле (урожай, несмотря ни на что, выдался хороший), но вот в конце июля в Давыдове завизжали пилы, застучали наперебой топоры. Новые избы подымались повсюду. Бородину это напомнило возникновение кристаллов в растворе: образуется четырехугольная квадратная основа, потом кристалл покрывается системой граней — это стропила и следи; дальше идет «осаждение» длинных и плоских пластин — это тес, которым покрывают крышу.

В последних числах июля прибыл инструмент — купленное задешево в Москве, подержанное фортепиано фирмы «Штюрганге». Бородин не надеялся, что после всех тревог сумеет что-то написать для «Игоря», но, к удивлению, «служение Аполлону» мало-помалу пошло. До отъезда в Петербург он успел сочинить хор и княжью песню Скулы и Ерошки Владимиру Галицкому. Скулы и Ерошки не было в «сценариуме» Стасова; эту пару ввел в либретто Бородин и придумкой своей был донельзя доволен. Трусоватые, а пуще того — ленивые гудошники, любители выпить на дармовщинку, они готовы славить князя Владимира Галицкого, а впрочем и любого другого, кто выкатит им бочку вина и не спросит, почему они не в походе. По-своему смекалистые, неуклюже хитрые, они, кроме всего прочего, внесли в действие живость и движение, нотку комизма, которая должна была оттенить по контрасту грандиозность эпических сцен.

Пожар, пережитый рядом и вместе с давыдовцами, поновому сблизил Бородина с крестьянами. К нему и раньше относились с доверием. В деревне Александр Порфирьевич вспоминал о своем медицинском образовании: не мог не помочь, когда рядом кто-то захворает; тут уж скоро вся округа знала, что барин пользует больных. Бородин жаловался, что как он ни отнекивается, бабы тащут ему плату натурой — яички, творог. Впрочем, в конце концов оно оказывалось и не лишне. Денег всегда не хватало, зимой они тратились большей частью на других... После пожара Бородины перебрались в дом Марьи Ивановны Володиной, который от пожара не пострадал. Бородин писал в Петербург: «...я почитаваю журналы, хожу за грибами, и для моциона занимаюсь иногда посильными сельскохозяйственными работами, как-

то: ворошу и убираю сено, помогаю накладывать снопы, хлыщу рожь, таскаю солому, — вообще исполняю то, что поручается мальчишкам и девчонкам, еще не искусившимся в полевой работе».

Сельчане были рядом и не чуждались Бородин. Говорили его соседи тем языком, который он даст простым народным героям «Игоря». Бородин, как живописец на этюдах, писал Скулу и Ерошку, можно сказать, с натуры. Слова ложились одно к одному, как ядренные орешки:

Ерошка — Что в будни, что в празднички...

Скула — Работай!

Ерошка — С утра до полудня...

Скула — Работай!

Ерошка — С полудня и до ночи...

Скула — Работай!

Ерошка — С вечера до утрени...

Скула — Работай!

А «работа немалая, забота великая, что служба тяжелая, послуга немалая — песни пой, гуляй да бражничай!»

И язык, и сам склад шутки тут вышел — народный, не придуманный, а услышанный и усвоенный своим у своих. Стихи удались, но важнее и дороже ему был достигнутый музыкальный комизм. Само пенье Скулы и Ерошки было «гудошным», в нем так и угадывались скоморошья ужимки этой пары. Через двенадцать лет будет блистать на Марининской сцене в роли Скулы знаменитый певец Федор Стравинский¹. Успех артиста в этой «эпизодической роли» будут сравнивать с его наивысшими достижениями: партиями Фарлафа в «Руслане и Людмиле», Глинки, Варлаама в «Борисе Годунове» Мусоргского. Смешными, ах, до чего смешными выходили Скула и Ерошка: но между тем, именно в их уста Бородин вложит... осуждение своего героя. За гудошным наигрышем, за скоморошьей усмешкою внимательный слух однажды уловит более чем серьезную ноту; вот что будут петь Скула и Ерошка: «Князь ли Игорь да князь ли Северский в полону сидит, в дальну степь глядит; хану угодил да славу схоронил, рать порастерял, сам в полон попал... Что без разума, безо времени он полки водил, во поход ходил, да во степях широких свой народ сгубил, да во песках сыпучих силу уложил...» Потом гудошники уви-

¹ Отец одного из величайших композиторов двадцатого столетия, И. Стравинского.

дят Игоря, возвращающегося из плена, спохвагятся, перепугаются насмерть, станут людей звать, во все колокола звонить, станут народ уговаривать, что не галицкие они, а — препотешное место! — «тутошные, тутшние...» Однако ж, в оперу, воспевающую благородство и мужество Северского князя, внесена нота сомнения: «свой народ сгубил...» Она, эта нота, присутствует и в некоторых летописях, и в самом «Слове о полку Игореве». Бородин, с его трезвым умом, дотошностью и добросовестностью, не мог игнорировать ее; он внес этот непривычный, смущающий, критический взгляд прямо в середину своей героической эпопеи; и нелегко сказать: хотел ли он его замаскировать или — выделить шутовской скороговоркой Скулы и Ерошки?

И еще интересно бы знать — понял ли Бородин, обратил ли внимание на то, что своими Скулой и Ерошкой он весьма близко подошел к интонациям Мусоргского и, пожалуй что, Даргомыжского?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

Стасов — Балакиреву, 12 октября 1878 года.

«Милый, Вы, конечно, не воображаете, какое чудное впечатление Вы произвели вчера на всех нас [...] Бородин не помнил себя от восторга, Мусоргский тоже (так что я даже начинаю надеяться на его воскресение!)»¹

Балакирев — Стасову, 13 октября.

«...Мусоргский слишком разрушен физически, чтобы стать не тем трупом, каким он теперь. Что же касается до Бородина, то если мое сообщество располагает его к труду и сообщает ему хоть немного энергии, то я буду очень счастлив продолжать наши беседы, только боюсь, чтобы Людмила Ивановна не разрушила их, придумавши приглашать кого-нибудь, кроме немногих тех, для которых эти вечера имеют смысл и значение. Кроме Бородина, Мусоргского и Вас, только одно лицо может быть приглашено, это ваш брат Дмитрий».

¹ В среду 11 октября Милый Алексеевич на музыкальном вечере у Шестаковой играл отрывки из своей «Тамары».

Стасов — Балакиреву, 2 ноября.

«...Кюи с досадой отрицает, чтоб Вы были *теперь* глава русской музыкальной школы, а я верую в это больше, чем когда-нибудь.[...] И Мусорянин, и Римлянин — Ваши два издревле (вот уже 20 лет) излюбленные *сына*, выросшие под Вашим крылышком, — погибают: один от недуга физического, другой от недуга нравственного. Вы вознамерились помочь им могучею рукою — честь Вам и слава!»

Балакирев — Стасову, 22 апреля 1879 года.

«Обращаюсь к Вам с просьбой: Вы, конечно, увидите завтра в концерте Бородина, — передайте ему, что я очень сожалел, что вчера он не только не приехал ко мне, но даже не прислал мне партитуры своей I симфонии, о чем я давно его просил. Если он не располагает быть у меня, то пусть передаст партитуру I-й симфонии Р.-Корсакову, с которым, он, вероятно, часто видится. Тот же переправит мне ее через Лядова. Напишите мне, каково пройдет концерт. Об I-м слышал хорошие отзывы и очень радовался»¹.

Стасов — Балакиреву, 24 января 1880 года.

«...Бородину я теперь уже *послал* пиеьмо. Как, право, не стыдно и не совестно этому тюфяку?!»

Стасов — Бородину, 24 января.

«Балакирев... просит меня... сказать Вам, что он очень сожалеет, что в понедельник Вы не только не приехали к нему, как обещали, но даже не прислали партитуру I-й симфонии, о чем он *давно* Вас просил...»

Бородин — Стасову, 31 января.

«...Увидите Милия — поцелуйте его от меня и скажите, что я все собирался к нему, но никак не мог выбрать свободной минутки. (Кстати: — Вы писали мне о каком-то нарушении, с моей стороны, *обещания* быть у Милия в *понедельник*. Тут, очевидно, недоразумение. Дело вот в чем: Милий просил меня (письменно) прислать ему I-ю симфонию, или *«если можно»* то доставить ему ее лично *«в воскресение»* вечером. Прислать симфонии я не

¹ В концерте Бесплатной музыкальной школы 16 января 1879 года с успехом исполнялись, в частности, сцена из «Бориса Годунова», ария из «Князя Игоря» и пр.

мог, ибо она в Лейпциге¹; заехать к нему тоже не мог: — меня задержали разные народы. Следовательно, никакого «обещания» и никакого «понедельника» не было...»

Балакирев — Стасову, 2 февраля,

«...Не забудьте мою просьбу о Бородине, насыдьте на него со всею Вашею энергиею, чтобы заставить его вернуться из-за границы *единственный* экземпляр партитуры его 1-й симфонии — мне посвященной...»

Бородин — Балакиреву, 3 декабря,

«Дорогой друг Милий Алексеевич, наконец-то злополучная симфония получена из заграницы. Мне бы очень хотелось доставить ее Вам лично. Когда вы свободны? напишите. Искренне любящий Вас А. Бородин».

Балакирев — Бородину, конец 1879 —
начало 1880 года.

(М. А. благодарит за сообщение о том, что партитура доставлена, — Р. Д.) «...надеюсь назначить день, чтобы пригласить Вас, но теперь особенные обстоятельства мешают этому...»

Бородин — Стасову, 23 июня 1880 года,

«...Вы помните, что я по настоянию Балакирева выписал из заграницы мою I-ю симфонию? Когда симфония прибыла, Балакирев, разумеется, успокоился и не требовал уже ее! ибо, в сущности, она ему вовсе и не нужна была; ему нужно было только, чтобы я ее «выписал». Ждал я ждал, когда ему можно доставить ее, он все откладывал под разными предлогами. Наконец я получил из заграницы требование выслать симфонию вновь, возможно скоро, — для исполнения в концерте «des allgemeinen deutschen Musikvereins»² в Баден-Бадене. После концерта, на другой же день, председатель Общества известил меня письменно о результате исполнения. Привожу письмо в подлинном тексте и целиком — (как Вы когда-то воспроизвели мне письмо Листа), зная, что это Вас порадует. Прежде всего адрес: St. Petersburg. Herrn A. Borodin, Komponist³ — и только!... Получив это

¹ Бородин отослал партитуру в Германию, так как председатель Всеобщего немецкого музыкального союза Карл Ридель, «следуя желанию доктора Фр. Листа», просил об этом; симфонию предполагалось исполнить на празднестве союза в Эрфурте, но тогда намерение это не осуществилось.

² «Всеобщего немецкого музыкального союза» (нем.)

³ «С.-Петербург, господину А. Бородину, композитору» (нем.); далее Бородин полностью приводит текст письма К. Риделя, в котором говорится о блестящем успехе, триумфе Первой симфонии.

письмо, я на другой же день отписал Балакиреву об этом, зная, что ему приятно это будет. Только что получил он мою эпистолу: — является к нам сам, собственною особой, сияющий, радостный, теплый, поздравил меня с успехом и сообщил, что он уже слышал об этом... Нужно заметить, что Балакирев не был у нас лет девять. На этот раз он держал себя, как будто он был у нас... два дня тому назад. Как водится, засел за фортепьяно, наиграл кучу хороших вещей и — о ужас! — часов...»

II

Стасов тоже делал вид, что не было этих девяти лет разлада, что все обстоит по-прежнему, более по-прежнему, чем когда-либо. Ему не только хотелось склеить черепки разбитого вдребезги сосуда, но еще и наполнить его водою, ушедшей в песок. Притом он был исполнен самых лучших намерений, и при всей наивности, неуклюжести, а порой и бестактности этих попыток они не были вовсе бесплодны. Конечно, надежды на то, что Балакирев станет сызнова руководителем таких зрелых и могучих музыкантов, как Мусоргский, Бородин и Римский-Корсаков, были неосновательны. Но в течение 1880 года Балакирев и Стасов горячо обсуждали возможности материальной помощи погибавшему от нищеты Мусоргскому, — такая помощь была оказана, хотя и не могла уже спасти композитора.

Не всегда они понимали друг друга, да и не всегда знали то, что нам сегодня известно, а на многое глядели иначе, и не больше могли изменить свои взгляды, чем, скажем, поменять свой голос, почерк, походку. Стасов в это время еще считал «нравственным недугом» ученые занятия Римского-Корсакова, его бесчисленные фуги и каноны, Мусоргский о том же писал: «Узнаю — написал 16 фуг, одна другой сложнее, и ничего больше». Чайковский о том же самом отозвался в письме к Римскому-Корсакову так: «Я просто преклоняюсь и благоговею перед Вашей благородной артистической скромностью и изумительно сильным характером!» Благословляя Балакирева «помочь могучей рукою» Римскому-Корсакову, В. В. Стасов, конечно, не догадывался о глубине пропасти, уже тогда разделявшей бывшего ученика и быв-

шего учителя. Вот что пишет о Балакиреве этих лет Римский-Корсаков в «Летописи»: «...Вообще нетерпимость по отношению к людям, не согласным с ним в чем-либо или вообще действующим или мыслящим самостоятельно, в ином, чуждом ему направлении, была по-прежнему велика, и эпитет «прохвост», раздаваемый направо и налево, не сходил у него с языка.[...] Любил он зазывать своих друзей и в церковь, где он оказывался знатоком всех подробностей, в части священных предметов и порядка службы. Он был знаком не только уже со всеми попами и дьяконами, но и с дьячками и сторожами. При расставанье с гостем, с которым он был в хороших отношениях, он говорил: «Прощайте, Христос с Вами». Вся эта смесь христианской кротости, злоязычия, скотоловбия, человеконенавистничества, художественных интересов и пошлости, достойной старой девы из странноприимного дома, поражала в нем всякого, видевшего его в те времена. Но этим странностям суждено было развиваться впоследствии в еще большие несообразности, между которыми стали просвечивать многие новые, совсем уже не комические свойства, таившиеся в нем издавна, но светившие во время оно совсем иными лучами». Эти строки написаны уже после полного разрыва Римского-Корсакова с Балакиревым, в них есть пристрастность и одно-сторонность; известно, что чувство обожания к учителю со временем переродилось в Римском-Корсакове в прямую его противоположность. Милий Алексеевич, с своей стороны, продолжал любить Римского-Корсакова, видеть в нем в известной степени свое создание и свою славу, и потому боль, испытываемая им от холодности и прямой враждебности Николая Андреевича, должна была становиться временами нестерпимой. Добавим к этому, что как композитор Корсаков перерос своего учителя; его знания теперь значительно превосходили знания Балакирева, и последний вынужден был в иных теоретических и практических вопросах (касающихся, к примеру, инструментовки) обращаться за советом к бывшему ученику. Вот такие-то отношения Стасов намеревался повернуть вспять!

Ровней и добрей всех относился к Балакиреву Бородин, но и он не всегда успевал взглядеться и понять. Взять хотя бы историю с партитурой Первой симфонии. Внешне Балакирев в ней выглядит довольно нелепо: что за чудачество, так настойчиво требовать возвращения

нот из-за границы, а потом забыть о них... Но ведь не сама по себе партитура была нужна Милию Алексеевичу: он явно боялся за единственный экземпляр партитуры, опасался, что чужие люди затеряют его, и пропадет без возврата одно из лучших творений русской музыки, вещь, в которой он принимал горячее участие и которая посвящена ему, Балакиреву. Ведь сгорели же когда-то в пожаре партитуры глинкинских опер, и если бы Людмила Ивановна Шестакова вовремя не распорядилась снять с них копии, русская музыка осиротела бы...

Балакирев не был прост, ошибались все, кто рисовал его себе однозначно. Он не ходил в концерты Бесплатной музыкальной школы (пока не вернулся к управлению ею), но жадно расспрашивал о них и знал о каждом успехе и поражении. Он был человек самых правых, консервативных убеждений, но когда Дмитрия Васильевича Стасова арестовали по политическим мотивам, а затем подвергли административной высылке в Тулу, все то время, пока Дмитрий Васильевич отсутствовал, Балакирев навещал его семью и целые вечера напролет играл на фортепьяно лучшее, что он знал, чтобы поддержать и утешить близких опального адвоката. Он был врагом польских повстанцев, но при его поддержке и участии был открыт памятник Шопену в Желязовой Воле, и деятели польской культуры относились к нему с живой благодарностью.

Забывают нередко, говоря о Балакиреве, упомянуть о его вкладе в русскую церковную музыку. Этого рода сочинения Бортнянского, Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева куда известней. Но у Балакирева тут своя, ни с чьей не схожая роль. В конце XIX — начале XX века русские музыканты — А. Д. Кастальский, П. Г. Чесноков, А. В. Никольский, А. * Т. Гречанинов, А. С. Аренский, Вик. С. Калинин создавали новые, неслыханные по красоте и цельности духовные песнопения; они обратились к истокам, к древним знаменным распевам, звучавшим на Руси в течение семи столетий, с XI по XVII век. Соединение седой старины с острым, современным ощущением ее строгости, чистоты и внутренней силы дало плоды необычайные. Когда Рахманинов создал свои Литургию Иоанна Златоуста (1910) и Всенощное бдение (1915), стало ясно, что русская церковная музыка стала вровень с вершинными достижениями музыки вообще, всех эпох

и школ; национальное и общечеловеческое, земное и надмирное, скорбное и просветленно-радостное соединились здесь, как в редких, редчайших созданиях человеческого духа, заставляя вспомнить иконы Рублева, оратории Генделя и Баха, Кельнский собор или деревянные строения Кижского погоста...

Духовные сочинения Балакирева предвосхитили во многом этот взлет; в них блеснули вдруг черты гениальности, позволяющие как-то разом понять: было, было в этом человеке нечто, заставлявшее нескольких великих музыкантов внимать ему в течение долгих лет почти как оракулу, отзываться о нем с долго не убывавшим восхищением.

Наконец, Милий Алексеевич, которому далеко еще не было пятидесяти в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов, сохранял крепкий и живой ум, энергию убеждения. Приведем лишь одно письмо его к Стасову от 19 марта 1880 года, вернее, фрагмент его. «...Теперь перехожу к несколько щекотливому вопросу, но, любя Вас, не могу удержаться, чтобы не побраниться с Вами немножко за Вашу полемику с Сувориным. Если бы Вы знали, как я этим огорчен. И что за полемика: один говорит «ты лжешь» — другой отвечает «ты врешь», — и кого, и в чем может убедить, напр., хоть предположение, что «если покопаться у него в мозгу, то, кроме гадости, там ничего не окажется» и проч.¹ Кому это нужно знать, и может ли что доказать подобная полемика, из которой читатель, не знающий ни Вас, ни Суворина, может прийти разве только к одному заключению, что, дескать, один другого стоит, по Сеньке шапка, и какая небрежность — поставить себя на одну доску с дрянью Сувориным и позволять себе честить противника чуть не по матушке и при этом не подозревать, что подобная брань может только *уронить и провалить правое дело* и доставить потеху только самому дрянному слою читателей — любителям потасовки и петушиного боя, причем им никакого дела не будет до того, кто прав, их займет только литературное мордобитие, кто кого как и куда съездил. Знаю, что эти строки Вас раздражат и что я рискую

¹ В. В. Стасов писал: «Ах, с каким удовольствием я налепил бы по фиговому листику на мозги г. Суворину и его приятелю В. П. (Буренину). Какие там сидят непристойности, я думаю, посмотреть страшно». Почему-то кажется, что Милий Алексеевич вздрогнул, представив себе, что кто-то мог бы заглянуть и ему в мозги...

впасть в немилость, но что делать, я так сильно люблю Вас, что не могу не оскорбляться, видя, что Вы публично себя окачиваете бульоном из Екатерининского канала».

«Могучая кучка» в прежнем ее единстве давно не существовала; Бородин однажды в письме к Кармалиной объяснил это так: «По мере развития деятельности индивидуальность начинает брать перевес над школою, над тем, что человек унаследовал от других». Но некоторое силовое поле, творческие и житейские связи между «кучкистами» сохранились; они даже были теснее, чем может показаться, если учесть, что спор и несогласие — тоже форма общения, и порою весьма плодотворная. Но средоточием этих последних связей была все-таки фигура, воплощавшая собою мир и дружелюбие — Александр Порфирьевич Бородин. Мусоргский был уже отъединен от них и быстро отдалялся от всех живущих; его трагедия отгораживала его от мира как невидимая, но непреодолимая стена. Бородин сохранил полностью доверие и уважение Балакирева, и сам относился к нему прекрасно; Стасов по-прежнему возлагал на Бородина свои надежды, а значит, и любил его и жаловал; с Римским-Корсаковым связывала Александра Порфирьевича сердечная дружба, с Кюи — ровные и в полной мере доброжелательные отношения. Умрет Мусоргский — и они сойдутся несколько теснее и ближе, объединенные первой утратой, памятью о страсти, чистоте и отваге их первых лет; умрет Бородин — и Римский-Корсаков, Балакирев, Кюи, Стасов окончательно и бесповоротно разойдутся в разные стороны, и ничто и никогда больше не свяжет их, кроме прошлого, которое никому не дано изменить.

III

Но вернемся в 1879 год; необыкновенно значительный в творческой биографии Бородина. В середине июня Бородин приехал в Давыдово — без Екатерины Сергеевны, которая вначале поехала в Москву. Устроились в доме Марии Ивановны Володиной, который их приютил предыдущим летом после пожара. «Чай пьем дома в 8 часов утра и едим яйца всмятку, которые варим в самоваре сами... Обедаем у Дианиных чем бог послал; что от них, а что и от нас (мясо, цыплята, яйца, ягоды)...

Ложимся спать в 11 часов на сенниках, на полу. Комнаты убираем сами. Его Превосходительство¹ собственноручно выносит известную посуду, ибо не желает затруднять кого-либо столь унижительной услугой. Лизутка, видя такой пример смирения, делает то же. Наступило ведро и тепло. Я в рубашке. Завтра принесут мне и Лизутке личную обувь. Задворки скошены и благоухают. Я принялся за музыку. Сильно отдохнул за это время. Сплю важно. У нас — ни мух, ни клопов, ни блох, ни комаров. Как принесут личные сапоги, — начну гулять подальше...» Через неделю — новое (и последнее в то лето) письмо в Москву: «Не торопись выезжать, пока не выздоровеешь насколько нужно, но и не засиживайся долго. Как здесь ни тесно и малокомфортабельно, но я убежден, что пребывание здесь тебе будет благотворнее, чем в Москве. Бедную Ганюшку привези; мне ее до смерти жалко; куда-нибудь денем ее. Вот на днях уедут Миша с Колей, и пока она вместе с Лизуткой и Леночкой могут спать в передней у Дианиных. Мы жили и живем тут ведь по-просту; по выражению Тургенева, совсем опростились. Я себе приобрел сапожищи «Минина и Пожарского», высокие, огромные, от которых разит дегтем за версту. Помимо крестьянской рубахи, коих у меня две (на смену), я начал без церемонии ходить в одних подштанниках, без брюк, разумеется, запихав их в сапоги. Благодаря непомерной ширине подштанники имеют вид белых летних полотняных брюк, за каковые и принимаются всеми обывателями... не исключая и Любочки. Лизе сделаны такие же личные ботинки на опойковом поднаряде, конечно, несравненно тоньше и нежнее моих и менее пахучие. Леночке будут завтра готовы таковые же.

Насчет харчей ты не сокрушайся, ибо хотя я и здесь являюсь главным пайщиком, но на мой пай приходится не особенно много. До сих пор мы проели на мясе: 3 р. 78 к., на яйцах 88 к.; масла купили на 2 р. 8 к., сахару на 51 к. (то и другое ведется еще у нас); картофелю на 20 к.; огурцов на 30 к.; соли на 3 к. (много еще налицо); кочетков на 45 к.; дрожжей на 10 к.; пряников на 16 к.; баранок на 18 к.; ягод на 1 р. 58 к.; 26 яиц наносили бабы за практику, как я ни открещивался. Белье уже отдали Устинским и получим завтра. Я продолжаю деятельность заботливого отца семейства. В Петров день Лизутке не-

¹ Бородин говорит здесь о себе.

пременно хотелось идти к обедне; Леночка прихворнула и не могла идти с ней; одной ей идти не складно и не ладно. Вот я утром же — а мы встали в 4 часа утра — послал к Дианиным за сюртучною парой, и вырядившись «барином», отправился с Лизуткою в церковь, куда — к удивлению попов — мы прибыли первыми, прихватив при этом случае еще слепую старушеницу 89 лет, которую я довел от дома до церкви под руку — *simple et touchant!*¹ Третьего дня выходили к Новой деревне встречать «Боголюбивую» (т. е. Боголюбскую); вчера ждали ее к нам; сегодня в ту минуту, как пишу эти строки, ее несут сюда... теперь она у Акиловых, а потому я еще пользуюсь временем и продолжаю письмо². В первой комнатке (где спали хозяева) разостлан ковер с изображением девицы, качающейся на качелях, и кавалера, смотрящего на нее; кругом деревья и вообще ландшафт. Перед ковром стол, накрытый белою скатертью; на столе хлеб-соль, т. е. целый каравай хлеба с горстью соли, насыпанной на макушку; к караваю прислонен образок Божьей Матери. Перед хлебом-солью большое глубокое блюдо для воды, на нем три восковых свечи, — это для водосвятия, и тарелка для креста; лавка покрыта узорчатым широким полотенцем, с красивым красным шитьем по концам. Полотенце так длинно, что не укладывается вдоль лавки и пришлось сделать складку. Я сижу, в ожидании «*Матушки*» на дырявом стуле, дыра которого покрыта спинкою от другого, сломанного стула; — это «заместо подушки»; письменным столом служит мое милое, не изменяющее мне фортепьяно. Сам я в сюртучной паре, ночной белой рубашке и черном галстучке. В одном кармане жилетки часы, в другом рублевая бумажка монахам за молебен с водосвятием и акафистом и двугривенный в кружку мальчику, собирающему на украшение иконы. Вообще мне благочестие в эти дни стоит 1 р. 55 к., не считая нищих, сирых и убогих, т. е. филантропии, расходы на которую тут не включены. [...] Музыка моя идет помаленьку — и недурно, по-видимому. Кое-что сделал и в либреттном отноше-

¹ Просто и трогательно (франц.)

² Дианин разъясняет в своем комментарии к этому письму, что каждый год монахи Боголюбовского монастыря носили по селам и деревням Владимирского уезда икону Боголюбовской божьей матери; в Давыдове она обыкновенно бывала 29—30 июня. Письмо написано 1 июля.

нии — и тоже недурно. Дописываю помаленьку партитуру квартета, где скерцо у меня вовсе не было написано. [...]

...Боголюбивая!!!..... Господи, и «благодать-то» «болярам» отпускается лучшего качества! уж служили-то, служили у нас, и пели, и кропили-то... а у других-то не успел мигнуть — и готово, несут вон «Боголюбивую»! Вот что значит *рубль* серебром-то! А другие-то дают по 20 к., да по 15 к., на столько и отпускают «благодати». Плохо бедному человеку... Насчет денег, если можно, займи пока у Марьи Ивановны, я все жду Шашеньку (А. П. Дианина, — Р. Д.). Если у него достаточно, чтобы прожить до конца июля, то хорошо.

Я себе устроил отличное складное бюро, чтобы писать стоя. Заплатил полтора рубля. Шик!..»

Вот за этим-то складным бюро, на задворках дома Володиной, под большими старыми деревьями, стоя, без фортепиано, сочинял Бородин финал первого действия «Князя Игоря», хор бояр «Мужайся, княгиня». Этим летом Бородин долго разыскивал человека, который мог бы напеть ему песню «Про горы...» (Воробьевские или, в другом варианте, Жигулевские). Песню эту Бородин уже использовал частично в *Andante* Первого квартета, при этом он пользовался тем ее вариантом, который был опубликован в известном сборнике Прокунина. Теперь Александру Порфирьевичу хотелось послушать ее в живом звучании, так, как она бытует в народе, с неизбежными отклонениями от известной ему мелодии.

Наконец был найден старик Вахрамеич, напевший Александру Порфирьевичу эту песню; устроивший их встречу давыдовец И. П. Лапин с изумлением вспоминал, что Вахрамеич напел Бородину немного и получил за то красненькую (десять рублей). Для сравнения процитируем письмо Александра Порфирьевича жене, написанное двумя-тремя неделями раньше: «... у тебя 13 р. с коп. а у меня 21 р. с коп. а с этим нужно жить до 20 июля (т. е. почти месяц. — Р. Д.) до новой полочки жалования...»

Проницательный анализ, проведенный Дианиным-младшим, довольно убедительно показывает, что Бородин широко воспользовался песней «Про горы». Он ни разу не провел нигде целиком ее мелодию, а как бы разделил ее на короткие попевки, «музыкальные моле-

кулы», из которых затем уже составлялись самые сложные построения. Это, при видимом многообразии мелодических средств, придает материалу оперы внутреннюю цельность и единство, ощущаемые чутким слушателем подсознательно. Народная подлинная песня не торчит наружу, а течет невидимая, как река подо льдом. Ясней всего она «прочитывается» как раз в хоре «Мужайся, княгиня». Трагедия, которая в *Andante* Второй симфонии проглядывала впервые, здесь забирает власть над слушателем; как не вспомнить при этом античный хор: та же мощь, то же благородство скорби, тот же голос фатума, придающий совсем иное звучание человеческим голосам. И точно так же до масштаба античных героинь вырастает здесь и фигура Ярославны. Мрачная, завораживающая сила, тяжелая поступь мелодии. Притом, почти не меняя рисунок, музыка все набирает и набирает высоту и силу, трагическое напряжение растет и тогда, когда уж кажется, что расти ему некуда. Возгласы Ярославны, отчаянные, как вскрик захваченной и швыряемой шквалом птицы, еще подстегивают, еще обостряют ощущение великой беды, надвинувшейся на русскую землю.

Казалось бы, пережитое здесь же, в Давыдове, годом ранее потрясенье должно было отвратить Бородина от этих мест. Нет, — он привязался к ним сильнее. Пожар, неверный и трепещущий свет от горящих строений, вопли, плач, черные силуэты проносящихся мимо языков огня лошадей, ужас — и неуместное, дикое веселье в крови... Он знал, что не забудет всего этого до смертного часа. Картиной народного бедствия выстраивался теперь в его памяти давыдовский пожар; и ведь не стоял же он сторонним зрителем посреди сумятицы и горя — сам пережил каждое мгновение наравне со всеми; все они — и Екатерина Сергеевна первая — хлебнули тогда от общей беды, страху, неприкаянности достаточно, даже и с лихвой. Теперь не по книгам, не с чужих слов, а душой, памятью бегущей по жилам крови он знал, каково было жителям древнего Путивля, когда чужая рать подступала, сея разоренье и смерть, когда запылали со всех сторон света пожары, когда набатный колокол гудел, будоражил, звал без передышки, лошади ржали и проносились черными тенями мимо стены огня, а мольбы мешались с богохульствами.

Судя по июньскому письму Бородина к Екатерине Сергеевне, еще тогда, в начале лета, в его сознании вдруг

ясно и точно выстроилось все первое действие. Та же «кристаллизация», что и с давыдовскими избами: вышла основа, и кристалл начал обрастать гранями, приобретать (словно бы сам собою) законченную и единственно мыслимую форму.

Главной находкою был совершенно новый поворот в либретто. По наметкам Стасова, князь Владимир Галицкий должен бы был мелькнуть в опере эпизодической фигурой с несколькими незначительными репликами. Бородин решил дать ему небольшую, но настоящую роль. Он написал два речитатива и песню для Владимира Галицкого. Текст писался одновременно с музыкой. Беспутный князь был очерчен определенно и резко, — точно припечатан. Ритм его песни, какая-то квадратность фраз, лихая, бойкая интонация дает то ощущение бесшабашности и циничного озорства, которого Бородин и хотел добиться. «Теперь это вышла маленькая, но рельефная роль, — писал Александр Порфирьевич Стасову 4 августа. — При всем цинизме я сделал его князем, и не слишком грубым, а то это был бы второй экземпляр Скулы. Это просто скверный гамен, цинический, но не лишенный некоторого изящества и вовсе не жестокий тиран».

И все ожило: и разгульная челядь, которую прикармливает и спаивает Галицкий, и Скула и Ерошка, что так пришлись ему ко двору; девушки, заступающиеся за свою подругу сперва перед Галицким, а потом перед княгиней. Тут Бородин написал вовсе небольшой, но поистине классический женский хор «Мы к тебе, княгиня»; счет здесь трехдольный — но ритм внутри него найден необычный, — он как бы гонит девичьи голоса вперед, не дает передышки, остановки, точки, усиливает тревогу и волнение. У Бородина у самого, наверное, сжималось сердце, когда всплеском гнева и гордости вырвалось у его Ярославны:

Да ты забыл, что я княгиня,
Что князем власть мне здесь дана? —

в дуэте ее с Владимиром Галицким, написанным тут же.

Теперь Ярославна должна узнать о поражении русских дружин, о том, что муж и сын ее в руках половцев. По замыслу Стасова, эту весть должны были принести странствующие купцы, Бородин от них отказывается, вот

как объясняя свое решение Стасову: «С либреттной стороны был только один эффект: что купцы рассказывают «перебивая один другого». Но это эффект чисто внешний. При этом потребовалось бы, по меньшей мере, двух певцов. Хористов взять нельзя. Солисты все израсходованы: три баса — Кончак, Скула, Конюший; два баритона — Игорь и Владимир Галицкий, два тенора — Владимир Игоревич и Ерошка Голопузый. Откуда же взять солистов?.. Но если и найдутся еще два солиста, то это ко вреду. Я терпеть не могу дуализма — ни в виде дуалистической теории в химии, ни в биологических учениях, ни в философии и психологии, ни в Австрийской империи. А на беду у меня — как нечистых животных в Ноевом ковчеге, — всего по паре: два хана — Кончак и Кзак; два Владимира — Галицкий и Путивльский; две любящие женщины: Ярославна и Кончаковна; два дурака — Скула и Ерошка; два брата: Игорь и Всеволод, две любви, два оскорбления княжеского достоинства; два пленных князя; две победившие рати у половцев».

Итак, не купцы, а свои же бояре сообщают княгине тяжкую весть. Написанный на задворках сельского дома во Владимирском уезде, в селе Давыдово хор Бородина «Мужайся, княгиня» принадлежит к высшим проявлениям человеческого гения. Гениальна его простота, гениальна его сила, гениален его трагизм. Заканчивая хор, Бородин уже видел перед собой весь финал первого действия: слышал набатный звон, рев огня. Путивль в страшный час половецкого нашествия. В эту картину входил и впервые увиденный в семьдесят четвертом году древний Суздаль, и прошлогодний ночной пожар в Давыдове, и горькое слово древнего летописца, и события, мысли, сны и видения собственной его жизни, готовые переплавиться в музыку.

Стасов был ошарашен новостями. В ответном письме он пересказывал свою шутку, сказанную попавшемуся ему навстречу М. Ю. Гольдштейну: «Я ему говорю: «Вы бывали в Зоологическом саду, Вы видали, как вдруг слон накладает целую гору, так что просто хоть утони, вот так-то и Бородин всегда сочиняет. Вдруг накладает целую гору!»

Александр Порфирьевич отвечал в том же раблезианском духе. «Фу ты, черт возьми, как это хорошо!.. я разумею Ваше сравнение с слоном и его гов... Я хохотал как сумасшедший! Это ужасно оригинально, увесисто!..

хоть Шекспиру впору!» Впрочем, Владимир Васильевич оговаривался в письме, что ему «жалко» купцов; но тут Бородин был непоколебим. «...право, так будет лучше; я рад, что Вы при всей жалости к ним (а ведь они и в самом деле могут быть только самые жалкие рассказчики) согласны, чтобы они не произносили много жалких слов. Насчет обилия хоров-то я не боюсь (также ответ на опасение, выраженное Стасовым. — Р. Д.). Подумайте сами: в I-й картине хор прерывается речитативными и ариозными вставками солистов: речитативом Владимира Галицкого, его *brindisi*¹, дуэтом и речитативом Скулы, Ерошки, княжюю песнью их (дуэт с репликами хора). Во второй картине: соло Ярославны («думка», по выражению Александры Николаевны), дуэт ее с Владимиром Галицким; многочисленные реплики ее, речитатив и вставки, в виде разговоров с девушками, придворными, купцами и пр. и пр. Наконец она тоже человек, а не фонограф или органчик, заводимый ключиком. Не сходя со сцены ни за какую надобностью и выводя высокие нотки, ведь всякая погибнет во цвете лет и славы, если ей не дать передышки. Притом она все волнуется, стонет, надрывается, скулит... ей, ей, не выдержать никому!..»

Тем же летом состоялся и обмен письмами с Римским-Корсаковым. Николай Андреевич предлагал всяческую помощь и поддержку, только бы Бородин по-настоящему взялся за «Игоря» и окончил его; он согласен был выполнить любую черную работу, гармонизовать, транспортировать, инструментовать; тут же он прислал Бородину отредактированный им первый хор из первой картины первого действия «Князя Игоря». «Письмо Ваше меня глубоко тронуло, — отвечал Александр Порфирьевич. — И сколько это я Вам понаделал хлопот! Шутка ли исписать целую страницу мелкого нотного письма и пр., и пр.» И тут же Бородин делал вывод, который не мог не поразить его друга. «Видите ли, я прав был, когда не хотел давать Вам этого хора. Я предвидел, что в этом черновом экземпляре для Вас встретится куча затруднений, так как он требует не только транспортировки, но и переделки во многих местах. Мне очень жаль, что я пустил Вас приняться за эту скучную и неблагодарную для Вас работу. Поправляю дело насколько можно: не

¹ Ария с заздравным кубком.

пересылаю Вам Вашего ноготного листочка, оставляя его себе на память. При свидании будет гораздо удобнее переговорить на словах, — а свидание теперь уже близко. Дальше — я убежден — встретится еще более затруднений. Лучше всего оставьте пока этот хор...» Бородин явно отказывался, вежливо, но твердо, от предложенной помощи! Ибо в композиторском деле никакой «черной» работы, которую можно было бы передоверить кому-то другому, нет и быть не может. Пока жив, он будет всячески уклоняться от постороннего, хотя бы и дружеского, вмешательства в самую интимную, в самую заветную часть его «я»: в музыку. И только после смерти Бородина Римский-Корсаков (вместе с Глазуновым) получит доступ в его музыкальную лабораторию и примется наводить там со всем тщанием порядок и благолепие.

То, что сделал для русской музыки Римский-Корсаков, прецедентов не имеет, и нет таких слов, какие воздали бы ему достаточную хвалу. После смерти Даргомыжского он оркестровал «Каменного гостя»; когда погиб Мусоргский, Николай Андреевич завершил «Хованщину», привел в порядок, отредактировал «Бориса Годунова»; наконец, его последним подвигом было окончание — в содружестве с Глазуновым — «Князя Игоря». Все эти труды были предприняты и исполнены по доброй воле, с великим прилежанием и искусством, бескорыстно и самоотверженно. Где еще, в какой земле, в какие времена найдешь такой пример? И что же? Вместе с похвалами, с одобрениями почти сразу же раздались и скептические возгласы; яд сомнения проник и в публику, и в печать. Многим казалось, что Корсаков завершает, инструментует, редактирует своих великих друзей не всегда в согласии с их намерениями, с их неповторимым характером, что он окультуривает, сглаживает, причесывает непослушные вихры. Можно упрекнуть скептиков в неблагодарности; можно со вздохом заметить, что доля правды была в их речах. Некоторые страницы «Летописи», например, со всей убедительностью доказывают, как многого не понимал Николай Андреевич в позднем Мусоргском; приступая порой во всеоружии этого непонимания к партитуре своего гениального товарища, он железной рукой исправлял заведомые «нелепости», «ошибки в голосоведении», «наивности» и «небрежности», не умея понять, что несоответствие музыки Мусоргского правилам является ее родовым признаком, что она при-

надлежит к явлениям, опрокидывающим старые законы, чтобы воздвигнуть новую реальность.

С Бородиным Николай Андреевич «совпадал» гораздо чаще, легче умел вжиться в его творчество (так что это даже заметно отразилось и на его собственных опусах); их дружба и взаимопонимание много значили. И все-таки: внешне деликатный, а по сути — почти невежливый отказ Бородина летом 1879 года от поправок Римского-Корсакова и от предложенной им всесторонней помощи говорит сам за себя. Заметим, что А. К. Глазунов однажды не без изумления признал: «те части «Игоря», которые были полностью закончены и инструментованы самим Бородиным, звучали в театре лучше всего!»

...А еще писал Александр Порфирьевич Корсакову: «Лето у нас подлейшее — хуже не видал: откуда бы ни дул ветер, непременно нанесет дожди и ненастье. Тем не менее я наслаждаюсь: хожу совсем мужиком, рубаха на выпуск, ситцовая, подпоясанная пояском, штаны в сапоги, сапоги личные, смазанные дегтем; словом — совсем мужик. Шляюсь по лесам. Просто. Свободно. Привольно». Недели через две, в середине августа («Погода стоит теперь превосходнейшая — словом, осенний Июнь и Июль сменились Майским Августом») — его настроение уже омрачают мысли о предстоящем возвращении на службу. Другу, профессору Алексею Петровичу Доброславиному, он пишет: «По правде сказать, смерть жаль расставаться с моим роскошным, огромнейшим кабинетом, с громадным зеленым ковром, уставленным великолепными деревьями, с высоким голубым сводом вместо потолка — короче, с нашими задворками. Смерть жаль приволья, свободы, крестьянской рубахи, портков и мужицких сапогов, в которых я безбоязненно шагаю десятки верст по лесам, дебрям, болотам, не рискуя наткнуться ни на профессора, ни на студента, ни на начальника, ни на швейцара».

Как не поразиться тому, что вот уже в который раз Бородин с особым каким-то чувством, с редкостным даже для него воодушевлением и подъемом описывает ту самую одежду, в какой он примет свой смертный час — в аудитории Сучинского, рядом со своей квартирой, в последний день масленицы, посреди веселого маскарада упадет во весь рост; потрясенный Стасов напишет: «Словно страшное вражеское ядро ударило в него и смело из рядов живых».

Лето 1880 года Бородины провели на Волге, возле Кинешмы; туда же доставлялось и фортепиано из Давыдова («летние клавесины», — как выражался Бородин). Осенью пришлось отправлять инструмент обратно. Александр Порфирьевич писал Федору Павловичу Дианину (брату Александра Павловича): «Голубчик Федор Павлович, пересылаю Вам квитанцию на получение инструмента, с Железной Дороги. Простите великодушно, что кладь не оплачена; мне было крайне неудобно посылать оплаченную кладь, потому что для этого пришлось бы самому нарочно ехать в Кинешму. Уплатите что следует: после сосчитаемся. Относительно посылки прилагаю следующую *объяснительную ведомость*.

- 1) Инструмент укреплен к дну ящика тремя винтами.
- 2) Педаль завязана в занавеску, полотняную, и рогожу (кулек) сбоку, между инструментом и ножками, которые ввинчены в доску.
- 3) *Ключик* от инструмента привязан к *гвоздику*, под кулком с *педалью*.
- 4) Вместе с педалью завязан еще кусок дерева, отломившийся случайно от клавиатурной системы инструмента; его надобно будет приклеить.
- 5) Корпус инструмента покрыт 4-мя сенниками и клеенкой.

Когда будут вынимать инструмент, обратите внимание, чтобы не испортили ящика и крышки при вскрывании ящика. Ящик, крышку, винты с железными пластиночками сохраните в *сухом* месте, равно как и сенники, и занавеску, и клеенку.

Хотя Вы и самый аккуратный из Павлычей, но напомним Вам, чтобы Вы не *оставляли инструмента открытым, когда не играете*. Дальнейшие инструкции, пожалуй, будут даже излишними: например, чтобы не ударять по клавишам молотком, обухом топора и пр., не лить внутрь инструмента никаких зловонных, едких и вообще всяких жидкостей, даже чаю, пива и т. п. Не спать вдвоем на крышке инструмента, чтобы не продавить ее; вообще не ложиться на нее вдвоем. Не употреблять инструмент в смысле укладки для грязного белья, если последнего очень много или оно очень грязно или — что и того хуже — мокро. Не бросать внутрь инструмента папиросных окурков, табачной золы, зажженных спичек и пр.

Не употреблять инструмента взамен верстака, не класть на него дрова и другие хозяйственные принадлежности. Наконец не пользоваться инструментом в смысле ватерклозета: — ни в коем случае. Соображаясь с этой инструкцией, можете догадаться сами, что следует строго следить, чтобы внутри инструмента не завелись моль, клопы, тараканы, мыши, крысы; птицы не вили гнезд, куры не высиживали цыплят, не несли яйца и т. д. и т. д.»

22 сентября уже из Петербурга Бородин писал Екатерине Сергеевне: «Дорогая моя голубка, — прошло лето! Как приехал в Петербург, так сразу — вместе с мухами, — исчезли и последочки лета; точно его и не было. Сразу я окунулся в зимнюю жизнь. Не успел ввалиться в комнату, как получил приглашение на общее собрание Музыкального кружка с *настоятельной* просьбой приехать туда как раз в том часу, в который прибыл в Питер. Потом мгновенно...» На этом письмо обрывается; но и без того ясно, что последовало «потом». Бородин был в 1880—81 годах председателем Музыкальной комиссии Санкт-Петербургского кружка любителей музыки (отсюда и *настоятельная* просьба). Вскоре, сконфуженно и виновато отказываясь от организации хора к предстоящему концерту в пользу недостаточных слушательниц Женских врачебных курсов, Бородин писал: «У меня положительно нет времени: за отсутствием Доброславина, который уехал в Киев, на меня возложены обязанности ученого секретаря; у меня на рассмотрении две диссертации и работа по трем комиссиям, не терпящим отлагательства...»

Начиналась трудная, долгая зима, — самая трудная в жизни Бородина, если не считать последней, оборвавшейся посередине.

V

В семействе Бородиных, между тем, назревали события: Чиж (Александр Павлович Дианин, помощник и названный сын Бородина) и Куропатка (Лиза Баланева, воспитанница Бородиных) стали женихом и невестой. Александр Порфирьевич был склонен радоваться этому обстоятельству, но не все и тут выходило гладко. Бородин писал Екатерине Сергеевне 25 сентября 1880 года: «Ну к чему ты пугаешь постоянно нашу молодую чету,

наш птичий двор, состоящий из чижики и куропатки? Ей богу ничего такого зазорного они не делают, никаких козней не творят, а если им приятно быть по возможности вместе — так ведь это совершенно естественно. Разве у нас с тобой не было того же самого? Разве мы не стремились быть вместе? наедине? И зачем непременно воображать и предрешать, что они тебе будут не рады? Разумеется, если ты заранее задаешься такими мыслями, что тебе *никто* (!) не будет рад, что даже я (!) не рад тебе; заранее имеешь намерение скрутить в бараний рог наш маленький птичий двор, — понятно, что всякий будет связан, несвободен, в фальшивом положении. Как тут быть? Выказать признаки радости — объяснят неискренностью, желанием *скрыть* свое неудовольствие по поводу твоего приезда. Не выказывать признаков радости — значит подтвердить твою нелепую догадку.

Сама подумай — что же это такое? Иду дальше: — дети любят папашу и мамашу, но сплошь и рядом более рады остаться одни, нежели под надзором любящих родителей. А тут не дети; не детские шалости — а любовь у молодых людей. И в писании сказано: оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будет два плоть в едину; тайна сия велика есть, еще глаголем — во Христа и во церковь. Прости, но у тебя какое-то соревнование с Лизуткой и какой-то зуб против Павлыча; ты хочешь, чтобы он отдавал тебе столько же внимания, интереса и пр., сколько Лизутке. Да разве это возможно! Разве можно претендовать на это? Как он тебя ни любит и ни уважает — а то и другое не подлежит сомнению, — а все-таки быть ему с Лизою без твоего присутствия должно быть приятнее. Любовь недаром же называется *égoïsme à deux*¹. Ведь это у всех и всегда так было, есть и будет вовеки. Потом, зачем ты все пугаешь разного рода страхами за будущее? Кто же не знает, что вечного ничего нет, всякая любовь выдыхается, из страсти переходит в привычку, дружбу, если не хуже — в охлаждение и даже ненависть. Но если *начать* любовь с такими мыслями, так угодишь или в Неву, или в сумасшедший дом. Пора любви, страстная пора, полна беззаветного увлечения у каждого, и рефлексии в минорном тоне тут немыслимы, они убивают любовь в зародыше или раздражают и только. Можно ли цело-

¹ Эгоизм вдвоем. (Франц.)

ваться в упоении и в эту самую минуту думать, что вот через год-два и пр. эта самая ласка меня не будет ни волновать, ни, может быть, даже услаждать. Можно ли наслаждаться катанием на лодке, думая в то же время, что вот-вот наедет пароход, опрокинет и мы пойдем ко дну? Можно ли, гуляя по лесу, по саду, наслаждаться природою и в то же время думать, вот сейчас на меня свалится дерево, меня ужалит змея, укусит бешеная собака, волк и пр. Да ведь этак жить нельзя! Попробуй жить согласно принципу «*memento mori*»¹ — есть, пить, работать, отдыхать, веселиться и в то же время непрестанно думать, что люди смертны, что я человек и тоже смертен, что смертного часа никто не знает и, может быть, я сейчас же, сию минуту умру. Да тут руки наложишь на себя, чтобы избавиться от такой жизни. Умрешь поскорее, чтобы спастись от смерти. Это вопрос другой — рада ты или не рада, что дела на нашем птичьем повернулись так. Допускаю, что и не рада. Но если смотреть на брак исключительно с точки зрения разума, то нет ни одного брака, который бы можно назвать разумным во всех отношениях. Брак и семья так скверно устроены, что шипов в них всегда найдется более, нежели роз, и когда я вижу вступающих в брак, мне всегда за них немного жутко. Семья и брак основаны всегда на пожертвованиях, потере свободы, бремени забот, и радостного ничего особенно не представляют. Это есть зло, которое вытекает из натуры человека и неумения его устроиться иначе. Кто-нибудь из двух — муж или жена, а чаще оба, — являются здесь жертвами общественного строя, вследствие того, что половые наслаждения и родительские обязанности с социальной и экономической стороны обставлены самым дурацким образом. Но это старая песня. Я не скажу, чтобы ахти какой манны небесной ожидал от союза Павлыча с Лизуткой. Но что было бы для него и для нее во всяком другом союзе или без того — это еще вопрос, не внушающий ничего более утешительного. Как бы-то ни было: они раз признаны нами женихом и невестой и на эту точку нам следует стать и признать совершившийся факт. Обливать тут холодной водою рефлексии нечего, неуместно, неразумно и жестоко. Зачем отнимать от них радости, которые, может быть, никогда в жизни не повторятся в такой чистой форме. [...]

¹ Помни о смерти (латин.)

Признаюсь откровенно, я ужасно не люблю, когда ты начинаешь *«жить своим внутренним миром»*, — это значит, что ты сидишь на кровати, бессовестно много куришь и думаешь всякие мерзости или о себе или о других, ставишь себе разные *«нравственные мушки»* или собираешься ставить их другим. В конце концов, ты расстроишь себя, начинаешь хандрить, пилить Павлыча или Дуняшу, встанешь поздно, повредишь здоровью или доведешь себя до слез. Терпеть не могу этого... Будь здорова, дорогая моя, Господь с тобою, не хандри, не волнуйся, не сердись на птичий двор...»

Как видим, Бородин совершает обычную нашу ошибку: он распространяет свой личный опыт на все и вся, пережитые им невзгоды поворачивает на семью и брак вообще; впрочем, что ж говорить, социальная критика, прозвучавшая в его письме так неожиданно, что впору было вздрогнуть, кажется и нам справедливой. Явное разочарование Александра Порфирьевича в семейной жизни вряд ли можно поставить ему в вину. Но зато как добр он к своему «птичьему двору», как мягок и сердечен; ведь это он чуть ли не впервые так нападает на Екатерину Сергеевну — затем, чтобы защитить молодую пару; и те, и та близки ему; он становится на сторону тех, кто беззащитней.

И снова, может быть, откровенней, чем когда-либо, не без некоторой даже назидательности. Бородин говорит о своем отношении к смерти, к несчастью, к той печальной истине, что все радости преходящи. Он убежден, что обо всем этом думать не следует, что мысль о смерти способна отравить человеку жизнь. Вряд ли согласился бы с Александром Порфирьевичем его современник Ф. М. Достоевский, в том же городе, на тех же улицах видевший бездны повседневного ада, раздирающие душу ужасы порока, жестокости, нищеты — и живую силу сострадания, неизбежную человеческую жажду правды и света, которая со смертью борется голыми руками прямо в ее гнезде. Вряд ли согласился бы с Бородиным Мусоргский. Вряд ли согласились бы с ним народовольцы, своею волей пошедшие на казнь, на смертную муку. Это не означает, что Бородин был кругом неправ. Отступив на известное историческое расстояние, мы видим, что он был другая сторона в споре, другое проявление той же силы, что зажгла металлическим блеском глаза юных царевубийц...

Что же до семейных разочарований, то менее, чем через год, к двадцатилетней годовщине любовного объяснения с Екатериной Сергеевной в Гейдельберге, возле «Волчьего источника», Бородин в небывало короткий срок напишет свой Второй квартет, шедевр любовной лирики, нежности, весь пропитанный радостью и светом, весь пронизанный печалью и сознанием невозвратимости пережитого.

VI

Была «эпоха покушений». Революционеры, террористы, молодые люди и девушки из хороших фамилий, поставившие себя выше закона и в то же время безропотно подчинявшиеся железной дисциплине своего содружества, приговаривали к смерти царских сановников и казнили их прямо на улицах, в присутственных местах, на глазах у десятков людей. Покушавшихся травили как зверей, ловили, мучили, доводили до безумия, вешали, — но на месте казненного вырастали десятеро новых, ничуть не менее фанатичных и страстных бойцов. Император Александр Второй пережил уже пять покушений. После взрыва в Зимнем дворце стало ясно, что заговорщики повсюду; страх и уныние воцарились в правительственных сферах; никто не чувствовал себя в безопасности; политика администрации стала зигзагообразной; власти колебались между мыслью о крайней строгости и соблазном уступок, которые смягчили бы ужасных террористов; говорили даже о конституции. В среде революционеров тоже не было полного единства. Иные были убеждены, что казнь царя есть единственный способ встряхнуть всю страну до основания, пробудить массы народа, одним рывком повернуть всю русскую историю в ином направлении. Другие не признавали террор действенным методом борьбы. Произошел раскол, но он уже мало что мог изменить; цареубийство было предрешено, а с ним и наступление других времен для России и для каждого русского.

Начало 1881 года было мрачно. 28 января умер один из величайших гениев всей человеческой истории, Федор Михайлович Достоевский. В Николаевский военный госпиталь был доставлен в опасном для жизни состоянии Модест Петрович Мусоргский. Во все последние годы прогрессировала его алкогольная болезнь, все более бес-

просветными становились его материальные обстоятельства. «Бориса» на сцене не давали, службу Мусоргский потерял. Друзья и почитатели в последнее время оплачивали ему заказанный труд: окончание оперы «Хованщина». Один из крупнейших чиновников России, государственный контролер, тайный советник Третий Иванович Филиппов давно уж помогал Модесту Петровичу; он, кажется, и нашел этот тактичный способ оказать поддержку композитору. Он, Стасов, Жемчужников и другие лица в месяц собирали около 100 рублей, которые и передавались Мусоргскому; другой кружок таким же образом оплачивал ему продолжавшуюся работу над оперой «Сорочинская ярмарка». Однако ж, как и всю свою жизнь, Мусоргский оставался одиноким и бездомным, сочинение подвигалось медленно, приступы болезни становились все разрушительней; нужда и сознание зависимости жгли и не давали дышать.

В Николаевском госпитале, дабы не возникло осложнений с начальством, Мусоргский был устроен под видом денщика одного из военных врачей. Разумеется, что друзья могли бы собраться и оплатить ему меблированные комнаты и врачебный уход; сложность, однако, состояла в том, чтобы изолировать больного от соблазнов внешнего мира; в его состоянии небольшая доза спиртного могла убить. Мусоргскому была выделена отдельная палата. Его навещали друзья. Репин приходил писать с него портрет. Бородин, должно быть, оказывался в палате чаще, чем остальные: в Николаевском госпитале с 1876 года обретались Женские врачебные курсы, на которых он читал лекции по химии. Беспокоились о судьбе рукописей композитора. После смерти Даргомыжского целый ряд трудностей возник в связи с претензиями его наследников; они соглашались уступить «Каменного гостя» и другие вещи только за неслыханно крупный гонорар. Кто мог поручиться, что наследники Мусоргского окажутся сговорчивее? Чтобы его неоконченные или еще не опубликованные творения не стали предметом торга, друзья уговорили его сделать дарственную в пользу Третья Иванова Филиппова, в наследство к которому и переходили в случае смерти Мусоргского все его произведения. Все помехи к исполнению и печатанию музыки Мусоргского были таким образом устранены, и нельзя не подивиться в этом случае дальновидности и трезвости принятого решения.

...В состоянии больного намечалось резкое улучшение, все вздохнуло было свободно — как вдруг новое, внезапное, как будто ничем не мотивированное обострение болезни... На сей раз все было кончено.

Обстоятельства смерти композитора породили немало домыслов и слухов. Враги «Могучей кучки» ставили в вину товарищам покойного всю непрезентабельность обстановки, окружавшей Мусоргского в его последние дни. В печати появились даже обвинения в адрес администрации Николаевского госпиталя. Это ставило в тяжелое положение тех самых людей, которые пошли на известный риск и нарушение строгих предписаний, поместив штатского пациента в военном лечебном заведении. В день похорон Мусоргского Александр Порфирьевич Бородин писал в редакцию газеты «Голос»: «Я хотел лично обратиться с просьбою о помещении прилагаемого заявления, но вследствие известного правительственного распоряжения не могу отлучиться из дому до 10 часов...» Заявление было напечатано 20 марта. Вот оно: «По желанию многих друзей и почитателей покойного М. П. Мусоргского, считаем долгом публично заявить следующее. Покойный М. П. Мусоргский, заболевший последнюю свою болезнью, был помещен по ходатайству друзей в Николаевский военный госпиталь, благодаря обязательной готовности главного врача Н. А. Вильчковского. М. П. Мусоргский находился в госпитале целый месяц и в продолжение этого времени бесконечно много обязан и теплому участию доктора Л. Б. Бертенсона. Сестры милосердия Николаевского госпиталя выказали неустанную заботливость и сердечное сострадание, которые выше всяких похвал. Глубоко признательные за такое проявление сердечности и участие к больному, считаем обязанностью от лица друзей и почитателей покойного выразить публично искреннейшую благодарность администрации госпиталя, доктору Л. Б. Бертенсону и сестрам милосердия. А. Бородин, Ц. Кюи, Н. Римский-Корсаков».

...Бородин не мог с утра появиться в редакции, так как особым правительственным распоряжением было запрещено выходить из дому ранее 10 часов утра. Распоряжение последовало в ряду мер правительственного террора после оглушительного, потрясшего всю Россию да и весь мир события: смерти императора Александра II, убитого 1 марта бомбою, брошенной в него народовольцем Гриневицким. Революционеры надея-

лись, что казнь царя всколыхнет весь народ, что пробудятся и вступят в бой за свои права все угнетенные, что будет свергнут строй насилия и узаконенного беззакония; вместо этого они могли видеть почти всеобщее негодование и испуг. Обыватель, не без тайного сладострастия следивший за многолетней охотой могущественных невидимок на августейшего, почти всемогущего монарха, был потрясен этой смертью, обнаружив вдруг, что целились, кажется, и в него, что разрушение угрожает всему и вся, что ему страшно! Революционное движение во всех его проявлениях было быстро рассеяно и подавлено; целое поколение борцов завершило свой короткий и яростный путь, и над Россией надолго воцарились серые, беспросветные сумерки:

Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла.

Смерть именно в эту пору двух русских гениев, Достоевского и Мусоргского, кажется не случайной. Глубинная связь столь гигантских явлений духа с породившим их народом и эпохой должна быть еще тесней, чем это могут представить какие-либо умственные выкладки, какой-либо внешний анализ. Смерть их означала завершенность их дела, их роли, их времени на земле. И начало осмысления колоссальных открытий и мыслей, которые они после себя оставили. И — озарений. И — пророчеств.

Ощутил ли Бородин, что, в сущности, окончилось и отведенное ему время? Наверное. Смерть Мусоргского была не первая для него потеря; годом раньше он похоронил своего названного отца и учителя, Николая Николаевича Зинина. Над могилой он говорил:

«...Обладая обширными знаниями, глубоким, светлым умом и горячо любя Россию — Зинин раньше многих других понял, что наука у нас до тех пор не будет дома, пока к разработке ее не будут привлечены молодые силы в недрах самого отечества, пока не будет положено начало самостоятельной русской школе. И вот, в Казани, он впервые заложил основание русской школы химии...

Николаю Николаевичу выпала завидная доля: на его глазах зарождалась, развивалась и протекала ученая деятельность трех поколений созданной им школы, не только детей его по науке, но внуков и даже правнуков... сам он — дожив до преклонных лет — не пережил себя

как ученого... Несмотря на крайне быстрый рост химии, он не отставал от современного движения ее. [...] Его беспредельная доброта, доступность, приветливость, простота и теплота в обращении с людьми, готовность и умение помочь всякому, кто в нем нуждался — сделали славное имя Зинина одним из самых популярных в Академии... Тем больше чувствуется утрата этого человека...»

Так говорил Бородин, ощущая, должно быть, сильнейшее желание забыть все слова, уйти куда-нибудь, без помех отдалиться горю: Зинина он любил не переставая все эти годы, их долгая дружба была одной из основ бородинского мира.

Отношение его с Мусоргским как будто не достигали и десятой доли той близости, той духовной общности, которая соединяла их с Зининым, — но вот ушел, погиб Мусоргский, и потрясение и боль Бородина, по свидетельству современников, были беспредельными. На Мариинской сцене возобновили «Бориса Годунова»; перед одним из главных эпизодов Бородин вышел из ложи, он не мог оставаться, не мог смотреть и слушать, — лицо его было залито слезами. Все, что было, но главным-то образом — все, чего не было, вся та близость между ними, которая могла бы быть и которая не состоялась, вся та дружба, которой не вышло между ними, все то понимание и сочувствие, которое могло бы растопить безнадежное одиночество Мусоргского, — все, все стояло за этими слезами.

Тогда же Бородин написал романс «Для берегов отчизны дальней...» и посвятил его памяти умершего композитора. Как Allegro Второй симфонии, как хор «Мужайся, княгиня...» из «Игоря» — этот романс гениален. Обращение к пушкинским стихам (единственное в его творчестве), мысль об огромности потери, — все это словно бы соединило в одном коротком произведении всех троих: Пушкина, Мусоргского, Бородина. Никогда еще скорбь не выражалась с большей глубиной и благородством, с большей правдивостью и простотой. Это не преувеличение. Какая значительность! Какое достоинство горя! Какое проникновение в тайны человеческой печали, в дальние пласты души! Владимир Васильевич раскрыл романс. Индивидуальное горе, отдельно взятая печаль все еще казались Стасову частным делом, не достойным искусства, не приносящим никому особой пользы. Он любил Мусоргского, он любил Бородина, но такая

музыка была решительно не по нем. Возможно, впервые в жизни мягкий и добродушный Бородин был оскорблен непониманием. Музыка эта была для него слишком тесно связана с поводом, вызвавшим ее, он не умел и не желал отнестись к ней «объективно». Он спрятал ноты и до самой смерти не публиковал их и не давал исполнять.

Однако тот же Стасов позаботился о том, чтобы собрать письма, воспоминания, документы, касающиеся умершего композитора; статьи его о Мусоргском были полны огня и страсти. Музыка Мусоргского столь полно совпадала с пафосом деятельности Владимира Васильевича, с его представлениями о том, каким должно быть искусство, что если бы Стасову дана была сверхъестественная возможность вылепить, создать музыканта по своему вкусу и желанию, самолично выковать его направление, способ мышления, талант, — он и тогда не добился бы большего.

VI

Еще в 1880 году Бородин довольно быстро сочинил симфоническую картину «В Средней Азии». Назначалась она для сопровождения «живых картин», готовившихся к 25-летию царствования Александра Второго. Это музыка программная; вот как излагал автор ее содержание: «В однообразной песчаной пустыне Средней Азии впервые раздается чуждый ей напев мирной русской песни. Слышится приближающийся топот коней и верблюдов, слышатся заунывные звуки восточного напева. По необозримой пустыне проходит туземный караван, охраняемый русским войском. Доверчиво и безбоязненно совершает он свой длинный путь под охраной русской боевой силы. Караван уходит все дальше и дальше. Мирные напевы русских и туземцев сливаются в одну общую гармонию, отголоски которой долго слышатся в степи и, наконец, замирают вдали». Александр Порфирьевич также обмолвился однажды, что речь в этой вещи идет о «победах русского оружия в Туркестане». Ни повод, по которому написана эта музыка, ни предмет восхваления не могут возбудить в нас «отрадного мечтанья». Положим, нельзя судить одно время моральными мерками другого. Военная сила считалась тогда безусловным предметом гордости, завоевания не ставились в вину великим

держavam; Великобритания, Германия, Россия не только не стеснялись своих колониальных приобретений, но прямо-таки похвалялись ими; «владычествовать» и «покорять» были слова положительного ряда — и лишь единицы умели высвободиться из-под чар тысячелетнего культа силы. Повсеместное осуждение колониализма — на словах или на деле — стало приметой XX столетия. Если даже Пушкин и Тютчев в свое время оказались противниками польских повстанцев — притом, противниками, уверенными в правоте и в чистоте своего патриотизма, — то в 1905 году не нашлось в России ни одного поэта, художника, ни одного интеллигентного человека, который одобрил бы расправу царских властей над восставшим пролетариатом и крестьянами Латвии; «времена переходчивы», как выразился однажды Бородин!.. А все-таки программа симфонической картины выдавала постарение Бородина, выдавала отход его «вправо»; есть в ней сладость, приторность даже, по которой легко узнается всегда официозная версия событий. Но, как это вовсе нередко бывает, полотно оказалось умней художника, музыка поправила музыканта. «Подвешенная» наверху «педаль» (как говорили раньше; теперь это чаще называют «органным пунктом» — один из любимых приемов Бородина: неизменная, постоянно звучащая, при смене других гармоний, нота) дает поразительно четкое ощущение зноя, пустоты, раскаленного неба над головой; каждый, кто слышал «В Средней Азии», согласится, что это так, что прикосновение пустыни ощущаешь почти физически. Две прекрасные мелодии, русская и восточная, соединяются в контрапункте так чисто, с таким естественным изяществом и гармонией, что просто засмеяться хочется от радости. Одно из великих и вполне личных открытий Бородина: не противопоставление, а сопоставление России и Востока, в течение многих веков притиравшихся друг к другу, мирно уживавшихся в крови Александра Порфирьевича. То, что было для других композиторов более или менее уходом в экзотику, заимствованием остроты и пряности чужого языка, то для Бородина стало родной речью, частью его существа. Оттого-то Русь и Восток сделались главными и равноправными героями его оперы, его Второй симфонии; оттого и небольшая симфоническая картина приобрела родовые черты бородинской музыки, восторжествовав над плоским сюжетом.

Начиная с 1879 года, когда Римский-Корсаков в концерте БМШ вторично исполнил и полностью «реабилитировал» Вторую симфонию Бородина перед петербургским слушателем, сочинения его встречают все большее признание в России и за границей. Здесь уместно привести в русском переводе письмо председателя Всеобщего немецкого музыкального союза К. Риделя, о котором мы уже упоминали. «Баден-Баден. 21. 5. 80. Многоуважаемый господин! Сообщаю Вам, что Ваша симфония Es-dur вчера имела блистательный успех, в особенности скерцо. Господин капельмейстер Венделин Вейссгеймер здесь подготовил Вашу вещь самым заботливым образом и очень хорошо дирижировал. Господин Давыдов¹ может Вам в подробности рассказать об этом. Он скажет также Вам, что господин Вейссгеймер сделал некоторые сокращения в I-й части, которые оказываются полезными. Было бы благоразумно удержать эти сокращения и впредь². Многочисленные музыканты, присутствовавшие при исполнении, высказываются с большим и глубоким уважением и удивлением о Вашей симфонии. Все мы сожалеем, что Вы, не присутствуя здесь лично, не были свидетелем Вашего триумфа. С истинным и глубоким уважением, совершенно преданный Вам К. Ридель, Председатель Всеобщего немецкого музыкального Союза».

В декабре того же года Александр Порфирьевич ездил в Москву, — там в концерте РМО исполнялась его Вторая симфония. «Симфония прошла хорошо, — писал Бородин домой, — и, к удивлению моему, — после каждой части хлопали (хотя и не очень сильно); но после всей симфонии долго хлопали и вызывали, так что я должен был два раза выходить на эстраду и раскланиваться. Оркестр тоже сильно аплодировал. Профессора консерватории поздравляли и наговорили кучу любезностей, особенно Клидворт, который знает и — по его словам — очень ценит мои вещи, слышал обо мне много от Листа etc. [...] Для Москвы и такой малодоступной вещи, как 2-я симфония, — это может быть названо успехом. Да!

¹ Знаменитый русский виолончелист, композитор, в ту пору директор Петербургской консерватории.

² Балакирев, разумеется, восстал против немецкого самоуправства. Первая симфония, посвященная ему, рождавшаяся на его глазах и при его участии, дорогая ему, как родное дитя, — и бог знает кто посмел ее сокращать! Посмел давать автору советы!

еще... мне в концерте приготовили особое кресло в почетных рядах».

К Бородину начала приходить известность, и он отнюдь не был равнодушен к этому обстоятельству. «Когда я после концерта уходил домой — какая-то группа барынь позади меня говорила: это он, это он! Бородин! пойдёмте за ним, посмотримте, куда он пойдет! С разных сторон, проходя в публике я слышал все: «c'est lui! c'est lui-même!» etc¹».

При всем том, что Бородин не был обыкновенным человеком, этот акт драмы проходил самым обыкновенным образом: творческие силы убывали, зато «дела давно минувших дней» оборачивались успехом, все крепнувшим и расширявшимся, начинавшейся славой. Бородин с ребяческим удовольствием отмечает все признаки своей растущей популярности, все знаки внимания, в которых недостатка не будет в эти последние его годы и на родине и за рубежом. Он разыскивает статьи в европейских изданиях об успехе его симфонии и пр. Если перед нами и слабость, то слабость вполне человеческая и особенно объяснимая именно в нашем случае. Слишком долго Бородина попрекали музыкальным дилетантизмом; слишком долго труд композитора — почти совершенно безвозмездный — сопровождался еще и нападками критики, и нареканиями ученых коллег.

Русская музыкальная критика, впрочем, и теперь отзывалась о Бородине кисло и как бы сквозь зубы, исключение составляли статьи Кюи и Стасова. Даже похвалы противников — и те бывали нередко издевательскими и по тону и по существу. «Басовая ария из «Князя Игоря»², слышанная мною, — писал, например, Ларош, — отнюдь не отчаянный эксперимент: это очень благозвучная пьеска скорее легкого, чем «серьезного» характера, вроде медленного вальса, написанная интересно и далеко не пошло, но без болезненной изысканности». Тот же критик заявлял, что Бородин «поставил себе задачу везде делать неприятность слушателю». Соловьев писал о симфонической картине «В Средней Азии»: «Музыка довольно миленькая и составляет утешительный контраст с мазней из оперы «Князь Игорь», которою публика угощалась в концертах Бесплатной Школы». «Это декора-

¹ «Это он!.. это он сам!» и т. д. (франц.)

² Имеется в виду ария Кончака.

ция, — писал он же об одном из фрагментов «Игоря», — написанная только не кистью, а шваброй или помелом». Эту критическую разнузданность не остановила даже смерть Бородина. «Сцена из неоконченной оперы-балета «Млада» Бородина, как все Бородиным написанное, бьет на экстренность, на курьез, на неслыханную штуку и, как многое из написанного им, по временам впадает в мелодичность дешевого сорта, — писал Ларош, когда уже Бородина не было в живых, — ...была и в этой музыке программа, напечатанная в афише и объяснявшая, что это наводнение и гибель храма Радегаста, но музыка «наводнения» отнюдь не водяниста, а только свирепа, так что один мой приятель, слушая ее на репетиции и не зная содержания «Млады», усмотрел в этих звуках озлобленное рычание и стал уверять, что она изображает Зоологический сад во время кормления зверей. ...Под внешней корой искателя безобразия и уродства в нем (Бородине! — Р. Д.) дремало нечто, из чего со временем могла бы развиться «прекрасная чувственность». И еще — Ларош о Бородине сразу же после его смерти: «...его искалечила та же грубая, дилетантская, полуграмотная школа, которая искалечила на Руси дюжины полуталантов».

Не удивительно, что Александр Порфирьевич, читавший десятки подобных статей и высказываний в газетах, слышавший насмешки невежественных и консервативных оркестрантов во время репетиций, получавший, как и все балакиревцы, время от времени оскорбительные анонимные письма, в которых недруги и вовсе не стеснялись в выражениях, — не удивительно, что он истосковался по доброму слову, что запоздалое признание много для него значило.

VII

В июне трудного 1881 года у Бородина была передышка, полоса счастливая — новое путешествие в Германию. Александр Порфирьевич в конце мая прибыл в Магдебург, где должно было состояться ежегодное празднество Всеобщего немецкого музыкального союза. «...я думал остановиться в «Kaiserhof» близ собора, где должен был происходить 1-й концерт. Но тут случилось «нечто, совсем непредвиденное», — как говорит обыкно-

венно Достоевский. Динстман¹, которому я поручил донести вещи до отеля, вдруг ни с того, ни с сего говорит: «А у нас-то вчера что было, вот так торжество! — А что? — Да разве не знаете? «высокого гостя» встречали мы! — Кого? — А старика Листа!» Тут он стал рассказывать, как перед приездом Листа Магдебургская публика в громадном количестве наводнила весь дебаркадер и с оглушительным ура! (Hoch!) встретила Листа при выходе из вагона и таким же манером проводила его. Молодежь махала шляпами, а дамы «не то что платками, а чуть не подолами махали!» — картинно выразился динстман. Войска, стоявшие в Магдебурге, собрали полковую музыку и устроили ему серенаду тотчас же по приезде в отель. — «А где он остановился?» — «А вот тут!» — указал динстман на Koch's Hotel. «Тащи туда вещи». Через полминуты я был в отеле Koch в 34 №; еще через полминуты в № 1, где стоит Лист. Черногорец, его камердинер, сразу узнал меня, обрадовался, рассыпался в итальянских приветствиях, распахнул двери, и через секунды две обе руки мои были в железных руках Листа». Так писал Бородин Екатерине Сергеевне, продолжая свою Листиаду.

В концерте 31 мая на сей раз из произведений новой русской школы исполнялся «Антар» Римского-Корсакова. Бородин подробнейшим образом описывает это событие в письмах к Надежде Николаевне Римской-Корсаковой, к Екатерине Сергеевне и Кюи. «Играли — божественно; чистота, точность, верность интонации, рельефность оттенков изумительная. Никиш — действительно замечательный дирижер; у него есть огонь, увлечение, страстность и определительность дирижировки необыкновенная². Дирижировал он наизусть... Первая часть сыг-

¹ Служитель (нем.)

² Бородин не мог знать тогда, что довольно скоро Артур Никиш продирижирует с неменьшим успехом и его симфонией. К слову: автор этих строк в 1953—54 гг., будучи выпускником Московского хорового училища, занимался по дирижированию у профессора Владимира Павловича Степанова, одного из культурнейших русских музыкантов нашего столетия. Профессор был смертельно болен, и немногочисленные ученики приходили заниматься к нему на квартиру, в дом Большого театра (в Брюсовском переулке). Однажды Владимир Павлович вручил мне дирижерскую палочку, попросив обращаться с нею почтительно: она получена из рук Артура Никиша... Как, в сущности, близко то, что представляется нам баснословно далеким!

рана была хорошо; 2-ю часть Никиш сыграл просто чортом: в ней вышли некоторые места так, как я их нигде и никогда не слышал, а именно, например, аккорды у деревянных духовых триолями — это было чорт знает что такое! — точно что-нибудь разбилось и разлетелось вдребезги; *diminuendo* в конце изумительное; вообще тонкость, изящество, прозрачность, ясность, определенность, эффекты нарастания и ослабления звука, мелкие оттенки... были такие, каких я у нас никогда не слышал. Было также много увлечения...»

Екатерине Сергеевне: «Из Магдебурга я выехал 2/14 Июня в 11 часов утра, и не в Лейпциг, а... простите... извините... нечаянно... в Веймар, в мой Венусберг. Помимо «Седой Венеры», меня увлекло туда еще одно событие: последнее представление Фауста Гёте, *целиком*, всего, в два вечера; первый вечер I часть, второй вечер — II часть; оба представления, каждое, от 5 1/2 часов до 11! Страсть как длинно! Сценическая постановка совсем особенная: сцена разделена на три этажа или яруса, так что, не спуская занавеса, действие переходит из неба — в ад, из комнаты Гретхен — в сад и т. д. Я только теперь понял, насколько неизмеримо выше стоит Фауст как драма, сравнительно с Фаустом-оперой. Весь ум, едкость, юмор, глубина чувства — все это в драме выступает резко; ничего этого в опере нет и в помине. Кроме того, я пришел к заключению, что Фауст должен быть исполнен безусловно с немецким текстом, особенно Гретхен безусловно должна быть исполнена по-немецки и немкою. [...] Моя симфония доставила мне такую почетную известность в музыкальной части Германии, что не успею я назвать мою фамилию, как следуют приветствия и самые жаркие похвалы: «Так это Вы автор той превосходной симфонии, которая имела такой громадный успех в Баден-Бадене в прошлом году?» Дело дошло до того, что пришлось писать мои автографы на память, даже на деревянном веере, каким-то совсем незнакомым барышням, которые меня просили об этом в шпейсезале¹. Ухаживают за мной и ублажают меня невероятно. Об Листе и баронессе Мейендорф уже и говорить нечего; это само собой разумеется. Но Магдебургские певицы, пьянистки и музыканты меня замотали. Ридель оказался душевнейшим человеком, и мы с ним

¹ Столовая (нем.)

сошлись, точно сто лет знакомы; дочери его, очень миленькие молодые девушки, ухаживали за мной, как за родным, жена его тоже; я на прощанье преподнес им даже два букета и две коробки конфет, потому, что они меня угощали невероятно, водили, показывали Магдебург и т. д. Шарвенка, пьянист берлинский, у которого жена русская — Зинаида Петровна (aus Wjatka!) взял с меня слово, что я проездом в Россию через Берлин остановлюсь и проживу у него до отъезда, хоть несколько дней. Англичане, американцы и — чорт знает чего еще нет — завели со мною дружбу такую и любезны до невероятия. Как сыр в масле катаюсь; просто даже совестно! А Лист — это совсем Балакирев! Что это за душевный человек! Вот уж «дружелюбные друзья», как ты говоришь. [...] Постараюсь воротиться поскорее. Как ни хорошо здесь мне лично, но сердце болит по Вас всех; как-то совестно мне, что мне так хорошо, когда Вам там худо. [...] Я посвятил «Среднюю Азию» Листу. Он поцеловал меня крепко и очень благодарил».

Летом в Житовке, поместьи Лодыженских, Бородин написал Второй квартет. Это было его последнее крупное сочинение.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

Мир успевает измениться в течение жизни поколения, и не один раз. Мы его меняем. И другие. Меняется и он сам. Кто в юности не говорил себе, или заветному другу, или милой девушке, которую меньше всего трогают слова и мечты молодых честолюбцев: «Подожди, ты увидишь: все, все станет другим! Ничего этого мы не оставим; что было грязью, станет белее снега; лицемерие и подлость отступят и исчезнут с лица земли; правда и честь, труд и любовь, красота — вот что требуется всем и каждому; неужели хоть один нормальный человек не желает того же?» Положим, не все мечты столь прекраснодушны, и клятвы юности бывают проще, прозаичнее или живей; однако, если юноша думает не только о себе, но и о мире, в который он вступает, желание изменить его к лучшему так естественно; не менее естественна и уверенность в том, что задуманное ему удастся.

Бородин вступил в жизнь в ту пору, когда надежда

владела всеми, когда общественные дела были нервом и средоточием личных судеб; когда мысль о России и ее закрепощенном народе была в человеке молодым натуральна и обязательна, как дыхание. При нем рухнуло, взметнув тучу праха, крепостное право, и вся история страны разделилась на «до» и «после». Идеалы Бородин и его сверстников были благородны, разумны, трезвы. Веру в бога многим из них заменила безраздельная вера в прогресс, в естественные науки, в технические достижения, в благотворное влияние грамотности и просвещения. Шестидесятники с такой резкостью отвернулись от идеализма своих предков, с такой горячностью предали материализму, понятому каждым в меру способностей, что неизбежно должны были впасть в некоторую односторонность. О существовании изнанки у технического прогресса еще нелегко было догадаться. И только пророческий ум Достоевского умел увидеть, что всякий шаг вперед есть шаг к пропасти, коль скоро он не сверен с понятиями нравственности, справедливости, красоты. Он знал о жестокой, трагической борьбе, происходящей в душе человеческой вокруг смысла и сути этих понятий. Он сказал современникам и потомкам о страшной остроте этих конфликтов, об их вечной неразрешенности. Он и сам явил собою пример этой парадоксальности; в нем самом величайшие прозрения духа сочетались с известными монархическими обольщениями, всепроникающее сомнение с нерассуждающей верой. По справедливости рядом с Достоевским нужно поставить Мусоргского; столь же беспощадного и страдающего, столь же зоркого и памятливого; столь же гениального. А против них возвышается фигура Бородин — анти-Достоевского, анти-Мусоргского; недаром многим современникам и потомкам он представлялся в виде былинного богатыря, домосковского витязя. Соединивший в себе стихию кочевого Востока и могучую созидательную силу оседлой Руси, он, может быть, как никто другой в истории искусства, воплотил творческую мощь молодого народа, его неукротимое желание и божественную способность строить, творить. Это не вся правда о нации, это не вся правда о человеке, — на то и жили рядом с ним и работали его великие современники, сказавшие свою часть этой правды...

Как бы ни напрягал человек свои силы, толкая мир в нужную ему сторону, свершившееся движение не отве-

чает его ожиданиям. Еще тысячи, сотни тысяч, миллионы тянут или толкают тот же объект, каждый по своему усмотрению. Минута за минутой. Год за годом. Войны и стихийные бедствия, солнечная активность и бег «беззаконной» кометы, людская самоотверженность и корыстный расчет, соединенные и разрозненные усилия личностей, социальных групп, народов меняют картину мира; но ни один из участников этого труда не признаёт в его итоге своего авторства. Растерянно стоит человек на закате жизни перед тем, что открывается его глазам. Это не та земля, на которой он начинал жить. Это не тот мир, которого он желал и добивался, для которого трудился. Это нечто третье, незнакомое и чужое. С времен его молодости сменились песни, ходовые словечки, сменилось отношение ко всему на свете; сменилась одежда, нравы, развлечения. Смутно сознает человек, что он был среди виновников этих перемен, узнает, как в кривом зеркале, черты бывшего или грезившегося в былом. Он, пожалуй, может восстановить в памяти облик некоторых из неузнаваемо изменившихся вещей; не все, далеко не все стало лучше. А рядом со стареющим человеком — люди следующего поколения, полные задора и сил, юной самоуверенности, желанья ломать и строить. Твой финиш для них — старт. Они застали этот мир таким, каким он сделался за эти долгие годы; они не видели ничего другого, не верят, что когда-либо было иначе. То, что ваше поколение сделало или что сделали с ним, — единственная данность для отрока, не видевшего ничего иного. Земля, какую она сделалась при тебе, для него — земля как таковая. Если б к моменту его рождения вы начали заниматься людоедством, — без тени сомнения вступающий в жизнь человек принял бы людоедские законы как единственно реальные, как вечные законы бытия. Если б вы нашли способ сделаться ангелами, юноша воспринял бы свои ангельские права и обязанности как нечто само собой разумеющееся. Усвоив идеи и интересы, язык и моды, поспевшие к его повзрослению, молодой человек с удовольствием видит, как он современен. Ваша растерянная фигура вызывает в нем в лучшем случае сочувствие. О, он знает все, что вы можете рассказать. В глубине души он уверен, что вы слегка запамятовали свое прошлое. Он столько читал о великой реформе, о падении крепостного права, ему известны все эти вещи из верных источников, — он знает

их если не лучше, то уж, по крайней мере, не хуже вас. Но ведь это было так давно. Он смотрит на вас с победной, нормальной, чудесной иронией, так много обещающей.

После 1 марта 1881 года Бородин жил в не своем, в полностью чужом ему, свинцово тяжелом времени. Ему еще не было и пятидесяти, но он начал стареть стремительно, как Пушкин перед дуэлью. Его всегдашний оптимизм был единственно доступным ему способом жить, но теперь он все чаще подвергался испытаниям.

...«Бойтесь тех, кто вас боится». Император Александр III боялся всех; правительственная реакция не ослабевала, самый воздух, казалось, пропах тюрьмой и казармой. Да еще ладаном. К. П. Победоносцев, тот самый, что, по слову Блока, «простер совиные крыла» над Россией, ратовал за полную замену светского образования церковно-приходскими школами. Победоносцев преподавал великим князьям законоведение. А премудростям фортификации их учил генерал Кюи. Да, да, Кюи, Цезарь Антонович. Одним из самых близких к Победоносцеву людей был Третий Иванович Филиппов, Государственный контролер, славянофил, поборник православных начал во всей их строгости и неприкосновенности. Другом и полным единомышленником Филиппова, разве только еще более требовательным в смысле благочестия, был Милий Алексеевич Балакирев... «с другой стороны», — Третий Филиппов был знаток и собиратель русской народной песни, душеприказчик Мусоргского, сделавший немало, чтобы помочь Модесту Петровичу в его последние, трудные годы. Федор Михайлович Достоевский, сопротивляясь навязываемой ему духовной опеке, тем не менее интенсивно общался с К. П. Победоносцевым... Жизнь отмечает всякие попытки упростить ее. Ее благословенная сложность не позволяет нам ни «простить» Победоносцеву мрак и бесплодие его правления, ни забыть острый, вопрошающий, устремленный на него взгляд Достоевского.

II

Повсюду шли чистки, сокращения штата, перемены, притом перемены к худшему: урезывание ассигнований, копеечная экономия. Медико-хирургическая академия была преобразована в Военно-медицинскую. Слишком

долго студенты-медики испытывали терпение властей; на Выборгской стороне устроился чуть ли не рассадник вольномыслия. Теперь с этим покончено. Военная дисциплина. Беспрекословное повиновение начальству. В армии не рассуждают.

Поскольку истек 25-летний срок службы Александра Порфирьевича, вопрос о продлении его преподавательских полномочий решался выборами. Соперников у Бородин не оказалось, его избрали профессором на следующее пятилетие. (В 1886 году, незадолго до его смерти, снова встанет вопрос о переизбрании, и тогда Александр Порфирьевич переживет немало волнений. Лишних денег у него не водилось, жил он одним жалованьем и отставки страшился.) Одно время ходили слухи даже о том, что Бородин хотят назначить начальником Академии, но в новых обстоятельствах это ему было бы некстати, и Александр Порфирьевич вздохнул с облегчением, когда опасность такого назначения миновала. Вводились разного рода новшества. «...Мне вместо шпаги придется теперь носить драгунскую шашку на серебряной перевязи (вот как: попал наконец в драгуны!!); кроме того, скоро будет перемена формы — вроде стрелковой: высокие сапоги, шаровары, кафтан, обшитый генеральским галуном, шапка с барашковым околышем. Словом — шик!» — иронизировал Бородин.

Женские врачебные курсы также доставляли властям массу беспокойства. Впервые за столетия вырвавшиеся из домостроевского уклада, «стриженные девки» (выражение Каткова; курсистки действительно отрезали себе косы, чтобы удобнее было работать в анатомическом театре, в лаборатории и пр.) оказались непредсказуемыми, неуправляемыми; если они примыкали к бунтарям и нигилистам, что случалось нередко, то действовали смелей, хладнокровней и умнее мужчин, были еще хитрей и опасней. Просто закрыть курсы — значило бы расшевелить осиное гнездо; к недоумению властей, сторонницы эмансипации встречались даже в высших кругах общества. Правительство поступило с истинно государственной мудростью. Курсы были изъяты из ведения Военного министерства, якобы за неимением средств. И никакому другому ведомству не были переданы, то есть, как будто бы никем не запрещенные, просто повисли в воздухе. Теперь у них не было ни необходимых средств (добровольные пожертвования не спасали дела), ни помещения для

занятий: Николаевский военный госпиталь, само собою, при новом положении вещей оказывался закрыт для курсисток. Во избежание лишнего шума, курсы не разгоняли немедленно, а только объявили, что прекращен прием на первый курс. Таким образом, агония первого русского медицинского института для женщин была растянута на несколько лет.

А. П. Дианин рассказывал: «Когда для Александра Порфирьевича стало ясно до очевидности, что курсы должны погибнуть, нужно было видеть этого необыкновенного человека, — с каким удвоенным вниманием, даже нежностью он стал относиться к самым ничтожным мелочам, касающихся курсов. Так только мать ухаживает за любимым больным ребенком, для спасения которого истощены все средства и которого медики давно уже приговорили к смерти. Когда же пришлось ломать лабораторию и перевозить из нее вещи в академию, Александр Порфирьевич не выдержал и просто расплакался...»

III

Все неуютней, все безрадостней складывалась домашняя жизнь. Екатерина Сергеевна болела уже не переставая; нервы ее были сильно расстроены. Ночью она не спала и заставляла бодрствовать всех, под утро засыпала, — Александру Порфирьевичу нужно было вставать и впрягаться в бесчисленные дела. Бородин терпеливо и безропотно, как нянька, ухаживал за болящей, успокаивал ее, лечил, смешил, отвлекал от мрачных мыслей, сделавшихся как бы специальностью Екатерины Сергеевны. В квартире всегда жили, кроме семьи Дианиных, воспитанниц Лены Гусевой и Гани Литвиненко, родственники и чужие люди, вечно толклись «народы»: студенты и курсистки, просители, лаборанты, не говоря уж о званных и незванных гостях. Как на беду, ближние и дальние родственники Александра Порфирьевича и Екатерины Сергеевны переживали одно за другим несчастья, болезни, житейские катастрофы; таким образом, вокруг Бородина всегда было около дюжины отчаянно нуждавшихся в его поддержке людей. Едва ли имеет смысл попрекать их из дня сегодняшнего — но право же, трудно отделаться от впечатления, что вместо того, чтобы

обхватив обеими руками своего терпеливого благодетеля, повиснуть на нем всей тяжестью, хотя бы некоторые из них могли бы этими же самыми руками хоть сколько-нибудь поработать самолично для собственного спасения.

Много сил отняли у Александра Порфирьевича хлопоты о брате жены, Алексее Сергеевиче. С помощью Балакирева и через все того же могущественного Тertia Ивановича Филиппова удалось выхлопотать место для него.

Алексей Сергеевич был обременен значительной семьей и сильно бедствовал, заработка у него давно не было никакого, и месяц за месяцем семейство существовало, собственно, на те деньги, которые посылал им Бородин. Тем не менее, Алексей Сергеевич хотел отказаться от предложенного ему в Петербурге места: он не желал уезжать из Москвы. Бородин уговаривает его: «Голубчик Алеша, получили мы твое горькое письмо и нужно ли говорить о том, как больно отозвалось оно нам, особенно Кате. Нам тем более, что мы сознаем ясно невозможность выручить вас из ужасного положения. Ты знаешь наши средства и видел, как мы живем. Потому, при всем желании, я не могу прислать тебе более 50 рублей. [...] Хочу откровенно и без смягчающих выражений поговорить о твоём решении отказаться от места. Ты, очевидно, принял это решение сгоряча, в минуту отчаяния... Ты путем опыта должен знать, что хронически существовать невозможно одними займами, случайным заработком или помощью, которая никогда не может быть достаточна, так как источники скудные. Следовательно, необходимо место, должность, дающие постоянный текущий приход, хотя не вполне отвечающий расходу, но хоть отчасти. Ты уж пробовал искать в Москве и должен был убедиться, что места получить не удастся... Если это трудно было до сих пор, то теперь это еще труднее: везде сокращения, экономии, урезывания, вычеты; к новому году обещают, что около 16 000 чиновников останутся за штатом, что у остающихся будет вычитаться по 5% из жалованья для удовлетворения остающихся за штатом. Сотни опытных, дельных, способных людей с протекциями и тысячи без протекций — обивают пороги у всяких «начал и властей» служебного мира и получают категорический ответ: «нет места». И в такое-то время — ты, рекомендованный лично самим министром, утвержденный на штатном месте в Петербурге, при возможности иметь лично

все готовое содержание у людей, которые искренне тебя любят (т. е. в семье и квартире Бородиных, — Р. Д.) и всеми силами желают выручить тебя из беды — ты: *отказываешься!!* Да, ты прости, ты с ума сошел просто!..»

Алексей Сергеевич дал себя уговорить, приехал и стал жить у Бородиных, присоединившись к Саничке — родственнице Бородина по матери А. В. Готовцевой, к Александре Александровне, жене сводного брата Бородина, Дмитрия Александрова, к Александре Андреевне Столяревской — компаньонке и приживалке, к остальным чадам и домочадцам.

Измотанный за зиму до предела, Александр Порфирьевич всегда со страстью мечтал о лете, о тепле и деревенской свободе, о мужицкой рубаше и портах, о возможности искупаться... и — отдаться без помех музыке. Но и в этом судьба ему не раз отказывала.

Летом 1882 года случилось несчастье с одной из обитательниц бородинской квартиры, Александрой Александровной. Бородин писал ее матери, Елизавете Николаевне с той прямою и точностью, которая, может быть, помимо его воли, выдавала в нем врача, ученого: «...бедная Александра Александровна заболела душевною болезнью, и настолько серьезно, что пришлось поместить ее в Дом Призрения душевнобольных на Удельной станции Финляндской железной дороги... В начале июня (или быть может и ранее) обнаружилась она (болезнь) галлюцинациями сначала в области слуховых ощущений (пение соловья, которое сопровождало больную в разных местах, стук в ставни, голоса, целые разговоры, крики кукол и пр., не существовавшие, конечно, в действительности), затем галлюцинации в области зрения (какой-то цыган с ребенком, различные личности, куклы, прогуливавшиеся по двору группами, какой-то ученый кот, различные световые картины в темной комнате и пр.); наконец, галлюцинации в области обоняния — запах разлагающегося трупа около ее кровати и т. д. Сначала галлюцинации были б. ч. ночью, потом весь день и всю ночь. Бессонница; возбужденное состояние; больная выбегала ночью из дому, громко разговаривала с несуществующими лицами, представляющими ее расстроенному воображению. Все это сгруппировалось в идею преследования: кто-то, какой-то он, с помогавшими ему лицами (они) задались — по идее, сложившейся у больной, — тем, чтобы не давать ей покою, следить за нею всюду и давать разными

способами заметить, что они непрерывно следят за нею...» В конце июля больной стало лучше. «...Теперь галлюцинации зрения уже прошли; она ничего не видит больше, остались только галлюцинации слуха, но в слабой степени: — она уже не слышит определенных слов, разговоров и пр., а только неясный шум. Это большой успех. Правда, что я не могу поручиться за справедливость ее слов; — легко возможно, что она меня обманывает. Она на меня вообще очень зла; считает меня предателем, коварно и бессмысленно поступившим с нею...» Вот последнее-то больше всего, кажется, и мучило Александра Порфирьевича; ведь ему (с помощью Лены Гусевой) действительно пришлось хитростью заманить бедную помешанную в больницу — и, хотя он сознавал необходимость этого шага, натура его, видимо, не могла примириться с его ролью в этом деле; не только быть, но и казаться кому-то предателем было свыше его сил. «Вся эта история очень волновала Ал. Порф., отняла у него немало времени и помешала ему летом уехать из Петербурга», — со слов Е. А. Гусевой сообщает С. А. Дианин. Нужно сказать, что по излечении Александра Александровна снова бывала и жила у Бородиных, и Александр Порфирьевич относился к ней еще более тепло и сердечно.

И следующее лето — 1883 года — так же было потепляно. Тут, едва ли не впервые, Александр Порфирьевич высказал свою досаду. Он писал супругам Дианиным, в семье которых к тому времени уже появился первенец, сын Боря: «Голубчики мои дорогие, посылаю Вам пятьдесят рублей, которые Вы просили. Раньше послать не мог, потому что сам не имел. Мне очень прискорбно слышать, что у Вас лето вышло тоже не совсем удачное... Если у нас, грешных, лето, с позволения сказать... загажено было, то ничего удивительного нет. Оно так и должно быть. Сначала, не по нашей вине, ускользнула Житовка. Потом пошли поиски за другими деревенскими приютами. Нашли мы их штук пять. Но, разумеется, как только найдем жилье, так начинаем искать предлога — как бы не ехать туда. Одна усадьба в 4—5 комнат, со всей обстановкой до последних мелочей и без затраты денег на наем, совсем бы подходила, но и тут нашелся предлог не ехать: — 35 верст от станции, «вдруг понадобится доктор или лекарство; шутка ехать за ними 35 верст! Да кроме того и самим-то надобно взад и вперед сделать по 35 верст» и т. д. [...] Признаюсь, я ны-

нешний год уж начал скулить крепко и решил ни за что не оставаться на будущий год в городской квартире летом. Прошлый год еще было хорошее лето и купанье у меня. Нынче ни того, ни другого. Лето подлейшее, хороших — и то *условно* хороших — дней по пальцам пересчитать можно».

Осенью — новое несчастье. Матери Екатерины Сергеевны пригрозили, что вот-вот отберут ее квартиру при Голицынской больнице... «Господи помилуй! Да что же это, наконец, такое? Что за напасти такие?... Ума не приложу, как могло случиться такое дело?... Мы не верили этому, до того казалось нам бессмысленным и жестоким, ни с того ни с сего выгнать дряхлую, больную старуху из помещения, закрепленного обещанием князя, помещения, где она родилась и выжила чуть не столетие. Неужели уж не могли ей дать умереть-то спокойно в гнезде, с которым она сжилась? И куда она может переселиться теперь, с ее болезнями, дряхлостью, а главное — привычками и потребностями? Да ведь она так же пропадет, если ее вывезти из Голицынской больницы, как пропал бы «Папан» Павлычев (отец Александра Павловича Дянина. — Р. Д.), если бы его изгнали из Давыдова? Я все подозреваю, не вышло ли тут какой-нибудь грязной сплетни? Не наговорили ли князю, что дё сын ее покупает дом, или что дочь ее генеральша, богатая и чорт знает что?.. Узнать бы, по крайней мере, из-за чего не хотят дать дожить последние дни бедной Маме? Ужасно боюсь за нее! Насчет переселения ее к нам тоже ужасно боюсь. Во-первых — куда мы ее поместим, при нашей тесноте, духоте, жаре и складе жизни, всего менее приложимом к ее требованиям? Во-вторых, — пребывание ее в нашем доме будет неиссякаемым источником раздражения и неприятностей, бесконечной воркотни, вся тяжесть которых всецело падет на тебя, разумеется. Если уже при кратковременных побывках твоих в Москве она очень скоро начинает на тебя ворчать, что будет, когда она ежедневно будет видеть наше житье-бытье? Отношения наши ко всему окружающему нашему будут для нее источником таких неприятностей, что и подумывать страшно. При ее раздражительности, мнительности, громадном самолюбии, страстной любви к Леке (Алексею Сергеевичу, — Р. Д.) ей будет все казаться, что ты всех других больше любишь, чем его, больше заботишься обо всех чужих, чем о нем и т. д.... Павлыч, Лиза, Леночка,

Клепочка, все эти Александры — Владимировны, Андреевны, Александровны, с их причудами и неумением понимать, что и почему делается — тебя в лоск положат.

Наконец, Пашечка (прислуга Екатерины Алексеевны Протопоповой, прожившая в ее семье целую жизнь. — Р. Д.) — это преданнейшее и горячо любящее существо, совсем не приспособленное к нашему складу. Да ведь это будет источником невообразимых неприятностей, зависти, раздора, сплетен, наговоров — с ума сойти можно, если представить себе только, что это за ад будет для тебя?! Мое дело сторона; я в этом водовороте резких противоположностей вращаться не буду. Внешняя жизнь так отвлекает меня и увлекает из дому, что на мне ничего этого не отразится...» И так далее; Бородин приводит неотразимые доводы, почему нельзя маме перебираться в их квартиру: некуда, придется Дианину с семьей искать себе другой дом; а куда девать Леку? — а через каких-нибудь десять дней он пишет самой Екатерине Алексеевне: «Жила же покойница тетушка у нас, и сколько могли, мы старались устроить ее. Поживите и Вы у нас вместе с Пой (Па, Пашечка, она же Коновалова П. Т. — упомянутая прислуга Протопоповой-старшей, — Р. Д.); мы оба будем за Вами ухаживать и блюсти Ваш покой, как Вы блюли наш. Подумайте, голубушка...» Дни, недели изматывающей тревоги, бессильного гнева, сознания безвыходности положения, переговоров, хлопот, — покуда, наконец, не приходит радостная весть: маму оставляют в ее квартире и обещают не тревожить...

Невозможно передать, сколько передряг и неурядиц, сколько издергивающих мелочей обрушивалось на Бородина день за днем. Снеобычайной кротостью он сносил все это, и лишь в самые последние годы неизменное благодушие стало изменять ему. «Признаюсь, я начинаю стареться, и разные *дурачки и дуручки* неумелые и нескладные, *неудачники* всякие начинают мне надоедать. Я как-то устал возиться с ними.[...] А что *дурачки и неудачники* мне надоели — это понятно. Возишься с ними, возишься, а все толку мало, все пакостят сами себе и другим или окончательно обрушивают все заботы об них на тебя. Так Енька заехал в Кременчуг, не пишет Вареньке, денег не высылает, та на стены лезет, жить нечем, хозяин гонит с квартиры. Что делать тут! Дал 25 рублей. Не умирать же семье с голоду и холоду! Клеопатра болеет, без гроша, носится с своим неудавшимся

сыном. Александра Ивановна Чижова болеет, без гроша, носится с своим удавшимся сыном, — от которого ей все-таки пока никакого прока нет. Митя мой хиреет и едва выносит тяжелую службу свою. Ему грозит несомненно спинная сухотка и паралич ног; дело только времени. При этом ни гроша и из земных благ, только полупомешанная жена, которая теперь живет у него, ибо иначе ей пришлось бы жить на улице за неимением занятий и места. Ну тут хоть в настоящем не приходится еще давать денег. А там Саничка... Не достает еще Александры Андреевны; так и боюсь что налетит. А посмотришь: — что же мы-то сами? Служил тридцать лет и выслужил тридцать реп. Выйду в отставку, в Петербурге жить нечем будет, придется удирать туда, где дешевле...»

И еще раз взбунтовался многотерпеливый Александр Порфирьевич; тогда-то вырвались у него знаменитые строчки: «Да уже и очень много у нас чужих дел-то; одолели вконец. А тут еще эти бельгийские и петербургские дурачки с музыкой лезут! Нет, мудроно быть одновременно и Глинкой и Семеном Петровичем (так звали знакомого, служившего как бы воплощением службистских добродетелей, — Р. Д.) и ученым и коммиссионером, и художником, и чиновником, и благотворителем, и отцом чужих детей, и лекарем, и больным... Кончишь тем, что сделаешься только последним. Не только в деревню; а кажется к чорту отправился бы отсюда... Ты не можешь себе представить, как я теперь раздражен и раздражителен».

IV

Под «бельгийскими и петербургскими дурачками» подразумевались композиторы, дирижеры, меценаты, люди, которых Бородин глубоко ценил и уважал, но которые попались, как говорится, под горячую руку. Беда в том, что восхищаясь гением Бородина, все эти люди просили, умоляли, требовали, чтобы он сочинял, чтобы он заканчивал «Игоря», чтобы публиковал и давал для исполнения свою музыку; чем шире распространялась слава Бородина, тем яснее он понимал основательность всех этих претензий; между тем, ему хронически не хватало двух вещей: времени и... сил, чтобы успеть всюду.

Положим, опера хотя и медленно, но подвигалась вперед. Еще в 1881 году была сочинена ария «Ни сна, ни отдыха измученной душе...» — важнейшая, центральная для характеристики героя оперы; до этого в «Игоре» не хватало... Игоря. Ария обнаруживала не просто сходство, а прямое родство «Князя Игоря» с «Сусаниным» Глинки. Медленный, важный характер музыки, глубокое раздумье в решающую минуту целой жизни, благородство и искренность интонации, захватывающая сердечность, простота, в которой подземным истоком ощущается где-то возле корней русская щемящая песня... «Все прошлое я вновь переживаю, один в тиши ночей...» — поет плененный князь. Музыка, меняясь, меняет героя. От горького самоукора, от тоски, от неизжитой боли поражения она поднимается, обретая упругость натянутой тетивы: «О дайте, дайте мне свободу, я мой позор сумею искупить, спасу я честь свою и славу, я Русь от недруга спасу!» Может быть, «подмостками», поднявшими Бородина к этой музыке, стала и та несвобода, которая его терзала в последние годы, азиатская неволя мелочей, тиски долгов и нехваток, недомоганий, своих и чужих забот; все, что собралось, сгрудилось возле него каким-то роковым кругом, не пуская к любимому лету, к мужицкой рубахе, к небу и воле?!

Находка редкостно выразительная: Игорь вспоминает о Ярославне, и звучит мелодия из ее Плача. Через степи, горы, леса, реки перекликаются князь и его лада. Можно ли проще и сильнее сказать об их близости, чем этой, единой для двоих, мелодией?

С появлением арии Игоря — сегодня можно разглядеть это совершенно ясно — опера была, в сущности, готова. Завершена была ее концепция, определились и высветились все герои; сама линия музыкального развития прочерчивалась четко со всеми ее подъемами, пиками, с эпизодами лирическими и комическими, дававшими передышку слушателю и готовившими его к новым потрясениям, с чудесными и разнообразными хорами, с дикими, необузданными восточными плясками: целый музыкальный мир, законченный и по-своему совершенный, как сообщество людей и богов у Гомера. Ария Игоря с ее богатым тематическим материалом давала возможность приступить к увертюре, — и последняя была симпровизирована довольно быстро; сочинена, но не записана и не оркестрована; Бородин несколько лет подряд играл ее

друзьям на фортепиано, восхищая их и дразня, даже возмущая: когда же, наконец, это будет записано? сделано для оркестра? Но Бородин, как казалось, с детским и непонятым упорством тянул, не хотел положить на ноты, записать уже готовую музыку. На самом-то деле все было отнюдь не просто. Александр Порфирьевич, вертась, по его выражению, как белка в колесе, попросту не успевал уделить музыке хоть сколько-то времени; когда же, наконец, выдавался час, который он мог посвятить музыкальным делам, он не желал тратить его на механическое занятие — запись уже сочиненных вещей; ему не терпелось двинуться вперед, написать нечто совершенно новое. Увертюра есть, хотя и не вполне законченная; десятки людей слышали, как Бородин играл ее на фортепиано; совсем юный, сказочно одаренный композитор Александр Глазунов, кажется, уже помнит кое-что наизусть; довести до конца, записать? это всегда успеется! Творить новую музыку хотелось еще и оттого, что Александр Порфирьевич чувствовал: музыкальные идеи являются все реже, все труднее. Раньше запас их казался неисчерпаемым — только захоти, только руку протяни. Теперь — Екатерина Сергеевна рассказывала Стасову — иногда ночью Бородин лежал без сна, повторял почти бессознательно с выражением муки: «Не могу сочинять! Не могу сочинять!» Благословенный дар, невесть откуда берущийся, мог и вовсе уйти, как вода в песок, без остатка, — Бородин не желал дожидаться этого; мало ли мешала музыке служба, проклятые бумаги, расплодившиеся вокруг него и грозившие, кажется, задушить; все неурядицы быта; он не мог допустить, чтобы музыке мешала музыка, чтобы записывая сделанное, он упустил новую счастливую мысль, которая бог весть повторится ли...

Николай Андреевич Римский-Корсаков как-то скаламбурил: «Бородину и горя мало, что «Игоря» мало». Шутку он повторял не раз, и часто — с откровенной горечью. По всему видно — он так и думал, удивлялся преступному легкомыслию своего друга. Николай Андреевич ошибался, как и многие другие музыканты в окружении Бородина. Александр Порфирьевич давно уже не относился с легкостью к своей великой работе, давно уж не считал ее побочным или неважным делом; множество примет заставляют думать, что мысль об опере преследовала его с некоторых пор постоянно. Годы и годы

прошли с того дня, как была написана первая страница «Игоря». Менялся и перекраивался общий замысел. Была у него даже мысль сочинить не одну, а две оперы: «Игорь в Путивле» и «Игорь в плену». «Сценарий» Стасова подвергся коренной переработке; Бородин убирал все случайное и частное, он уверенно, целенаправленно лепил русский эпос; сюжета как смены и развития событий у него почти не осталось. Он развертывал перед слушателем громадные полотна — яркие, наполненные кипящей жизнью, но самодостаточные; здесь не в том интерес, что будет с героями дальше, кто кого победит и кто на ком женится; здесь именно за одной чудесной картиной возникает новая, еще лучшая; и естественное и величавое чередование и составляет смысл и интерес действия. Игорь ни с кем не сражается в самой опере; главный враг его — Кончак — состязается с ним... в благородстве. Да и князь — не столько сам по себе герой происходящего, сколько воплощение Руси, ее громадной судьбы. То, что противостоит этой могучей силе, должно быть не менее грандиозно; и против Игоря и Ярославны, против русских дружин выступают не просто половцы — а космическая стихия, фатум, грозный, как в греческой трагедии. Та самая стихия, с которой сражался Бетховен в своей Пятой симфонии; только поверхностные умы не увидят ее реальность, ее завораживающую мощь, не подивятся отваге человека и человечества, все снова и снова вступающих в борьбу с нею. О, каким холодом обдают внезапные аккорды! Меркнет свет; звезды выступают из сгустившихся сумерек, — сцена солнечного затмения в Прологе заставляет сжаться сердце, тревога и ощущение опасности сгущаются до некоей сверхплотности; эту странную жуть хоть режь кусками, как твердое тело... Бородину, как и герою его оперы, может быть, тоже противостоял один-единственный враг: рок, фатум. Неизбежность гибели, уже дышавшей на него. Обещала ли его могучая, солнечная, светоносная музыка преодоление смерти? И да и нет. Вспомним Мусоргского: «Нет и не может быть утешения — это дрябло!»...

Много раз по-новому выстраивались отношения действующих лиц, появлялись одни персонажи и исчезали другие. Бывало, композитор возвращался все снова и снова к одному и тому же эпизоду, переиначивал стихи, переделывал музыку, — каватина Кончаковны, к примеру, существовала в четырех вариантах. У Бородина скопились

горы черновиков, эскизов, вариантов, набросков, записанных где-нибудь на обороте служебной записки, неотправленного письма; были и законченные и даже оркестрованные фрагменты, арии, сцены. Отрывки из «Игоря» давно уже исполнялись, о них писали в печати, повсюду спрашивали: когда же явится вся опера? Порой он был готов прийти в отчаяние: опера давила, — крест, взваленный на себя добровольно, но казавшийся иногда непосильным. Опера росла, как растет дерево, — ни понуканьями, ни угрозой, ни лаской нельзя было порой заставить ее расти быстрее, выбросить новый побег.

Да, его многое отвлекало, да, тысяча обстоятельств словно сговорились мешать ему, но и вот в чем нужно признаться: Бородин и сам отвлекался, сам уходил в сторону. В молодости как-то, в письме к другу своему — Дмитрию Ивановичу Менделееву, Бородин заметил: «Не знаю, испытали ли Вы когда-нибудь такое глупое состояние: человек садится работать, а у самого какая-то надежда, что «авось кто-нибудь придет да помешает». И, действительно, кто-нибудь придет и помешает. Сделаешь перед самым собой вид, будто недоволен, а в сущности даже рад этому обстоятельству...» Авторы воспоминаний о Бородине рассказывают о том, как он заходил в гости «на минутку» и оставался часами, невероятно смешил окружающих музыкальными пародиями и самыми разнообразными шутками и каламбурами, на которые он был такой мастер. Начиная с 1884 года он ведет (вначале — заочную) переписку с бельгийской меценаткой, графиней де Мерси-Аржанто — пишет огромные галантные и остроумные письма по-французски, отнимавшие, должно быть, у него целые вечера. В последние годы жизни Александр Порфирьевич не всегда отправлял письмо сразу; бывало письму предшествовало несколько — до дюжины! — черновиков. А не то он увлекается вдруг восточными коврами, разыскивает их повсюду, заводит знакомства в лавках, разочаровывается, продает купленное, вновь отправляется на поиски...

Быть может, мы и ошибаемся, но сдается нам, что не так уж редко автор «Князя Игоря» искал предлога, чтобы увильнуть от работы над оперой, сказать самому себе: я не мог, мне помешали. Тут поводы, объективные и субъективные, — без конца затягивать окончание «Игоря», — не вполне совпадали с подлинной причиной этого невиданного промедления. Причиной этой было

время: чужая для Бородина, чужая для его «Игоря» эпоха. Эпическое творение Бородина предназначалось не для одного десятилетия и менее всего отвечало мгновенной злобе дня; но сам-то Бородин не свободен от окружающей его современности; он не только был по-художнически чуток к атмосфере, в которой жил, он по-человечески оказывался очень зависим от духа времени, от его главных событий; самые светлые его времена совпали с порою надежд и свершений в русском обществе, и черные времена России оказались его черными временами. Несовпадение «Князя Игоря» с переживавшимся историческим моментом было несовпадением скрежещащее.

Славление князя — и казнь Александра Второго; идея единства нации в опере — и буржуазное хищничество, взаимопоедание друг друга и мелкой рыбешки, разрозненность, небывалое отчуждение; страсть и огонь в опере Бородина — упадок сил, уныние и подавленность в обществе; исторический оптимизм «Князя Игоря» — и оправданная угрюмость свидетелей и жертв реакции; тюрьмы, виселицы, цензурные запреты, страх и безнадежность. «Князь Игорь» был бы с восторгом принят в шестидесятых годах, духовным детищем которых он и являлся. Он будет уместен и в девяностых, когда окажется преодолён исторический шок, последовавший за царейством. Заканчивать «Игоря» выходило, с одной стороны, слишком поздно, с другой — слишком рано. Не забывая обо всех остальных помехах великому труду Бородина, будем помнить и об этой.

V

27 октября 1883 года Бородин избирается Почетным членом Общества русских врачей, «как известный химик, сделавший много для медицины и как старейший преподаватель на Женских врачебных курсах». Через месяц Александра Порфирьевича избрали (единогласно) в дирекцию Петербургского отделения Русского музыкального общества. «4 декабря... Сегодня к 11 3/4 еду в мундире, en gala,¹ в Мраморный дворец представляться, в качестве директора Музыкального общества, — Август-

¹ В парадной форме (франц.)

тейшему председателю одного, великому князю Константину Николаевичу. И за это некоторые на меня дуются, да что же мне делать? Нельзя же фыркать и воротить рыло, да и глупо было бы во всех отношениях». «Мои музыкальные друзья на меня дуются за то, что я пошел в дирекцию. Но что же мне делать? Отказаться — значило бы явно протестовать против вступления Давыдова в директора консерватории. Это была бы манифестация с моей стороны, и манифестация грубая и бестолковая...»

Через два года, в ноябре 1885-го, Бородин напишет жене: «...сообщи тебе, что я, наконец, разделался с Музыкальным обществом — вышел из директоров *очень хорошо*, чему несказанно рад...» Дианин предполагает, что это произошло под влиянием музыкальных друзей, т. е. прежде всего Балакирева, Стасова. Но, возможно, причина проще. Директор РМО была должность не только почетная и символическая; она налагала некоторую ответственность, некоторые обязанности и заботы. Бородин же и без того был занят сверх всякой меры.

Милий Алексеевич Балакирев, по рекомендации К. П. Победоносцева и Т. И. Филиппова, был назначен Управляющим, т. е. фактически руководителем Придворной певческой капеллы. Одновременно — уже по настоянию Балакирева — был приглашен в капеллу и Римский-Корсаков. Служба в Придворной капелле издавна считалась высокой честью для музыканта. Кроме того, Балакиреву была назначена за его музыкальные заслуги значительная пожизненная пенсия. Как это все казалось далеко от пафоса задач, вдохновлявших когда-то «Могучую кучку»! Тем не менее, при Бородине память о былом единстве в чем-то сохранялась, оставалось желание не упускать общую цель и... общих противников. Особенно энергично пытался удержать разрушавшиеся связи В. В. Стасов. Его неугомонность поражает. Когда в 1886 году умер Ф. Лист, решено было послать венок на его похороны от музыкантов новой русской школы. Стасов особенно настаивал, чтобы это был свой, отдельный от «консерватории» венок. Вот что он писал 25 августа 1886 года Балакиреву: «Не говорила ли Вам Людмила (Шестакова, — Р. Д.), что отвечал ей Кюи на предложение ее о венке Листу? Он отвечал, что *пожалуй* будет участвовать в нем, но *не сочувствует этому делу*, потому что тут не будет ни Рубинштейна, ни Чайковского и разных других (конечно, он подразумевает, *Направ-*

ника, Давыдова и всякую иную шваль), — и не понимает, как это и зачем такая рознь. Каков!! Каков сукин сын и мерзавец, ренегат и перебежчик!!! После 25 лет битв с двух сторон он еще не знает, из-за чего все это было, и что за резон, и зачем, и почему? он не знает!!!» Решительно преувеличенными выглядят эти громы и молнии, если вспомнить, что Римский-Корсаков давно уж был профессором той самой консерватории, которой руководили Рубинштейн и Давыдов, что Кюи, Мусоргского, Римского-Корсакова с Направником связывали серьезные и уважительные отношения как с капельмейстером Мариинского театра, что Бородин совсем незадолго до этого входил в дирекцию Русского музыкального общества, не говоря уж о дружеских и творческих связях новой русской школы с Чайковским, не слишком тесных, но ровных и не омрачавшихся значительными разногласиями. «...Вы совершенно справедливо браните Кюи, — откликнулся Балакирев, — хотя Людм. Ив. почему-то смягчает его вину; но к чему Вы приглашаете его после всего к себе вместе с нами? Будьте последовательны, и если презрение, справедливо питаемое Вами к нему, не возбраняет Вам вести с ним дружбу (звать к себе — ходить к нему), то было бы лучше...» и Балакирев рекомендует Владимиру Васильевичу отдельно приглашать Направника, Рубинштейна, Давыдова, Кюи...

Милий Алексеевич жил прошлым. Он, по-видимому, не забыл сообщения Стасова, что Кюи не хочет в нем, в Балакиреве, видеть главу новой русской школы. И не простил. С 1881 года (кстати, уступая настоятельным просьбам Бородина и Стасова), он вновь управлял концертами Бесплатной музыкальной школы, впрочем, так и не достигшей уже никогда прежнего значения. Милий Алексеевич упорно признавал лишь те сочинения кучкистов, что появились «при нем»; к дальнейшему творчеству тех же композиторов он был, как правило, равнодушен. Его бы воля — он бы просто вернул целиком времена их молодости, чтобы снова боготворили его, внимали ему, следовали его советам друзья, его великие — теперь это становилось все яснее — ученики. Все остальное имело для него вкус и запах измены, распада...

Между тем, в Петербурге возникло новое явление, вызвавшее в Балакиреве самое желчное недоброжелательство. Меломан, альтист-любитель, игравший в оркестре Петербургского кружка любителей музыки, где предсе-

дательствовал одно время Бородин, а также и в любительском оркестре Военно-медицинской академии, которым Александр Порфирьевич дирижировал, Митрофан Петрович Беляев был весьма богатый лесопромышленник, миллионер. Буквально влюбившись в талант юного композитора Александра Глазунова, Беляев на свои средства организовал разучивание и исполнение его новых вещей; затем эти первые опыты превратились в регулярные Русские симфонические концерты. Позже Беляев начал издавать произведения русских композиторов, прежде всего, того же Глазунова, в Лейпциге; выплачивал (анонимно) премии за лучшее произведение года. «Беляевский кружок», сложившийся мало-помалу вокруг щедрого и увлеченного мецената, включал Римского-Корсакова, Бородина, а также и Лядова, Глазунова, Blumenfelda и многих молодых композиторов и исполнителей, выпускников консерватории, большей частью учившихся у Николая Андреевича Римского-Корсакова. По самой своей сути и происхождению новый кружок не мог проповедовать «антиконсерваторские» взгляды; он отличался — и не мог не отличаться — от «Могучей кучки» во многом. Посетители беляевских собраний уважительно относились к классике, отдавали предпочтение тонкому, искусному, изощренному письму; Вагнер был совершенно реабилитирован в этой среде и т. д. и т. п. Наступал неизбежный во всяком развитии этап углубления в профессиональные тайны; поиск уходит с поверхности — вовнутрь, и, в то время, как торопливые критики спешат обвинить искусство в измельчании, в утере идеалов, в вялости, в ненужной изысканности и прочая и прочая, — кропотливо готовятся невиданные и неслыханные перемены, зреют открытия Скрябина, Рахманинова, открывается дорога свершениям Стравинского, Прокофьева.

Ревнивым, ненавидящим взором наблюдал Балакирев за деятельностью Беляева. Стасов, как ни странно, в этой вражде не участвовал. Чутье у него всегда было. Он не мог стать на сторону угасающего Балакирева и против Бородина, Римского-Корсакова, Лядова, Глазунова. Хотя беляевцы, в конечном счете, изменили всей почти стасовской программе — «чувство будущего» на сей раз не дало Владимиру Васильевичу поспорить с ними.

«Графиня,

Мой друг Г-н Ц. Кюи только что передал мне драгоценное письмо, которым вы сообразовали меня удостоить. Я им бесконечно польщен! Примите милостиво выражения моей полнейшей благодарности, впрочем, слишком слабые для того, чтобы передать вам мою признательность, мое уважение и восхищение. Я был весьма счастлив узнать, что вам нравится наша русская музыка...»

Так началась переписка Бородина с графиней Луизой де Мерси-Аржанто, закончившаяся потом их встречей и, может быть, последним сердечным увлечением Александра Порфирьевича¹. Владетельница древнего фамильного замка, известная музыкальная деятельница, друг Листа, Мерси-Аржанто страстно увлеклась музыкой русских композиторов новой школы и последние годы жизни посвятила распространению и пропаганде их творчества². Вскоре после начала их переписки Александр Порфирьевич рассказывал жене: «Графиня шельма, *сама* перевела на французский язык все присланные нумера «Игоря», и перевела превосходно (помимо некоторых частных); переводы Кончака и Владимира Галицкого отлично передают весь характер их и смысл русского текста. Оказывается, что «Комтесса» в самом деле замечательная женщина: превосходная пьянистка, великолепно образована, говорит на многих языках свободно, пишет картины, ездит верхом, правит лошадьми, стреляет, сама ведет все свои хозяйственные дела, читает бездну, играла в Париже видную роль при дворе, и, по карточке судя, очень красивая женщина; вдобавок ко всему, очень богата. Она мне пишет теперь адрес «*по-русски*». Тут, не в обиду графине де Мерси-Аржанто, упомянем совершенно курьезный перевод одной фразы из песни Владимира Галицкого, «...фраза: «*ah! qu'on me donne un jour seulement sa jument géorgienne*» «*Poultiva*» должна быть заменена следующей: «*ah! qu'on me donne un jour seulement être prince á Poutivle*». Перевод обеих фраз: «*ah!*

¹ Письма Бородина к ней приводятся здесь и дальше в переводе с французского.

² Графиня была на три года младше Бородина и умерла тремя годами позже, в 1890 г. в Петербурге, в квартире Кюи, у которого к тому времени гостила ежегодно и о котором написала книгу на французском языке.

если бы мне дали хоть на один день его грузинскую кобылу «Пультива»!..» «ах! если бы мне дали хоть на один день стать князем на Путивле». Бородин деликатно объясняет переводчице: «Очевидно, здесь получилась в переводе ошибка из-за выражения «сесть князем на Путивле» — оборота, которого нельзя было найти в словаре. «Сесть князем» значило на древне-русском языке «сделаться владетельным князем, государем в каком-нибудь городе или стране; Путивль был маленьким городом в Северском княжестве, которого Игорь был владетельным князем...»

В Париже под управлением Шарля Лёмуре была исполнена симфоническая картина «В Средней Азии». В телеграмме, присланной на имя Цезаря Антоновича графиней, говорилось о «прекрасном успехе» Бородина. Она предложила Александру Порфирьевичу вступить в «Общество авторов», которое защищало бы его права во Франции, и подыскивала двух поручителей (в буквальном переводе с французского — «крестных отцов»), чья рекомендация была необходима при вступлении: композиторов Сен-Санса и Бурго дю Кудрэ. Последний неожиданно вышел из состава общества; тогда графиня сама — вместе с Сен-Сансом — стала поручительницей Бородина. С этих пор Бородин именует Луизу-Мерси-Аржанто не иначе как «дорогая крестная». Если сравнить «русские» и «французские» письма Бородина того времени, видишь, какая бездна болячек, неурядиц, бед давила на Александра Порфирьевича дома; письма же к бельгийской графине сосредоточены на артистических интересах, веселы и изящны, почти начисто отрешены от земных забот. Они были, наверное, необходимою переменой, отдушиной для замотанного и измученного человека; они уже заочно приобретали характер романа — или, если это сказано чересчур сильно, — во всяком случае, обнаруживали отчетливую взаимную симпатию.

«До моей капитуляции я начинал свое письмо обращением «Графиня», после капитуляции просто с обращения «Сударыня». Теперь я начинаю еще проще, со слов «До моей» и т. д. Я вполне прав, поступая так, потому что Вы для меня более — не «графиня», не «сударыня», Вы для меня приблизительно то же, что ангел-хранитель для дурного христианина, которому он необходим, чтобы отыскать путь спасенья, или то же, что добрая фея в детских сказках для принца (обычно придур-

коватого). Как настоящая добрая волшебница, Вы совершаете чудеса доброты; как настоящий принц из детской сказки, я только и делаю, что подбираю дары, сыплющиеся с небес, и своим поведением, далеко не всегда безупречным, причиняю Вам всякие, известные Вам, неприятности.[...] Вы мне говорите: «*Так как вы хотите издавать в Петербурге, а не в Париже...*» Я не могу поступить иначе: я должен уважать права издателей... Что касается до моей оперы «Князь Игорь», то здесь должно быть какое-то недоразумение. Я не помню, чтобы я обещал Вам партитуру всей оперы. Это — вещь невозможная, так как опера еще не окончена и существует только в черновых набросках. Инструментованы только отдельные номера, исполнявшиеся в концертах. Если я написал что-нибудь подобное, то я выразился недостаточно ясно; — я, вероятно, хотел сказать, что, в случае надобности, могу Вам выслать партитуру и оркестровые партии трех номеров, которые есть у Вас в виде переложений для пения с фортепиано. Меня это весьма огорчает, — но я не могу вам прислать всей оперы... Пожалуйста, не сердитесь на меня, Сударыня...»

Бородин посвятил бельгийской графине «Маленькую сюиту» для фортепиано, которую сочинил в эти годы. Это единственный его фортепианный опус, если не считать участия в коллективном шуточном труде — «Парафразах», в которых вариации на неизменную тему «Татитати» написали Бородин, Кюи, Лядов и Корсаков; ко второму изданию восхищенный Лист добавил свою вариацию.

«С. Петербург. 18 Января 1885.

Дорогая моя Крестная,

я Вам бесконечно благодарен за прелестные три с половиной строки с приложенной к ним коллекцией статей, касающихся русского концерта... Откровенно говоря, я не ожидал подобного успеха. Конечно, я не знал положения вещей в Льеже. Но мне всегда казалось весьма рискованным дать за границей исключительно *русский* концерт. Тем лучше! Поздравляю Вас с этим, так как это дело Ваших рук, дорогая Крестная...»¹

¹ 7 января 1885 года в Льеже состоялся концерт русской музыки, в котором Мерси-Аржанто выступала как пианистка; под управлением Т. Жадуля были исполнены, в частности, Первая симфония Бородина, «В Средней Азии», романс «Море». Теодор Жадуль, бельгийский композитор и дирижер, считал симфонии Бородина лучшими после бетховенских.

Наконец, приведем еще одно, последнее письмо Боро-
дина, ввиду его короткости.

«С. Петербург. 28 января 1885.

Дорогая моя Крестная,

.

Совершенно преданный Вам крестник — А. Бородин».

Правда, за этим кратчайшим письмом следовал пост-
скриптом на три страницы: «Прошу Вас меня извинить,
что я пропустил текст письма. Я это сделал из осторож-
ности, чтобы лишить Вас всякой возможности отыскать
в нем новые мои преступления, в которых Вы меня из-
волили обвинить. Как? Я — невинный, как голубка, на-
ивный как пастушка — обвиняюсь в том, что я *ужасный*
льстец??!!! Какой ужас! И знать, что я терплю такую
обиду из-за... междоветия!» — и т. д.

Увиделись они в августе 1885-го. «Графиня нас встре-
тила на станции железной дороги и любезно предложила
мне довести лично до замка в кабриолете, которым она
сама правит. Представь себе, — (обращается Бородин к
Екатерине Сергеевне) высоченную скалу, крутую и со-
вершенно похожую на те, что в Саксонской Швейцарии.
На верхушке площадь, где расположены — замок и
парк, спускающийся аллеями по склонам по обеим сто-
ронам; с этой скалы на другую подобную перекинута
колоссальная живописнейшая арка. Перед самым зам-
ком огромный луг с клумбами. Замок очень красивый
и довольно большой, новой постройки, двухэтажный, с
резными террасами, балконами и балкончиками и т. д. ...
Был прежде и другой, древний замок, внизу, около скалы,
но разрушен во время революции в прошедшем столе-
тии; остались только стены, поросшие плющом и де-
ревьями, так что общий вид скалы и этих развалин на-
поминает некоторые части Гейдельбергского замка. Чис-
тота всюду — и снаружи и внутри, по выражению по-
койницы Дуняши — нестерпимая (или невыносимая).
Меня проводили сейчас же в мою комнату или собст-
венно квартирку во втором этаже, с окном, выходящим в
сад. Там все уже было приготовлено до малейших мело-
чей... Меня здесь просто на руках носят, радушие и лю-
безность — «невыносимые». Душа моя, мне просто со-
вестно, что мне хорошо здесь, а тебе может быть...»
«...У меня были здесь преинтересные встречи и знаком-
ства; напишу после...»

Бородин, как мы помним, был заранее в восхищении от хозяйки Аржанто. Графиня со своей стороны знала и любила его музыку, а письма русского «крестника» трогали ее и смешили, но более всего радовали. Встреча не разочаровала их, а только наполнила возникшую заочно привязанность живым огнем. Неслыханный успех русских концертов, ради которых и приехал Бородин, придавал происходящему праздничное освещение; это было сплошное торжество! Какой контраст с гнетущей атмосферой Петербурга, с безвыходно-трудной, опутанной силками мелочей жизнью, проклятыми заседаниями, бумагами, бедностью; казалось, в Петербурге его поджидала старость и смерть, в Бельгии — успех, любовь, преклонение! «Ну, голубка моя дорогая, не вини твоего загулявшего мужа, ей, ей, не было возможности уехать от соблазнов, сильных соблазнов для меня грешного; было бы просто глупо, вредно для меня, как музыканта, и для всей русской музыки, бежать отсюда; было бы грубо и неделикатно в высшей степени удрать, вопреки всем лестным и сердечным приглашениям, оvationам и почестям, мне оказываемым в Бельгии. Я тебе писал уже, что мне прислали несколько приглашений официальных и неофициальных — управлять двумя концертами на Антверпенской выставке и большим фестивалем... Мне предоставляли самому назначить, какие мне угодно, условия относительно программы, числа репетиций, времени концертов и пр. и вознаграждения. Приглашения в виде писем и телеграмм рассылались мне не только туда, где я был: Льеж, Аржанто, Антверпен, Париж, но и туда, где меня не было, напр., в Спа, основываясь на слухах, что меня там ожидали. Управлять концертами я решительно отказался, ссылаясь на недостаток времени для подготовки к концертам, на отсутствие привычки дирижировать большими концертами, наконец, на то, что я вообще не дирижер по профессии. Отклонить от себя дирижерство я мог, но отклонить присутствие мое на концертах, где исполнялись мои сочинения — я не мог. Ссылка на невозможность продлить отпуск привела только к тому, что передвинули весь порядок концертов, дней репетиций и т. д. Комитет выставки и Общество Музыкальное готовы были ходатайствовать перед официальными представителями русского правительства в Бельгии, чтобы мне разрешили продлить отпуск. Мне было сообщено, что множество лиц интересуется горячо

моей музыкой и нарочно приехало для того, чтобы познакомиться с моею музыкою и со мною лично; так, жена председателя выставки M-me Lynen — страстная поклонница моей музыкальной деятельности, бывшая ученица Листа, — нарочно ради меня приехала из Баден-Бадена; множество любителей музыки, композиторов, профессоров консерваторий и пр. нарочно, ради меня, собирались приехать в Антверпен — из Льежа, Брюсселя, Гента, Спа, из Голландии, из Франции. За моим отказом дирижировать, два бельгийских дирижера добровольно вызвались дирижировать моими симфониями: профессор Гюберти из Брюсселя назначил в свой концерт 2-ю симфонию, *Раду* — некогда яркий противник моей музыки, ныне страстный поклонник ее — сам назначил мою 1-ю симфонию для фестиваля 19 сентября... Овации, сделанные мне в этих концертах шли crescendo [...] Милая «marraine»¹, приезжавшая нарочно на два последние концерта, сияла от восторга при виде торжества русской музыки, проводницею которой она была в Бельгии; это премилая, способная прелесть, во всех отношениях, и вообще женщина крайне замечательная по разносторонним достоинствам и талантам. Не будь ей уже под 50 лет, ей, ей, можно бы врезаться в нее по уши. Мы с ней очень подружились. Между прочим, она мне подарила на память серебряные запонки (купленные на выставке) и родовую жемчужину в виде булавки (очень дорогую), а для тебя купила на выставке брошку в 120 франков, коралловую с золотом и надписью *Salve!* т. е. «здравствуй!» Мои протесты не помогли, и я должен был принять все это. Признаюсь, это немножко стеснительно, но поступить иначе я не мог. Итак, теперь я на пути восояси, усталый от оваций, приглашений, визитов, обедов, завтраков, ужинов и всяких чествований. Спешу домой...»

Сохранился черновик письма, написанного Бородиным 25 сентября 1885 года, уже в Петербурге, к Луизе де Мерси-Аржанто: «...Dans quelques jours je pourrai avoir de la poste ta lettre restante, puisque je dois garder la chambre au moins trois jours. — Te rappelle(s) tu ce que je te disais par rapport à l'arrangement ...

Le dictionnaire de Makaroff; que je t'ai promis, te sera expédié dans peu, quand je pourrai le trouver; ce qui n'est

¹ Крестная (франц.)

pas chose facile. Quant au quatuor — menages moi le plaisir (de) l'envoyer avec un petit mot de moi. Le(s) 100 francs (est ce bien vrai que tu m'avais prêté 100 francs et non 200? — j'étais alors peu normal, un peu fou — de toi mignonne) [...]¹

Почти все письма графини Бородин сжег незадолго до смерти. Той же участи, видимо, подверглись и черновики его писем в Аржанто. В Бельгии и в гостях в замке Аржанто Бородин побывал еще раз — в декабре 1885 — январе 1886 года; эта последняя его поездка за границу совершена была совместно с Цезарем Кюи. Опять триумфальные концерты в Брюсселе, Льеже, где была поставлена, кроме того, и прошла в первый раз опера Кюи «Кавказский пленник».

...Но как бы не баловала удача художника в иных пределах, судьба его решается на родине. Конечно, европейские триумфы «господ новаторов» были замечены; разумеется, что они не остались без влияния на русскую публику и критику. Но в целом происходившее там, за рубежами России, настолько было отделено, отграничено от всего, что составляло жизнь Бородина, что смахивало на сон или на пребывание где-то в ином измерении, в мире, связанном с реальной действительностью разве только музыкой Бородина, Кюи, Корсакова. Дело, радость, страдание, прошлое, будущее, жизнь и смерть — все оставалось для него здесь, в городе Петра, в городе Пушкина... Могилы отца, князя Луки Гедианова, Луизы, Тетушки, Зинина, Мусоргского были его корнями в этой земле; русская крестьянская песня, с времен его детства блуждавшая с утра до ночи по задворкам и проходным дворам, по переулкам, подвалам, каменным мешкам громадного города, была частью его души, которую вырвать из него можно было бы только вместе с сердцем. Он и там-то — В Баден-Бадене, в Париже, в Брюсселе, Льеже, Аржанто — был захватывающе интересен этой смертной

¹ ...Твое письмо, адресованное до востребования, я смогу получить на почте через несколько дней, так как мне придется просидеть в комнате, по меньшей мере, — три дня. Помнишь ли, что я тебе говорил относительно переложения. [...] Обещанный мною тебе словарь Макарова будет тебе отправлен в скором времени, как только мне удастся его отыскать, что представляет нелегкую задачу. Что касается до квартета, то доставь мне удовольствие отправить его тебе со своей записочкой. 100 франков (верно ли, что ты мне одолжила 100 франков, а не 200? — я был тогда не совсем нормален, немного помешался — от тебя, милая) [...]» (Франц.)

связью с неведомой, загадочной и великой землей. Дорога человека к человечеству лежит через язык и песни его народа, через его особенную поступь и статью; через его страсть, муку, через его порыв к счастью и правде.

VII

В сентябре 1884 года Стасов с обычной своей резкостью писал Корсакову: «Видел я вчера утром Алхимию, которая воротилась в Петербург в пятницу вечером. Ну-с, я Вам скажу, тут добра нечего больше ждать, и теперь скажу, начинаю окончательно терять всякий кураж и я. Бородин из рук вон, какая стал тряпка и как опустился!!! Мне кажется, если теперь послать его на репетицию концерта в Двор. Собрание, то он заснет уже не посреди 2-й и 3-й пьесы, а на первых тактах 1-й¹. Да, ему «Игоря» не кончить. Видно, и это будет Ваших рук дело. За *третьего* русского музыканта Вам придется кончать. Об увертюре к «Игорю» Бородин и не думал нынче летом. Говорит: «фортепиано не было!» Как прекрасно! Но что еще лучше, он прибавляет: «Довольно того, что у меня 3 фортепиано есть: одно во Владимире и 2 на квартире в Медич. академии, как же мне еще 4-е заводить». Нравится Вам это? Есть 3 фортепиано там, где не надо, и которые ничего не делают (особливо во Владимире), как же быть *одному* там, где именно надо и которое бы не молчало? И на основании этих-то отговорок он ничего не делал и не сделал. Всего только наоркестровал «Море». И то почему? Не подумайте, что сам собой, сам захотел. Никогда! Этого потребовала бельгийская графиня, которая вдруг с бухты-барахты пришла в восторг от русской музыки...»

В конце июня 1885 года Бородин заболел холериной, — так называли, в отличие от азиатской холеры, местную, не столь опасную форму заболевания. Приступ болезни едва не окончился трагически и заметно подорвал силы Бородина.

4 июля 1885 года Римский-Корсаков откликнулся на прошлогоднее, сентябрьское письмо Стасова. Откликнулся — что совершенно ему не было свойственно — в

¹ Едва ли Стасову было известно, что в иные горячие времена Бородин, случалось, спал ночью 3—4 часа!

тоне Владимира Васильевича и в резкости даже перешеголял его: «Бородин с помощью холерины нацарапал несколько новых погулов на старый лад, называемых пьесами¹, а об «Игоре» и не помышляет. Хотел я его расшевелить, но не удалось, так что и я прекращаю свои действия, и значит «Игорь» лопнул; а жаль! Это хороший бы был представитель 60-х и 70-х годов, а теперь это выйдет мумия из недоноска». Это уже и не резкость, а прямо грубость, непривычная в Николае Андреевиче. Жестокое упоминание о холерине как будто и болезнь ставит автору «Игоря» в вину. Возможно, тут прорвалось наружу давнее раздражение, вспомнился, да и не забывался, отказ Бородина в 1879 году от его, Римского-Корсакова, дружеских услуг. И все-таки читать эти два письма — одно Стасова, другое Римского-Корсакова — обидно.

Как утилитаристский подход к искусству односторонен, наивен и вреден в конечном итоге, так же точно вреден и примитивен утилитарный подход к человеку искусства. Бородин не был только средством для создания великих творений, и не в одних этих творениях сосредоточился интерес к нему потомков. Личность Бородина, он сам, его плоть и дух, все, что никогда и ни в ком уже не повторится, — такое же сокровище, такое же достояние нации, как и Вторая симфония или «Князь Игорь». По смерти Бородина это понимали и Стасов, и уж, конечно, Римский-Корсаков.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

I

Начиная с 1881 года только один раз Бородину удалось вырваться летом на волю, — один раз и на один месяц. Всегдашняя и такая скромная его мечта — жить летом в деревне — оказывалась отчего-то фатально неисполнимой. Влекло же его в русскую деревню с какою-то неодолимой страстью; наверное, душа знала, что ей нужно немедленно и позарез. Да и здоровье, начинавшее сдавать от непомерных нагрузок, требовало того же: де-

¹ Речь идет о добавлениях к «Маленькой сюите».

ревни, отдыха, освежения сил. И для музыки нужны были простор, свобода, река, простонародный говор, древние и подлинные песни. То был, если вспомнить греческий миф, «комплекс Антея»: необходимо сделалось прикосновение к родной земле, а что-то все мешало, не давало ее коснуться; и этот диктат всяческих обстоятельств оборачивался по отношению к Бородину страшной жестокостью.

Устроившись к началу августа 1884 года на квартире в Павловской слободе Звенигородского уезда, Бородин и тем счастлив. «По правде сказать, из всех дач, на которых мы живали — нынешняя самая лучшая. А уж какое купанье! Наслаждение! Какая местность! Какие виды и окрестности для прогулок! Какой порядочный народ здесь. Живут все *«на растопашку»*, по выражению Павлыча, ничего не запирают путем: сено, дрова, лошади, телеги на улице; ягодные сады едва огороженные, никем не охраняемые, о сторожевых собаках нет и помину — а краж нет. Скандалов, ругани, пьянства нет. Есть, правда, пьяненькие по праздникам, но тихие и вежливые. Нарядные парни и девки прогуливаются и поют — к сожалению, пакостнейшие песни — «о златом песочке, следочках милой» и в том же роде. Но зато все трезвые и благообразные. Замечу, что наш край собственно раскольничий или, как говорят здесь, *«кладбищенский конец»*. Раскольники, беспоповщина, принадлежащая к Преображенскому кладбищу и открыто исповедующая свое ученье и богослужение. [...] А поют преинтересные старинные молитвы...» В этом же письме Дианиным Александр Порфирьевич признается, однако, что не все так уж безоблачно: «...Одно обидно — нынешнее лето наиподлейшее во всех отношениях: ветра, холод, дожди, непостоянство погоды безобразнейшее, отравляющее все летние удовольствия... Обидно еще, что у меня нет фортепьян! Правда, что к моим услугам рояль моей соседки, но это далеко не то; не у себя дома; я стеснен. А нет от того, что мы все не были уверены в возможности пустить здесь корни и боялись необходимости бежать отсюда...» И это не все. Екатерина Сергеевна не спала ночами и не давала, по привычке, спать домашним. Через два месяца уже из Петербурга Александр Порфирьевич напишет жене: «Ты уже не сердись, дружок, а я скажу тебе прямо, мне теперь, право, не под силу становится наш безобразный обычай ложиться в 3 и 4 часа. Я последнее время

в Павлове (т. е. как раз на даче в Павловской слободе, — Р. Д.) очень поиспакостился вследствие этого обычая...» Вот так: «наиподлейшие» погоды, бессонные ночи, отсутствие рояля... И все-таки: «Жаль уезжать отсюда, несмотря на все атмосферические невзгоды нынешнего лета, которое здесь было из ряду вон плохо. Все-таки здесь приволье большое и устроились мы недурно, хотя и, к сожалению, очень поздно. Местность восхитительная, хорошее купанье, прогулки чудесные и разнообразные. А свобода — полная. Я щеголяю постоянно — в русском костюме, рубахе и н-портках (sic!) в сапоги», — это он пишет А. П. Доброславинову. Вот еще, матери Лены Гусевой, воспитанницы Бородиных: «Скажу... что от души жаль покидать только что свитое гнездышко, тем более, что начали мы его свивать так поздно, свивали так медленно и свили чуть не перед самым отъездом. Как ни мало мы живем на даче здесь, я все-таки сильно отгулялся и отдохнул после *двух* летних сезонов, проведенных по роковой необходимости в Петербурге. Живем мы тихо, мирно, покойно, свободно. Я щеголяю в русской рубахе и портках (извините, не могу назвать эту часть туалета не своим именем), и в высоких мужицких сапогах...»

Это в последний раз он бродил по земле в наряде, который так любил, описание которого повторяется все снова и снова в его письмах и соседствует неизменно со словами: воля, свобода.

II

Уезжая за границу в конце июля, Бородин оставил жене записку, отрывок которой сохранился: «Все мы под Богом ходим, а потому, на всякий случай, оставляю эту записку и список, по которому ты могла бы получить документы и процентные бумаги, запечатанные в отдельном конверте. Если бы, вследствие моей смерти, вышло какое-либо затруднение...» В другой записке говорилось: «Уезжая за границу и не оставляя после себя духовного завещания, я на всякий случай оставляю эту записку и список документам и процентным бумагам, которые должны быть переданы моей жене Екатерине Сергеевне

Бородиной. Документы и бумаги запечатаны в особом конверте, который находится в ящике комода, что в прихожей; ключ от ящика у меня в столе».

Мрачные предчувствия, по счастью, никак не оправдались. По возвращении из поездки Бородин выступил даже в качестве дирижера. В газете «Новости» 3 декабря 1885 года писалось: «...академический оркестр из любителей, профессоров и студентов (50 человек) под управлением профессора Бородина не более как в два года своего существования достиг таких успехов, что годился бы для какого угодно из наших театров. Г-н Бородин положительно талантливый капельмейстер и дирижер. Достаточно сказать, что такие трудные и серьезные вещи, как увертюра из «Руслана», отрывки из сюиты «l'Arlésienne» («Арлезианки» Ж. Бизе, — Р. Д.), увертюра из «Аталии» Мендельсона и марш из его же увертюры «Сон в летнюю ночь» — были исполнены оркестром с редким согласием и безукоризненностью...»

Сочинения Бородина исполнялись в России и за границей почти непрерывно. 23 ноября в первом же из «Русских симфонических концертов» в зале дворянского собрания, под управлением Дютша была исполнена с успехом Вторая симфония; в тот же вечер прозвучала посвященная Александру Порфирьевичу симфоническая поэма Глазунова «Стенька Разин». Приглашенный дирижировать концертами Русского музыкального общества Ганс фон Бюлов при первой же встрече с Бородиным сообщил ему, что желает сыграть одну из его симфоний и просит назначить, какую. Обе симфонии исполнялись или готовились к исполнению в Монако, Бельгии, Германии, Франции, Первый квартет играли в Дрездене и в Буффало, в Америке...

27 ноября 1885 года был открыт памятник Мусоргскому. «Дернули тесемки при открытии памятника с четырех сторон: Балакирев, Корсаков, Кюи и я. По открытии — памятник освятили, кропили святой водой. Потом пошли речи. По настоянию Стасова первым был я...»

В декабре Александр Порфирьевич вновь собрался за границу; именно в это время от Екатерины Сергеевны пришло донельзя мрачное, тоскливое письмо. Были в нем и упреки: он забыл попросить у Танеева контрамарки на концерты РМО, а ведь это так просто. Он ничего не

пишет о ее ономатомании¹, которая ее так тревожит; он вообще стал к ней не так внимателен... Рядом с этим Екатерина Сергеевна писала об «ожидании чего-то грозного, решительного» в ее жизни.

Бородин очень расстроился. «...Насчет твоей *ономатомании*, душка, не писал и *не буду* писать, потому что это просто ерунда! Ну с кем же не случается этого? Подумай сама? Все, что я тебе мог бы сказать по этому поводу: — бога ради, *никогда* не читай никаких медицинских книг и статей. У тебя наследственная, фамильная склонность к некоторого рода гипохондрии, также как и у Алеши; ни ему, ни тебе *никогда* не следует ни разговаривать, ни читать *о болезнях*. Это можно сравнить с тем, как некоторые суеверные люди и впечатлительные *никогда* не должны *на ночь* читать и говорить о привидениях, разного рода ужасах, покойниках и т. д. Непременно нападет страх ночью, увидят страшные сны, не будут вовсе спать; а у чрезмерно впечатлительных может дело дойти до настоящих привидений, т. е. до галлюцинаций. В этом отношении известного рода режим, *диета нравственная*, также необходима как *диета физическая* для страдающих слабостью желудка. [...] Мое игнорирование твоей, якобы, *ономатомании* вызвано не недостатком внимания к тебе, а заботою о тебе; так и знай. То же самое скажу тебе и о твоих коленях и ногах, о том «*ожидании чего-то грозного и решительного в твоей жизни*». Ты просто захандрила, расстроена нервами — от того это все и происходит. Ничего тут нет — ни грозного, ни нового, поверь ты мне; отнюдь не приписывай это моему *невниманию*, верь, голубушка, что если бы это было *грозным*, я первый бы забил тревогу...»

Что любящая женщина угадала перемену к себе мужа, появление в его жизни чего-то нового и чужого — не удивительно; поражает сила и точность ее предчувствия. Пройдет всего несколько месяцев, и грозное и решительное обрушит на нее удар за ударом, оставив и ей и Бородину один-единственный, последний выход. Откуда ее знание?

1 февраля 1886 г.

«...Все мечтаю о лете, о даче, о деревенской жизни, красной рубашке, купанье, приволье! Господи, какие скромные мечты и то не всегда удается выполнить! А

¹ Стремление давать людям и животным прозвища.

время все идет, идет на всех парах, вот уже тридцатый год дослуживаю, шутка ли! В июне срок 2-му пятилетию. Будут новые выборы на второе пятилетие. Я почти уверен, что меня выберут еще, ибо я никому поперек дороги не стою, кроме разве Павлычу. Но ведь вопрос еще, выберут ли его, если бы я отказался продолжать службу... А чорт побери, хотелось бы пожить и на свободе, развязавшись совсем с казенною службою! Да трудное дело! Кормиться надобно: пенсии не хватит на всех и вся, а музыкой хлеба не добудешь. Вот будь я, например, живописец — другое дело! Маковского (Константина) «Свадьба» имела в Антверпене успех и моя симфония тоже, — даже последняя еще больше по существу, — но за картину дали 15 тысяч, а за симфонию — ничего! — Вот она, музыка-то!..»

15 марта 1886.

«Маленькая Зозо, Точечка! Послушайте! — Спасибо за письмо, ужасно рад, что ты дала о себе весточку. Только отчего ты так долго не писала? У тебя больше свободного времени, чем у меня; кроме того, я человек здоровый и обо мне беспокоиться нечего, а ты человек хворый и долгое молчание твое беспокоит меня; все думаешь невольно, что ты заболела так, что не в силах писать. [...] У нас новостей немного. В прошлое воскресенье были Корсаковы, он и она, Глазунов, оба Blumenфельда, Беляев, Стасов Владимир, Ильинский и Мои-сеенко (помнишь? товарищ его, большой любитель нашей музыки), Курбанов, Марья Васильевна и Александра Александровна. Исполняли исключительно одного «Игоря» и на стены лезли от восторга. Все это было *приготовлено* в виде комплота, чтобы заставить меня поскорее кончить оперу, и Павлыч знал о комплоте, но не хотел мне сказать заранее! В виду того же Беляев, который имеет свою фирму в Лейпциге как издатель музыки, напал на меня и купил право издания оперы — за 3000 р. Эту сумму он сам предложил мне. Бессель и *tutti quanti*¹ более 600 р., много 1000 (да и то вряд ли!) не дают за оперы. Кроме того, Беляев издает несравненно изящнее; издает и клавираусцуг и оркестровую партию *печатную*, чего Бессель сделать не в состоянии; наконец, Беляев дает мне сразу все деньги, чистоганом, чего Бессель ни за что, никогда и никому не делает!

¹ Все прочие (итал.)

Так что это дело, собственно, очень хорошее, на которое я никогда и не рассчитывал».

5 апреля 1886.

«...Теперь как раз пришел Алексей Петрович из заседания Конференции и поздравил меня с выбором на 2-е пятилетие! Итак, 30 лет отслужил моему Государю верою и правдою и выбран теперь еще на 5 лет. В силу понятной зависимости — поздравляю с выбором тебя в звание *жены профессора, оставленного еще на 5 лет на службе, а не увольняемого* за выслугу лет в отставку. 30 лет! 30 лет службы! Ведь это чорт знает что такое! — Теперь мне надобно будет облечься во фрак и белый галстук, надеть звезду и объехать с визитом всех моих товарищей и поблагодарить за выбор на 2-е пятилетие. А ты, голубка, поблагодари меня за то, что я не писал тебе заранее о предстоящих выборах. По крайней мере, ты избавилась от ненужных волнений».

17 мая 1886.

«Что это с тобою, голубка моя? По-моему, это все результат инфекции, и тебе следует поскорее выбраться из Москвы. Что с бедной страдальницей нашей, Мамой? Отчего у нее-то дела пошли хуже?..»

22 мая:

«Что это такое с тобою делается, голубушка моя! Бога ради, брось ты всякие сборы и уезжай как можно скорее; спрячь все добро как-нибудь, запри, запечатай, возьми только необходимое и уезжайте на дачу. Яков Сергеевич, может быть, довезет тебя до Раменского, водворит, а там ты с Ганей и Настасьей обойдешься на первое время. Имей в виду, что ведь там хозяева у тебя хорошие и тебе помогут во многом. Если первое время и не так удобно будет, зато с лихвою окупится быстрым улучшением здоровья. Сейчас — ни я, ни Павлыч никаким образом не можем выехать...»

Но выехать пришлось.

«К Елене Антоновне Гусевой, 5 июня 1886, Москва.

Пишу тебе, милая Ленушка, по обещанию, каждый день, пока можно и нужно. Писать в розницу всем мне нет ни охоты, ни времени. Поэтому, кто хочет знать о состоянии Кати, сообщи. Дело с Катей совсем плохое. Едва ли она выздоровеет; разве чудом каким! У ней огромная водянка в животе; в околосоудочной сумке; отек всего левого и части правого легкого; отек мозговых оболочек; отек лица, рук, и особенно ног, да короче

сказать — водянка во всем теле, и развивающаяся поразительно быстро. Болей собственно у ней никаких нет, состояние духа спокойное, иногда даже равнодушное, апатическое. Она сознательно и спокойно, без всякой тревоги, говорит, что умрет, и радуется только, что умрет при мне, у меня на руках. По временам впадает в забытие. Лежать она почти не может, а только сидит; не спит настоящим образом, а только дремлет по минуточкам и снова просыпается...»

8 июня. Ей же.

«Милая Лено! Спешу тебя утешить, равно как и всех тех, кому дорога Катя, — что ей немного лучше... Утром и накануне ночью было настолько худо, что мы были уверены в наступлении агонии и окончательно убеждены, что Катя умирает. Утром она исповедалась, вчера и причастилась. Мочи совсем не выделялось, и водянка достигла громадных размеров. Бедная Катя буквально задыхалась; ее *заливало*, как говорят в народе. Вся посинелая, она с усилием дышала, едва переводя дыхание. Пульс слабел все более и более; сознание терялось; понятия путались; речь становилась невнятной. По временам Катя впадала в беспамятство, из которого выходила, только если громко окликнуть. Вчера вечером поздно ей дали *Венское* питье, сильное слабительное, чтобы хоть этим способом, через кишки выделить воду из организма, так как почки не действовали и мочи не было вовсе. Ее прослабило четыре раза; как с гвоздя лило. Благодаря этому Катя к утру очнулась совсем, приободрилась, и хотя была очень слаба, но все-таки ей стало, видимо, несравненно лучше. Мы, разумеется, были счастливы все этою переменою, после безнадежного положения накануне... Теперь есть надежда на хороший исход, если только все будет идти хорошо...»

6 августа 1886. Село Раменское.

«Ее Превосходительству Людмиле Ивановне Шестаковой.

...Нужно ли говорить Вам, что я желаю почтить память дорогого всем нам Листа? Нужно ли говорить, что я был бы глубоко огорчен, если бы мне не пришлось участвовать в подписке на венок? Поэтому прошу Вас сделать мне великое одолжение и внести от моего имени сколько найдется нужным и сообщить мне; я Вам немедленно возвращу с благодарностью. О себе ничего путного написать не могу. Нынешний год мне во многих отноше-

ниях был очень тяжелым годом... третьего июня я вызван был телеграммой по случаю тяжелой болезни моей жены, которая два раза была уже буквально при смерти и только чудом спаслась. Опасность для жизни, в ближайшем будущем, миновала, но больная все-таки очень трудна; не может еще ни ходить, ни лежать и даже спит не иначе как в кресле, сидя. Так тяжело она еще никогда не бывала больна. Теща моя едва дышит. На беду, обстоятельства сложились так, что никого из близких нет в Москве. Понятно, что при таких условиях мудрено писать оперу или вообще музыку...»

...В сентябре Бородин, устроив Екатерину Сергеевну на зиму в Москве, приехал в Петербург, но почти сразу же получил известие о смерти тещи. Новая поездка в Москву, изнурительные хлопоты, горе Екатерины Сергеевны; надсадное, до какого-то омертвления доводящее ощущение непрестанно давящей беды... Бородин окончательно надорвался этим летом и осенью; силы его были на исходе.

IV

Странное дело: происходившее сегодня, вчера, на днях, тут же и забывалось, проваливалось, как сквозь землю. А мелкие события детства вдруг выступали наружу во всех подробностях, точно бы придвинулись и оказались рядом. Все чаще, кстати и некстати, вспоминалась и молодость, вспыхивала в памяти, дразнила и жгла. И, как нарочно, отыскался, прислал письмо из Чернигова Иван Иванович Гаврушкевич — тот самый, что жил в 50-х годах в домике на Артиллерийском плацу, собирал у себя отличных музыкантов, угощал пельменями и бишофом... Туда приходил Бородин со своей виолончелью, в смешной тогдашней студенческой форме: мундир со стоячим воротником, фасоном смахивавший на фрак, серебряные петлицы; брюки, помнится, были черные с красным кантом; еще полагалась треуголка и, разумеется, шпага, которую он, правда, на вечера к Гаврушкевичу не носил. Александр Порфирьевич, давно уж почти никому не писавший длинных писем, старику ответил ласково и подробно. На целую страницу расписал свои музыкальные успехи за границей: «Обе мои симфонии имеют там большой успех, которого я и не ожидал... Но всего популярнее за границую оказалась моя симфоническая поэма: «В Средней Азии», которая облетела всю

Европу, начиная с Христиании и оканчивая Монако. Несмотря на непопулярную программу сочинения (речь идет об успехе *русского* оружия в Средней Азии!), музыка эта почти всюду вызывала *bis*, а иногда (в Вене — у Штрауса, в Париже — у Ламурье и др.) *по требованию публики* повторялась и в следующем концерте. 1-му квартету моему повезло не только в Европе (Карлсруэ, Лейпциге, Льеже, Брюсселе, Антверпене и пр.) но в Америке, — да еще как! в нынешний сезон филармоническое общество Buffalo исполнило его 4 раза! Вещь небывалая, для сочинения иностранного автора из новых! Вокальные вещи мои тоже имели всюду успех (чтобы не сглазить!). Лично я играю так же пакостно на всех инструментах, как и прежде. Квартеты и камерную музыку — смерть люблю по-прежнему, но только слушаю». Он «отчитывался» в своих успехах перед Гаврушкевичем, как если бы это был отчет перед его прошлым, перед юностью, перед ее честолюбивыми мечтами и надеждами. «Я очень часто и *весьма тепло* вспоминаю о Вас, уважаемый Иван Иванович, о Ваших вечерах, которые я так любил и которые были для меня серьезной и хорошей школой, как всегда бывает *серьезная камерная музыка!*...»

Он не ограничивался воспоминаниями; зная теперь, какая опасность нависла над головой, он хотел сочинять музыку, он сочинял музыку, он спешил лихорадочно, боясь не успеть. «23-го (ноября, — Р. Д.), в воскресенье именины Беляева, и мы ему приготовили сюрприз, вчетвером написали квартет на тему



Бе-ла-еф, Bélaeff.¹ Корсаков сделал 1-ю часть, Глазунов финал, Лядов скерцо, а я, вместо *andante* — испанскую серенаду, прекурьезную и очень удачную. В ней ноты бе, ла и *f* в виде *cantus firmus*² даны альту (*alto ostinato*, как бывает *Basso ostinato*); остальные инструменты

¹ Здесь обыгрываются названия нот: «b», т. е. си-бемоль, «ля» и «f» т. е. «фа».

² Неизменная мелодия (лат.), т. е. ведущая мелодия в полифонической вещи, проводимая многократно в неизменном виде.

играют аккомпанемент. Из последовательности трех нот *be, la* и *f* вышла премилая *испанская* тема и контрапункт к темам других инструментов. Все вышло очень мило, оригинально, остроумно чрезвычайно и в то же время очень музыкально. А главное, сделано единым махом пера очень живо...»

«Я кончил 2-й акт Игоря... Кюи написал 28 пьес за это лето! но б. ч. они очень бесцветны и не важны. Исписался он, как видно, да еще его обуяла страсть к популярности. Я с ним по-прежнему хорош, но у остальных наших отношения с ним какие-то натянутые. — По правде сказать, при всех его достоинствах — он как-то и *не русокий* человек и *не русский* композитор; собственно *русскую* музыку он не понимает, он любит ее только постольку, поскольку там есть хорошей музыки вообще; народной же жилки он не чувствует вовсе, не ценит и не понимает».

«Ты знаешь, что у меня есть в зачатке третья симфония, но она еще едва ли скоро появится на свет, потому что много работы за «Игорем», который подвигается туго». Это уже написано 3 февраля 1887 года, когда Бородину оставалось жить 12 дней. Александр Порфирьевич не совсем точно выразился, говоря, что Третья симфония существует только «в зачатке». Скерцо этой симфонии (но без средней части — *трио*) было сочинено еще в 1882 году; осенью 1886 года он уже играл первую часть — *Moderato* — и на рождественских каникулах в Москве Бородин работал над нею. В начале февраля, в те самые дни, когда он писал Екатерине Сергеевне, что симфония у него «есть в зачатке», была сочинена третья часть, *Andante*. В 1884 году Александр Порфирьевич написал «преинтересные *старинные* молитвы» раскольников, напоминавшие ему тему «*dies irae, dies illa*», т. е. «день гнева, судный день» из «*Danse macabre*» («Пляски смерти») Листа. «Раскольникья» тема, услышанная в Павловской слободе, стала основой *Andante*. Мария Васильевна Доброславина рассказывала: «Помню, пришел он к нам однажды неожиданно к обеду, после которого мы, видя его в хорошем расположении духа, заговорили об «Игоре». По обыкновению, ему это было неприятно, и он рассердился. «Вот, — сказал он, — я пришел к вам сыграть одну вещь, а теперь за то, что вы мучаете меня с «Игорем», я и не сыграю». Тогда мы стали просить прощенья, давали слово никогда ничего об «Игоре» не

говорить и умоляли его сыграть. И он сыграл. Это было *Andante* к Третьей симфонии... Сколько было вариаций, я не помню, знаю только, что все они шли *crescendo* по своей силе и, если можно так выразиться, по своей фанатичности. Последняя вариация поражала своей мощностью и каким-то страстным отчаянием... Не помню, в каком месяце это было; но, вероятно, незадолго до его кончины, потому что за фортепьяно я видела его в последний раз».

За два-три дня до смерти Бородин сочинял финал Третьей симфонии. Он сидел за роялем, а Дианин, работавший в лаборатории за стеной, хорошо слышал, как вырастало, обретало четкие очертания новое творение композитора; по его воспоминаниям, он никогда еще не слышал у Александра Порфирьевича такой мощи и красоты, хотя знал и любил все им написанное. «Он довольно долго гремел за стеной, играя эту могучую музыку, потом перестал играть и через несколько мгновений появился в лаборатории взволнованный, со слезами на глазах. «Ну, Сашенька, — сказал он, — я знаю, что у меня есть недурные вещи, но это — такой финалище... такой финалище...» Говоря это, Александр Порфирьевич прикрывал одною рукой глаза, а другою потрясал в воздухе... От этого финала не сохранилось ни одной строчки — ничего не было записано». Это свидетельства не-музыкантов, но им хочется верить. Бородин последних месяцев, недель, дней жизни — не всегдашний, другой Бородин; нечто новое явилось из глубин его существа, о которых можно лишь догадываться по иным страницам его творчества. «Не раз нападала на меня тоска по тебе, — пишет он Екатерине Сергеевне. — Но тут стеною поднимается, как грозная туча, воспоминание об ужасном прошлом, пережитом нынешним летом. Туча эта заслоняет собою и твою и мою тоску и мысль о разлуке и все настоящее...» Не оставался он в неведении и в том, что касалось его собственного здоровья. Прослушавшие его врачи (в том числе Дианин) «пришли в ужас». Что там они сочли возможным сказать ему о состоянии его сердца, что Бородин понял сам — мы не знаем, но известно, что однажды А. П. Дианин застал учителя возле разожженного камина: он сжигал письма, большей частью написанные по-французски... письма, которые, как он объяснил, незачем кому бы то ни было видеть после его смерти.

Существует рассказ Б. Асафьева о том, как Глазунов уже в двадцатых годах нынешнего столетия играл ему *Andante* и финал Третьей симфонии Бородина так, как он слышал их от автора. Асафьев был поражен силой и драматизмом услышанного и сказал об этом собеседнику. Александр Константинович спорить не стал, но заметил, что «тогда», при жизни Бородина, эта музыка ему «не показалась». Это уже свидетельство профессионалов, больших русских музыкантов, и оно необычайно характерно. Глазунов принадлежал в то время полностью к беляевскому кружку; Бородин, отдав ему дань своей «Серенадой» в коллективном сочинении — квартете, оставался композитором «Могучей кучки». (Вспомним слова Римского-Корсакова: «...кружок Балакирева соответствовал периоду бури и натиска в развитии русской музыки, кружок Беляева — периоду спокойного шествия вперед, балакиревский — был революционный, беляевский же — прогрессивный. [...] Балакиревский — был исключителен и нетерпим; беляевский — являлся более снисходительным и эклектичным...») Бородин осознавал себя на пороге смерти и воспринимал все происходящее с остротой подлинного трагизма. Глазунов стоял на пороге блистательно начатой творческой жизни, упиваясь ее красотой и радостью. Беляевцам, даже самым серьезным и талантливым из них, вообще предстояло на время отшатнуться, отдалиться от их великих предшественников; их как бы «относило» от «Могучей кучки», независимо от их желания, в сторону, по спирали... Глазунову тех лет необходимо должна была не показаться последняя музыка Бородина по всем статьям: ее грандиозность, ее обнаженный трагизм, весь ее пафос не мог не быть чужд ему.¹ Сколько, должно быть, потеряла от этого естественного непонимания русская музыка! Незаписанные, полные «страстного отчаяния» страницы бородинской музыки должны были принадлежать к величайшим шедеврам!

Если говорить о главных чертах бородинского гения, то это:

эпическая мощь, в которой почти нет ему равных во

¹ Вот еще пример глазуновской субъективности. 19 декабря 1932 года он писал С. В. Рахманинову: «...впервые слышал «Картинки с выставки Гартмана» Мусоргского в инструментовке Равеля. Должен тебе признаться, что я не очень долюбиваю эту пьесу. Ее значение страшно раздули в Европе и в Америке...»

всей мировой музыке; недаром же, и вполне справедливо, Стасов и Мусоргский ставили его в этом отношении рядом с Генделем и Бетховеном;

чувство русской протяжной песни, позволившее ему состязаться с народной музыкой, обкатанной и доведенной до совершенства целыми столетиями (вспомним «Хор поселян» из «Князя Игоря»);

его страстный, необузданный, вихревой Восток; живым огнем «Половецких плясок» он вошел навсегда в кровь поколений;

любовная нежность и истома, доходящая до невозможных, кажется, пределов; еще немного, и густота и сладость этих мелодий стали бы запретно полны и, кажется, могли бы обернуться собственной противоположностью... но у Бородина чувство никогда не переходит в сантименты, а сладостное не становится сладким и тем более приторным... «Каждый момент лирики Бородина — жемчужина...» (Б. Асафьев);

и его трагизм, породивший страницы небывалой мощи и глубины; вот об этой последней стороне бородинского творчества как-то забывают упомянуть даже проницательные его исследователи, а ведь здесь-то как раз — победа над статикой, как бы стремящейся связать и удержать Бородина, разрешение угрожавшей самым колоссальным его созданиям неподвижности... («Он так и не закончил труда, не *собрал себя* и, как врубелевский богатырь, сросся с землей», — писал Игорь Глебов, т. е. опять же Б. Асафьев, о Бородине в знаменитых своих «Симфонических этюдах»).

Бородин собрал себя; не в летние, а в обычные осенние и зимние петербургские месяцы, до отказа загруженный сотнями, без преувеличения, дел, он накануне смерти завершил второй акт «Князя Игоря», сочинил речитатив Игоря и Кончака, «хорик» половецкого дозора; две части симфонии. Какой взрыв творческих сил, какое прощальное горенье! Так в лампочке накаливания в предпоследнее мгновение волосок вдруг вспыхивает нестерпимо ярко, ослепительно, а потом — конец, тьма.

«...Завтра «у нас» танцевальный вечер, — писал Екатерине Сергеевне Бородин 14 февраля 1887 года. — Сегодня наняли тапёзу¹. Бал будет *костюмированный*. Не хочу до поры до времени разоблачать тайну и предоставляю описание более искусному перу прочих корреспондентов твоих. Бал будет в аудитории Сущинского».

VI

Из воспоминаний Марии Васильевны Доброславиной:
«К назначенному часу все были в сборе. Общество было небольшое, но очень тесное, и все веселились от души. Вскоре после начала Ал. Порф. провальсировал не помню с кем и подошел ко мне. Мы стояли и разговаривали, когда в зал вошел профессор Пашутин и подошел поздороваться с Александром Порфирьевичем и со мной. Он приехал с обеда, был во фраке, и Ал. Порф. спросил его, почему он такой нарядный. Я сказала, что из всей мужской одежды я больше всего люблю фрак; он идет одинаково ко всем и всегда изящен. Ал. Порф. заявил со своей обычной шутливой галантностью, что если я так люблю фрак, то он всегда будет приходить ко мне во фраке, чтобы всегда мне нравиться.

Последние слова он произнес, растягивая и как бы закоснелым языком, и мне показалось, что он качается; я пристально взглянула на него, и я никогда не забуду того взгляда, каким он смотрел на меня, — беспомощного, жалкого и испуганного. Я не успела вскрикнуть «Что с вами?», как он упал во весь рост. Пашутин стоял возле, но не успел подхватить его.

Боже мой! Какой это был ужас! Какой крик вырвался у всех. Все бросились к нему и тут же на полу, не поднимая его, стали приводить его в чувство. Понемногу сошлись все врачи и профессора, жившие в Академии. Почти целый час прилагали все усилия, чтобы вернуть его к жизни. Были испробованы все средства, и ничто не помогло. Не могу забыть отчаяния одного врача, который сидел, схватив себя за голову, и все повторял, что

¹ Tareuse — пианистка, играющая на танцах, — букв. «колотильщица» (франц.)

не может простить себе, что не применил в первую же минуту кровопускания.

И вот он лежал перед нами, а мы все стояли в наших шутовских костюмах и боялись сказать друг другу, что все кончено...»

VII

Он не слышал, как хлопотали над его телом, кричали, плакали ряженные в маскарадных одеждах, он не ощущал теперь ни боли, ни страха. Сперва склонилась над ним Тетушка со свечой, поцеловала и перекрестила, как делала всегда, укладывая маленького Сашу на ночь. Потом сразу же начался пожар, — это уж было Давыдово, они бежали в темное поле, горящие головни летели вдогонку; в маленькой часовенке он и Дианин укладывались в свежеструганные гробы, Дианин что-то говорил, кричал ему, смеясь, но слов не было слышно. Вот и пожара не стало. Где-то в уголку мозга теплилась, как язычок пламени над свечой, грустная песенка флейты. А потом все оставшиеся полчаса, пока, беспамятный, он еще сопротивлялся смерти, разрасталась, звучала в нем музыка, сочинившаяся разом дня два назад: финал его Третьей симфонии. Все скрипки мира выпевали ее, все кларнеты и гобои, все валторны, фаготы, виолончели откликались скрипкам; ничто не было кончено и кончиться не могло, раз оставалась, жила, крепла и ширилась эта музыка.

эпилог

I

Екатерина Сергеевна пережила мужа на четыре с половиной месяца. С. Н. Кругликов, специально приезжавший в Раменское, чтобы записать воспоминания вдовы Бородина, говорит, что безысходное горе убивало ее; «все, что хоть сколько-нибудь напоминало ей ее потерю, вызывало нервные припадки». «Так и вижу его всюду, — говорила Екатерина Сергеевна Кругликову. — Бывало, в прошлом году ходит он здесь в садике, ухаживает за

мною, подает лекарства... Я его вижу, действительно вижу... Это не кажется мне только... Ведь это он приходит ко мне каждую ночь, лекарства мне подает... Он зовет меня слушать симфонию... Теперь он вместе с Листом пишет симфонию «Бог»... Я скоро слушать ее буду...»

В ясные свои минуты Екатерина Сергеевна сумела продиктовать чрезвычайно интересные воспоминания. Смерть ее не была мучительной: Екатерина Сергеевна забылась в последние дни и умерла, так и не приходя в сознание.

II

Никто не сделал для сохранения живого облика великих русских музыкантов и художников столько, сколько Владимир Васильевич Стасов. Едва ль не половиной того, что мы знаем о Глинке, Даргомыжском, Мусоргском, Бородине, мы обязаны этому человеку. Его несокрушимая воля, его бурная энергия теперь были направлены на увековечение памяти о Бородине. В невероятно короткий срок он собрал большое число писем, воспоминаний, документов и издал книгу о Бородине, сохранившую и по сей день значение первоисточника. Нужно отдать должное Стасову: он был из тех немногих, кто вполне сознавал значение бородинского творчества; он при жизни Бородина успел изустно и печатно наградить творения композитора высочайшими эпитетами, какие только есть в русском языке. Но не только в памяти было дело; следовало разобраться с музыкальным наследием Бородина, дать жизнь музыке, которая еще никому не была известна. Неоконченный «Князь Игорь» особенно волновал всех. На другой же день после смерти Бородина Римский-Корсаков и Стасов приехали на квартиру его и взяли там все музыкальные рукописи. «После похорон Александра Порфирьевича на кладбище Александро-Невского монастыря, — вспоминал Римский-Корсаков в «Летописи», — я вместе с Глазуновым разобрал все рукописи, и мы порешили докончить, наинструментировать, привести в порядок все оставшееся после А. П. и приготовить все к изданию, приступить к которому решил М. П. Беляев. На первом же месте был недооконченный «Князь Игорь»... Между мною и Глазуновым было решено так: он досочинит все недостающее в III акте и запишет на память увертюру, наигранную ему много раз

автором, а я наоркеструю, досочиню и приведу в систему все остальное, недоделанное и неоркестрованное Бородиным».

Смерть Екатерины Сергеевны наполнила друзей композитора новыми опасениями. На наследство Бородиных претендовали разные люди, в том числе и «лжеродственники»: родня того самого княжеского камердинера Бородина, сыном которого фиктивно был записан Александр Порфирьевич и чью фамилию он носил с таким достоинством и вознес столь высоко. Между Стасовым и Балакиревым завязалась по этому поводу оживленная переписка. «Новые затруднения по части Бородина, — пишет Владимир Васильевич, — теперь дело в самом неблагоприятном положении. Если бы дело шло только о деньгах, то все это вовсе меня бы и не интересовало — какое мне дело? Но спрашивается: к кому же перейдет право на «Игоря»? Теперь надо ждать 10 лет появления наследников (а, говорят, начинают повылезать какие-то темные личности — пойди, справляйся с ними! Под влиянием советчиков и мерзких адвокатов они могут заварить неизвестно какую потяготу, ссоры и распри), и тогда — прощай «Игорь» для сцены на весь наш век...» Через две недели — новое письмо: «...Что же оказывается? *Духовное завещание* Катер. Сергеевны, которое они там написали в Москве, в своей премудрости, не спросив никого знающего — *никуда не годно*, потому что написано против закона!!!

Что же будет теперь с «Игорем»? Надо ждать наследников 10 лет (так по закону), назначать опекуна (как я намеревался) нельзя более — значит, ни продавать, ни давать «Игоря» на сцене и в концерте — нельзя. Каково?!

Но я теперь выдумал новую и последнюю штуку. Если и это не удастся, то надо будет сложить руки и ждать у моря погоды. Я намерен подать (через Комиссию прошений) просьбу на высочайшее имя с доказательствами *фальшивости метрики*. Будут свидетельствовать (на основании того, что все слыхали от самого Бородина 25 лет и на основании показаний нескольких живых еще родственников Бородина, *настоящих*) — вся почти Медицинская академия и много других лиц. Это может не удастся — что же делать, хуже не будет, и мы ничем не рискуем».

Балакирев отвечал весьма осторожно: «Что... касается вопроса о метрике, то я считаю невозможным, чтобы она

могла быть разрушена официальным признанием ее фальшивости. Ведь если покойный друг наш всю свою жизнь пользовался фамилией Бородина и звался Порфирьевичем и не хлопотал о том, чтобы его признали кем-то другим, с Бородиным Порфирьевичем ничего общего не имеющим, то кто же те, которым правительство должно поверить и в угоду кому должно разрушить важнейший акт. И что же тогда будет прочного, если и давность и метрика ничего не стоят?»

В конце концов никем из родственников Бородина, подлинных или мнимых, претензии на его музыкальное наследие не были предъявлены. Римский-Корсаков и Глазунов без всяких помех закончили «Князя Игоря», пользуясь черновиками, рукописями, наметками автора, а также и свежими еще воспоминаниями о том, что он им играл или говорил о своих замыслах. Опера была сдана в дирекцию императорских театров, а также передана в издательство Беляева для напечатания.

Хоровые партии «Игоря» начали разучивать в театре уже в апреле 1888 года. Однако ж вскоре Стасов писал Н. Н. Римской-Корсаковой: «Не знаю слышали ли Вы или нет, что нынче зимой не дадут не только «Бориса Годунова», но и «Игоря». Когда государю императору был представлен список опер на нынешнюю зиму, он собственноручно изволил зачеркнуть «Бориса» такой фигурой: ~~~~~ Что же касается «Игоря», то над ним поставлен вопросительный знак таким образом: ?..»

Стасов буквально взял под свою опеку все, что касалось издания и постановки «Князя Игоря». Стороною он услышал, что певец Ф. И. Стравинский недоволен предназначенной ему ролью Скулы. Владимир Васильевич написал знаменитому артисту пространное и горячее письмо. «...Вы полагаете, что эта роль — второстепенная в опере. Нет, Федор Игнатьевич, эта роль тут не *второстепенная*, а *третьестепенная*. Да, но это такая же третьестепенная роль, как Варлаам в «Борисе Годунове», как Фарлаф в «Руслане», т. е. верх торжества и Петрова О. А. и Стравинского!!!.. Точь в точь как в Фарлафе и Варлааме, в роли Скулы бездна жизни, комизма, сценической игры, одушевления, подвижности, — еще раз повторяю: жизни, жизни, жизни!!!»

Позднее Стасов помогал советом и делом также декораторам, художнику по костюмам и проч. Римский-Корсаков вспоминал, что дирекция императорских театров

почти два года их «водила за нос», все почему-то откладывая постановку «Князя Игоря» («почему-то», видимо, объяснялось нерасположением Александра III к музыке кучкистов; царь предпочитал оперы Чайковского). Наконец 30 сентября 1890 года начались оркестровые репетиции. Глазунов и Римский-Корсаков участвовали в них; по воспоминаниям В. В. Ястребцева, «Николай Андреевич аккуратно каждый раз приходил к началу, указывал темпы и даже, говорят, на одной из репетиций принужден был показывать кордебалету, как надлежало танцевать и вообще лучше группироваться на сцене». На 23 октября 1890 года была назначена премьера. «Дождались», — написал В. В. Стасов П. С. Стасовой...

Между тем, проволочка с постановкой «Князя Игоря» оказалась в высшей степени полезной для успеха оперы. Скрипучее колесо истории несколько повернулось за три года, прошедшие со дня смерти Бородина. Самое скверное безвременье тогдашнего царствования кончалось; «совиные крыла» Победоносцева как-то уже не закрывали всего неба, влияние его ощутимо падало, хотя оба его самых старательных ученика — император Александр III и будущий император Николай II почитали его по-прежнему. Жизнь брала свое. Стране надобно было развиваться; крайняя реакция мешала ей дышать и двигаться, торговать, учиться, строиться. Рассеивался густой мрак, так отравлявший последние годы Бородина, выходила из-под спуда скованная, бывшая везде и всюду под запретом или подозрением мысль; росла промышленность, появились железные дороги, у русской буржуазии просыпался волчий аппетит; вновь испеченные дельцы и фабриканты действовали с размахом, какой прежде никому и не снился. В обществе вновь проснулись надежды; вырванные, казалось бы, с корнем «нигилистические учения» оказались живы и набирали силу в новом качестве; Владимиру Ульянову было уже двадцать лет... Надежда и ощущение вновь просыпающихся сил давали основание для развития национального чувства, сильно поколебленного и поувядшего в трудные годы или же существовавшего в уродливо искаженных формах казенного патриотизма и шовинизма. Подлинное национальное чувство есть один из лучших инстинктов человека; только через сыновнюю принадлежность к своему народу и языку, к нескончаемой цепи поколений человек может приобщиться к человечеству и к истории; только этим

путем может он давать и брать у времени и природы. Бородин был, может быть, самым русским из русских композиторов; в этом смысле с ним может поспорить разве только Мусоргский. Один бельгийский музыкант (Т. Раду) сказал однажды, что Бородин русскую музыку не сочиняет, а прямо-таки «выделяет как пот»... В «Князе Игоре» национальное начало выражено с могуществом и редкостным благородством. В опере — вслед за самим «Словом о полку Игореве» — сильны темы национального единства, преодоления розни, крепкой государственности. Еще совсем недавно все это могло бы прозвучать по меньшей мере двусмысленно; автору едва ли удалось бы избежать упреков в том, что он в глухие годы России встал на позицию официозную, слишком совпадающую с единственно дозволенным и приветствуемым образом мыслей. Эти упреки не были бы справедливыми: мы знаем, что Бородин не применялся к обстоятельствам, ни перед кем не заискивал и был весьма устойчив в своих воззрениях. То самое время, которое не давало Бородину закончить «Князя Игоря», сегодня было к его детищу благосклонно. Идея национального единства и роста, которая могла бы несколькими годами ранее, в атмосфере казней, всеобщего сыска и безверия прозвучать кошунственно, теперь снова обретала свои естественные права.

К дню первого представления издательством Беляева был выпущен клавираусцуг оперы.

Премьера прошла с огромным успехом. Правда, дирижировал оперой не опытный Направник, а второй дирижер — К. А. Кучера, который впервые сталкивался с работой такого размаха и сложности. Сохранилось глубоко несправедливое, бестактное высказывание Э. Ф. Направника о «Князе Игоре» и его авторе. «Бородин обладал могучим, богатырским, эпическим и самобытным талантом, — писал Направник. — Богато одаренный природою, он свои способности не развивал (?! — Р. Д.) и мало ими пользовался (?! — Р. Д.)... Он из «Могучей кучки», и наравне с другими ее членами науки не признавал и ею не занимался (?! — Р. Д.). От этого произошла его техническая беспомощность. (?! — Р. Д.) Его оперу «Игорь» пришлось по наброскам докончить и приводить в порядок друзьям уже после его кончины... Будь он музыкантом по профессии и со знанием, сколько мог создать он самобытных творений и без посторонней помощи (?! —

Р. Д.). Сколько русских самородков гибнет от лени и от отсутствия желания учиться и работать!»

И это писалось в то время, как оркестрованные Бородиным страницы, его хоры, его ансамбли и сольные номера (еще при жизни Направника!) сделались классикой, образцами мастерства недостижимого! Сам Э. Ф. Направник сделал много для русской оперы, следует здесь сказать об этом, чтобы не оказаться по отношению к нему столь же несправедливыми, каков был он по отношению к русскому гению...

Отнюдь не слыл поклонником кучкистов главный режиссер Мариинского театра Г. П. Кондратьев. Страницы его служебного дневника — свидетельство зрителя недоверчивого и сверхстрогого... что ж, тем оно интересней. Вот запись от 23 октября 1893 года, день премьеры.

«Сбор 3596 р. 70 к.

Сегодня давали в 1-й раз оп. «Игорь» покойного автора Бородина. Оперу эту доканчивали и дооркестровывали Римский-Корсаков и Глазунов. Так как в прошлом еще сезоне опера была назначена к постановке почти одновременно с оп. «Горюша», то для ускорения работы Направнику была поручена «Горюша» и Кучера — оп. «Игорь», так за Кучерой и осталась эта опера. Хотя по трудности исполнения и вычурности оркестровки она представляет много затруднений, но он справился с ней благополучно.

В опере много оригинального, интересного, но несмотря на урезки, есть длинноты, вредящие впечатлению, написана она с полным незнанием голосов и трудностями для хора, просто невыполнимыми...

Начало ровно в 7 1/2 час. За увертюру хорошо аплодировали и даже были крики «bis». Пролог хорошо написан, хоры характерны, длиннот нет. Оригинальны и типичны фразы Скулы и Ерошки. Будь это не опера кучкистов, пролог, конечно, прошел бы без хлопка, но так как это для них родное детище, то уже и после пролога были страшные вызовы. Затмение солнца и появление звезд было во-время и удачно. *

1-я картина 1-го акта очень коротенькая, идет всего 1/4 часа. Песня Галицкого очень хороша, много теряет тем, что для Чернова она низка, очень оригинален и хорошо исполнен женский хорик. Грубо и длинно написана, без знания голосов, песня гудочников и сопровождающий ее грубый хор пьяного народа (заметим в скобках,

что точно так же были шокированы этой сценой и слушатели абонементных концертов, т. е. наиболее богатая, «чистая» публика, — Р. Д.). По окончании картины рев публики. Почти без антракта 2-я картина у Ярославны. Элегантно оркестрованная и довольно бесформенная ария Ольгиной (Ярославны, — Р. Д.) была исполнена хорошо, вызвала одобрение. Прекрасно исполненный как в вокальном, так и в сценическом отношении в 5/4 хор женщин произвел хорошее впечатление. Затем идет дуэт Чернова (Владимира Галицкого, — Р. Д.) с Ольгиной, который был недостаточно оценен. Приход бояр, извещение о плене князя написан хорошо, но длинен и на таких беззвучных нотах басов и теноров, что надобно удивляться, как это они его исполняют. Набат сжат и силен и вызвал шумные аплодисменты.

Второй акт, весь восточного характера, может быть назван самым лучшим по музыкальным красотам, но он страшно несценичен: идет пять арий одна за другой. Песня Долиной (половецкой девушки, — Р. Д.) с хором — сколок с хора «Юдифи» — очень хорош, и Долина очень тонко его поет. Ария Славиной (Кончаковны, — Р. Д.) имеет много общего с арией Ратмира, исполнена ею превосходно-горячо, но скрипуче на высоких нотах. Ария Васильева 3-го (исполнитель партии Владимира Игоревича, — Р. Д.) поэтично-прекрасная по музыке, — невозможно безобразная по незнанию голоса, была спета Васильевым хорошо (хотя дьячковским тембром), вызвала гром аплодисментов и была им повторена. Дуэт Славиной и Васильева 3-го опять музыкально хорош, но почти невыполним в голосовом отношении, тоже очень аплодировали. Ария Мельникова (знаменитый, но уже заметно старевший певец исполнял партию Игоря, — Р. Д.), пожалуй, лучший номер, по крайней мере — самый умный по обдуманности, все же бесконечно длинен. В конце ее Мельников заехал в другой тон. Корякин свою арию хотя и проорал (имеется в виду ария Кончака, — Р. Д.), но все же посдержаннее обыкновенного. Заключают акт танцы, прекрасные во всех отношениях. Музыка, постановка, костюмы, исполнение, — все вместе прекрасно во всех отношениях настолько, что не уступают производимым впечатлением — впечатлению балета «Спящая красавица», а балет этот можно считать идеалом, до чего может дойти постановка

и исполнение. После акта не аплодисменты, а чистый «караул».

3-й акт (напомним: досочиненный и частично заново написанный А. К. Глазуновым на текст Римского-Корсакова) — это пятно на всю оперу, кроме 1-го марша, действительно оригинального по музыке, все остальное настолько какофонно, что и сказать нельзя.

Последний акт сжат. Ария Ярославны (наполовину сокращенная) хороша, не лишен красоты дуэт баритона с сопрано. Прекрасна песня гудочников (хотя сильно заимствована у Серова и Мусоргского). Перед этим во всех отношениях чудный хор-песня, почти а *capella*¹.

Оканчивая хор за сценой, 35 хористов бегом отправляются менять костюмы, публика решительно не давала продолжать оперу, скандалила и требовала повторения. Пришлось кругом за сценой провести хор и снова пустить их через сцену с песней. Очень живая сцена у гудочников с народом и очень благозвучный финал.

Лучшими исполнителями оперы все-таки были хоры, которые, можно сказать, выполнили почти невыполнимую задачу...»

Кондратьев не только трезв, но и придирчив, и притом не без предвзятости, — и все же, помимо его воли, у него то и дело вырываются возгласы восхищения. Заметим, однако, что он вовсе не упоминает отчего-то Ф. И. Стравинского, который, по мнению едва ли не всей русской критики, выдвинул маленькую роль Скулы, как это и предсказывал Стасов, на первое место в опере.

Еще несколько записей из дневника Кондратьева об опере:

«13 ноября 1890 года. Сегодня 6-е представление «Игоря». Билеты еще вчера все проданы. Ожидали их величество, но, вероятно, смерть голландского короля помешала им. Опера шла с большим успехом, много и шумно аплодировали и много требовали *bis*».

«23 ноября 1890 года. Вот и 7-е представление «Игоря» сделало совершенно полный сбор...»

«29 октября 1891 года. Для публики в нынешнем сезоне в 1-й раз давали «Игоря»; бельэтаж пуст и в первых рядах оставались кресла. Кучка новаторов, значит, не очень многолюдна, если, несмотря на то, что опера идет 1-й раз в сезоне, идет с новыми исполнителями, театр

¹ Без сопровождения.

все-таки не полон. Сбор далеко не полный и криков много; чуть не всего требовали повторения и Михайлова, и Яковлева, и Корякина заставляли повторять... Гудочки и хор повторяли».

«25 апреля 1896 года. Сегодня после долгого интервала давали в 1-й раз «Игоря» 29-ю оперою в этом сезоне. Новые исполнители: Куза, Новосилова, Чупрынников, Доверин-Кравченко, Гончаров и Шаляпин. Увертюру повторяли, и во время всей оперы беспрестанно требовали бисов. После пролога вызывали исполнителей. В 1-м акте имел большой успех Шаляпин, после картины вызывали Шаляпина, Стравинского и Кравченко, во 2-й картине прекрасно пели хоры, Куза и Шаляпин прекрасно провели дуэт. Шаляпин — лучший Владимир Галицкий из всех бывших.

После акта Долиной поднесли серебряный венок. В половецком акте казачья лошадь попала в прорез ногой и испортила ногу. В конце оперы поднесли Стравинскому венок с надписью XX, так как нынче он оканчивает 20-летнюю службу¹».

На представлениях оперы часто бывали Римский-Корсаков и Глазунов; и на премьере, и во время последующих спектаклей публика не раз их вызывала. Отделившееся от автора творение жило уже своей независимой жизнью, которой и посегодняя не видно конца.

В прессе премьера и последующие спектакли вызвали великое множество откликов. Газета «Неделя» напечатала следующую заметку без подписи: «Князь Игорь» является одним из самых драгоценных и выразительных произведений русской музыкальной школы, первым после «Руслана», и должен быть близким и дорогим для всякого, кому он станет доступен. Так и отнеслась к нему публика первого представления, которое было сплошной овацией...»

III

В критике, посвященной «Князю Игорю», преобладал доброжелательный и уважительный тон, но встречались и заметки бестактные, дерзкие, а то и нелепые до курь-

¹ Присутствовал ли при этом сын юбиляра, Игорь Стравинский? Ему вскоре должно было исполниться четырнадцать лет.

езности. Из всех рецензентов, кажется, лишь один А. С. Суворин отметил патриотический характер оперы; это заметил и оценил В. В. Стасов.

«Суббота 27 октября 90. ...Не могу удержаться, чтобы не пожать Вам издали руку.

Эти строки (о «Князе Игоре» в «Новом времени», — Р. Д.) — единственно светлое пятно на темной, мрачной и отвратительной пустыне нашей музыкальной печати о «Князе Игоре».

Я еще ничего по этому делу не читал, но воображаю, как теперь подымутся и завоняют все консервативные подонки нашей музыки, как загалдит вся наша музыкальная *сволочь!*

Ведь «Князь Игорь» — гениальное создание перед лицом всего мира, почти наряду с «Русланом». Еще бы сволочи с ума не сходить, не кричать: «Распни, распни его!»

Это всегдашняя русская история, *обыкновенная история*. Не понимать ничего своего, великого, и только холопски веровать в чужих, в «Аиду», в «Фауста», во что угодно, только не в свое великое. О, несчастное, проклятое племя, слепое, *fleur blanche*-ное, золотушное и глупое!!!

Еще бы крепко Вам не пожать руку, среди всей этой мерзости!»

«Воскр. 28 окт. 90. ...Снова 10 000 раз благодарю Вас. Вы *одни* в печати выразили сочувствие к «Игорю», который, действительно, *родной брат* «Руслану», истинно гениален, а потому ненавистен всем нашим бездарным, злым и завистливым музыкальным кликам.

Я обо всех этих молодых потолкую в «Сев. вестнике» 1 декабря (насилу добыл себе хоть тут место — что, хороша ныне у нас на Руси участь писателя: *рот зажат и рука с пером стиснута!!!* Никуда нельзя поместить из того, что хочется высказать и что шевелится в голове и сердце.

Ужасное положение, кроме России нигде этого более нет!)

Постараюсь отдать обо всех отчет. Хотел бы, чтобы мой ответ, как у Чацкого, был *громовый*; но, кажись, бодливой корове бог рог не дает».

Хочется так и запомнить Стасова, — в столь естественной и характерной для Владимира Васильевича, *пожизненной позиции бойца, мечтающего о громовом от-*

вете противникам русского нового искусства. И если мы процитируем здесь еще одно письмо Стасова А. С. Суворину, то только потому, что в нем содержатся сведения еще об одном лице, далеко не безразличном Бородину.

«Среда, 31 окт. 90. Алексей Сергеевич, вот я с самого вчерашнего утра все не удосужусь написать Вам два слова про Вашу статью об «Игоре». Да и вдобавок к недосугу немного простудился на похоронах графини Аржанто...»

Осенью 1887 года был назначен симфонический концерт, посвященный памяти Бородина и состоявший исключительно из его произведений; он прошел под управлением Николая Андреевича Римского-Корсакова. Прозвучали Вторая симфония, романсы, «В Средней Азии», увертюра к «Князю Игорю» и «Половецкий марш», инструментованный незадолго до того Корсаковым. Именно после исполнения «Половецкого марша» Римскому-Корсакову был поднесен венок с надписью: «За Бородина» — при горячих рукоплесканиях всего зала.

Через десять лет после смерти А. П. Бородина авторский гонорар, который отчислялся с каждого представления «Князя Игоря», составил 50 000 рублей. Стараниями А. П. Дианина, М. А. Балакирева и Т. И. Филиппова деньги эти были переданы Петербургской консерватории, где дирекция учредила для лучших студентов-композиторов стипендию имени Бородина.

Прошло еще два десятилетия.

Первый после Октябрьской революции сезон Мариинский театр открыл оперой Бородина «Князь Игорь».



СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА

3

КЛЮЧ ЮНОСТИ.

Повесть

5

ПО ЖИВОМУ СЛЕДУ.

Историческая хроника

167

ИБ № 6164

Розальд Григорьевич Добровенский

**АЛХИМИК,
ИЛИ ЖИЗНЬ КОМПОЗИТОРА
АЛЕКСАНДРА БОРОДИНА
Д и п т и х**

Редактор В. Егорова. Художественный
редактор Д. Брейкш. Технический
редактор Г. Слепкова. Корректор
И. Грузнова.

Сдано в набор 26.12.83. Подписано в
печать 29.04. 84. ЯТ 11097. Формат 84х
108/32. Газетная бумага. Литера-
турная гарнитура. Высокая печать.
27,09 усл. печ. л.; 27,61 усл. кр. отт.;
27,99 уч.-изд. л. Тираж 30 000 экз. За-
каз № 2257—5. Цена 1 руб. 90 коп. Из-
дательство «Лиезма», 226047 Рига, буль-
вар Падомью, 24. Изд. № 129/31784/
Р-51. Отпечатано в типографии «Циння»
Государственного комитета Латвий-
ской ССР по делам издательств, по-
лиграфии и книжной торговли 226011
Рига, ул. Блаумая, 38/40.

Добровенский Р.

Д56 Алхимик, или Жизнь композитора Александра
1984. — 489 с. с ил.; 12 л. ил.

Бородина: Диптих / Ил. Д. Лапса. — Р.: Лиесма,

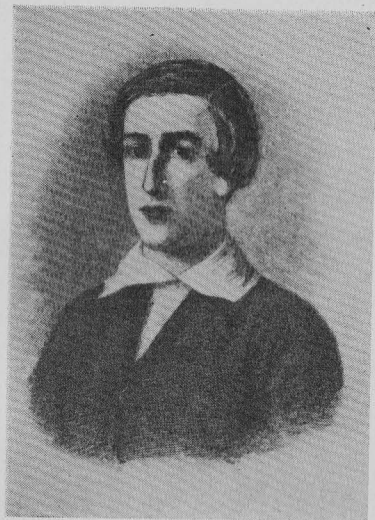
В книгу вошли два произведения: повесть о детстве и юности композитора Александра Бородина, по словам автора, не чуждающаяся вымысла, и историческая хроника, как бы продолжающая рассказ о выдающемся русском композиторе на строго документальной основе. Книга воссоздает панораму эпохи, образы других композиторов, составивших творческое содружество «Могучей кучки».

Д 4702010200—129
М801(11)—84 172—84

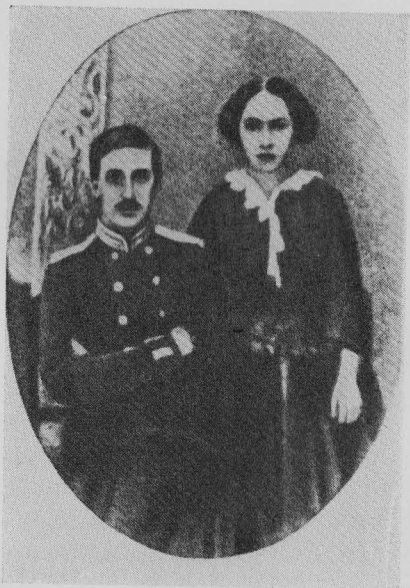
85.23(2)1



А. П. Бородин. С портрета И. Е. Репина



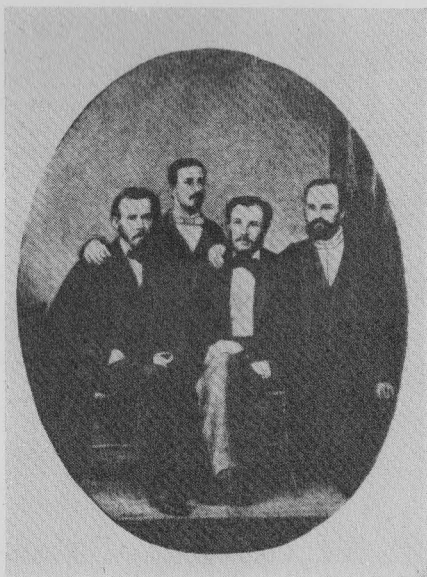
Александр Бородин в 14-лет-
нем возрасте. С рисунка
Деньера



А. Бородин и его двою-
родная сестра М. Готов-
цева. 1856 год



Н. Н. Зинин



Молодые ученые, участники
Гейдельбергского
кружка. Слева направо:
М. Житинский, А. Бо-
родин, Д. Менделеев,
В. Олевинский



Е. С. Протопопова незадолго до знакомства
с Бородиным



А. П. Бородин. 1873 год



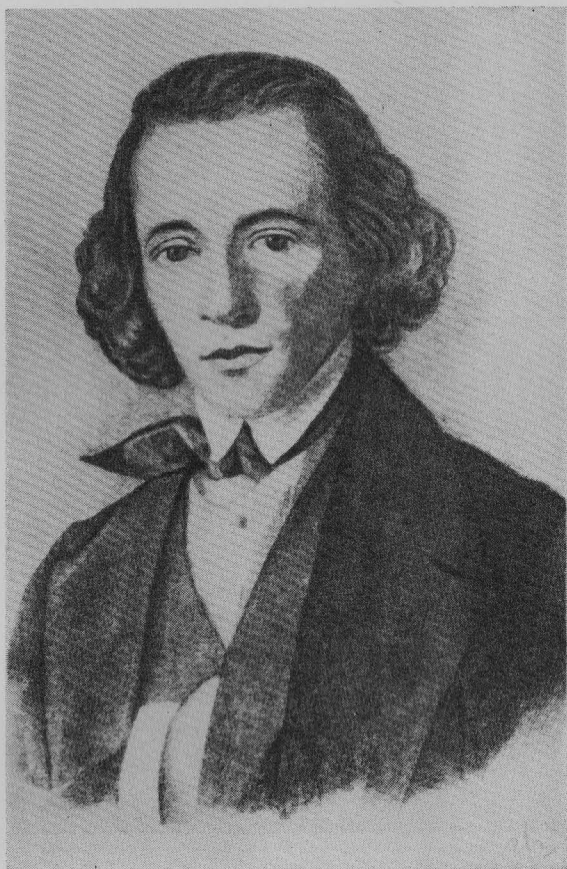
Н. А. Римский-Корсаков по окончании Морского
корпуса



А. П. Бородин. 1885 год



М. П. Мусоргский



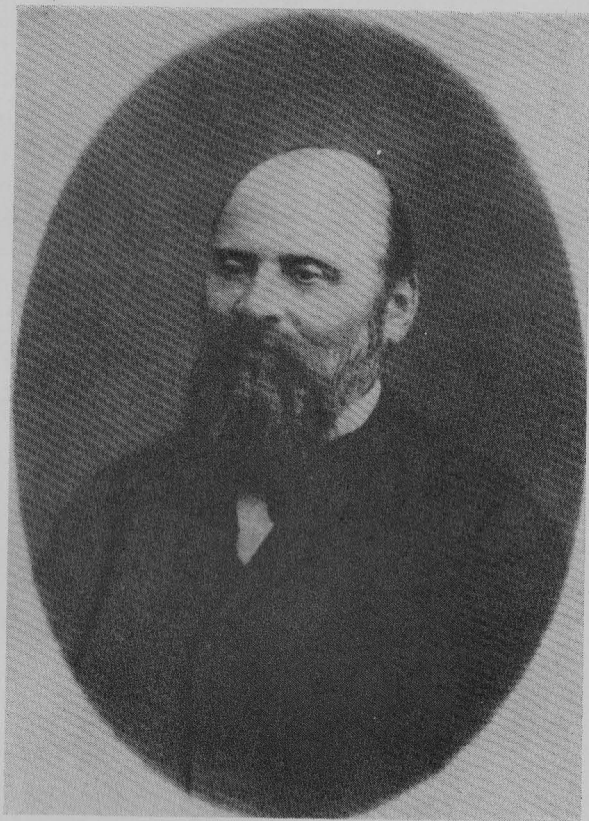
А. Н. Серов в молодости. С рисунка



В. В. Стасов. С рисунка



М. А. Балакирев, 1860-е годы



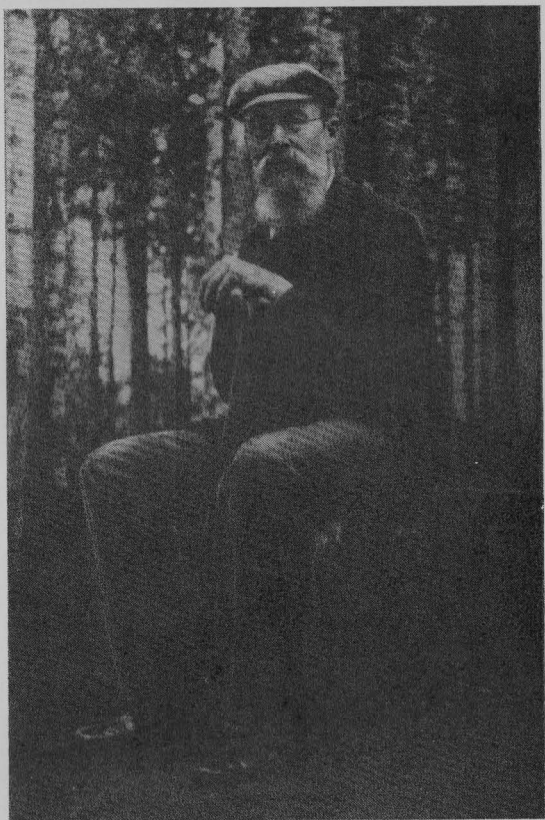
М. А. Балакирев. 1900-е годы



Ц. А. Кюн. 1880-е годы



Ц. А. Кюи. 1910 год



Н. А. Римский-Корсаков



А. Н. Пургольд (в замужестве Молаc)



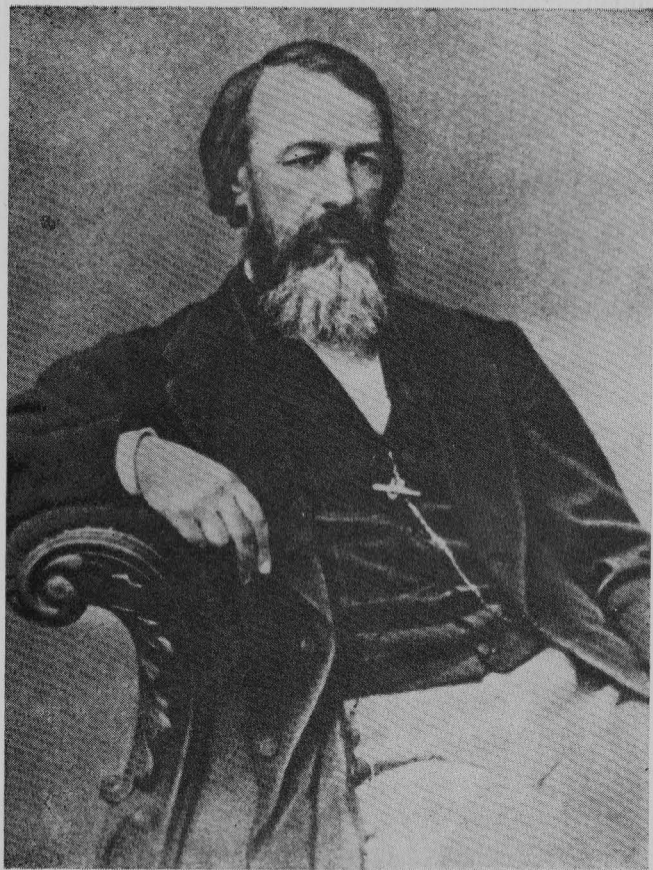
Н. Н. Пургольд



Л. И. Шестакова, сестра М. И. Глинки



Графиня Луиза Мерси-Аржанто



В. В. Стасов



В. В. Стасов, Н. А. Римский-Корсаков. 1906 год



Ф. И. Стравинский в роли Скулы



Ф. И. Шаляпин в роли князя Галицкого



Клавираусцуг оперы «Князь Игорь». Титульный лист
первого издания.